1.1972

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

1 ЯНВАРЬ 1972


## СОДЕРЖАНИЕ


АННА ЗЕГЕРС — Через океан. История одной любви *(Повесть. Перевод Э. Львовой)* 3

КАРЛОС ФУЭНТЕС — Все кошки серы *(Пьеса. Перевод и вступление М. Былинкиной)* 67

ЭРИХ ФРИД — Стихи *(Перевод и вступление В. Куприянова)* 137

КЭНДЗАБУРО ОЭ — Футбол 1860 года *(Роман. Перевод и вступление В. Гривнина)* 143

**Литературное наследие**

ТАО ЮАНЬ-МИН — Стихи *(Перевод и вступление Л. Эйдлина)* 209

**Критика**

С. ИЛЬИНСКАЯ — «Фермопилы» современной греческой поэзии 218

## Писатель и время

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — Роман не умер 225

## Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ — Возвращенный рай Маршалла Маклюэна 231
НОРТКОТ ПАРКИНСОН — Зятья и прочие. Закон отсрочки *(Перевод И. Гуровой)* 240

## Культура и современность

### Заметки на полях

В. Мириманов — Эстетические критерии и взаимодействие культур. Б. Штейнпресс — Астрологический детектив на музыкально-литературные темы 255

## Изобразительное искусство за рубежом

НИКОЛАЙ Т. ФЕДОРЕНКО — Эстетика японской керамики 262

## Из месяца в месяц

276

## Авторы этого номера

288

*На цветной вклейке — работы художников Танзании.*
*На обложке — картина танзанийского художника Сэма Т. Нтиро «Земляные работы в деревне Уджомма».*

# АННА ЗЕГЕРС

# *Через океан*

## *История одной любви*

ПОВЕСТЬ

*Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ*

— Что сравнится с отъездом? Ни приезд, ни встреча после разлуки. Навсегда покидаешь континент. И какие бы радости и горести ни пережил там, как только поднимут трап, перед тобой на три недели — один только океан...

Я ничего не ответил моему спутнику. Да, пожалуй, он ни к кому и не обращался, просто думал вслух. Мы встретились двадцать минут назад. Я стоял за ним, когда проверяли документы, и услышал, что он тоже сойдет с нашего польского судна «Норвид» в Ростоке. Он врач-терапевт — это я тоже узнал при проверке документов. Кроме того, изучал тропическую медицину, прослушал специальный курс — потому его и послали на конгресс в Баию. Помощник капитана равнодушно кивал.

Долгое путешествие через океан, предстоявшее нам, явно радовало моего молодого спутника, но раздражало меня. Я хотел как можно скорее вернуться к семье. Но билеты удалось достать только на этот рейс. Сюда я летел самолетом. С ремонтом — целью моей поездки в Риу-Гранди-ду-Сул — мы справились быстро. Сеньор Мендес, в прошлом году закупивший у нашей фирмы сельскохозяйственные машины, был потрясен нашей аккуратностью, когда я, согласно договору, появился на ранчо ровно через месяц после рекламации. Мои коллеги прекрасно знали, что я с женой и обеими девочками поехал в Татры. Не долго думая, они прервали мой только что начавшийся отпуск телеграммой, хотя лишь по их вине машины ждали отправки не под крышей, как полагалось, а под открытым небом.

Директор к тому же взывал к моей совести, взывал по телефону: ведь я был недалеко от Праги и мог тотчас вылететь самолетом. Немедленно лететь в Бразилию — мой долг перед нашим государством: пусть там узнают, как строго выполняет свои обязательства наша республика.

Все это, впрочем, не касалось молодого человека, который стоял сейчас рядом со мной. Он показался мне несколько странным. Как-то не принято делиться своими мыслями с первым встречным.

Он сказал:

— Всем этим людям здесь, на борту, и там, на берегу, всем им хочется еще что-то сказать друг другу. Посмотрите, как они машут на прощанье, как комкают мокрые от слез платки! А я, я горд тем, что на этом

берегу нет никого, с кем мне надо было бы проститься. Все кончится в ту минуту, когда поднимут трап.

— А почему его до сих пор не подняли?

— Наверно, еще что-то подвезут. Видите кран? Вот он опять повернул стрелу и ставит на палубу корзины. Кок самолично принимает их. Не иначе он на ближайшем рынке скупил по дешевке что осталось. Папайя, гуаява, апельсины, бананы, ананасы, авокадо — плоды здешней земли.

— Надеюсь, у него припасены для нас и зимние яблоки. На последнюю неделю, чтоб постепенно подготовиться к дому.

— Этого кока я знаю. Прошлый раз я сопровождал очень хрупкий груз и мне тоже пришлось ехать морем. Мы плыли на «Джозефе Конраде». И кок этот плавал тогда на нем. Прижимистый человек! Вероятно, был раньше хозяином трактира где-нибудь на побережье Балтийского моря.

За разговором мы не заметили, как подняли трап. Лоцман вывел нас из гавани и провел среди больших и малых судов из всех стран мира.

— Потом он отдаст нас на волю океана,— сказал молодой человек свойственным ему тоном, словно все, что он сообщал, было необыкновенно значительно,— и что бы с нами ни произошло тогда, ему уже будет безразлично. Он выведет из гавани другое судно, а потом еще одно и еще...

Молодой человек вдруг запнулся.

— Позвольте представиться — Эрнст Трибель...

— Франц Хаммер,— ответил я,— инженер.

— А я — врач. То есть недавно кончил...

Юнга ударил в гонг к обеду.

Наш пароход — грузовой, он везет кофе в Польшу и в ГДР, поэтому на нем всего несколько пассажирских кают.

Мы быстро уселись на свои места. Пассажиры занимали два стола, третий — капитан, первый помощник и старший механик. За стояком я заметил маленький столик. Он предназначался для одной женщины, рослой монахини в теплом коричневом одеянии. По-видимому, она выговорила себе право есть в одиночестве. Пожилая тощая женщина в длинной юбке, сидевшая за одним столом со мной, была, очевидно, ее спутницей. Она то и дело вскакивала, проскальзывала за стояк и спрашивала, не пожелает ли чего монахиня. Мне было удобно наблюдать за тем, что она делала, мы сидели на противоположных концах стола. Рядом со мной поместился пассажир с рукой на перевязи. Это, впрочем, нисколько не портило ему хорошего настроения. Его хитрые светло-голубые глаза непрестанно перебегали с одного пассажира на другого. Скоро выяснилось, что он говорит по-польски и по-немецки, по-португальски и по-испански, по-французски и по-английски и черт его знает еще по-каковски. Он вдруг повернулся ко мне и представился: «Садовский». Потом без особых церемоний попросил положить ему на тарелку еду и нарезать мясо. Он вывихнул руку уже здесь, на борту, помогая кому-то из пассажиров поднять багаж. Второй помощник, выполнявший обязанности судового врача — на маленьких судах, подобных нашему, врач не полагается,— вправил ему вывих.

— К приезду у меня все уже должно пройти,— сказал Садовский.— По профессии я техник. Меня ждет место в Гдыне. Десять лет я боролся с собой: не мог решить, возвращаться на родину или нет. Но хочется застать в живых мать... И вот в первую же минуту такая незадача... Обернитесь незаметно,— сказал он немного погодя. Он не только говорил на всех возможных языках, но и на редкость быстро разбирался в обстоятельствах жизни своих спутников.— Сморщенная старуха, что сидит прямо за вами, за соседним столом, десятки лет прожила в Бразилии. Она

приехала сюда с одной семьей из Польши. Провожая ее, все заливались слезами. Старуха нянчила маленьких детей в этой семье, теперь уже все переженились. И в благодарность хозяева надарили ей всякого барахла, которое им здесь не понадобится: старые шерстяные вещи, обноски трех поколений. Верно, господа в Бразилии разбогатели. Старуху они убедили, что поношенные вещи понадобятся ей в нашей холодной Польше.

Я повернулся к соседнему столу и увидел старую женщину в голубой вязаной шапочке. Случайно взглянул и на Трибеля. Он кивнул: поговорим потом.

Садовский продолжал:

— Коричневая монахиня, кармелитка, провела в Бразилии всего около месяца. Вы с ней ехали из Баии? Там она жила в роскошном доме, принадлежащем их ордену... Наверно, растратила уйму наших денег.— Он уже говорил «наших».— Целая стайка хорошеньких святош вилась вокруг нее с прощальными подарками — не монахини, нет, девочки, еще слишком маленькие, чтобы обручиться с земным или с небесным женихом.

Он замолчал, а потом заговорил по-польски со своей соседкой, белокурой девочкой с косами. Мать, тоже блондинка, сидела между дочерью и сыном. Я ревниво подумал: «Этот Садовский, конечно, уже знает, куда и зачем они едут. Он столько лет прожил здесь, в этой части света, и вовсе не разучился говорить на родном языке. Я бы тоже не разучился,— подумал я.— Родной язык не забывается».

Садовский тут же рассказал мне об этих людях. Отец работает в консульстве. В Рио дети ходят в бразильскую школу, а мать занимается с ними по программе польской школы. Ее чемодан набит польскими учебниками. Перед началом учебного года она везет детей домой, в Краков, сдавать экзамены. Когда вся семья вернется домой, они без труда смогут освоить любую профессию.

Я не мог этого не одобрить. Только упорство матери делает возможным такое двойное обучение. Садовский перевел. Женщина казалась несколько суровой. Но ее лицо радостно просияло от моей похвалы.

Принесли десерт: ананасы, приготовленные по местному обычаю. Мякоть плода вынимают, кожура образует чашу, ее ставят на тарелку и снова наполняют соком и мякотью, нарезанной кубиками.

Я подумал, что у кока с этим блюдом было много возни. Поглядим, насколько хватит его терпения.

Скромная старая дева за нашим столом не притронулась к ананасу. Она сразу отнесла его коричневой монахине. Та обрадованно поблагодарила и сейчас же принялась за него. Супруги, сидевшие напротив меня, зашептались. Я понял, что и они собирались предложить монахине ананас, но теперь это было излишним. Оба стали жадно вычерпывать ложечками сок, а потом даже выскребать ананасовую чашу.

Садовский наклонился ко мне и шепотом сообщил, что этот маленький толстенький — знаменитый польский певец. Он был на гастролях в Бразилии, в Рио и Сан-Паулу. Садовский был на его концерте в Рио. Вся польская колония плакала. Он пел не современные песни, от которых сердце разрывается, а старинные, от которых душа тает, и еще недавно положенные на музыку стихи Норвида. Знаю ли я их?

— Нет. Никогда не слышал.

— Какая жалость! Даже я их знаю, хоть я всего-навсего электрик. Наш пароход носит его имя. Ну, а Джозефа Конрада — его-то вы знаете?

Я не решился еще раз сказать: нет, у нас, мол, в ГДР эти писатели не очень-то известны, быстро сообразив, что читаю я мало и потому мог просто не слышать о них. Я ответил:

— Да, конечно.

— Многие думают,— сказал Садовский,— что Конрад англичанин. Но он был поляк. А в Англию переселился, чтобы стать моряком.

Я спросил: «Почему?», ибо в невежестве своем полагал, что этот Конрад, как многие другие, покинул свою страну, чтобы перебраться на Запад. Но Садовский продолжал:

— Джозеф Конрад помешался на кораблях. В те времена у Польши не было выхода к морю. Путешествуя с домашним учителем, он увидел море, впервые познакомился с моряками и сразу понял, какую профессию изберет. Всю свою жизнь, на борту корабля и на суше, он писал романы, действие которых разворачивалось на море. Но никогда не переставал любить Польшу, хотя и жил в Англии.

Я твердо решил, что, как приеду, куплю какую-нибудь книгу Джозефа Конрада, если только его действительно у нас издают. Садовский сказал:

— Джозеф Конрад был бы теперь совершенно счастлив, потому что нам принадлежит немалое морское пространство.

Я подумал: удивительно, как гордится Садовский своим морским пространством. А сам столько лет колебался, возвращаться в Польшу или нет.

После обеда я пошел к себе в каюту. Человек, с которым я ее делил, обедал за соседним столом. Сейчас он лежал на койке и разглядывал меня весьма неприветливо. Мое появление пришлось ему явно не по вкусу. За столом все были дружелюбны, а на его злом, застывшем лице я читал: все равно откуда ты, из Ростока или из Франкфурта-на-Майне, ты убивал моих братьев. Я не умею говорить по-польски, да и не мог так, с бухты-барахты сказать ему, что моего отца убили в концентрационном лагере, а сам я во время войны был ребенком и Польши никогда не видел. Попытаться объяснить, почему я плыву на польском судне, значило затеять бесконечный, ни к чему не ведущий разговор.

Он продолжал сердито глядеть на меня, поэтому, недолго пробыв в каюте, я вышел на палубу. Вдали еще смутно виднелся берег. Мой молодой спутник Эрнст Трибель стоял на том же самом месте, где я встретил его утром. Наперекор своим словам о прощании он неотрывно всматривался в полоску берега, вернее, в дымку тумана. Над нами кружились чайки или бог знает как зовут здесь морских птиц. Они еще могли улететь обратно к берегу.

— Вы были на промышленной выставке в Сан-Паулу?

— Нет, не хватило времени. Нужно было провести срочный ремонт в Риу-Гранди-ду-Сул. Сюда я летел, потому что ужасно спешил. А теперь возвращаюсь на польском судне, по счастливой случайности оно отправлялось в удобное мне время.

— Вот оно что! А у меня все сложилось иначе.

— Конечно, у всех все складывается по-разному.

— Да нет, у меня совсем особые обстоятельства.

— Каждому кажется, что у него все особое.

— Бывают обстоятельства исключительные. Вот как у меня. Я едва смог это вынести. Сейчас, когда я думаю, какими тихими будут ближайшие недели, мне кажется, эта странная история окончится навсегда. Может окончиться, но я в этом еще не уверен. Не знаю даже, нужно ли, чтобы она кончилась навсегда. Я имею в виду воспоминания...

— Как вы думаете, все эти птицы летят домой?

— Все, я знаю. Это моя третья поездка. Впервые я плыл в Бразилию маленьким мальчиком с родителями на пароходе линии Северогерманского Ллойда. Два года назад плавал из Гданьска в Сантус.

А сейчас мог бы вернуться самолетом, но опять пришлось плыть. Наверно, в последний раз...

— Ну, это никогда нельзя утверждать. Я, например, не взялся бы. Если моему предприятию снова понадобится выполнить какие-нибудь работы... И с вами может так случиться.

Мне показалось, что молодому человеку именно сейчас необходимо выговориться.

— Первый раз мы уехали незадолго до «Кристальной ночи», если вы знаете, что это такое.

— Да, да, конечно. Мы проходили в школе. Что-то плохое для евреев.

Я был доволен, что на сей раз сумел ответить быстрее, чем на вопрос Садовского о Джозефе Конраде.

— Мой отец не был евреем,— сказал Трибель.— Но он боялся, что мою мать разлучат с ним. Он ее очень любил. К счастью, брат матери жил тогда уже в Рио и прислал нам визы и билеты.

— Ваша мать была красива?

— Пожалуй, впервые я увидел ее по-настоящему, когда отец окончательно решил уехать. Она была похожа на девушек и женщин из «Тысячи и одной ночи». И я вдруг понял, почему отец ради нее готов был забраться так далеко. Но его любовь выражалась не только в этом. Любовь всегда прячется глубоко в человеческом сердце. И все же связана с чем-то зримым. Это самое странное в любви. Вы меня понимаете?

— Чайки все еще здесь, а ведь берега уже совсем не видно.

— Может быть, они прилетели с большого острова Фернанду да Кунья. Ночью мы проплывем мимо него. На этом острове бразильцы держат заключенных...

В эту минуту к нам сбежал по лестнице молодой и веселый человек. Трибель представил его:

— Гюнтер Барч. Мой сосед по столу.

Молодой человек, радостный и стремительный, позвал нас с Трибелем:

— Скорее наверх. В радаре уже виден остров.

Пассажиры выстроились в очередь. Певец, Садовский, мой мрачный сосед по каюте, монахиня, нянька в голубой шапочке, консульша с детьми и еще несколько человек. Их я не знал. А теперь подошли еще Гюнтер Барч, Трибель и я. Один из моряков настроил радар, давая объяснения на польском языке. И пассажиры по очереди разглядывали зубчатое пятно на блестящем стекле экрана.

Я никогда до сих пор не видел радара. Знал только, что кто-то постоянно смотрит в него, чтобы судно не наткнулось на скалу или остров.

Садовский рассказывал:

— Несчастье с тем итальянским пароходом случилось потому, что айсберг оказался слишком близко, повернуть судно было уже поздно. Его капитана навсегда лишили права занимать эту должность, хотя больше был виноват помощник. Он отошел от радара и сидел у радиста. Кто мог подумать, что айсберг дойдет до этих широт. Все выяснилось только на суде.

Поглядев на зубчатое пятно на светлом фоне, мы с Трибелем спустились вниз. Вскоре из вечернего тумана выплыл настоящий остров. После ужина мы проходили вдоль прибрежных скал. Мне казалось, что остров то ускользает от нас, то гонится за нами. В горах мелькали огоньки.

Наступила ночь. В каюте было душно, и часа через два я встал и снова вышел на палубу. Трибель стоял на старом месте, словно и не

уходил никуда. Я поглядел на него. Он всматривался в последний, почти уже исчезнувший мыс острова. Всматривался, казалось, с болью.

— Последний клочок Америки,— сказал он и добавил мягко, как говорят больному ребенку, но обращаясь к самому себе: — Когда увидим маяк Бретани, будет уже Европа. А между ними лежит океан. Три недели пути.

Мне показалось, что эти три свободные недели теперь уж не так его вдохновляют, и спросил, чтобы отвлечь его от гнетущих мыслей:

— Когда вы первый раз плыли в Рио, вы тоже проплывали мимо этого острова?

Он ответил устало:

— Наверно. Я был ребенком и не запомнил. Пароход был набит эмигрантами. Отец и мать все время взволнованно говорили о чем-то, утешая друг друга. Они просто не могли осмыслить наш отъезд. В каюте нас было четверо. Кроме нашей семьи, там ехал еще мальчик постарше меня. Он научил меня играть в шахматы.

Дядя, которого я не знал, брат моей матери, замещал в то время главного врача санатория для легочных больных недалеко от Рио.

Мы подплыли к огромному грохочущему городу и оцепенело смотрели на него. Плохо бы нам пришлось, если бы во время высадки не появился дядя. Он поцеловал маму. Отца же приветствовал весьма прохладно. Годы совместного учения были давно забыты. Меня он похлопал по плечу.

С первой встречи я стал бояться дядю, хотя он был таким же врачом, как и другие. Не знаю, каким образом, но только я сразу понял, что здесь властвуют жестокие законы, которые всякого сломают. Само время покорялось этим законам. Вот и я до сих пор так ни разу и не вспомнил мальчика, который ехал с нами в каюте и научил меня играть в шахматы.

Я крепко прижался к матери. Дядя пошел с нами в таможню. Ее называют Alfândega. Это арабское слово. В Рио таможня — огромный зал, там кишели приезжие со своим багажом. Больше всего меня поразили негры и стоявшие группами монахи. Они, вероятно, только что сошли с итальянского парохода. Их язык звучал среди множества других как колокол.

Дядя говорил по-португальски как на родном языке, и вид у него был весьма надменный, поэтому нам тут же выдали багаж.

Мы где-то пообедали. Потом дядя, который всем теперь распоряжался, сообщил нам тоном спокойного приказания, что мои родители поедут с ним в санаторий. Там будет работать отец и для них с матерью найдется комната. Меня же он отвезет в отличный английский интернат, где учатся его сыновья. Здесь страшно трудно поступить в среднюю школу. Но ему повезло. Директриса, госпожа Уитэйкер, приняла его сыновей. «А сейчас она согласилась принять и тебя, малыш; я давно лечу ее сына, так что в известном смысле она от меня зависит».

Когда мать робко спросила: «А нельзя ли взять его с собой, в нашу комнату?» — дядя ответил: «Невозможно».

Мы растерялись. Дядя добавил: «Вы что, газет не читаете?! Благодарите бога, что вы здесь. Не капризничай, Ганна».

Что мы могли поделать? Маленький домик, куда нас привез дядя, выглядел очень чистым, но госпожа Уитэйкер встретила нас холодно. Мать поцеловала меня, и я горько заплакал. Помню, что все пошли ужинать, а я остался в пустой спальне.

Вместе со мной в комнате жило человек десять. Среди них был и один из моих двоюродных братьев. Но оба кузена обращались со мной как с чужим. Я не знал ни английского, ни португальского, и надо мною часто смеялись. А я день и ночь думал о том, когда же

мама навестит меня. Она приехала через несколько дней. Вдвоем мы чувствовали себя счастливыми. А потом произошло событие, изменившее всю мою жизнь. Если вы не возражаете, я коротко расскажу об этом?

Я почувствовал, что ему необходимо говорить, и потому сказал:

— Да, да, конечно, рассказывайте.

Вечерний свет растекался над океаном. Два потока сливались воедино: черно-синий, с отблеском звезд и беспокойный, светлый, в брызгах пены островного прибоя. Судно качало, перед нашими глазами возникали то небо, то океан.

Я предпочел бы молча смотреть вокруг, но Эрнст Трибель продолжал:

— Долго и напрасно ждал я приезда мамы. Она писала мне, что нездорова. Неожиданно появился отец. Едва взглянув на него, я понял, что случилось. Он вывел меня на улицу. Мы сели на свободную скамью. Оба молчали. Наконец отец сказал: «Это был тяжелый тиф. Она заразилась».— «Значит, она умерла...» — сказал я. «Она умерла»,— повторил отец и тут, словно я уже стал совсем взрослым, вместо того чтобы утешать меня — ему это даже не пришло в голову,— стал изливать мне душу.

Он рисовал мне наше будущее, а в это время на скамейку сел очень темный мулат, а может быть, и негр. Я прекрасно помню этого человека, он играл на странном музыкальном инструменте, какого я раньше не видел. Мне казалось, что мелодия сопровождает исполненные горя, но решительные слова отца. Отец сказал, что без матери он ни за что не выдержит в этом санатории. Он не может находиться под одной крышей с шурином. Мать много выстрадала за это время. Она стыдилась своего брата. Еще до ее болезни они приняли решение перебраться в Рио и жить без помощи дяди.

«У меня есть небольшие сбережения,— сказал отец.— Судьба послала мне доброжелательного пациента, он рассказал, что здесь, в городе, создается небольшая клиника. Директор ее с радостью возьмет хорошего немецкого врача. По закону вообще-то он не имеет права этого делать. И потому примет меня в качестве фельдшера. Правда, из-за этого мне не смогут платить, как врачу.

Но у моего нового шефа есть друг, директор школы, я поставил условие, чтоб тебя взяли в его школу. Ты знаешь, как трудно здесь попасть в хорошую школу. Разумеется, тебе придется основательно заняться португальским».

Вот как все обернулось через полгода после приезда сюда.

Мне было странно, что молодой Трибель испытывает такую потребность делиться со мной воспоминаниями — воспоминаниями о том, что произошло много лет назад.

— В этой школе,— продолжал Эрнст Трибель,— я пережил то необычайное, о чем мы уже говорили. Я хочу сказать: там все и началось. А кончилось вчера — нет, позавчера вечером. Мы ведь уже второй день в океане?

— Второй.

Трибель добавил:

— У нас хватит времени поговорить. Впереди почти три недели.

Словно торопясь куда-то, мы быстро ходили вокруг задраенных люков грузового трюма, хотя я гораздо охотнее смотрел бы на сверкающий звездами океан. При этом Трибель продолжал рассказывать то, от чего ему хотелось освободиться, как будто не только плавание, но и наша беспрестанная ходьба делали его раскованным, будто во

мне, своем соотечественнике, он нашел слушателя, способного понять то, чего сам он еще не понял и только рассказывая сможет понять.

...Стремительно всходило солнце. Оно еще не пылало в небе, но и небо и вода заалели и засверкали золотом, и все вокруг стало чистым и готовым к радости. И сам я тоже.

— Мне трудно пришлось в новой школе,— рассказывал Трибель,— хотя учитель был со мной терпелив и ласков, наверно по указанию директора. Я долго не мог выучиться португальскому. Учитель не сердился. Просто он был в отчаянии, как и я. Оба мы считали, что я никогда не выучу язык. Однажды он так и сказал мне, возвращая тетрадь, в которой ошибок было больше, чем слов,— а я мучился над этим заданием дни и ночи. И тут я совсем пал духом.

На школьном дворе был уродливый навес для мусорных баков. Иногда там бегали крысы. Выносить из класса корзинку для бумаг считалось наказанием. Но теперь я побежал туда, чтобы выплакаться. Первый раз я плакал по-настоящему, плакал не только из-за ошибок в тетради — вся жизнь казалась мне конченой. Отец часто говорил: «Без португальского ты здесь далеко не уйдешь». Я плакал оттого, что мы вдруг очутились в Бразилии, плакал о матери, о том, что она умерла, как только мы сюда приехали, о том, что она никогда больше не приласкает меня. Где она? Я бы тоже умер, но встречусь ли я с ней? Отец как-то сказал, еще дома, что такие мысли — суеверие. Мой отец был трезвый, суровый человек, даже его утешения звучали сурово. Я забился в уголок среди мусорных баков и плакал, плакал. Вдруг кто-то погладил меня по голове и спросил по-немецки: «Почему ты плачешь?» Я повернул заплаканное лицо и увидел девочку из нашего класса. Наверно, я видел ее и раньше, не помню. Я думал, она бразилианка. Но сейчас она говорила по-немецки: «Я целый год не могла научиться понимать по-португальски. А потом сразу все пошло очень быстро. И с чтением и с письмом. Это было как чудо! И у тебя так будет. Хочешь, Эрнесто, каждый день заниматься вместе, понемножку? А я буду рада, что есть с кем разговаривать по-немецки. Ты, наверно, знаешь стихи и всякие истории. Я не хочу забывать язык. Можно, я буду тебе помогать? А ты поможешь мне? Чтоб я не забыла немецкий?»

Она вытерла мне глаза своим передником. Я всхлипнул еще несколько раз. Ее слова звучали утешением.

Он шагал все быстрей, мой новый молодой друг Трибель, а я спешил за ним, чтобы не пропустить ни слова. Сначала я слушал его вполслуха. А сейчас жадно ловил каждое слово.

— Девочку звали Мария Луиза Виганд. После уроков она сказала: «Мне надо поскорее купить овощи и фрукты. У моей тети сегодня гости. Я сирота и живу у тети Эльфриды. У нас с тобой все почти одинаково. Только у меня умерли и отец и мать. Мать умерла дома, когда я была еще маленькой, а отец умер от какой-то болезни здесь, в Рио. Мне, вероятно, лучше, чем тебе, потому что я знаю тетю Эльфриду с самого детства. Ну так будем заниматься вместе? А сейчас мне нужно все купить». Она повела меня на маленький рынок и там необыкновенно тщательно выбирала фрукты. Четыре манго, золотых полумесяца— я их еще не пробовал. Она повертела каждый в руках и посмотрела, нет ли гнили. Авокадо — их я тоже еще не ел. Она сказала, что сама приготовит из них замечательное блюдо и даст мне попробовать. И еще два или три вида фруктов, о которых я ничего не знал. Напоследок она купила кофе и сладости. И пояснила: «Гости не должны заме-

тить, что мы бедные. Тетя вяжет и шьет блузки. У нее маленький магазинчик на руа ду Катети».

Я донес покупки до дверей ее дома. Вход в него был узким, как щель. Лестница крутая, как в шахте. Уже позднее я заметил, какой у их дома узкий фасад, трудно было поверить, что за ним скрывается столько лестниц и квартир.

Мы с отцом жили минутах в двадцати отсюда, на боковой улочке. Наша квартира тоже была небольшой. Мы спали в одной комнате. В соседней клетушке едва помещались наши вещи, но я так расставил чемоданы, что получилось нечто вроде письменного стола, там я занимался, когда кто-нибудь приходил к отцу.

Скажу сразу, что у меня с отцом с детства сложились хорошие отношения. Он был рассудителен и великодушен.

Наш дом стоял в глубине большого двора, где было много кустов и клумб с цветами. От улицы двор был отгорожен другим домом.

На следующий день Мария Луиза принесла нам понемногу от всех лакомств, которые мы покупали вместе. Потом мы пошли к ней.

Она тайком угостила меня блюдом из авокадо, которое приготовила сама. Я удивился, сколько комнат в их квартире. Квартира была узкой, но зато вытянутой в глубину. За одной крошечной комнаткой следовала другая. У Марии и у ее тетки были отдельные комнаты.

Заниматься и делать уроки девочка любила у нас. Наверно, из-за больших окон, выходивших во двор с клумбами и цветущими кустами. Иногда мы сначала занимались у нас, а потом — у нее, как нам больше нравилось. С помощью Марии Луизы я делал заметные успехи.

С первого же дня знакомства мы не расставались. Скоро я научился свободно говорить и писать по-португальски. Мы вместе читали роман под названием «Мулат», который казался мне очень страшным, и рассуждали о книге и обо всем, что нас окружало, о боге и небе, о жизни и смерти.

Все покупки мы всегда делали вместе. Иногда обедали у тети Эльфриды, иногда изумляли моего отца необыкновенным бразильским ужином. Он радовался каждый раз, когда Мария Луиза приготовляла ему ананас по здешнему обычаю или свое особое кушанье из авокадо. Девочка ему понравилась сразу. «Кто поверит, что она родилась в Тюрингии,— говорил он.— Такая красивая, такая золотисто-загорелая, такая гибкая, как немногие девушки в этом городе».

И правда, у нее была золотистая кожа. Природная ее белизна совсем не была заметна.

Мы часто ходили на пляж. Сначала она плавала лучше меня, но вскоре я стал плавать так же хорошо. Многие подмигивали ей или окликали ее, но она только смеялась и беспечно встряхивала мокрыми волосами.

Я не понимал тогда, что наполнявший эту девочку внутренний свет и окружавшее ее сияние называют красотой — красотой, которая поражает даже самых угрюмых людей и пробуждает радость.

Иногда и в трамвае кто-нибудь неожиданно заговаривал с ней, а она смеялась и мотала головой. Когда я потом спрашивал ее, чего хотел этот человек, она отвечала: «Ничего особенного, опять говорил, что я красивая...»

Меня не задевало, что с ней заговаривают. Я радовался, что у меня такая красивая спутница.

В школе и после школы, так уж повелось, мы никогда не расставались: вместе учились, вместе читали, вместе делали покупки для дома, вместе плавали.

Мы верили тогда, что такова наша судьба — всегда и везде быть вместе.

На этой неделе у нас показывали фильм. Нужно было спуститься вниз. Все, включая и монахиню, пошли смотреть фильм — подумать только, его крутили глубоко под водой. Эрнст Трибель остался на палубе с Гюнтером Барчем. Они глядели на небо. Барч, этот молодой веселый парень, был поразительно сведущ в звездах.

Садовский сказал:

— Здесь можно увидеть только скучные фильмы, которые никого не задевают. Особенно немцев. А ведь Германия во время войны нанесла Польше ужасающие раны.

Действие фильма происходило в средние века, на дороге, по которой вывозили янтарь. На экране возникали старинные города — от Балтийского моря до Средиземного. На постоялом дворе, где всегда останавливался обоз, жила девушка, влюбившаяся в купца. По-моему, пассажиры скучали. Но мне с моей тяжелой профессией инженера-механика, с вечными разъездами — мне было любопытно посмотреть, что там случилось в средние века на земле в фильме, который крутят под водой...

Мой сосед по каюте, я редко видел его днем — он сидел за одним столом с Трибелем спиной ко мне,— тоже был среди зрителей. Он не сразу вернулся в каюту. Через несколько часов я проснулся — он что-то разбил и громко топал ногами, успев уже здорово напиться. Он сильно пил. Сначала я не знал, с кем. Потом заметил — с Садовским, но на того ничего не действовало. В эту ночь мой сосед Войтек особенно шумел. В конце концов я вскочил, схватил его и затолкал на койку, но он никак не мог успокоиться, и пришлось выставить его за дверь. Не знаю, пил он еще или заснул где-нибудь. Под утро его принесли два матроса, снова положили на койку. Он спал как убитый и не встал к завтраку.

— Знаете, почему он так пьет? — спросил Садовский.

В это утро я ходил по палубе не с Трибелем, а с ним. Я рассмеялся:

— Потому что он пьяница. Тут нет никакой загадки.

— Конечно. Всегда, когда кто-нибудь пьет... Я знаю, почему он пьет, бедняга.

— Почему же?

— Вы вообразили, что он ненавидит вас потому, что вы немец. Потому что убили его брата. Но дело совсем не в этом. Когда началась война, они плыли в Англию. Он был первым помощником. Наш теперешний капитан был тогда вторым на том же судне. Наш капитан — мужественный человек, он остался в Англии, служил на флоте, возил боеприпасы в Мурманск. Во время этих перевозок, как вам, может быть, известно, из десяти кораблей шесть обычно топили. Но второму помощнику повезло. После войны он вернулся в Польшу и вот теперь стал капитаном «Норвида». А Войтек получил в Лондоне предложение, ему посулили большие заработки. Человек не бывает смелым просто так, не правда ли? Человек проявляет смелость во имя чего-то определенного. У Войтека выгодное предложение, виды на блестящую жизнь перевесили все то, во имя чего он мог бы быть смелым. Он возглавил фирму в Ресифи. Ресифи лежит почти на экваторе. Вы были в Риу-Гранди-ду-Сул? Там говорят, что Ресифи и Пернамбуку лежат на севере.— Помолчав, он продолжал сумрачно: — Надеюсь, что фирме, куда я поступил сейчас ради моей матери, понадобится кто-нибудь для поездок в Южную Америку. Вам повезло, что ваши комбайны по небрежности бросили под открытым небом.

Я подумал: «Откуда только этот нахал все знает?»

— Да, так ваш сосед по каюте в этом Ресифи совсем пропал. Сначала, вероятно, его дела шли хорошо. Но он пил. А там не было матросов, которые укладывали бы его на койку. Однажды он заснул на солнце, под открытым небом — у самого экватора! — и когда проснулся, все было кончено. Наверно, он попал в больницу. Так или иначе дела его пошли

прахом. Негритянка, его жена, не могла справиться с ним. Он так страшно опустился, что польское консульство по требованию бразильского правительства выслало его на родину. И кого же он видит, едва ступив на борт? Капитана, который в том плавании в Англию был вторым помощником. Наш капитан — замечательный капитан. А он, он теперь ничто. И вот Войтек снова запил и творит черт-те что. К вам это не имеет никакого отношения. Мне кажется, он ведет себя так потому, что ему стыдно.

— Ну,— сказал я,— этого типа призовут к порядку.

— Гм,— хмыкнул Садовский. Мне пришло в голову, что и его неплохо бы призвать к порядку. Но он спокойно проговорил: — Наверно, странное это ощущение, когда тебя отправляют домой как нищего и бездельника на средства консульства, а капитаном твоего судна оказывается твой бывший подчиненный...

Так или иначе для меня невелика была радость каждый раз находить в своей каюте пьяного или полупьяного Войтека, сыпавшего ядовитыми словечками.

Он не имел понятия о том, что произошло в мире с тех пор, как его хватил солнечный удар. Не понимал, что Германия разделена на две части, что на Востоке возникло новое немецкое государство, которое живет в мире с Польшей. Конечно, пил он от стыда. Но этот его стыд обрушивался на меня.

Мне за себя стыдиться было нечего. Я вообще не участвовал в войне. Я был школьником, когда меня на короткое время взяли во вспомогательный состав ПВО. Мой старший брат погиб. Мы все его очень любили. Никто в нашей семье до сих пор не может забыть его. Моей сестре из-за больной ноги удалось уклониться от участия в Союзе немецких девушек. Не знаю, что было на совести у моего бедного брата перед тем, как его убили на Восточном фронте. Помню, один сослуживец рассказывал, что однажды его сын ворвался домой как сумасшедший: «Вы, родители, никогда не говорили нам, что вы сделали русским, и чехам, и полякам, и французам, и остальным. Вы произносите теперь речи об империализме, а сами были империалистами. Вы сами его создали — этот империализм. Вам не следовало ничего от нас скрывать. А теперь мы должны каяться за вас, потому что у вас нет чувства раскаяния. Мы несем на себе часть вины, мы — соучастники, мы должны раскаиваться вместе с вами, сораскаиваться». Мой коллега рассказывал об этом в обеденный перерыв, и некоторые из наших сказали: «Молодежь задает теперь массу вопросов, на которые невозможно ответить». Кто-то заметил: «Ты бы лучше всыпал ему как следует». Остальные закричали: «Ты что, спятил?! За это и посадить могут».

Я порадовался, что был слишком мал в годы войны.

Мне хотелось бы потолковать с Войтеком о том, что он обо всем этом думает. Но он для такого разговора не подходил. Я говорил уже— он остановился во времени, он жил до своего солнечного удара. Фраза: «Мы должны раскаиваться вместе с вами» запала мне в душу. Мне понравилось слово «сораскаиваться». Раньше я знал только «сострадать», но раскаиваться вместе — «сораскаиваться» — хорошо придумал мальчишка.

С Эрнстом Трибелем мне не хотелось говорить обо всем этом. Едва я появлялся на палубе, он начинал рассказывать о Марии Луизе, и я слушал его сначала со скукой, потом со вниманием, а под конец с напряженным интересом.

— У Марии Луизы и у меня не было секретов друг от друга. Мы разговаривали обо всем на свете, и о Варгасе, который был тогда президентом Бразилии, тоже. Я рассказывал, как однажды ночью во время нашего плавания через океан мы встретили бразильский пароход. Она воскликнула: «Наверно, на том пароходе везли жену Престеса, которую

Варгас выдал Гитлеру».— «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами: «Здесь все становится известным». Я выслушал все, что она знала о человеке по имени Престес. Он пересек страну с толпой безработных батраков, толпа росла от фермы к ферме... Когда я рассказал об этом отцу, он ответил: «Все правда. Только не говорите громко о таких вещах».

И сейчас, пристально глядя на воду, Трибель заговорил о другом:

— Меня часто спрашивали в школе: она еще девушка? Я делал вид, что не понимаю вопроса.

Я подумал: «Зачем Трибель рассказывает мне такое?» И тут же нашел ответ: «Потому что нигде больше он не сможет говорить об этом, только сейчас и здесь». Еще я подумал: «Вокруг нас так тихо. Трибелю здесь легче говорится. Каждому человеку хочется найти место, где можно все рассказать другому...»

— Мария как раз в ту пору начала заводить новые знакомства, а раньше мы каждую свободную минуту проводили вместе. Она ничего не объясняла, а я ни о чем не спрашивал. Она просто говорила: «Сегодня после обеда мы не сможем поехать на пляж. Я обещала Элизе пойти с ней в концерт».

Что можно было возразить против этого? Элиза тоже училась в нашем классе, она была некрасива, зато обладала сильной волей. Ее родители были довольно состоятельны, и Элиза, решив заниматься музыкой, давно брала частные уроки фортепьяно. Мария часто ходила к ней и потом рассказывала, как чудесно играет эта девочка. «Она будет не просто учительницей музыки,— говорила Мария,— она сумеет стать знаменитой пианисткой...»

Не знаю почему, меня задело, когда Родольфо, мальчик из нашего класса, сказал, что его мать, которая здорово разбирается в музыке, тоже так думает. Из разговоров выяснилось, что Мария вместе с Элизой часто бывают в гостях у Родольфо.

Однажды, когда я растерянно бродил по пляжу, разыскивая Марию, я издали узнал Элизу с матерью Родольфо, молодой, хорошо одетой женщиной, и отправился к тете Эльфриде. Но оказывается, Мария совсем одна сидела дома. Она обрадовалась мне и сказала, что ей вдруг расхотелось купаться. «Элиза и мать Родольфо сидят в кафе на пляже»,— сказал я. «Да ну их»,— ответила Мария.

Иногда мне казалось, что Мария Луиза изменилась, хотя я не мог бы объяснить, в чем заключалась эта перемена. Как-то раз она взяла мою голову в ладони, посмотрела в глаза: «Ты всегда был и будешь моим единственным другом на земле». Она поцеловала меня, а я не посмел ответить на поцелуй и лишь осторожно погладил ее руки и волосы.

К переменам, которые я в ней заметил, или мне казалось, что заметил, относилось новое, неприступное и замкнутое выражение ее лица, сменившее прежнее, доверчивое. Ее улыбка стала смелой, словно она гордилась чем-то, что с ней произошло. Она держалась очень прямо. Платье обрисовывало ее грудь. Струящиеся золотисто-каштановые волосы и золотисто-смуглое лицо делали ее прекрасной, как никогда прежде.

У тети Эльфриды служила девушка по имени Одилия. Мы с Марией Луизой снова, на этот раз гораздо внимательнее и вдумчивее, перечитали книгу «Мулат». Утром, когда Одилия убирала квартиру, Мария Луиза внезапно спросила ее, как было при рабстве и застала ли она его сама. Правда ли, что рабов продавали? Испуганная Одилия ответила вопросом: откуда у Марии такие мысли? Из книги? Ну так значит это плохая книга, если она напоминает о том времени. Да, ее мать была рабыней. Но жилось ей не так уж плохо. Она работала на огороде у своих господ, а эти господа — большей частью они

жили в Северной Америке — вряд ли вообще заметили, когда она, Одилия, появилась на свет.

Тогда уже был закон, по которому дети рабов рождались свободными. Она, Одилия, по этому закону никогда не была рабыней.

Но незадолго до того, как был принят окончательный закон об освобождении — «Золотой закон», как его называли,— с матерью Одилии, а значит и с ней самой, случилась беда. Из Соединенных Штатов пришло письмо. Добрые господа никогда больше не вернутся. Дом и огород купили жадные и жестокие люди.

«Моя мать была рабыней, а я—свободной. Это приводило в ярость новых владельцев. Не хватало им еще содержать ребенка, который только прыгает да танцует.

Из-за бесконечных попреков и угроз мать решила пристроить меня куда-нибудь. Она приглядела местечко на рынке. Это было довольно далеко. Сначала я спала там прямо на улице, потом под фруктовым фургоном. Тогда я видела свою мать всего несколько раз в год. Несмотря на все ее попытки остаться ради меня у этих людей, ее продали подруге хозяйки в другой город. «Золотой закон» еще не был введен в действие. Хозяева спешили заработать на продаже людей, которых скоро уже нельзя будет продавать.

Наконец как-то ночью пришла моя мать и рассказала, что поблизости от нее, в городе, есть место служанки. Не дожидаясь утра, я отправилась в путь. С этого места, не очень-то заманчивого, я перешла к вашей тете».

Эту Одилию, дочь рабыни, тетя Эльфрида однажды выкинула на улицу. О том, почему это произошло, Мария Луиза рассказала мне гораздо позднее, незадолго до моего отъезда.

Недалеко от нас в маленькой будочке сидел уличный сапожник негр Теодозио, у него чинили обувь семья Марии Луизы и наша. Сразу было видно, что человек это умный и наблюдательный. Он постоянно читал газеты, нередко разглаживая старые газетные листы, в которые заворачивали обувь, и заботливо сохранял понравившиеся ему статьи. Теодозио так и не стал хозяином мастерской, у него была только эта будка: в непогоду или уезжая куда-нибудь он ее складывал, а потом расставлял снова. Он расспрашивал Марию о нашей школе, просил приносить ему книги и бывал счастлив, когда мы давали ему почитать старую тетрадь или учебник.

К нашему изумлению, этот молодой и умный человек завел знакомство с Одилией, служанкой тети Эльфриды. Сначала мы и не подозревали, какого рода это знакомство.

Одилия была много старше его, совершенно невежественна, у нее никогда не было желания чему-нибудь учиться. Теодозио был ласков с ней — Мария утверждала, что с его стороны речь идет не о любви, просто он со всеми приветлив,— и Одилия, привыкшая к грубости и дурацким шуткам, влюбилась в него по уши. Мы, дети, замечали, что она под любым предлогом старается пройти мимо его будки, но особенно над их отношениями не задумывались.

Прошел примерно месяц. Однажды я поднялся в квартиру к Марии. Заниматься теперь приходилось много. Мы договорились проверять друг у друга уроки — приближались экзамены. У нас не было денег, чтобы купить все необходимые учебники, поэтому Мария Луиза попросила у Родольфо несколько книг. Книги были тяжелые, и Родольфо занес их к тете Эльфриде.

Уже на лестнице я услышал сердитый голос тетки. Я остановился в нерешительности, так ожесточенно она кричала. Гнев ее возрастал с каждой секундой.

Открывая мне дверь, тетка продолжала ругаться. Я сейчас же увидел, что сердится она на Марию. Та стояла перед теткой слегка побледнев, опустив руки, но вполне владея собой. Лицо ее было непроницаемо, однако мне показалось, что она еле сдерживает смех.

Когда, наконец, тетка расплакалась и громко хлопнула дверью, Мария Луиза сказала: «Эрнесто, помоги мне приготовить ужин, а потом вымоем посуду. Видишь ли,— добавила она, бросив лукавый взгляд на дверь теткиной комнаты,— тетя выгнала нашу Одилию».

В кухне, когда мы остались вдвоем, она рассказала кое-какие подробности. Ее сдержанность я счел тогда недостатком доверия. Меня это огорчило. Много позже, в Германии, думая о том, как Мария Луиза отнеслась бы к тому или иному событию, я вспоминал происшествие с Одилией и приходил к выводу, что чувство правды и справедливости уже тогда было присуще Марии.

Тетка прогнала Одилию за то, что она тайком пустила к себе в каморку чужую женщину. Как выяснилось, вернее, как мне сказала Мария Луиза, это была сестра или кузина Теодозио. По-видимому, она искала работу, а ее семья жила очень далеко в фавелах. Обычно она уходила из дому до рассвета, Одилия приносила ей иногда горячего кофе, кусок хлеба или банан.

Одилия занимала жалкую комнатушку, заполненную всяким хламом. Я понять не мог, как в такой каморке помещалась еще и сестра Теодозио.

Соседи, возвращаясь с какого-то празднества, заметили, что из этой каморки выскользнул кто-то чужой, и спросили тетю Эльфриду, знает ли она, что ее служанка приютила постороннюю женщину.

Тогда строго запрещалось оставлять у себя на ночь кого бы то ни было, не сообщив в полицию. Часто бывали облавы. За нарушение этого правила полагался штраф. К счастью, я имею в виду к счастью для незнакомой женщины, тетя Эльфрида не могла смолчать и дождаться ночи, чтобы самой во всем убедиться. Она вспылила и накинулась на Одилию. А та была слишком проста, чтобы найти ловкий ответ. Ее вещи уместились в крохотном узелке. Через десять минут она исчезла, бросив последний взгляд на будку Теодозио. Чужая женщина тоже больше не появлялась.

К нашему изумлению, уже на следующий день будку Теодозио занял дряхлый маленький старичок. Он был не черный и не коричневый, на лице его в морщинках пряталась пыль. Тетя Эльфрида не увидела никакой взаимосвязи событий. А я был слишком самолюбив, чтобы спрашивать у Марии — она явно знала, в чем дело.

Перед моим отъездом, а может быть, во время нашей поездки в Белу-Оризонти Мария Луиза почувствовала вдруг потребность ничего, совсем ничего не скрывать от меня, не оставлять между нами самой маленькой тайны, словно малейшая тайна могла помешать нашей будущей встрече,— и рассказала без всякой моей просьбы, что тогда случилось с Теодозио, Одилией и незнакомой женщиной. Девушка вовсе не была родственницей сапожника. Ему поручили — кто именно, Мария мне не сказала, а может быть, и не знала сама — найти ей приют в Рио. Незнакомку преследовали от Ресифи. От самого Ресифи полиция шла за ней по пятам. Но ее вовремя предупредили товарищи. Полиция поджидала ее на вокзале в Рио. А она задолго до этого сошла с поезда и, пересаживаясь с автобуса на автобус, без всяких происшествий добралась сюда. Здесь она сразу же разыскала человека, чей адрес тщательно прятала: Теодозио.

Теодозио устроил ее у Одилии. Об этом Теодозио и Одилия договорились заранее. Они ожидали девушку из Ресифи. Одилия, при всей своей простоте, была достаточно толковой, она взяла незнакомку под

свое покровительство. Наверно, она еще долго прятала бы и кормила ее, если бы не проклятые соседи, всюду сующие свой нос.

Девушка из Ресифи без промедления отправилась в путь — теперь полиция, конечно, сбилась со следа,— может быть, у нее и вправду были родственники или друзья в фавелах. Бедная Одилия осталась без пристанища. У нее не было никого, кроме прежних знакомых на рынке, а те могли предложить ей самое жалкое существование. У Одилии, однако, хватило сообразительности предупредить Теодозио о грозившей ему опасности. Он тотчас исчез.

«Мы в то время давно уже были бразильскими подданными,— сказала Мария.— А для вас, иностранцев, было бы особенно опасно не донести на Одилию в полицию. Ты, Эрнесто, мог бы проболтаться, рассказать отцу».

Потом я как-то встретил Одилию на улице возле рынка. Она продавала фрукты и, возможно, снова ночевала на рынке под каким-нибудь фургоном. Меня она не узнала, а я не стал заговаривать с ней.

Я рассказываю эти подробности потому, что они бросают свет на поведение Марии, на ее взгляды, какими они были в пору нашей светлой юности. Потом, уже в Германии, когда письма, приходившие от нее, стали отчужденными, словно она вдруг перестала меня понимать, я каждый раз думал: нет, не может погаснуть то, что так сияло...

Тетя Эльфрида, прогнав Одилию, вскоре наняла белую девушку, к тому же немку. Ее звали Эмма. Она была родом из Санта-Катарины. Этот большой поселок, вернее маленький городок, лежит в центре немецкой колонии. Бразильцы, живущие среди немцев-колонистов или в деревнях по соседству, и презирают их, и уважают одновременно. Уважают за неутомимое трудолюбие и честность. Презирают, пожалуй, за те же самые качества — ведь немцы-колонисты, не жалея сил, в необычайно короткий срок добились, чтобы их скот, поля и мастерские были лучшими в округе, и всего этого добились честным путем. Но невозможно добиться такого одним честным трудом — полагают их соседи.

Новая служанка тети Эльфриды была надежна и положительна. Мы, дети, невзлюбили ее с первого взгляда. Но удивительно, она совсем не замечала этого, напротив, привязалась к нам. Мария Луиза и позднее не расставалась с нею.

Я так много говорю об Эмме, потому что в дальнейшем она сыграет свою роль.

Тетя Эльфрида чуть не отослала ее обратно, услышав, какого жалованья та требует. «Столько платить я не могу и не буду»,— закричала она. Но Эмма уже знала, что тетя Эльфрида управляет маленьким магазинчиком и по вечерам сама шьет блузки и юбки, поэтому она сказала: «Мне всегда хотелось служить в настоящей немецкой семье, но на меньшее жалованье я согласиться не могу. А что, если я буду шить для вас? Все равно я по вечерам никуда не выхожу. Предоставляю это мулаткам».

Подумав, тетя Эльфрида решила, что это предложение ей выгодно. Так оно и оказалось. У нее сразу стало гораздо больше свободного времени. Наполовину готовые вещи Эмма дошивала превосходно, точно по картинке. Хотя саму Эмму мы всегда видели в одинаково скучных юбках и блузках.

Они договорились, но оставалось одно препятствие — прескверная комнатушка в грязной, забитой хламом мансарде. Всю вину свалили на Одилию. И Эмма из Санта-Катарины немедленно принялась за уборку. Она взгромоздила башню из старых вещей и покрыла ее застиранной занавеской, выморила клопов из кровати и ее тоже покрыла старой занавеской. Стены выкрасила в золотисто-желтый цвет. По стенам развесила картинки, изображение Христа — в Санта-Катарине люди придер-

живались евангелического вероисповедания — календарь, фотографии родственников, которые, насколько мне известно, никогда не подавали о себе вестей.

И хотя тетя Эльфрида тоже не испытывала к ней особой симпатии, Эмма быстро стала необходимой. Ей начали давать разные поручения, даже секретные, вы об этом услышите позже.

Лицо Трибеля вдруг осветилось радостью и стало почти счастливым. Он указал рукой на воду:

— Смотрите, скорее смотрите!

Вначале я подумал, что на солнце переливаются брызги пены. Но Трибель, радостный, каким я его еще не видел, объяснил мне, что́ это, и я сам увидел рыб, летящих над водой и словно танцующих над поверхностью океана. Целые стаи рыб скользили и кружились в солнечном свете.

Мы стояли в тени, отсюда все было особенно хорошо видно, поэтому к нам подбежали польские дети. Они не в первый раз видели летающих рыб, ведь им часто приходилось совершать путешествие через океан, но все равно удивлялись и радовались.

После полудня рыбы исчезли. Они не раз возвращались, пока мы плыли в южной части океана, и я так же, как дети и Трибель, радовался их полету. Не знаю почему, при виде их легче становилось на сердце.

Долгое морское путешествие я начинал почти с отвращением, не подозревая даже, сколько увижу нового. До сих пор я думал, что только на суше можно испытать радость, когда смотришь на хлеба, на луга, на деревья...

Трибель продолжал рассказывать, иногда задумываясь, иногда беззаботно и весело, то и дело останавливаясь, чтобы показать мне летящую рыбу или их стаю.

— Мы взрослели. Часто лежали на пляже, прижавшись друг к другу, в песчаной ложбинке или среди больших камней. Это было проявлением нашей взаимной привязанности, все было просто и естественно — никакого желания, никакой страсти. Мы спокойно смотрели на других юношей и девушек, чаще всего негров или мулатов, которые рядом, в такой же песчаной ложбинке, радостно и беззаботно предавались любви.

Нас это не занимало. Вовсе не занимало? Или еще не занимало? Мы не задумывались. Мария Луиза иногда касалась губами моего лба и вопросительно глядела на меня. Но я как маленький вскакивал и мчался прочь, а она меня догоняла. Мы снова бросались на песок, и я притягивал к себе ее голову. Только так проявлялась наша сильная взаимная привязанность — ничего мятежного, ничего необузданного.

Так я чувствовал тогда и позже, когда окончилось наше детство. Не могу поручиться, что Мария Луиза чувствовала то же, что и я.

Мы сдали выпускные экзамены. По совету отца и следуя собственному влечению, я начал изучать медицину. Мария Луиза тоже советовалась с моим отцом. Ведь у нее не было никого, кто мог бы ей помочь. Планы на будущее мы связывали так же тесно, как было связано все в нашей юности. Отец посоветовал ей специализироваться в области детских болезней или детской психологии, если это ее привлекает. Он говорил с ней серьезно и внимательно.

Тетке ее, конечно, хотелось, чтобы Мария сразу же начала работать в магазине и привлекала как можно больше покупателей. Кроме того, как мне со смехом рассказала Мария Луиза, она постоянно твердила: «Девушки в твоем возрасте здесь обычно выходят замуж. Неужели у тебя нет серьезного поклонника? Этот Трибель, его нельзя принимать всерьез».

Мария Луиза получила в наследство от отца небольшую сумму, ее едва-едва хватило бы на дальнейшее учение, но она на нее рассчитывала...

Вторая мировая война приближалась к концу. Все чаще отец, оставаясь наедине со мной, говорил: «Я напишу моему другу Паулю Винтеру или профессору Бушману, узнаю, куда мне явиться, чтобы начать работу. Не сомневаюсь, что я буду им нужен — еще как нужен!»

Тогда я не слишком задумывался над его словами. Война была где-то далеко. И то, что она сжигала, было где-то далеко. Только иногда сюда доносился дым этой войны, и у нас перехватывало дыхание.

Дым до нас доходил. В газетах мы читали, а в кино видели такое, от чего сжималось сердце. Мы не могли постигнуть, почему наша тихая, наша милая родина вдруг, словно шипом, вонзилась в тело мира.

«Неужели это правда? — спрашивала Мария Луиза. Она беспокойно хватала меня за руку. То было время, когда советские войска обнаружили первые лагеря уничтожения.— Я была еще совсем маленькой,— рассказывала Мария Луиза,— и только теперь вспомнила это снова... К нам ходила прачка. Она была такая приветливая. Когда мама разрешала мне отнести ей что-нибудь, я очень радовалась. На подоконнике у нее всегда стояли цветы, зимой и летом... И еще приходила монахиня, которая ухаживала за мамой до самой ее смерти, она была похожа на Марию с гравюры «Благовещение», у нее и сердце было такое же, готовое все претерпеть. Я тебе никогда не рассказывала об этом, но сегодня мы с тобой видели, какие зверства творили немцы,— и меня сомнение берет, и я словно опять вижу сумеречную комнату прачки, уставленную цветами, и словно слышу голос монахини, которая говорила, что смерть надо встречать не с грустью, а с радостью...»

Мария Луиза пошла к нам, чтобы излить душу моему отцу.

Отец сказал: «Разве здесь весь народ участвует в злодеяниях Варгаса и его солдат? Или озверелых плантаторов?..»

Когда Мария Луиза ушла, я сказал отцу: «Ты хорошо и правильно ей все объяснил, только не пойму, почему ты хочешь вернуться в эту одичавшую страну?» — «Именно там мы особенно нужны. Ты сам увидишь».

Но до конца войны было еще далеко, и мы редко разговаривали об отъезде.

Наша одноклассница Элиза начала заниматься в высшей музыкальной школе. Часто она не только играла нам, но и показывала книги и картины, которые, если б не она, вряд ли попали нам на глаза.

Мы с Марией Луизой были взволнованы, даже ошеломлены, когда в первый раз по-настоящему разглядели творения Алейжадинью: пророков Исайю, Иеремию, Езекииля и других, которых он высек из камня на площадках лестницы в Конгонье ду Кампо. Лестница вела из долины к церкви на горе и воплощала собой крестный путь. Алейжадинью был не только великим бразильским мастером, но, быть может, вообще одним из величайших скульпторов мира. Он был прокаженным. И все это изваял не руками, а культями рук, которые таяли, словно свечи, и его маленький подмастерье привязывал к ним инструменты скульптора.

Элиза была права. На свете не было ничего величественнее. Так думали мы в юности, сравнивая его творения со скульптурой античности и Возрождения, теми великими, неизвестными нам прежде произведениями, с которыми знакомились у Элизы.

Я так много говорю об этом художнике, потому что путешествие в Конгонью было нашим последним чудесным и удивительным общим переживанием в этой стране.

Отец, которому мы взволнованно рассказывали об Алейжадинью, словно видели его работы не на фотографии, а сами познакомились с великим, смертельно больным, мужественным человеком, решил вдруг по-

дарить нам поездку в Минас-Жераис — так называется штат, где расположена Конгонья.

«А ты не хочешь поглядеть на это чудо?»

Он покачал головой:

«Нет, дети, порадуйтесь сами».

Сейчас мне кажется, что это произошло, когда война уже кончилась и вопрос о нашем отъезде был решен. Может быть, решен пока только в мыслях отца, я в это еще не верил, но фраза его могла бы прозвучать: «Порадуйтесь сами напоследок».

Не знаю, какую цель он преследовал, посылая так далеко двух молодых людей, любящих друг друга.

По нашим теперешним масштабам это было не очень далеко: двенадцать часов автобусом до Белу-Оризонти. Так называется главный город штата Минас-Жераис, поблизости от которого лежит Конгонья ду Кампу.

Мария рассказала мне, что во времена португальских вице-королей и императоров здесь добывали много золота. Мы запаслись едой и отправились в далекий путь. В автобусе сидели, тесно прижавшись друг к другу, неизвестное впереди влекло нас так, что даже сердце щемило. Автобус, словно на крыльях, огибал грозные ущелья. Кружилась голова.

Простите, что я вам столько рассказываю об этих местах, но скоро вы увидите, что самое значительное повторяется: да, именно потому, что повторяется, оно и становится таким значительным и не погружается в небытие...

— Да нет, Трибель, пожалуйста, рассказывайте дальше. Расскажите подробнее о вашей поездке,— воскликнул я.

Вообще-то мне хотелось, чтобы Трибель больше говорил об этой стране и о том, что он там видел, а не о своей любви. Я никак не мог понять, почему он рассказывает о своей жизни именно мне, а не Гюнтеру Барчу, например, с которым, по-видимому, подружился. Может быть, потому, что я все время молчал, не задавал никаких вопросов, не высказывал своего мнения. Да у меня его и не было. Конечно, он именно потому и рассказывал все мне, человеку молчаливому и не высказывающему своего мнения...

— Мы переехали границу штата Минас-Жераис. На первой же короткой остановке на автобус накинулась толпа нищих торговцев с отшлифованными кусочками кобальта, агата и других полудрагоценных камней. Найти их здесь было не трудно. Дорога сверкала на солнце. Иногда казалось, что вся она усеяна осколками драгоценных камней.

Испуганно, но с жадным любопытством мы вглядывались в неизвестное, открывавшееся по обе стороны дороги. Попутчики объяснили нам, что острые, правильные, словно созданные геометром холмы — жилища термитов. А если термиты по какой-либо причине покидают свои жилища, там поселяются змеи.

Дорога, деревья, хижины все более и более покрывались красноватой железистой пылью. Даже белье во дворе придорожной лачуги розовело от пыли, и одинокое жалкое банановое дерево, кормилец ее обитателей, тоже.

На некоторых остановках пассажиры выходили из автобуса, чтобы поесть. Мы экономили и только иногда покупали что-нибудь у ребятишек, белых и черных ребятишек в лохмотьях, продававших фрукты. Они с необыкновенным тщанием готовили фрукты для продажи, возможно, накануне ночью, словно это тоже были драгоценные камни. Апельсины с надрезанной кожурой, ананасы, сахарный тростник.

Мы устроились в Белу-Оризонти у родственников Элизы. Была душная ночь. Спали мы на веранде. Нас приняли приветливо, без особых церемоний. Рано утром, выпив по соседству чашку кофе, мы отправились в незнакомые горы. Деревни блестели на рассвете, к нам доносились запа-

хи леса. Я сказал: «Наверно, так выглядит Тюрингия или Гарц». Мария ответила: «Нет, я думаю, там все совсем по-другому».

И я вдруг увидел ее глазами непроходимую чащу дикого бразильского леса, развалившиеся веранды домов — ни у кого в этих семьях не было сил укрепить их...

Когда автобус прибыл в Конгонью, мы не сошли вместе с паломниками в долине. От остановки в деревне, на вершине горы к церкви надо было спускаться. Мы увидели ее издалека, она сияла в утреннем свете, над крышами и лесом. В полном молчании мы быстро пошли к ней и, не входя внутрь, с трепетом и радостью стали спускаться по величественной лестнице.

У первой же статуи мы остановились. Ошеломленно смотрели вверх на складки одеяния пророка. Красота и величие каменных изваяний потрясли нас. Мария Луиза осторожно дотронулась до камня, медленно провела рукой по одной из высеченных складок.

Внезапно рядом появился монах. Он молча смотрел на нас, потом предложил рассказать об Алейжадинью и для начала повел нас в церковь. Мария Луиза перекрестилась. Дома она никогда не ходила в церковь, и я даже не знал, католичка ли она.

Когда мы вернулись к пророку, монах сказал: «Вот посмотрите. Ученик привязывал мастеру резцы к обрубкам рук. Это видно по зазубринам, образующим складки. Но лицо сделано так, словно художник работал только мыслью, не прикасаясь к камню руками».

С площадки на площадку, от пророка к пророку вел нас монах. Мы с Марией случайно обменялись несколькими словами по-немецки. Монах спросил, тоже по-немецки:

«Откуда вы, дети?»

«Из Тюрингии. Я из Ильменау. А я из Эрфурта», — ответили мы.

Он сказал:

«А я из Баварии».— Его направил сюда орден несколько лет назад.

Я спросил:

«Вы скучаете по родине?»

Улыбаясь, он ответил:

«Моя родина всегда со мной».

«Я говорю о настоящей родине».

«Не будем спорить, дети, о том, что есть настоящая родина».

Больше он с нами ни о чем не заговаривал. Мы вместе спустились в долину, и на прощанье он приветливо сказал:

«Если хотите переночевать за небольшую плату, можете пойти в наш приют, вон там наверху, справа».

Но мы уже условились вечером вернуться в Белу-Оризонти.

Он покинул нас внизу, в долине, возле грота и пожелал счастливого пути.

Мы решили медленно подняться по лестнице, как если бы совершали паломничество. Обогнали старую мулатку в потрепанном, измятом за дорогу платье. Она подымалась по лестнице с видимым усилием. Я спросил Марию Луизу: «Что она бормочет?»

Мария Луиза, быстро увлекая меня за собой вверх по лестнице, ответила полушутя-полусерьезно, подражая стихотворному ритму: «Привет тебе, Мария! Да пребудет господь с тобою. На тебя снизошла благодать. Будь благословенна меж жен, и да благословен будет плод чрева твоего — Иисус. Аминь! Святая Мария, молись за нас, бедных грешников, ныне и в час нашей смерти».

«Какой смысл постоянно твердить одни и те же слова?» — спросил я. Мне показалось, что Мария Луиза не услышала моего вопроса, но она вдруг проговорила:

«И все-таки в этом есть смысл. У тебя тоже постоянно одни и те же

мысли, одно и то же желание. Это чувствуется в словах, которые ты произносишь...»

Год спустя, когда мы прощались, она сказала: «Помнишь нашу поездку в Конгонью ду Кампу? Я тогда на лестнице все время молилась, чтобы ты остался. Наверно, я недостаточно сильная и недостаточно хорошая, раз меня никто не услышал».

Мы плакали, я ее обнимал и клялся, что она самая лучшая на свете.

И все-таки я подумал: зачем она на прощанье возложила на меня такую тяжесть и почти одновременно, может быть секундой позже, спросил себя, имею ли я право так думать?

К нам подошел веселый Гюнтер Барч, сосед Трибеля по столу.

— Давайте ночью опять встретимся на мостике. И вы, Хаммер, приходите туда, если хотите как следует разглядеть Южный Крест, пока он еще виден.

Я сразу же согласился. С удовольствием послушаю объяснения звездного неба.

После обеда Трибель пригласил меня погулять. Я знал, что ему легче рассказывать, когда мы ходим.

— Мой отец,— начал он,— в начале 1946 года получил важное письмо. Письмо из Германии, от старого коллеги, который уже не раз писал ему после войны. Отец прочитал письмо вначале про себя, внимательно и сосредоточенно. Потом прочел его вслух. В Германии снова открываются университеты, говорилось в письме. Во всех областях ощущается недостаток специалистов, и те, кто это понимает, стремятся учиться и учить. Людям, выбитым из колеи, учение нужно, как хлеб жителям разбомбленных городов.

И тут мой отец заговорил о себе. Врач его квалификации и его взглядов там крайне необходим. Он еще не знает, в какой город его направят. Что же касается меня, то, если я хочу специализироваться на внутренних болезнях, мне нужно закончить учение в Берлине или в другом городе.

Я яростно запротестовал. Ни за что на свете не желал я разлучаться с Марией Луизой. Причины, по которым отец хотел скорее возвратиться в Германию, казались мне неубедительными.

Отец молча выслушал меня, потом сказал: «Если Мария Луиза не достанет денег, чтобы уехать вместе с нами, там ты скорее заработаешь ей на дорогу. Немного сбережений, наверно, у нее есть».

В ответ на мои отчаянные возражения он твердо заявил, что один я не смогу здесь закончить образование и стать врачом. На какие средства я буду жить? Чем платить за учебу? За питание? За квартиру? Или из любви к Марии изберу другую профессию? Может быть, стану продавцом в магазине? Буду работать с раннего утра до поздней ночи. А остальное еще труднее. Я пропаду здесь ни за что ни про что. Друзья выслали ему денег, их еле-еле хватит на дорогу, мне он не сможет оставить ничего.

Об учебе здесь нечего и думать. Я же знаю, сколько стоит учение. Чтобы стать самостоятельным, мне придется найти какое-нибудь место или обучиться ремеслу.

В Германии, точнее говоря в Восточной Германии, я смогу закончить образование и принести пользу сотням людей, а это главное. И кроме того, Мария Луиза, если я не хочу с ней расставаться, сможет через некоторое время приехать к нам.

Он не ограничился одним разговором. Мы снова и снова возвращались к этой теме. Отец, который прежде всегда был моим другом, тут оставался непреклонным. Он был сильнее меня. Не стану рассказывать обо всем подробно. Мария Луиза сказала:

«Я предчувствовала, что ты уедешь».

Какое-то время ушло на подготовку к отъезду, на ожидание паспортов. Словно по уговору, в эти недели мы не говорили о разлуке. И только однажды на пляже, когда мы лежали рядом на песке, я почувствовал, что ее лицо мокро от слез.

«Не волнуйся, я сразу же вышлю тебе деньги на дорогу,— сказал я и добавил: — Если тетя Эльфрида или Элиза не одолжат тебе их сейчас».

«Ах, тетя Эльфрида,— мрачно сказала Мария,— все, что она говорит и делает, такое же ненастоящее, как цвет ее волос.— Она выпрямилась и сердито добавила: — Ей хочется заставить меня продавать блузки в ее магазине. И от тебя она потребовала бы того же».

С первых же дней я стал писать Марии Луизе обо всем, что увидел в Германии.

Миллионы погибших на войне. Миллионы и миллионы. Какой же страшной была вина, если таким было возмездие! Разрушенные города, люди с ввалившимися глазами, у которых едва хватало сил доползти до ближайшего пункта раздачи продуктов, за пакетиком овса или ячменя, порцией хлеба и горсточкой сахара. В Берлине, разыскивая друзей отца, мы перелезали через груды развалин вдоль давно уже не существовавших улиц. Старые и молодые рылись среди руин в поисках чего-нибудь пригодного для употребления или продажи, будь то винтик или остаток матраса. Обвалившиеся стены обнажали нутро домов, мы видели то ванную комнату, то спальню, иногда там мелькала чья-нибудь фигура. Случалось, на наших глазах обрушивался остов дома, погребая своих обитателей под обломками...

Уже в Антверпене, где наше судно останавливалось на стоянку, мне показался весьма странным горячий спор о том, посылать ли голодным немецким детям в разрушенную Германию рыбьи потроха, ястыки и молоки.

Так велика была ненависть к нацистским солдатам в порабощенных странах, где они уничтожили бесчисленное множество людей, что она распространялась даже на детей.

Лучше было бы в письмах к Марии Луизе не касаться этих впечатлений...

Он прервал свой рассказ. Помолчал. Я возразил:

— Нет. Вы не правы. За долгие годы вы привыкли обо всем откровенно говорить со своей девушкой. К тому же не только для вас, но и для многих других то, что происходило во время войны, надолго останется загадкой, чудовищной загадкой. И те, в ком не убита душа, должны попробовать ее разрешить.

— О какой загадке идет речь?

— О недоступной пониманию бесчеловечности, о жестокости людей, которые дали миру Гёте, Бетховена, и не только их...

— Разве бесчеловечными и жестокими стали сразу все? Не знаю. То, что я видел, когда мы шли по разрушенному городу, я пытался сравнить с чем-нибудь мне известным. Я вспоминал нашу долгую поездку в автобусе в Минас-Жераис. Развалившиеся хижины, засыпанные красной пылью. Тогда нам с Марией казалось, что жизнь в них невыносима. Но сейчас я понял, что куда страшнее жизнь в этих развалинах, в открытых на все четыре стороны руинах.

Комната, где я поселился сначала, несмотря на разбитые и склеенные бумагой стекла, была приличной. Старушка хозяйка постепенно рассказала мне, где, в каком месте земного шара потеряла она каждого из своих сыновей, внуков и братьев. Нельзя сказать, чтобы она очень горевала. Всю жизнь у нее перед глазами был темный двор, а теперь здание

перед ее домом разворотили, и она видела из окон широкую улицу, обсаженную деревьями.

Иногда к ней в гости приходили две-три старушки, чтобы поглядеть на меня, чужака, а главное — получить в подарок от моей хозяйки немножко настоящего бразильского кофе. Они часами пересчитывали зерна, чтоб разделить их по справедливости.

В этом доме случилось ужасное происшествие, напугавшее даже мою ко всему равнодушную хозяйку. Под нами жила семья с несколькими детьми и стариком дедом. Как почти везде, буханку хлеба мать заранее надрезала на порции. Ночью в кухню пробрался обезумевший от голода дед и съел кусок буханки ломтя в два. Старший мальчик, проснувшись, застал его на месте преступления, и дед в приступе страха и стыда ударил мальчика хлебным ножом.

Этот случай я так же подробно, как и все остальное, описал Марии в длинном письме. Я не соображал, что она вряд ли может что-нибудь понять из моих писем, напоминавших дневники. Почтовая связь только налаживалась, а Мария Луиза была очень далеко, в другой части света. Когда я получил от нее первое письмо, я еще не привык к своему новому окружению, но уже не воспринимал его как тяжелый гнет. Я раздумывал, стать ли мне детским врачом или заняться тропической медициной. Детские врачи, казалось мне, очень нужны. А о возможности изучать тропическую медицину в то время и мечтать не приходилось.

Мария Луиза писала мне еще в тот дом, где старик зарезал своего внука. Ей казалось, что в таких условиях невозможно сохранить достоинство и способность мыслить, а без этого для нее нет настоящей жизни. И восхищаясь мною, она все же боится, не пострадает ли наша любовь, не притупятся ли наши чувства, если будут постоянно подвергаться подобным испытаниям. Но она требовала, чтобы я и дальше писал ей обо всем, тогда она будет чувствовать себя рядом со мной, ощущать мое присутствие.

Да, люди были голодны и злы. Я рассказываю вам о том, что вы и сами знаете. Но иначе вы не поймете того, что чудесно связало меня и Марию и что оборвалось совсем недавно, вечером, накануне моего отъезда. Сколько дней уже продолжается наше плавание?

— Постойте-ка, по-моему, пять.

— Значит, окончательно все оборвалось шесть дней назад. Если такое вообще может оборваться, закончиться. Да, так на чем я остановился?

— На том, как голодны и обозлены были люди.

— В неосвещенных вагонах городской железной дороги слышались только жалобы, яростная брань, просьбы о помощи. Мне вспоминается, как однажды в таком переполненном вагоне, а может быть, на станции всех вдруг поразила радостная, многоголосая песня, спетая сильно и с воодушевлением. Люди прислушивались, покачивали головами, и лишь когда мы проехали несколько станций, снова раздались жалобы и ругань.

Позднее я узнал, что песню эту пела группа только что основанного тогда Союза немецкой молодежи.

Когда я стал студентом, в университете тоже начала создаваться организация Союза немецкой молодежи. В него вступили искренние антифашисты, ненавидевшие прошлое, одобрявшие советскую оккупацию и новые законы. Тогда к членам СНМ нередко относились, как к пропащим — их братья и отцы были, а может быть и оставались, нацистами — на этих ребят иногда нападали на улицах, избивали в кровь.

Я вступил в группу СНМ, организованную на нашем медицинском факультете.

На мое счастье, в ту пору для студентов открылось временное общежитие. Здесь жили по три-четыре человека в одной комнате. Но вы ведь

знаете, я не был избалован просторными квартирами. Как и в эмиграции, я соорудил себе стол из чемоданов. Преподаватели у нас были разные: прекрасные врачи, ставшие теперь знаменитыми, а наряду с ними два-три проходимца, обманом пробравшиеся на кафедры. Впрочем, это скоро выявилось и их выгнали. Несколько студентов, прервавших образование из-за войны, добросовестно учились вместе с нами.

Однажды мы узнали, что на Нюрнбергский процесс, который тогда еще не кончился, вызвали молодого врача. Он был ассистентом врача в концлагере и сделал десяткам заключенных смертельные инъекции. Он не явился по вызову. Он застрелился.

Мы, студенты, обсуждали этот случай до поздней ночи, и каждый откровенно говорил все, что думает. Некоторые — их, правда, было немного — не скрывали своего сочувствия самоубийце. Другие настаивали на том, что он виновен. Были и такие, кто с негодованием заявлял, что позорно наказывать людей, которые во время войны следовали своему долгу — повиноваться. Эти взгляды большей частью выражали старые студенты, участники войны, возможно, прежние сторонники Гитлера.

Здесь сталкивались самые противоречивые мнения. Сочувствие — кому? Долг повиновения — кому? И при чем тут Нюрнбергский процесс?

Очень юная студентка — ее, неразговорчивую и некрасивую, никто прежде не замечал — вдруг сказала: «Если совершено преступление, а в этом случае никто не может сомневаться, что оно было совершено,— неизбежно свершится суд. Будет ли расплатой за вину приговор Нюрнбергского трибунала или просто самоубийство, как в истории с этим жалким человеком, сомнений быть не может — он виновен».

До сих пор никто в нашем кругу не обращал внимания на эту девушку. Но тут внезапно наступила мертвая тишина. Мы слушали ее с глубоким вниманием и долго размышляли потом об ее словах. А мне вдруг почудилось, что среди нас появилась Мария Луиза. Это она высказала свое мнение мягким, но решительным голосом. Меня охватила тоска — такого острого приступа тоски я не испытывал последнее время. Я был уверен, что на следующий день получу от нее письмо.

Хочу еще раз сказать, что в нашем кругу все откровенно высказывали свое мнение. Тогда каждый сам, по собственному усмотрению, решал, что верно и что неверно. Яснее всех выразила свои убеждения эта бледная спокойная девушка. Потом я случайно увидел, что к ней подсел молодой человек по имени Густав, впоследствии он стал руководителем нашей группы СНМ. Он сказал ей: «Ты права: такой человек заслуживает и суда, и сурового приговора».

Но понимаете, Хаммер, я совершал ошибку, рассказывая Марии Луизе о каждом разговоре, о каждом событии, будто писал дневник.

Как могла она понять и разделить мои переживания? Мои письма только волновали ее, приводили в отчаяние. Больше ничего. Потом, увы, слишком поздно, я узнал, что именно так оно и было.

А я? Я постоянно ждал ответа — ответа, который придал бы мне силы, стал бы для меня утешением. Но письмо приходило, и в нем было написано: «Я не вынесла бы жизни, которой живешь ты».

Были и другие случаи,— продолжал Трибель.— И если бы Мария осталась такой, какой она была в дни нашей юности, она бы с изумлением прочитала письмо об одном из них.

Однажды Густав взял меня с собой на какое-то предприятие. Там выступал с докладом советский лейтенант. Он сразу сказал, что готов отвечать на любые вопросы. Собралось много народа. Было накурено, душно и, несмотря на это, холодно. Лейтенант был, вероятно, года на три старше меня. Вначале собравшиеся задавали всевозможные вопро-

сы о работе, зарплате, о школах в Советском Союзе. Вдруг поднялся парень, наверно ровесник лейтенанта. По его кривой усмешке те, кто знал его, сразу поняли, что сейчас он выкинет какую-нибудь штуку. Наступила тишина. Насмешливая тишина. Многие уже улыбались заранее, когда он грубым голосом закричал:

«Господин лейтенант, можно задать вопрос?»

«Прошу вас».

«Ваши украли у меня карманные часы. Когда вы мне их вернете?»

Все молчали и с любопытством ждали ответа.

Очень юный лейтенант спокойно спросил:

«Итак, вы предъявляете мне счет?»

«Так точно»,— ответил парень еще более нагло и вызывающе. Весь зал, едва сдерживая смех, напряженно ждал ответа.

Лейтенант сказал:

«Я родом с Украины. Вы, вероятно, знаете, что во всей Европе Украина — самый богатый хлебом край. Несмотря на это, во время оккупации мой отец умер там от голода. Моя мать погибла, когда сожгли половину нашей деревни. Мою сестру угнали в Германию на принудительные работы. Больше я о ней никогда не слышал. Мой старший брат погиб на войне, младший умер в лагере для военнопленных.

Теперь я возвращаюсь к вашему счету. Я требую: верните мне отца, мать, сестру, обоих братьев. Вы требуете, чтобы вам вернули карманные часы. Вы продолжаете настаивать на своем требовании?»

Молодой рабочий ничего не ответил. Кажется, он выскользнул из зала. Сразу стало тихо. Задали еще несколько вопросов, но теперь спрашивали в основном немолодые, сдержанные люди, серьезным тоном, а на лейтенанта все смотрели с удивлением и даже с некоторым почтением.

Я описал Марии Луизе этот случай, но прошло три месяца — понимаете, три месяца,— прежде чем я получил ответ. Ответ был коротким. В письме речь шла совсем о другом.

Тем временем я познакомился с издателем, который печатал произведения французских, испанских и португальских писателей, и предложил ему перевести роман «Мулат». Предложение было принято. Он остался доволен моим пробным переводом, а я — его условиями. Я думал, что смогу теперь быстрее собрать деньги на дорогу для Марии Луизы.

Ответ на мое письмо, в котором я написал сразу и о деньгах на дорогу, и о встрече с советским лейтенантом, показался мне странно сбивчивым, словно его писали сразу три человека, перебивая друг друга. Но все-таки письмо пришло, а ее почерк был для меня ее портретом, к тому же я расслышал в этом письме нотку нежности: «Твоя жизнь и без того трудна. Я не хочу, чтобы из-за меня ты довел себя до болезни. Что будет, если ты заболеешь всерьез?»

Я успокоил ее: я здоров и чувствую себя крепким и сильным.

Шла подготовка к экзаменам. Одновременно я до поздней ночи сидел над переводом...

Как мы и договорились, ночью я поднялся на мостик. Трибель и Барч должны были вот-вот подойти. Хоть я вырос в деревне и часто проводил ночи под открытым небом, мне показалось, что никогда раньше я не видел таких ярких звезд. Да, пожалуй, у нас и не было таких звезд, как те, что стояли сейчас над моей головой в этом южном небе. Если долго вглядываться в них, на черно-синем, не ограниченном ни кромкой берега, ни башней, ни горной цепью небе возникает мерцающее кружение. Но еще сильнее кружится мерцающее отражение на

спокойной, но вечно подвижной поверхности океана. Я не мог простить себе, что столько ночей провел не здесь, на палубе, а в каюте, пытаясь уснуть или утихомирить пьяного Войтека, либо болтал с Садовским, играл в шахматы с польским мальчиком, просто курил.

Трибель и Барч поднялись на палубу.

Барч очень хотел, чтобы я нашел на небе Южный Крест, который был виден в юго-западной части неба рядом с созвездием Кентавра.

Меня поразило, как хорошо разбирается Трибель во всем там, наверху. Полный смятения от событий, обрушившихся на него здесь, на земле, он с ясным пониманием толковал о звездном небе.

Он говорил:

— Раньше я представлял себе Южный Крест весьма величественным и был разочарован, когда учитель показал мне его на небе. Вот эти звезды — все вместе они образуют крест. Наверно, всем завоевателям виделось в них нечто непостижимое, захватывающее, виделся символ завоеваний, ждавших их впереди. По этим звездам направляли они свои корабли.

— Ну да,— сказал Барч,— Южный Крест стал приметой, по которой капитаны направляли корабли, и они вообразили, что само небо освещает им путь. Этот воображаемый свет сохранился в созвездии Южного Креста до наших дней.

— Он уже соскользнул вниз и скоро совсем станет невидим,— сказал Трибель.— Я буду тосковать по этим звездам, когда мы снова будем дома, на севере.

Я спросил:

— Почему? Ведь, если вглядеться по-настоящему, и у нас небо усыпано звездами.

— Я буду скучать именно по этим звездам.

Барч терпеливо объяснял мне, как можно от звезды к звезде добраться до Большой Медведицы.

Трибель еще раз вернулся к своей мысли:

— Представим себе, что конкистадоры плывут на корабле с юга на север, тогда они могут постичь необъятность вселенной только по звездам. Вот, наконец, и Южный Крест, ставший для них священным, остался позади. А после того, как они пересекут экватор, перед ними возникнет Полярная Звезда и то созвездие, что мы называем Малой Медведицей. Но допустим, что для этих конкистадоров ведущей звездой стала бы Полярная Звезда, тогда она превратилась бы в вечный символ. Впрочем, эти завоеватели с юга — только плод моего воображения.

Барч на мой вопрос ответил, что он родом из Силезии. Там его отец был учителем в промышленной школе. Сам он учился в горной академии во Фрейберге. Возможно, он потому так интересовался звездами, что его профессия — горные недра.

На следующее утро Трибель подхватил меня под руку и увлек на наше обычное место. Он заговорил быстро и решительно, как бы желая изменить события, о которых собирался рассказывать:

— Густав, руководитель нашей группы, мог бы стать моим другом, если б я тогда доверял кому-нибудь по-настоящему. Но я погибал от любви. Иногда я бросался на другую сторону улицы — мне казалось, Мария Луиза только что свернула за угол. Каждый день я с волнением ждал вестей от нее. А если, как это и случалось все чаще, их не было, я не находил себе места и сердце мое разрывалось.

Но у меня было не так уж много свободного времени — к счастью, добавляю я теперь. Нам приходилось много работать. Предстояли эк-

замены за очередной семестр, а кроме того, у меня ведь была еще и дополнительная работа, которую я получил в издательстве.

Однажды, когда я сидел в одиночестве и размышлял об одной фразе в последнем письме Марии Луизы, о фразе, которая казалась мне неясной и неопределенной, ко мне словно бы случайно подсел Густав. Он сказал — вполне дружелюбно,— что хочет поговорить со мной по очень важному поводу, и я прервал ход своих мыслей, словно захлопнул книгу.

«Послушай, Эрнст,— начал он,— ты уже давно занимаешься на факультете и делаешь успехи. Но почему ты не принимаешь участия в нашей жизни? Очень редко остаешься вечером на собраниях, никогда не присутствуешь на докладах и вообще живешь обособленно».

Поколебавшись, я ответил:

«Кроме предстоящих экзаменов, я должен в срок закончить работу для издательства. Кроме меня, нет переводчиков с португальского».

Густав задумался. Между прочим, я уважал его еще и потому, что он размышлял о людях и книгах и никогда не давал шаблонных ответов. Наконец он сказал:

«Я понимаю, что ты все еще привязан к той стране, к ее языку, ее книгам и людям. Но не думаешь ли ты, что наступило время изучить страну, которая как-никак твоя родина! По-моему, лучше бы ты принимал участие в спорах со студентами и защищал нашу точку зрения, чем сидеть до глубокой ночи над переводами для издательства».

Я ответил сдержанно:

«Но я подписал договор. Это срочный перевод».

Однако Густав не отступил:

«Твой отец — профессор в Грейфсвальде. Сколько тебе нужно, он высылает. Ты мне сам это говорил. Ты получаешь еще и стипендию. Зачем же тебе надрываться над этой трудной работой для издательства? Что тебя вынуждает зарабатывать деньги?»

«Да, да, именно вынуждает. Мне-то деньги не нужны, но самому близкому для меня человеку они необходимы, и как можно скорее»,— сказал я и тут же пожалел об этом.

Густав ничего не ответил, но посмотрел на меня с таким изумлением, что я, не дожидаясь вопроса, объяснил ему главное:

«Ты знаешь, что мы много лет жили в Бразилии. Там я дружил и продолжаю дружить с девушкой. Более близкой дружбы нельзя себе представить. Мы хотим как можно скорее снова быть вместе. Но путешествие это стоит дорого. Вот мне и приходится работать, чтобы собрать деньги ей на дорогу».

«Из этого ничего не выйдет, Эрнст. Подумай сам. Если девушка действительно хочет приехать к тебе, нужно придумать что-нибудь другое. Ты ничего не добьешься, если будешь надрываться над работой и копить деньги».

Я хотел возразить ему, но прикусил язык. Он ушел, оставив меня одного. Но мне кажется, он еще долго думал обо всем этом. А еще мне кажется, что он был слишком трезвым человеком и не мог понять все сложности, связанные с моим планом. Быть может, он и сам об этом догадывался, но не хотел признаться.

А меня в эти дни охватило отчаяние. Я решил не посылать Марии денег до тех пор, пока не получу весь гонорар за перевод. Я написал ей, что теперь остается ждать всего три месяца, тогда большая часть денег на переезд будет у меня на руках. «Мне кажется,— писал я,— лучше прислать все сразу, чем понемногу».

Ответ на это письмо пришел быстро. Я вскрыл конверт очень поспешно и очень осторожно, чтобы не порвать его, словно опасаясь причинить боль Марии. Письмо я читал и перечитывал, останавливался

и снова читал, и когда уже знал наизусть целые куски, стал размышлять над ним. Мария Луиза и раньше употребляла иногда странные выражения, наводившие меня на мысль, что она сомневается в нашей встрече. В этом письме она писала: «Мой дорогой Эрнст, не посылай мне, пожалуйста, денег на дорогу. Если я вдруг решу приехать к тебе, я раздобуду необходимую сумму здесь. Не откладывай больше денег для меня. Ведь для тебя это означает изнурительный труд. Я этого не хочу, и это мне не нужно».

Я подумал, что она отказалась от мысли приехать ко мне, и на сердце мое навалилась тяжесть. Потом я стал убеждать себя, что она, как и Густав, не хочет, чтобы я надрывался. Но темными и горькими ночами я чувствовал, что ее стремление к совместной нашей жизни ослабло, а может быть, она и вовсе отказалась от него. Я вслушивался в ночь, я мучился и даже однажды подумал: ведь можно жить и без счастья. Многие ли из тех, кто спокойно спит, похрапывая ночью, имеют то, о чем мечтали? А у меня есть медицина, которую я люблю, есть такие друзья, как Густав. Я решил пойти к нему, пусть он мне поможет наладить жизнь. Он был прав. Вечное ожидание истощало мои силы.

Марии Луизе я написал, что не могу понять ее последнего письма. Пусть она мне сообщит, по старому ли адресу выслать ей деньги. В ответ она еще раз настойчиво попросила меня ни в коем случае денег не присылать. «Ты же не захочешь причинить мне огорчение? — написала она. И еще она написала: — Подумай только, что выкинет моя тетя, если деньги попадут к ней? Лучше посылай мне теперь письма по адресу Элизы.— И словно это не имело к нам отношения и написано так, между прочим, добавила: — С тех пор как ты уехал, Элиза стала большой музыкантшей. Своей игрой она может привести человека в отчаяние или сделать его счастливым».

И хотя Элиза была мне совершенно безразлична, я вдруг увидел ее перед собой: некрасивая костлявая девица, молчаливая, с раскосыми глазами. Но стоило ей сесть за рояль, и весь мир вокруг менялся.

Я ответил Марии, но не сразу, пусть она узнает, что значит ждать; я написал ей, что мне теперь ясно — время имеет власть над ней, ее обещания развеялись, как туман, иначе она согласилась бы на все, лишь бы быть со мной.

Разумеется, я не притронулся к деньгам, полученным от издателя. Я и сам не верил в то, что написал Марии. Мое сердце радостно забилось, когда она вскоре ответила: как могу я так думать о нерушимых обещаниях нашей юности.

Она употребила слово «юность», как будто за время разлуки мы состарились.

И действительно, когда я впервые подсчитал, сколько времени прошло после нашего прощания, я испугался, потому что позади остались дни, месяцы и даже годы...

В те времена было гораздо больше студенческих вечеров с дискуссиями, чем теперь. И споры были настоящие. Никто не скрывал своих взглядов. Председательствующий на таком вечере говорил вступительное слово на какую-нибудь тему, например, о новой книге, а потом предлагал слушателям задавать вопросы. Тут часто приходилось слышать и резкие и неверные, но откровенные и прямые высказывания, а теперь, хотя прошло сравнительно немного лет, большинство молодых людей говорит только то, что признано правильным. Они не лгут, но и не мучаются сомнениями и поисками. Они ждут, пока им скажут, что общепризнано, вот в чем беда: они твердо верят, что сами, мол, так всегда считали.

Я возразил:

— У нас такого не бывает. Нам не приходится сомневаться в том, как устранить неисправность, тут сразу становится ясно, кто прав. Мы не можем, создавая новую конструкцию, ждать общеизвестного. По той же самой причине.

— Не поверю, что с вами никогда так не бывало. Просто вы не говорили об этом друг другу.

На одном студенческом вечере председателем был Густав. В актовом зале собралось много народу. Рядом с Густавом сидел молодой советский офицер, занимавшийся вопросами культуры. Вначале взял слово студент, которого я знал только в лицо. У него был протез вместо левой руки. Он сказал, так что было хорошо слышно всему залу: «Я тоже прочитал книгу, о которой вы говорили. Она мне не понравилась, и я не могу согласиться с вами. На мой взгляд, это слащавая и лживая книга. Она изображает какие-то чувства. Скажу откровенно. Мне подозрительны всякие чувства. После всего, что мне пришлось перенести в годы нацизма и войны, я твердо решил: на эту удочку я больше не попадусь — никаких чувств. Я доверяю только доводам рассудка, который точно определяет, где белое, где черное. Все прочее — ерунда».

Наступила растерянная пауза. И тут офицер неожиданно сказал: «То, что вы говорите, тоже чувство. Но я могу понять и объяснить его при помощи разума. Как провести границу?»

Вероятно, он хотел еще многое добавить, но неожиданно вскочил я. И сказал: «Если вы любите девушку, чем вам поможет разум и доводы рассудка?!»

Я понимал — Густав догадается, что я имею в виду, но мне было все равно. Участники вечера слушали внимательно, без улыбок. Студент, к которому был обращен мой вопрос, сказал: «Если бы мне понравилась девушка, я бы долго присматривался к ней, чтобы решить, подходит ли она мне».

Никто ему не возразил, казалось, все его понимают и готовы с ним согласиться. Это было всего четыре года спустя после конца войны.

Я спрашивал себя, оттолкнуло бы Марию Луизу все то, что она могла здесь увидеть и услышать, и вспомнил, с каким волнением рассказывала она мне в далекие школьные годы о жене Престеса: беременная, на последних месяцах, она загородила своим телом мужа, когда их убежище было открыто и полицейские бросились на него.

Мария Луиза все сумела бы понять и ответила бы на все вопросы на своем резком, непривычном здесь, немецком, который приобрел особую остроту от соприкосновения с другим языком.

Но так как она мне написала, чтобы я, бога ради, не высылал ей денег, меня одолевали сомнения. Я размышлял над смыслом слов: «Если я вдруг решу приехать к тебе...»

Иногда мне казалось, что она недосягаема, иногда я трезво говорил себе, что Элиза, которая, наверно, хорошо зарабатывает, может одолжить ей деньги.

В том году у меня было много работы. Мне хотелось доказать Густаву, что я серьезно отнесся к его словам. В один из моих редких приездов отец заметил, что я побледнел и похудел. Как-то он спросил меня: «Ты что-нибудь знаешь о Марии Луизе?» Я ответил: «Конечно. Она скоро приедет навсегда».

Отец очень удивился. Он сказал: «Неужели ты думаешь, что она здесь приживется? Она ведь была маленькой девочкой, когда переехала за океан». Я возразил: «Не приживется? Вместе со мной?» И перечислил ему все причины, по которым она должна скоро приехать,— все, чем я утешал себя, когда по ночам не мог заснуть от отчаяния.

Тем временем произошло окончательное разделение Германии и

была создана Германская Демократическая Республика. Разумеется, тогда я еще не мог осознать всего значения и всех последствий этого события. Первое время я верил — и так думал не только я, но большая часть окружавшей меня молодежи,— что Западная Германия вскоре последует нашему примеру и раскол будет продолжаться недолго. Вокруг меня так много спорили, возникало так много поводов для раздумий, что бесплодное ожидание больше не поглощало всего моего времени. Кроме того, я утешал себя тем, что почта теперь часто задерживается.

Прошло время, все несколько успокоилось, изменения упрочились, и я снова стал ждать. Надеялся, что сразу получу пять или шесть писем, которые где-то задержались. Порой мне чудилось, что Мария Луиза внезапно входит в мою комнату. Я видел ее перед собой так ясно, как никогда прежде: большой красивый рот, глаза, озаренные изменчивым внутренним светом, золотое сияние каштановых волос. Иногда я восклицал: «Зачем ты заставила меня так долго ждать?! Как это жестоко!» Я обнимал ее и осыпал поцелуями. И вдруг видение исчезало, и я снова оставался один. За окнами берлинская ночь тяжело шагала по развалинам; сколько еще нужно было восстанавливать!

Да, восстановление началось. Республика вставала на ноги. В актовом зале уже никто больше не говорил: «Я не верю чувствам». Никто больше не высказывал таких мыслей впрямую, на людях — в этом были свои положительные стороны, но, вероятно, и отрицательные тоже.

А я неделями, пожалуй, даже месяцами не получал вестей от Марии Луизы. Чувство времени у меня как-то притупилось. Я думал: «Опять нет письма». И время без писем проходило, как проходит всякое другое время.

Я постоянно читал и перечитывал все те же старые письма и искал в них объяснения ее упорному молчанию. Об измене я не думал. Мне казалось само собой разумеющимся, что мы принадлежим друг другу, но я боялся помех извне — болезни или переезда, какой-нибудь выдумки ее тетки, которая всегда внушала мне недоверие.

У меня почти не оставалось свободных вечеров. На наших тогдашних собраниях и дискуссиях мы ратовали за единство Германии. О резком разрыве между двумя немецкими государствами как о чем-то определившемся и неизбежном стали говорить гораздо позже. А вначале многие были уверены, что и в Западной Германии могут возникнуть народные предприятия.

Мне кажется, что именно тогда по-новому был поставлен вопрос о верности и преданности новому государству. Некоторые студенты, из тех, кому до конца учения оставался год или два, говорили, когда знали, что их не слышат посторонние: «Буду пока помалкивать. Я еще не принял решения. Мой диплом признают и там». Но часто мне приходилось слышать, как кто-то из рабочих говорил: «Я тороплюсь. Обещал отработать на фабрике лишний час». И еще: «Завод принадлежит нам, кто бы мог поверить?!»

Вечера проходили в спорах — мы собирались теперь небольшими группами или по двое-трое,— и я больше не раздумывал по ночам о своей боли, да и днем она отпускала меня. Но боль моя осталась при мне, я только заставил ее скрыться в самой глубине сердца.

За минувший год Густав стал для меня настоящим другом. После того как однажды я решительно сказал ему: «Деньги на дорогу даст Марии Луизе ее семья», он не задавал больше вопросов, на которые мне не хотелось бы отвечать. Кроме того, он, вероятно, думал, что я теперь целиком ушел в подготовку к экзаменам.

Я записался на восстановительные работы. Надо было убрать из города груды камня и щебня. И когда мы, участники восстановитель-

ных работ, образовав цепочку, передавали камни из рук в руки, прохожие часто смотрели на нас с недоумением или насмешкой. А я представлял себе, что рядом со мной стоит Мария Луиза в запыленном от работы платье, что она старательно и весело поднимает и передает камни. Она чудилась мне всюду.

По-прежнему я постоянно писал ей обо всем, что здесь происходило, не зная, увлечет ее это или оттолкнет. Прошло уже много времени с тех пор, как она перестала мне отвечать, я не решался даже подсчитать, сколько длилось ее молчание.

Однажды пришло письмо из Рио, написанное незнакомым мне почерком. С бьющимся сердцем я вертел его в руках. Потом понял — наверно, видел когда-нибудь этот почерк,— что письмо от подруги Марии, музыкантши Элизы.

«Дорогой Эрнесто, ты по-прежнему пишешь Марии Луизе. Она, наверно, не сообщила тебе, что произошло за это время. Дело в том, что Мария Луиза не выносит долгого одиночества. Не стану утверждать, что она страстно полюбила Родольфо, но она привязалась к нему, так как он давно о ней заботился. А его очень уговаривала мать, особенно после смерти отца, который оставил ему в наследство прекрасный дом на руа Дантас, на самом берегу. Я повторяю, Мария Луиза не создана для того, чтобы быть одной. В конце концов она приняла предложение Родольфо. Мне кажется, она довольна и чувствует облегчение...»

Ну вот и окончательный ответ, он у меня в руках. Самую тяжкую неизвестность было легче перенести, чем то, что я узнал, это было невыносимо. Лучше было ждать, бесплодно ждать неделю за неделей. Теперь я знал — ждать бессмысленно.

Я заперся у себя в комнате и сказался больным. Ко мне стучался Густав, я ему не ответил.

Потом я кинулся в Грейфсвальд, может быть, потому, что отец хорошо знал Марию Луизу. Я сразу сказал: «Она вышла замуж за Родольфо».— «Я всегда думал,— сказал отец,— что она не приедет. Она не может жить здесь. Ты должен это понять».

Мои отношения с отцом были не такие, как у других. Мы долго жили вдвоем. Над нами вечной тенью лежало воспоминание о смерти матери.

Кончилось постоянное ожидание Марии, и исчезла важнейшая часть моего «я». Исчез главный смысл моей жизни. Я надеялся, что моя работа будет так же важна для Марии Луизы, как присутствие Марии Луизы для моей работы. Бессмысленно тянущееся время прерывалось иногда кратким ожиданием чего-то близкого, например, экзаменов или встречи с какой-нибудь девушкой, которая мне немножко нравилась...

Прошел почти год, и вдруг я получил письмо от Марии Луизы — длинное, исписанное тесными строчками письмо. Она писала, что иногда, когда комната ее полна гостей, ей слышится свист под окном, и тогда она вскакивает и выбегает на улицу, но улица темна и пустынна. А иногда она слышит не свист, а зов. Она сидит одна, задумавшись, и ей слышится зов, не из-за окна, а с конца улицы, слышатся слова: «Зачем ты заставляешь меня так долго ждать» или: «Приди же, наконец». Она бросает все и бежит в город. Она хочет, чтобы я знал — последнее время она много ездила и останавливалась во многих маленьких городках.

В этом длинном, исписанном тесными строчками письме говорилось: «Мы были в Белу-Оризонти. Ты знаешь это место так же хорошо, как я. Мы поехали в горы, поехали в Конгонью, чтобы посмотреть статуи Алейжадинью. Монах, который так хорошо говорил по-немец-

ки,— помнишь, он еще сказал тогда, что он из Баварии,— провел нас по церкви. Потом спустился с нами по лестнице и показывал отдельные сцены крестного пути. Он долго смотрел на меня и вдруг спросил: «Ты рассталась со своим прежним спутником?» Я ответила: «Да» и сказала, что вышла замуж.

Я отстала от всех и села на ступеньку под складками плаща пророка. Я плакала. Монах подождал меня минуту и, когда я подошла и вытерла глаза, сказал: «Не страшись. Ты никогда не будешь одна».

Родольфо, за которого я вышла замуж, Элиза писала тебе об этом,— здесь она впервые упомянула о своем муже,— спросил меня потом: «Что он тебе сказал?» Он всегда хочет знать, кто мне что говорит. Я подумала — ведь он не понимает по-немецки, а монах говорил со мной по-немецки, и ответила: «Ничего особенного».

Сейчас мы на две недели приехали в Баию по каким-то делам мужа, в них я ничего не смыслю. Здесь я плохо сплю. А когда я не сплю, у меня в голове только то, что меня окружает. Но когда мы возвращаемся в Рио, ты выходишь из каждой двери, я слышу, как постоянно и гневно ты меня зовешь.

И здесь мне трудно постичь, что мы разлучены. Это доходит до меня как сквозь туманную пелену. В Рио я подолгу могу видеть и слышать тебя. Но почему я не иду рука об руку с тобой, этого я и там постичь не могу...»

Письмо перевернуло мне душу. Я написал Марии Луизе, спрашивая, куда мне выслать ей деньги. А едва отослав письмо, вспомнил, что она теперь состоятельная женщина. Вслед первому я отправил второе письмо. Пусть она выезжает немедленно, пусть больше не колеблется нам на беду. Но беда пришла. Мария Луиза не приехала и даже не ответила на письмо. Может быть, за ней строго следили? Может быть, она написала мне из Баии в порыве чувств, охвативших ее внезапно и также внезапно исчезнувших?

В ноябре меня вместе с группой студентов послали в Циттау на встречу молодежи трех стран. Я был убежден, что, вернувшись, найду письмо от Марии Луизы. Но всю зиму, последовавшую за этим, она не писала мне. Она не писала мне больше. Она замолкла. Может быть, в каком-нибудь из моих писем было что-то, сильно ее задевшее? Или она уехала с мужем куда-нибудь далеко — на Амазонку, в Манаус, еще куда-нибудь? Мне оставалось только гадать. А может быть, муж Марии Луизы придумал что-нибудь, чтобы развлечь ее, вывести из мрачного настроения. Постепенно я понял, что в скором времени она не напишет.

Снег лежал на крышах и на ветвях деревьев, на мостовой он уже был растоптан и почернел. Я думал: в Бразилии не бывает снега. Деревья не сбрасывают там листву. Только одно дерево напоминает деревья севера. Дикий миндаль. Возможно, и человек меняется в стране, где все иное, чем здесь. Даже Мария Луиза изменилась. Но нет. Она — нет. Я все думал, а снег давно растаял, и деревья в городе зазеленели. В той части города, где я жил, было мало деревьев.

Капитан пригласил нас всех на ужин.

— Таков обычай,— сказал Садовский,— когда пересекают экватор.

— Неужели на экваторе состоится крещение новичков?—Бледную, молчаливую спутницу монахини внезапно охватили волнение и страх. Когда она первый раз пересекала океан, на борт поднялся бог Посейдон, у него была длинная борода с налипшими ракушками, а матросы хватали пассажиров и окунали в ужасную жижу или мазали длинной кистью. И никто не наказал их за это, все смеялись и кричали, она

сама сильно пострадала. Свидетельство о крещении и о пересечении экватора, которое она получила потом, ее совсем не утешило.

Садовский внимательно слушал, лукаво прищурившись. Это сообщение явно доставило ему удовольствие.

— Ну, барышня,— сказал он,— сестру Барбару оберегает от подобных затей монашеское одеяние. А вообще на этот раз никто не должен бояться. Вас не заставят даже пить водку, которой, я надеюсь, нас угостят. Если наше общество вызывает у вас опасения, вы сможете спокойно поужинать, как обычно, одна или с сестрой Барбарой. И потом получите настоящее свидетельство о крещении, и никто не измажет вас смолой и не окрестит в бульоне.

— Мне не нужно свидетельства о крещении,— ответила бледная, худая барышня, ставшая разговорчивей в ожидании предстоящих событий.— Оно у меня уже есть. Я приложила его к своим проездным документам, чтобы не повторилось ничего подобного.

— К вашим проездным документам? — осведомился Садовский, глаза его смеялись.

— Разумеется. На всякий случай. Как доказательство того, что я не нуждаюсь во вторичном крещении.

Садовский повернулся к своей соседке, чтобы скрыть улыбку. Потом он рассказал мне: эта барышня тридцать лет назад приехала в один из больших монастырей в Баии не как монахиня, а как экономка. Очень может быть, что из Польши ее пошлют обратно и она будет сопровождать другую монахиню, из тех, кого особенно ценят.

— Значит, в этом монастыре сестру Барбару особо ценят?

— По-видимому. Я часто вижу, как она крутится возле помещения команды. Не потому, что ее привлекают мужчины. Она разговаривала со многими моряками в канун церковного праздника, уговаривая их не участвовать в этот день ни в каких развлечениях. Я иногда наблюдаю за ней и слушаю, что она говорит.

Старик Посейдон с трезубцем и ракушками в бороде не пришел к нам. Нас пощадили. Не только монахиня была среди нас, но и знаменитый певец с женой и консульша. Это крещение позабавило бы одних детей, а они уже принимали в нем участие во время прежних плаваний. Но в честь торжественного события была нарушена дистанция, и два пассажирских стола сдвинули с капитанским.

Капитан был спокоен, приветлив, но сдержан. Сейчас, оглядываясь назад, я могу по-настоящему оценить его внешность. В нем можно было угадать человека, доставлявшего во время войны боеприпасы в Мурманск. По нашей настойчивой просьбе он рассказал об этих рейсах, когда они всякий раз бывали на волосок от смерти.

Для каждого из нас капитан нашел нужные слова. К моему изумлению, он гораздо лучше Садовского знал всех пассажиров. Знал даже, что у старой женщины — няни поляков, живших в Рио и одаривших ее на прощанье пестрыми шерстяными тряпками,— сын мастер-каменщик. На этот раз на ней не было ничего шерстяного. Она была в черном платье и красивой шали с бахромой. Она робко сказала:

— Не знаю, сможет ли сын меня встретить?

Капитан успокоил ее:

— Мы сами посадим вас в поезд.

За столом Трибеля и Барча сидела очень красивая черноволосая, сероглазая женщина. Раньше я не мог разглядеть ее лица, так как обычно она сидела ко мне спиной. Каждые два года она навещала свою сестру в Бразилии. Она уже плавала однажды на «Норвиде» с нашим капитаном. Он хорошо знал семью ее сестры и ее мужа — архитектора в Гданьске.

Наискосок от меня рядом с капитаном сидел мой сосед по каюте —

Войтек. Сегодня вечером он был довольно тщательно одет и выбрит. Войтек не принимал участия в нашей беседе. Он жадно пил польскую вишневку. Я заметил, как капитан несколько раз внимательно посмотрел на него, их взгляды встретились, и тогда Войтек начал пить по-настоящему.

Перед ужином мы с Трибелем гадали, что нам подаст повар на десерт: бразильское или польское блюдо. Он приготовил удивительно много превосходных разнообразных кушаний из мяса и рыбы, холодных и горячих, сам раскладывал еду, сам разливал вино и наслаждался нашими похвалами. Он не улыбался и не смеялся. Его лицо хранило высокомерную серьезность. Ни я, ни Трибель не угадали, какой нас ждет десерт — подали лакомства обеих стран: ананасные чаши, наполненные мякотью и соком, золотисто-желтые печеные бананы, а кроме того, блестящие красные яблоки, к которым жадно потянулись все, особенно дети, и груши в шоколаде на польский манер. Потом прекрасный кофе и вишневку, повар раскупорил бутылки на наших глазах.

Я заметил, что у Войтека дрожат руки. Он было снова потянулся за бутылкой, но ее перехватил первый помощник, чтобы налить вина своей соседке.

Мы сидели, по-моему, за десертом, когда раздался резкий гудок парохода. Дети, толкая друг друга, вскочили и кинулись на палубу. Капитан рассмеялся:

— На экваторе не на что смотреть.

То ли от волнения, то ли чувствуя, что за ним никто не наблюдает, Войтек быстро пил рюмку за рюмкой.

Вдруг — все молча, с наслаждением вдыхали аромат кофе в освещенной лучами заходящего солнца кают-компании,— вдруг Войтек закричал:

— Не хочу! Я не хочу!

Капитан резко повернулся к нему, что-то приказал. И Войтек замолчал, подавившись криком. Потом сорвал с себя галстук и воротничок, стал рвать на себе рубаху. Первый помощник вскочил и схватил Войтека за руки, пытаясь удержать его. Вошли два матроса. Первый помощник скомандовал: «Клебс!» И Клебс, низкорослый и слабый на вид, схватил Войтека железной хваткой. Матросы потащили его прочь. По их лицам было видно, что они привыкли ко всему.

Я пробормотал:

— Надеюсь, не в нашу каюту.

Кто-то ответил мне;

— Для этого есть медицинский изолятор.

У пассажиров был растерянный вид. Я уже начал опасаться, что наш праздник будет вовсе испорчен, но тут среди общего испуганного молчания поднялся певец и скромно спросил, не разрешим ли мы ему спеть. Все обрадовались и постарались отвлечься от сумасшедшего Войтека. Мы выслушали небольшое вступление певца:

— Мой друг положил на музыку мои любимые стихи Норвида. Норвида, чье имя носит наше судно. Я спою вам одну из этих песен.

Я и не подозревал, что маленький, степенный господин, который почти неделю сидел против меня, способен на такое. Теперь мне было понятно, хотя я и не особый поклонник пения, почему плакали в Рио его соотечественники. И еще я понял, почему именно его посылала страна как своего представителя. Маленькая жена певца с гордостью смотрела на мужа.

После пения, завершившего праздник, мы разошлись. Певец с книжечкой в руках подошел ко мне и Трибелю.

— Вам надо познакомиться с этим поэтом,— сказал он. Певец хо-

рошо говорил по-немецки. Его голос и при чтении оставался звучным. Он перевел нам несколько строк:

По этой стране, где каждую крошку хлеба,
упавшую на землю, подымают благоговейно,
тоскую я, о господь!
По стране, в которой считается грехом
разрушить гнездо аиста на грушевом дереве,
потому что оно принадлежит всем,
по этой стране тоскую я.
Я тоскую и по другим вещам.
По людям, которые считают, что «да» — это «да»,
а «нет» — это «нет».
И отличают свет от тени.
Где нет никому до меня дела.
И так оно и должно быть, ибо я не оставил там друга,
по этой стране тоскую я, о господь!

Жена певца смотрела тихо и приветливо. Эта книжечка всегда у них с собой, сказала она. Как они обрадовались, что судно носит имя поэта!

Пассажиры были внимательны к Трибелю и ко мне. Они уступили нам безветренное и тенистое место на палубе и не занимали его даже тогда, когда Трибель, внезапно разволновавшись, начинал ходить взад и вперед.

То, что Трибель рассказывает, а я его слушаю, стало. видно, для них неотъемлемой частью нашего плавания. И если я поначалу еще удивленно раздумывал, почему Трибель раскрывает мне, постороннему, свою душу, то теперь я только напряженно гадал, как будет развиваться его история. Я уже считал, что, рассказывая об этом именно мне, он поступает правильно.

Он сказал:

— Вы должны знать, что последнее письмо Марии я получил, когда от нее уже давно перестали приходить письма. Ожидание не помешало, напротив, скорее способствовало моему учению. Я словно бы сделал своим девизом отчаянное: «Именно теперь, несмотря ни на что».

Я уже выбрал тему для будущей диссертации и через несколько недель должен был стать ассистентом известного специалиста по внутренним болезням профессора Фришауфа. Постепенно я понял — и это было главное,— что занятия помогают мне подчинить себе время. Быть может, я бессознательно почувствовал, что однажды останусь один на один с безжалостным, бесконечно тянущимся временем, и вместе с тем надеялся как на чудо, что Мария Луиза в один прекрасный день внезапно войдет в мою комнату. Тайно от всех приедет и придет ко мне, а я, я многого добьюсь к тому времени.

Конечно, я не прекращал попыток разыскать ее. Припоминая то одного, то другого товарища школьных лет, писал каждому из них, просил подать о себе весточку, сообщить, как ему живется, и спрашивал, между прочим, не встречал ли он Марию. Почти все, кому я написал, ответили сравнительно быстро. Они, видно, догадывались, как этот вопрос важен для меня, но никто из них давно Марию не встречал. Один предполагал, что она переехала в другой город, в Ресифи, кто-то ему рассказывал об этом, а другой упоминал про Соединенные Штаты. Попутно они сообщали мне разные новости, например, что Варгас вторично стал президентом, и похоже, на этот раз собирается править прямо-таки либеральными методами: неожиданно он освободил часть заключенных. Мне писали и о том, что меня совсем не интересовало, например, что Элиза побывала на гастролях во многих странах. Один из моих знакомых ничего не знал о Марии, но сообщил, что тетя Эльфрида больше не работает в магазине. Вероятно, Родольфо взял на себя заботу о ней

на склоне ее лет. Так или иначе, но по словам одних выходило, что о Марии Луизе уже года два никто ничего не слышал, по словам других, кто-то ее видел недели две назад: она вышла из машины марки «шевроле», великолепно одетая и с сердечной улыбкой поздоровалась с ним; говорят, она обычно живет в доме, который Родольфо получил в наследство от отца.

Разумеется, случалось, что мне нравилась какая-нибудь девушка на нашем факультете; возможно, что со стороны я казался влюбленным в нее, и девушка радовалась этому. Признаюсь откровенно, я и сейчас дружу с одной очень молоденькой девушкой. Дружу. Но и только. Потому что в отношениях с ней, так же как и с другими, обязательно наступит минута, когда она спросит: «Почему ты не договариваешь? Ты что-то скрываешь. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Если вопросы становятся очень назойливыми, я отвечаю: «Да, я уже много лет люблю одну женщину. Нет надежды, что она приедет, но я не могу отказаться от ожидания. Пожалуйста, больше ни о чем меня не спрашивай». Обычно вслед за этим наше знакомство кончается.

А тем временем Стокгольмское воззвание уже обошло весь мир. Корея подверглась нападению. В Варшаве состоялся Второй конгресс сторонников мира. А в августе 1951 года в Берлине была большая встреча молодежи и студентов. Густав, с которым я продолжал дружить — он учился на экономическом факультете и должен был в этом году закончить учебу,— радовался моей активности. Не в его характере было спрашивать, что стало с большой любовью, так долго поглощавшей все мои мысли. Я бы уклонился от ответа или сказал бы: «Я все еще жду». И он изумленно спросил бы: «Все еще?»

Пожалуй, только отец догадывался о моей неистребимой надежде. Когда я приезжал к нему, он меня ни о чем не спрашивал. И именно по его молчанию я чувствовал, что он все понимает. Только однажды, когда я советовался с ним по поводу довольно редкого почечного заболевания, он сказал, улыбнувшись: «Помнишь, у сапожника Теодозио был такой приступ и вы оба позвали меня на помощь?» Несколько минут мы молчали. Вероятно, он вгляделся в мое лицо, потому что вдруг сказал: «Я думаю, у Марии Луизы давно есть ребенок. И она целиком поглощена им».

Я ничего не ответил, я даже ничего не почувствовал.

Однажды — у меня уже давно была собственная комната — ко мне пришел врач Гейнц Шульц, с которым мы долго жили вместе в студенческом общежитии. Он был немного старше меня и работал ассистентом хирурга. Он сказал: «Я тебя разыскал по такому делу: у моего профессора есть друг — профессор Дальке из Лейпцига. Ты слышал о нем: всемирно известный анатом. Он, вероятно, первый немец, которого после войны пригласили за границу. На большую выставку в Сан-Паулу. Теперь ты, мой милый, догадываешься, о чем пойдет речь? Я думаю, ты не прочь снова повидать Бразилию, друзей и знакомых, которых там оставил. А профессору Дальке нужен переводчик, по возможности врач. Дело в том, что вы должны взять с собой в Сан-Паулу анатомическую модель женщины, все органы которой сделаны из стекла и освещаются электричеством. Это очень сложная и прекрасно удавшаяся совместная работа техников и врачей. Она, быть может, затруднит ваше путешествие, но тебя, я думаю, это не остановит. Я видел Дальке у своего профессора, он поначалу был прямо-таки возмущен стеклянной спутницей, которую ему навязывают. Но потом успокоился. Вероятно, понял, что на выставке такой экспонат произведет большое научное, а значит, и политическое впечатление. Когда он сказал, что ему нужен надежный спутник, я сразу же подумал о тебе. И убедил моего профессора поддержать это предложение. Таким образом, если согласишься, все будет в порядке». Я согла-

сился и поблагодарил. Мне удалось скрыть чувства, овладевшие мною: мучительную радость и такой же мучительный страх. Неужели я действительно скоро увижу Марию? Где? Как? Сумеем ли мы с ней найти нужные слова?

Меня представили Дальке. Он производил впечатление высокомерного и самовлюбленного человека. С показным дружелюбием и шуточками снисходил он ко мне подобно царствующей особе, желающей продемонстрировать народу свою благосклонность.

Мы вместе осмотрели стеклянную женщину. Дальке на выставке должен был давать пояснения, а я — эти пояснения переводить. Мы включали свет и обдумывали, какой текст будет иметь успех у посетителей. Во время этих репетиций мы много и искренне смеялись. Дальке утратил свое высокомерие, но ругался, что его превращают в циркача. Я утешал его, говоря, что стеклянная модель — чудо техники, и рассказывал ему о прекрасных врачах, работающих в Бразилии. Некоторые из них — друзья моего отца. На выставку будут безусловно приходить, кроме интеллигенции, самые разные люди, неосведомленные, одержимые предрассудками; мы сможем содействовать распространению знаний.

Дальке кивал головой с улыбкой взрослого, перед которым юнец разглагольствует о своих надеждах.

Стеклянную женщину под нашим присмотром упаковали в ящик. Мы торжественно обещали ее оберегать. Я подумал, что это обещание будет главным образом моей заботой: Дальке не производил впечатления человека, который станет все время проверять, следует ли наш груз с нами и достаточно ли заботливо он хранится. Вначале он вообще предполагал лететь самолетом, но внезапно переменил свое намерение. Он взял с собой много вещей — приборы и научные книги,— по его словам, обещанные друзьям. Он решил, что лететь с таким багажом будет слишком дорого. Не может же он требовать от государства, чтобы оно оплачивало его прихоти.

Я, как и обещал, не упускал из виду ящика со стеклянной моделью. На профессора Дальке, на его багаж и его рассуждения я обращал гораздо меньше внимания.

Ящики и сундуки ехали вместе с нами, вначале до Варшавы, а из Варшавы в Гдыню, где находилось наше судно. В Варшаве я должен был организовать наше дальнейшее путешествие и перевозку стеклянной женщины. Из-за этого я почти не увидел города, только памятник Варшавского восстания и памятник восстания в гетто; все ужасы гетто сгорели и стали пеплом в пламени восстания, я чувствовал, что обязательно должен побывать здесь. Город, сожженный вермахтом при отступлении, черный, как угольная шахта, ко времени нашего приезда был уже в значительной части восстановлен. Хотя на месте бывшего гетто, где возвышается памятник, не оставалось ни развалин, ни следов исторических событий, там еще не построили домов и не разбили садов, как теперь. Это была пустыня, от которой сжималось сердце, пустыня, которая не простит людям забвения.

Должен сказать, что во время ночной поездки к памятнику Варшавского восстания и памятнику восстания в гетто я совсем не думал о себе. Здесь все служило живейшим напоминанием об ужасах нацизма и войны и в то же время было бесспорным доказательством, что всякое преступление рано или поздно вызывает отпор и влечет за собой расплату. И я не мог не думать об этом.

В эти часы я забыл о себе, забыл о цели нашей поездки и даже о моей любви к Марии Луизе.

Если я говорю, что забыл о своей любви, не подумайте, что Мария Луиза исчезла из моих мыслей и чувств — нет, просто я оторвался от постоянных мучительных раздумий, словно они не подобали этому месту.

Мне казалось, что Мария Луиза идет рядом со мной. Мы оба молчали, потрясенные так, как это бывает только в юности.

В Варшаве мы с Дальке оставались очень недолго, и я ничего другого осмотреть не успел. Дальке один разъезжал по городу. Потом он рассказывал всякую всячину об удивительных работах по восстановлению города. Помнится, он говорил о том, сколько страданий причинили немцы другим народам. Не хочу быть к нему несправедливым. Но сам он был во время войны офицером. Как знать, весьма возможно, что и он причинял кому-нибудь страдания.

Далее мы с нашим ящиком отправились в Гдыню. Я издалека увидел наше судно и окинул его взглядом моряка. В Европу я возвращался на французском судне. А это было грузовым с несколькими каютами для пассажиров, вроде нашего «Норвида». Почти новое, оно сверкало белой краской. Мне оно очень понравилось. Капитан и помощники были другие, а кок, как ни странно, тот же, что у нас теперь.

Едва мы поднялись на борт и еще не успели покинуть гавани, как Дальке стал гораздо разговорчивее. Он показался мне радостно возбужденным, когда мы отплыли.

Вы понимаете, я сам находился в состоянии такого тревожного волнения, что мне были безразличны вопросы Дальке; все, что он делал, я видел словно через завесу. Ощущение, что Мария Луиза сопровождает меня,— исчезло. «Родольфо — коммерсант. Они несомненно читают списки пассажиров,— думал я.— Там знают, что Трибель и Дальке скоро прибудут. Встретит ли она меня? Или будет избегать? Вернется ли она со мной?»

Дальке был очень доволен своей каютой. Он прекрасно говорил по-английски и быстро заводил знакомства. Но не оставлял и меня своим вниманием, хотя мне было бы приятнее остаться наедине с моими тревогами. Дальке расспрашивал меня не только о Рио и Сан-Паулу, но о Монтевидео и других латиноамериканских столицах. Сейчас я понимаю, что оба мы не проявили достаточного интереса ни к тому, что видели, проходя через Каттегат и Скагеррак, ни к Антверпену, ни друг к другу. У каждого были свои причины для волнения.

Позже я упрекал себя, что мало внимания обращал на своего спутника, но потом, уже дома,— а дом для меня теперь, без всякого сомнения, страна, где я живу и работаю,— меня утешали, что все равно я не мог бы изменить ни этого человека, ни его намерений. Из всей поездки я запомнил только, как на датском берегу нам показали замок, где Гамлет увидел призрак своего отца.

Дальке часто навещал меня, и на сей раз, зайдя ко мне в каюту, он со странной усмешкой спросил, не мечтаю ли я тоже о призраке. Я ответил:

«Нет, не о призраке, о человеке из плоти и крови».

«Да, да. Мне говорил ваш друг, что в Бразилии у вас есть близкие».

Я ответил кратко:

«Да». А про себя подумал: «Тебе-то какое дело».

Но во время долгого пути он часто делал подобные намеки. Например, говорил: «Как вам, наверно, трудно было привыкнуть к Берлину». Или: «Неужели вы смогли привыкнуть к Германии?»

Я отвечал ему сотни раз, что главное для меня — моя работа и мои друзья. Во время этих разговоров он вопросительно, даже испытующе смотрел на меня. Словно бог знает что спрашивал, хотя, я уверен, ему было безразлично, привык я или не привык.

В Антверпене пароход принял на борт ящики с гвоздями, винтами и всякими инструментами для механиков. Я почти все время проводил в грузовом трюме, следя за тем, чтобы не повредили наш ящик. Кроме

того, у меня не было документов, разрешающих покинуть судно и сойти на бельгийский берег.

Я удивился, когда, вернувшись на палубу, узнал, что к Дальке приходил посетитель, и, получив разрешение сойти на берег, Дальке отправился с ним в кафе.

После Антверпена мы вышли в открытый океан.

О том переходе через океан я могу рассказать немногое. В общем все было то же самое, что сейчас, только в противоположном направлении. Но сердце мое было исполнено неуверенности и тревоги. Сегодня я могу рассказать вам все. Я понимаю, как все произошло, почти понимаю, и видите ли, Франц Хаммер, когда я откровенно говорю с вами, бог знает почему именно с вами, мне все становится яснее. Вы уже наполовину знаете почему...

Накануне нашего отъезда — я имею в виду этот, последний отъезд, когда мы с вами познакомились,— я был потрясен одной встречей, последней... Я солгу, если скажу, что теперь мне все совершенно ясно. Вы мне, пожалуйста, скажите потом, что вы думаете об этой встрече. Она заключила все то, о чем я рассказал вам во время нашего плавания. Но мне не хотелось бы вас задерживать. Ведь вам, наверно, интересно поговорить и с другими?

Я ответил искренне:

— У меня хватит времени, я каждый день успеваю поговорить и с другими пассажирами. Но мне хочется узнать, что же все-таки случилось с вашей Марией Луизой.

— Когда наше путешествие приблизилось к концу, Дальке потерял охоту со мной разговаривать. Он знакомился с пассажирами, главным образом говорившими по-английски. То, что интересует нас, Хаммер, меня и других, Барча например,— звезды в небе, летающие рыбы в океане,— ко всему этому Дальке был равнодушен. Иногда он расспрашивал меня о достопримечательностях Бразилии, и я с удивлением замечал, как изменилось его настроение и его поведение.

Чем ближе был час прибытия, тем тяжелее становилось мне, меня охватили смутные, неясные предчувствия. А Дальке становился все веселее и оживленнее.

Вечером мы проплыли мимо большого, окутанного туманной дымкой острова, вы его теперь знаете. Я сказал Дальке, что это своего рода аванпост Бразилии, и он с удовлетворением потер руки. Мне это его движение ужасно не понравилось. Но я больше об этом не думал. Я был раздавлен ожиданием.

Вдруг, не обращая внимания на взволнованную речь Трибеля, к нам подбежали польские детишки. Они что-то весело кричали, что именно — мы не поняли. Они просто не дали Трибелю рассказывать дальше и потянули нас за собой.

На носу собрались почти все пассажиры. Они, улыбаясь, с удивлением смотрели в воду. Большая стая дельфинов сопровождала наш пароход. Их мордочки с веселыми косыми глазками высовывались из воды и глядели на нас, словно приглашая разделить их забавы и желая установить, что за типы собрались на этом судне. Они плыли так же быстро, как мы, и без усилий могли плыть еще быстрее. Им явно доставляло удовольствие, не отставая от нас, гоняться наперегонки и весело состязаться друг с другом. И все время они поглядывали наверх, на нас. Они напоминали выводок щенят, умеющих скакать по воде.

Я почувствовал себя таким же счастливым, как веселившиеся, бог знает по какой причине, дельфины. Теперь я был вполне доволен мор-

ским путешествием. Мне пришло в голову, что, будь я с семьей в горах, я бы не увидел ничего похожего.

Дельфины живут в воде и прыгают в воде, но у них настоящие лица, пожалуй, более настоящие, чем у некоторых людей, таких, например, как Дальке, про которого мне рассказывал Трибель. И я даже подумал: все, что привело меня на это судно — недосмотр моих коллег и долгая скучная поездка в Риу-Гранди-ду-Сул,— все это уже позади. От радости я забыл все плохое. Мне хотелось, чтобы дельфины все время плыли рядом.

Но спустя несколько минут они вдруг исчезли в океане, наверно, какой-нибудь дельфин подал знак. Трибель вздохнул. Его лицо погрустнело. Некоторое время мы еще смотрели на воду, но она казалась пустой и безжизненной. Нам ничего не оставалось, как вернуться на наше обычное место.

Трибель продолжал:

— Мы прибыли в Рио. Дальке, и до того радостно возбужденный, взволнованно призывал меня любоваться красотами открывшегося ландшафта, как будто я не бывал здесь раньше. Было ясно, что пароход не сможет ради нас одних отправиться в Сантус, порт около Сан-Паулу.

Когда спустили трап, я робко оглядел берег. Правда, я знал, что здесь встречают пассажиров только в редких случаях. Тем не менее нас ждал переводчик, посланный администрацией выставки. Он изумился, услышав, что я говорю по-португальски не хуже его. Ночной поезд, сказал он, доставит нас и наш груз в Сан-Паулу. Это был маленький, смуглый, вежливый человек. Он сейчас же отправился с нами в таможню, Alfândega. Как и во времена моего детства — словно с тех пор суда прибывали беспрерывно, впрочем, они и прибывали беспрерывно,— в огромном помещении кишела разноликая и разноязыкая толпа. Мы прождали почти час, пока наш багаж был досмотрен. И понятно, ведь на сей раз здесь не было моего пронырливого дяди, который все мог ускорить. На нашем длинном, похожем на гроб ящике так заботливо было выведено: «Открывать с осторожностью!» на польском, немецком и португальском языках, что таможенникам, конечно, захотелось посмотреть, что там скрывается. Они бережно и медленно открыли крышку, охая и ахая, приветствовали сверкание стеклянной женщины. Коснуться ее они не решились.

Тем временем к нашей группе подошел седовласый, хорошо одетый господин европейского вида. Я не обратил внимания на его приветствие, тем более что оно относилось только к Дальке. Дальке пробормотал, что это его родственник.

Мое внимание привлекло другое лицо. Среди множества людей, сновавших между отделениями таможни, среди чемоданов и ящиков появилась пожилая женщина, явно местная, а не приезжая. На ней было серое платье. Она не стояла на одном месте в ожидании багажа. Она появлялась то здесь, то там, как летучая мышь, цепляющаяся за каждый выступ. Стоило мне окинуть взглядом огромный зал таможни, глаза мои сами собой натыкались на эту женщину, где бы она ни находилась. Что-то в ней показалось мне знакомым.

Я продолжал следить, чтобы наш ящик закрыли как следует, потому что доктор Дальке занимался теперь исключительно своим родственником. Но стоило мне поднять глаза, как я видел эту женщину в сером. Она кружила среди приезжих, между группами монахов, в толпе причудливо одетых каменщиков и крестьян. Я заметил, что она описывает все более тесные круги вокруг нас. Сомнений не было, она искала меня.

Вместо того чтобы просто подойти, она издали подала мне знак, что хочет поговорить со мной. Я сразу вспомнил, откуда ее знаю. Это была Эмма, немецкая служанка, работавшая у тети Эльфриды после того, как выгнали Одилию.

Когда она, наконец, приблизилась настолько, что могла услышать, я окликнул ее:

«Это вы, Эмма? Что вы хотите мне сказать?»

Она ответила скромно и решительно:

«Да, господин Эрнесто, мне необходимо поговорить с вами».

«Но нам надо сейчас же ехать в Сан-Паулу, на большую выставку»,— сказал я.

«Тогда я разыщу вас завтра там. Я должна поговорить с вами как можно скорей».

«Где Мария Луиза?» — вырвалось у меня.

Она мрачно ответила на ходу:

«Где ей быть? На небе у господа бога. Завтра я все вам расскажу».

Она исчезла так быстро, что вся наша встреча показалась мне неправдоподобной...

Лишь постепенно до меня дошло то, что она сказала. Нет, я не ощутил страшной боли. Мне казалось, я предчувствовал, что мне грозило. Отправляясь в путь, я уже ждал несчастья. Я думал, что, как только сойду на берег, произойдет непоправимое.

И вот оно произошло. Наступила полная пустота, как тогда, когда Элиза сообщила мне, что Мария Луиза не приедет. Нет, пожалуй, тогда еще оставалась надежда — вдруг что-нибудь изменится в будущем и мне удастся снова встретиться с ней,— попытка, от которой нельзя отказаться, пока жив любимый человек. Кажется, я продолжал разговаривать с окружающими — с таможенниками, с переводчиком, с Дальке. Но напряженное желание услышать рассказ Эммы нарастало. Как только Эмма расскажет мне все, я снова увижу Марию Луизу. Смерть сделает ее менее мертвой для меня.

Мы освободились на таможне, и представитель выставки повез нас в ближайшую churrasqueria — харчевню, где подают жареное мясо. Меня глубоко поразил издавна мне привычный и неожиданный запах шипящего, подгорающего мяса. Я встал и подошел к огню, а потом, с усилием преодолевая мучительное оцепенение, вышел на улицу. Это было мне необходимо. Необходимо было вдохнуть аромат фруктов на ближайшем лотке. Я был оглушен, вместе с этим ароматом во мне поднялось все, что я забыл: как я вместе с девочкой из нашей школы в первый раз делал покупки на маленьком уличном базаре, как она готовила нам, мне и отцу, лакомство из авокадо. И все остановки на пути в Конгонью, и черные оборванные дети с надрезанными апельсинами. Вам это трудно понять. Я вдохнул все это и в первый раз понял: она больше никогда не сможет этого вдохнуть.

Я вернулся к нашему столу. Остальные уже кончили есть. Переводчик заказал фрукты, их поставили перед нами на большом блюде. Дальке неловко чистил манго. Моя ревность к плодам этой земли была так неразумна, что я готов был вырвать манго из его рук.

Ночью мы поехали в Сан-Паулу. Выставка была пестрым и шумным миром в мире непревзойденной пестроты и шума. Наша стеклянная женщина, освещенная изнутри электрическим светом, едва мы ее распаковали, привлекла к себе невообразимо много народу. Я раздавал проспекты. Посетители изучали их и проверяли, на месте ли у стеклянного создания печень и почки, легкие и сердце. Некоторые только изумленно смотрели на стеклянную женщину.

Мы с Дальке часто смеялись. Иногда подходили подростки, потрясенные тем, что девочки, с которыми они целуются, устроены внутри именно так. К сожалению, я мало внимания обращал на Дальке.

Под вечер в толпе мелькнуло угрюмое лицо Эммы. Она искоса взглянула на наш экспонат. Ей было безразлично, состоит ли женщина из плоти и крови или сделана из прозрачного стекла.

Она дождалась, пока потушили огни и посетители разошлись. Ей пришлось еще подождать, пока мы спрятали нашу женщину в ящик и передали ночным сторожам. Я пригласил Эмму поужинать. Но она уже поужинала у родственников. Она освободила себе этот день. Госпожа Альтмайер — это была тетя Эльфрида, Эмма всегда называла ее по фамилии — живет в другом конце города с тех пор, как отошла от дел. «Я работаю в отеле,— сказала Эмма.— Мне это больше нравится, чем служить у хозяйки. Нелегко мне было с вами. А теперь, если я хочу, меня может заменить кузина».

Мне вспомнилось, как нам в свое время не понравилась эта Эмма. И тем не менее вскоре она стала незаменимой: мы посылали ее друг к другу с записками и поручениями.

Я выпил уже несколько рюмок, когда Эмма медленно и угрюмо начала: «Мой шеф всегда получает список приезжих. На прошлой неделе он позвал меня: «Посмотрите-ка, Эмма, может быть, вы знаете таких — Дальке и Трибель. Они прибудут на выставку в Сан-Паулу...»

Нет нужды, дорогой мой господин Эрнесто, рассказывать вам, что означал для Марии Луизы ваш отъезд. Одиночество — ад для Марии Луизы. Я, например,— я всю жизнь одна. Я не привыкла к обществу.

Когда вы уехали, Мария Луиза не плакала и не звала вас, она буквально застыла, это длилось не часы, а дни. Ее тетка не знала, что делать, она дрожала за жизнь девушки и, наконец, позвала Элизу. Вы еще помните Элизу, ее подругу?

«У вас нет рояля,— сказала Элиза.— Пойдем к нам, и я сыграю тебе все, что мне нравится в последнее время. Не валяй дурака. Поужинаешь с нами. Я пригласила друзей послушать музыку».

С тех пор Мария часто ходила к своей подруге Элизе.

Среди гостей Элизы почти всегда бывал Родольфо, вы знаете, он молился на Марию Луизу. Она и слышать о нем не хотела. Из-за вас. Он иногда до глубокой ночи стоял у наших дверей. Какие цветы он ей присылал и какие редкостные подарки! А она только смеялась. Из-за вас. Потом она стала часто уходить по вечерам к своей подруге.

Несмотря на это она ужасно ждала ваших писем. И часто бегала на почту, спросить — не затерялось ли письмо. Когда приходило письмо, написанное вашей рукой, она жадно, как изголодавшаяся, прочитывала все до последней буковки, даже адрес. А потом бросалась на кровать.

Однажды я спросила ее: «Что же будет? Вы поедете к нему или он вернется сюда?» — и тут ее прорвало. Сначала тихо, потом все громче и, наконец, страшно возбужденно она призналась мне, именно мне, потому что больше у нее никого не было — Элиза для этого, видно, не годилась, тетка тоже, а Родольфо тем более — к тому же ей нужно было выговориться по-немецки: «Кто знает, увидимся ли мы! Откуда ему взять столько денег, чтоб приехать ко мне или выслать их сюда, чтоб я приехала к нему? Все, что мы придумали,— ребячество. Но он все еще верит, что мы встретимся, и даже скоро. И я, когда читаю его письма, его исполненные удивительной верой письма, я сама начинаю верить, что наша встреча близка...»

Шли дни. Проходили недели и месяцы, из них вырос год. И словно во сне из этого года родился новый и, хотя никто об этом не просил, третий.

Дорогой господин Эрнесто, вы же знаете, что одиночество для Марии Луизы было мукой. Часто она распахивала двери и кричала: «Эрнесто».

Не буду больше говорить об этом времени. Думаю, под конец она была убеждена, что нет пути от вас к ней или от нее к вам. Вы правда хотите, чтобы я рассказала вам все?»

«Конечно, рассказывайте все, как было...»

«И вот однажды ко мне пришли Родольфо и Мария. Ее рука лежала у него на плече. Она сияла. Или мне показалось так? Она сказала: «Ты первая, кому мы доверяем нашу тайну: мы жених и невеста...»

Хотя я всегда сомневалась в том, что вы вернетесь, я посмотрела на Марию как на безумную. Ведь она была ваша, и только ваша невеста. Перед богом и людьми. Все иное было совершенно невозможно. Не деньги на дорогу, а свое богатство — дом на руа Дантас дал ей Родольфо.

Как-то она сказала мне: «Каждую ночь — одна. И сколько еще таких ночей?» Больше она никогда так не говорила. Но я часто слышала, как горько она плачет. Только по ночам. Словно теперь она узнала, что такое одиночество. Да, она горько плакала и после помолвки.

Она по-прежнему показывала мне ваши письма. А однажды сказала: «Если ехать к нему, нужно ехать немедленно. Элиза одолжит мне деньги, Эрнесто ей тотчас вышлет их. Как ты думаешь? Действительно, я просто возьму и поеду».

Я совсем не уверена, что Элиза одолжила бы ей деньги. Но меня радовало, что она снова верит в вашу встречу. Потом она перестала показывать мне письма. Ее лицо мрачнело, когда она их читала. Один раз она воскликнула: «Он не понимает, что на самом деле возможно и как добиться, чтобы это стало возможным».

На свадьбу я пошла полюбоваться ее красотой. Вообще-то я не придаю значения красоте. Но Марию Луизу я любила как собственное дитя. Ее лицо было белым как снег. Здесь совсем не бывает снега. Ну, как цветы в ее волосах. Она надела венок невесты с достоинством и по праву.

После свадьбы я много помогала ей во вновь отделанном доме на руа Дантас. Я оставалась там ночевать, когда они с мужем уезжали — это бывало довольно часто — и когда нужно было особенно изысканно принять гостей. Господин Родольфо придавал большое значение хорошо поставленному дому. Мария Луиза быстро освоилась со своим положением. Я не помню, чтоб она плакала после свадьбы. Нет, больше она не плакала.

Но немного спустя она как-то подсела ко мне в уголок за кухонным шкафом, это и прежде было ее любимое место, и внезапно как гром среди ясного неба прозвучали тихие и страстные слова: «Ах, Эмма, что бы я делала без тебя! Ты знаешь все мое прошлое. Моя теперешняя жизнь невыносима».

Я спросила: «Разве у тебя недостаточно драгоценностей, которые можно продать? Тайком. Разве ты не можешь просто уехать к нему или вызвать его сюда, к себе?» Она ответила: «Ты что, Эмма, не знаешь законов этой страны? Здесь нет развода. Мне же никто не продаст билета без разрешения Родольфо. А если он приедет сюда, я — жена Родольфо! Что это будет за жизнь!»

Она снова, как прежде, стала ждать ваших писем. Я следила, чтоб Родольфо их не перехватил.

Эрнесто, почему вы не приехали?

Однажды ее муж настоял на том, чтоб устроить большой торжественный прием. Мария Луиза — я слышала от нее и видела это по ней — презирала гостей, которых господин Родольфо обязательно хотел пригласить. Он ведь был коммерсантом и приглашал тех, кто был ему полезен в деловом отношении. Мария Луиза возражала. Потом уступила. Мы приготовили угощенье. Мария Луиза была великолепно одета — в платье золотистого цвета — и напоминала одну из статуй в церкви в Белу-Оризонти. Она попросила меня остаться и переночевать у них, потому что после такого праздника в доме царит дикий беспорядок. Ну, а я, благо я привыкла работать в отеле, убираю все очень быстро. Это

для меня не составляет никакого труда. Раз-два и все снова, как было, чисто и красиво.

Ладно, ради Марии Луизы я осталась у них. Я думала, она захочет выспаться. Но нет. На следующее утро рано — она всегда рано вставала — она появилась у меня в кухне с купальным костюмом в руках. Она сказала: «Эмма, я быстренько выкупаюсь. А ты приготовь пока кофе. Мы выпьем вместе на кухне, как бывало».

Она отсутствовала не больше двадцати минут — вы знаете, руа Дантас у самого моря,— как вдруг в дом вбежали незнакомые взволнованные люди. «Здесь живет эта красавица?» И тут же внесли Марию Луизу. О господи боже! Ее выбросило на скалы. Она была такой же, как всегда. Только бледной, как на своей свадьбе.

Люди спорили: просто ли она утонула и ее потом выбросило на берег или сразу ударило волной о скалы.

Погибло дитя, которое я любила, как свое собственное, хотя у меня и не было своих детей. Я думаю, что собственных детей не любят так, как я любила Марию Луизу.

Именно вы, господин Эрнесто, должны понять, что это не случайность. Рано утром она выходит из дома и живой не возвращается. Конечно, у берега есть крутые скалы. Но есть и пологие, по которым молодежь любит скользить вниз в воду. Некоторые проплывают между скал в открытый океан.

Мария Луиза хорошо все это знала. Она точно знала, где водовороты. Она нарочно выбрала место, которое было ей нужно.

Эрнесто, почему вы не приехали вовремя! Может быть, «вовремя» было еще два года назад. Я имею в виду, за два года до ее смерти. А теперь вы вдруг появились, когда уже поздно. Раз вы приехали теперь, значит, могли приехать и раньше...»

С этими словами Эмма поднялась. Она даже поглядела на свои ручные часы. Видно, говорить вот так напоследок, на ходу, то, что важно другому, вошло у нее в привычку. Она слабо пожала мне руку. Я сделал шаг к двери и спросил, где живет теперь Элиза. «В пригороде. У нее есть дом и сад».

Хотя Эмма была сухой и, как я полагал, неспособной ни на какие чувства, она сумела сделать так, чтобы я понял свою вину теперь и навсегда.

Не знаю, как я смог продолжать работу на выставке после рассказа Эммы. Я переводил объяснения Дальке, кое-что добавляя к ним, и раздавал проспекты. Выставочный комитет пригласил нас в конце недели на прощальный банкет. Для сотрудников выставки были также запланированы поездки по Сан-Паулу и на одну из больших ферм, чтобы показать, как растет кофе, как его собирают и сушат. Потом на ферме должен был состояться обед — простая сытная еда и кофе сколько душе угодно.

У меня не было ни малейшего желания принимать в этом участие. И хотя я никогда не испытывал особой симпатии к Элизе, я решил разыскать ее до отъезда. Я понимал, что больше мне не представится возможности ее увидеть. Еще мальчиком я вместе с товарищами по школе бывал на кофейных плантациях у их родственников. Я знал, как растут кусты кофе — на одних уже висят зрелые плоды, другие еще цветут, как весной. Мне хорошо были знакомы запах очищенных сохнущих бобов, и деревенские песни, напоминавшие о временах рабства, и господский дом, построенный в колониальном стиле, обычно хорошо сохранившийся.

Я извинился: перед отъездом мне нужно посетить знакомых в Рио. Затем попросил рабочих тщательно упаковать нашу стеклянную женщину; я сам внимательно наблюдал за всем и очень удивился, когда

профессор Дальке вдруг гневно накинулся на меня. Что это мне вздумалось тащить с собой ящик? Многие гости желали бы еще поглядеть на экспонаты без посетителей, в тишине и покое. Он же сам дал слово в Берлине не спускать глаз с нашего экспоната.

Трудно было предположить, что Дальке может настолько потерять власть над собой, чтобы кричать на меня, как на школьника. Его поведение показалось мне в высшей степени странным, совершенно недопустимым и даже подозрительным, хотя я сам не мог объяснить почему. К счастью, рабочие, которые куда-то спешили, не обращая внимания на Дальке, забили длинный ящик гвоздями.

И пока Дальке, багровый и заикавшийся от ярости, требовал распаковать наш груз, ящик, согласно моему указанию, был уже на пути к вокзалу, а может быть, даже в поезде Сан-Паулу — Рио. Об этом я не без иронии сообщил Дальке, а так как большое горе делает, как известно, нас неуязвимыми к наглости, подлости и непорядочности, я спокойно, но резко предложил Дальке избрать в разговоре со мной другой тон. Наверно, он будет жаловаться на меня в Берлине, подумал я мельком, но меня это нимало не заботило.

Я поспешил на вокзал.

Раньше Элиза жила недалеко от меня и Марии, на улице, параллельной руа ду Катети, в одном из тех странных, высоких и узких домов, которые, казалось, все еще заселены людьми времен империи. Элиза ждала нас обычно на своем, словно приклеенном к дому балконе, где нельзя было сидеть, а можно было только стоять.

Теперь она переехала в квартал Ипанема. Ее маленький дом имел привлекательный вид, хотя при нем был не настоящий сад, как я понял со слов Эммы, а палисадник, отгороженный от улицы высокой решеткой. Бугамбилии росли только у самого дома, а среди маленьких цветущих миндальных деревьев стояли столик и кресла, приготовленные для гостей. Когда я открыл калитку, раздался не звонок, а приятная музыкальная фраза, которая словно бы приглашала войти, и ощущение неловкости прошло.

Элиза выглядела так же, как всегда. Только была очень тщательно одета. В этой стране часто встречаются люди своеобразной красоты, возникшей от смешения различных племен. Что смешалось в семье Элизы, я не знал. Помнил ее уродливой, и такой же уродливой она показалась мне и теперь при первом взгляде. У нее были сильно выступающие скулы и ключицы. Ни единая черточка доброты и любви к ближним не смягчала жесткости ее черт. Я подумал: «А когда она играет, кажется, что слушаешь волшебницу. Должно быть, я всегда был к ней несправедлив».

Мы сели за садовый столик. На столе стояли напитки и сладости. С чувством раскаянья я смотрел на ее красивые руки с длинными пальцами. Она заговорила первая:

«Ты мало изменился, Эрнесто. Конечно, ты пришел, чтобы поговорить со мной о прошлых временах. Мы были такими веселыми школьниками. Но счастья нам хватило ненадолго. Впрочем, мне-то жаловаться не приходится».

Я ответил:

«Да, ты права. Я пришел, чтобы еще раз поговорить с тобой о Марии Луизе. Эмма, бывшая служанка госпожи Эльфриды Альтмайер, рассказала мне все».

«Тогда мне не придется описывать тебе, как произошло несчастье».

«Ах, Элиза, если бы я приехал раньше! Мы бы нашли выход. Если бы я приехал вовремя, не было бы этой свадьбы. И она бы в отчаянье не покончила с собой. Какой смысл говорить о моих собственных страданиях, об упреках, которыми я вечно буду себя осыпать. Мария Луиза

покончила с жизнью. Этого бы никогда не случилось, если бы мы с ней вовремя встретились. Я не думал, что время так коварно».

Элиза вскочила:

«О чем ты говоришь, Эрнесто? Откуда ты взял, что Мария Луиза покончила с собой? Кто вбил тебе в голову эту историю с самоубийством? Уж не Эмма ли? Она всегда любила все запутывать и сочинять.

Я тебе кое-что скажу, Эрнесто, даже если тебе будет не очень приятно услышать это. За день перед тем, как случилось несчастье и она утонула в том месте, где до нее уже утонуло много людей, в доме Родольфо был праздник. Я тоже была среди гостей. Мария Луиза выглядела необыкновенно красивой. Она мне шепнула: «Элиза, я так счастлива». Примерно за неделю до того она мне говорила: «Элиза, я никогда не знала, что такое счастье, что такое настоящая любовь. Даже не подозревала, что бывает такое счастье. Ты еще помнишь Эрнесто? Мы с ним дружили. Наша школьная дружба продолжалась очень долго. Сегодня я понимаю: слишком долго. Но моя жизнь с Родольфо — не школьная дружба, это радость, подлинная радость». Она обняла меня и сказала: «Мне и во сне не снилось, что бывает так хорошо».

И теперь кто-то утверждает, что это было самоубийство! Ложь и бессмыслица! Тебя, может быть, обидели мои слова. Но всего важнее правда. Нет, Эрнесто, это был несчастный случай. Ты можешь утешаться, мой милый, даже если тебе это больно, ты можешь утешаться — она вовсе не думала, что счастье ее жизни заключается в тебе. А я, какая уж я есть, я говорю тебе голую правду. Ложь приносит больше страданий, чем самая тягостная истина».

Я молчал в смятении. Она продолжала:

«Я хочу показать тебе мой дом».

Она повела меня в дом и показала несколько комнат. Я не замечал ничего вокруг. Один или два раза она садилась за рояль и играла мне, я растерянно слушал ее.

Потом я вернулся в отель.

Там я нашел письмо, написанное незнакомым почерком. Я взглянул на подпись: Адальберт Дальке.

Несколько удивившись, я принялся читать довольно длинное послание. В первую минуту я подумал, что оно связано со столкновением, которое произошло у нас в Сан-Паулу. Но скоро я понял, что означает это письмо. Дальке просил у меня извинения за то, что прощается со мной таким образом. Ничего другого ему не остается. Устное прощание повлекло бы за собой неприятные осложнения. Я пытался бы уговаривать его, а это бесполезно, или должен был бы последовать за ним. Еще во время нашей поездки он заметил, что для меня, к сожалению, подобный шаг невозможен. Он принял профессуру в Монтевидео. Но судя по всему, через год переедет в Соединенные Штаты, как только с ним заключат договор. Мне он желает счастливого возвращения, раз уж я так хочу, счастливого будущего в стране, которую я избрал для своей работы.

Теперь мне стало ясно, что Дальке стремился увезти стеклянную женщину в Монтевидео...

На обратном пути я не думал о Дальке. Я думал о разговорах с Эммой и Элизой. Никогда мне не узнать, правду ли говорила Эмма. Я чувствовал только, что Элиза своим недружелюбным объяснением хотела посеять во мне зло, от которого я не смог бы освободиться. Но ее слова не произвели на меня впечатления. Я знал, что чувствовала Мария Луиза на самом деле, и об этом не сказал ни Эмме, ни Элизе. У меня было письмо, написанное ею спустя много времени после свадьбы.

С нерушимой любовью и бесконечной печалью думал я о Марии Луизе во время всего долгого пути на родину. И эти чувства никогда не покидали меня.

Обратный путь я проделал тоже пароходом — из-за стеклянной женщины, которую Дальке не удалось захватить с собой к местам своей новой деятельности.

Юнга, всегда звонивший к обеду, остановился позади нас и так вдруг ударил в гонг, словно мы были глухие. Я взял Трибеля под руку, и мы пошли к столу. Он еще успел сказать:

— Все было бы ясно, если так можно сказать об истории, которая кончается смертью. Но моя история еще не кончена. Не сердитесь, Хаммер, именно из-за того, чем она завершилась, я непременно должен рассказать вам все. Мне нужно знать ваше мнение. Может быть, тогда я успокоюсь, хоть немного успокоюсь, хоть на время. Откровенно говоря, всю эту долгую историю я рассказывал так подробно ради ее истинного конца. А истинный конец — я уже об этом не раз упоминал — наступил за день до нашего отъезда. Последняя часть моей истории будет короткой, потому что она — заключение. Я никогда не перестану об этом думать. Но сначала хочу выслушать ваше мнение, Хаммер. Нам еще долго плыть, так что времени хватит. Если вы позволите.

Я сказал:

— Позволите? То, что вы рассказали, здорово меня захватило. А теперь, если вы говорите, что истинный конец еще впереди, и если мое мнение может хоть чем-нибудь вам помочь, разумеется, я хочу все знать...

Мы, как обычно, сели за разные столы. Я слышал, что Барч обратился к Трибелю:

— Пойдем ночью на мостик, а? Я рассчитал, какие созвездия северного неба сменят сегодня южные.

Я спросил, можно ли мне присоединиться к ним. Барч рассмеялся:

— Как вы можете об этом спрашивать?

— Ну, знаете, когда чем-нибудь занимаешься или что-нибудь рассказываешь, настраиваешься на определенного человека, а третий может помешать.

— Нет, Хаммер, вы нам не помешаете. Ни нам, ни Большой Медведице.

Ночью на мостике Барч показал нам, что Южный Крест закатился, остался за нашей спиной в том полушарии, которое мы окончательно покинули.

Трибель заметил:

— Первыми завоевателями на севере были викинги. Они задолго до других народов достигли берегов Северной Америки.

Мы пытались перерисовать самодельную карту звездного неба, начерченную Барчем, когда из штурманской рубки, расположенной напротив, вышел первый помощник и незаметно подошел к нам. Его заинтересовали объяснения Барча, и он слушал улыбаясь. Он хорошо знал немецкий язык и, глядя на рисунок, понимал все. Потом пригласил нас зайти в штурманскую рубку, где молодые моряки каждую ночь проверяли курс судна по положению звезд.

Он спросил Барча, хорошо говорившего по-польски, кто мы по профессии, и был удовлетворен ответом.

Первый помощник согласился с нами, что моряки и в древности занимались тем же самым делом. Но в наши дни им тоже необходимо постоянно совершенствоваться. И хотя наше судно имеет автоматическое управление и при малейшем отклонении от курса раздается сигнал, моряки-стажеры должны, как в древние времена, уметь составлять карту и определять по звездам местонахождение судна.

Молодые моряки были так поглощены своим делом и так внима-

тельно слушали замечания первого помощника, проверявшего их работу, что не обратили на нас внимания. Здесь царила полная тишина, не то что в наших пассажирских каютах, где постоянно шумели и болтали. Только такой сумасброд, как Войтек, бушевавший сейчас в моей каюте, мог променять сосредоточенную тишину, присущую этой профессии, на бессмысленную суету в погоне за деньгами.

Первый помощник рассказал нам, что окончил только восьмиклассную школу. Сначала он плавал юнгой. Его манило море. К первому экзамену он готовился на борту в свободное время, а вскоре затем и ко второму. Один из юнг внимательно слушал. У него было спокойное серьезное лицо, лицо моряка...

На следующее утро Эрнст Трибель продолжил свой рассказ:

— В Берлине мне пришлось написать отчет не столько о выставке, сколько о том, что произошло с Дальке. Меня резко упрекали за то, что Дальке сбежал, так сказать, у меня на глазах. Но тут вмешался Гейнц Шульц, инициатор нашей совместной поездки. У него был хорошо подвешен язык — я в этом убедился еще когда-то в студенческом общежитии,— и он никогда не боялся высказывать свое мнение. Не дожидаясь, покуда ему дадут слово, он заявил, что не один я, Эрнст Трибель, ошибался в оценке этого проклятого Дальке, да и не мог же я в течение всей поездки водить его за собой на привязи.

И все-таки мне не прекращали задавать бессмысленные вопросы: почему я не разгадал раньше намерения этого человека, о чем мы разговаривали во время поездки, с кем Дальке общался и тому подобное. Стали выяснять, кто рекомендовал Дальке в эту поездку и именно меня в качестве его спутника. Когда выяснилось, что профессор Эмке — лучший друг Дальке, многие остолбенели. Похоже было, что теперь они начнут сомневаться, достоин ли доверия сам Эмке. К счастью, во время всех этих разговоров я сохранял спокойствие. Но окружающие снова отдалились от меня, словно я лишь недавно сюда переселился. Они снова стали для меня чужими. В годы моего студенчества, когда я жил в общежитии, мне было легче. Тогда ясно чувствовалось, кто остался нацистом, кто окончательно преодолел годы гитлеризма, кто был готов начать новую жизнь. Тогда люди гораздо меньше таили в себе и легче выкладывали все, что думали.

Во время одного длинного, совершенно бессмысленного вечернего заседания, когда все занимались предположениями насчет Эмке, поскольку Дальке и его образ мыслей теперь были ясны, мой знакомый Гейнц Шульц не выдержал. Он бросил какую-то злую реплику, которая могла только затянуть это так называемое обсуждение, но тотчас умолк и молчал до самого конца. А когда мы вместе возвращались домой по ночной улице, ему еще раз изменила сдержанность, и он сказал мне с яростью: «Если б я знал, что ты вернешься, что ты вовсе не хочешь оставаться там, я бы не стал устраивать тебе эту поездку». Его поведение показалось мне двуличным.

Я промолчал. И не особенно удивился, когда год спустя этот Гейнц Шульц вместе со своим профессором Эмке улетел из Западного Берлина в Лондон и остался там.

Несмотря на все переживания я закончил за это время диссертацию. Теперь предстояло решить, где лучше всего специализироваться в области внутренних болезней, и я стал искать место врача-ассистента.

Я рассказываю вам о мелочах и пустяках, но вы увидите, что даже все эти простые, само собой разумеющиеся вещи вели меня к определенной точке. К последнему вечеру, к той встрече, которая выпала на

мою долю в стране, откуда мы сейчас возвращаемся. Эта страна словно не хотела меня отпускать, пока моя юность не вспыхнет снова вихрем искр, чтобы погаснуть навсегда, погаснуть и оставить пепел неразрешимых сомнений.

До открытия института тропической медицины в Ростоке было еще далеко, но у меня была возможность заниматься ею самостоятельно. Кое-какой материал был собран в Берлине и Лейпциге, время от времени там читались лекции по тропической медицине. Но меня тогда совсем не тянуло в большой город. Я понимал, что плохо, пожалуй, даже совсем не знаю страну. И невольно обращал внимание на все объявления о работе в маленьких городах, даже в деревнях Тюрингии и в Рудных горах, хотя и сомневался, удастся ли мне соединить разные мои стремления. Я написал в больницу в Ильменау, где была вакансия ассистента. Название «Ильменау» почему-то засело у меня в памяти. Только потом я вспомнил: Мария Луиза рассказывала, что провела там детство. После смерти матери отец переехал с нею и тетей Эльфридой — вероятно, она была тогда красивой и доброй — в Эрфурт. Фирма, в которой он служил, поручила ему закупки в Бразилии. Эта страна разбудила его воображение, честолюбие и предприимчивость. Он принял предложение, позволяющее открыть собственное дело, и порвал с фирмой в Эрфурте. В Рио он не мог обойтись без тети Эльфриды, которая привезла к нему маленькую Марию Луизу. Да и она возлагала на своего шурина большие надежды, она его подстегивала. Казалось, все шло хорошо, пока с ним не произошло однажды то же, что с вашим соседом по каюте. У него началась горячка. Возможно, он тоже пил и тоже получил солнечный удар — словом, история, в которую не следовало посвящать маленькую девочку.

Так и получилось, что тете Эльфриде пришлось мыкаться самой с племянницей на руках.

Как только у меня выдалось свободное время, я поехал к отцу в Грейфсвальд. Рассказал ему обо всем, что со мной произошло и что я пережил. О смерти Марии, о бегстве Дальке, о моей новой работе. На этот раз отец слушал рассеянно. Внезапно он перебил меня и сказал: «Хочу тебе сразу сообщить кое-что важное. Я женюсь. Она милая и умная женщина. Ее муж погиб на войне, говорят, он был порядочным человеком. Она тоже всегда была мужественной и достойной женщиной. При Гитлере она два года отсидела в тюрьме».

Я ответил не сразу, и потому он добавил: «Мы с тобой были и останемся друзьями».

«Ну, конечно»,— сказал я, хотя у меня вдруг мелькнула беспричинная мысль: «Я в этом еще не уверен». Но мне хотелось доставить ему удовольствие, и я сказал: «Теперь тебе не придется сидеть здесь по вечерам одному». Отец согласился: «Да, я больше не буду сидеть один. Она станет гостеприимной хозяйкой для моих друзей, будет вести дом. Ты скоро с ней познакомишься. Она придет к ужину».

Я промолчал. Отец спросил: «О чем ты думаешь?» — «Да так. О чем-то совсем далеком. Не знаю, отец, помнишь ли ты. Вечером мы сидели в Рио под деревьями на площади перед почтой. Ты сказал мне, что мама умерла и что мы — ты и я — переедем теперь в город. И вот я вспомнил: пока ты говорил, рядом с нами сидел мулат и непрерывно наигрывал какую-то тихую мелодию. На странном инструменте. Теперь я знаю, как назывался инструмент, который я тогда впервые увидел и услышал: birimbau. Ты помнишь мелодию?» — «Конечно нет. Я даже не помню этого мулата».

И тогда я напел ему мелодию так, как играл ее мулат: тихо и непрерывно. Но отец сухо повторил: «Не помню. Перестань».

Кажется, как раз тогда, когда мы снова замолчали, внизу раздалось звяканье ключа, отпирающего двери. Отец радостно поднялся навстречу.

Жена моего отца понравилась мне больше, чем я ожидал. Сразу было видно, что у нее спокойный открытый характер. Ее нельзя было назвать красивой, но, просто и скромно одетая, она выглядела очень привлекательно.

Все это я сказал отцу на прощанье, он обрадовался и попросил меня навещать его почаще. А я подумал: «Вряд ли я буду это делать. Слишком многое изменилось у нас с тобой».

Я начал работать в Ильменау. Мне понравилось, что моя новая больница стоит почти на опушке леса.

Мы с главным врачом — моим новым шефом, его звали доктор Рейнгард — сразу понравились друг другу. Он предложил мне поселиться в здании больницы, здесь была свободная комната. Я охотно принял это предложение. Мы пообедали вместе с его маленькой приветливой женой и дочерью, высокой, в отца, блондинкой. Все внимательно слушали мои рассказы о прошлом, особенно о юности, проведенной в Бразилии. Воспользовавшись случаем, я попросил разрешения время от времени ездить слушать лекции по тропической медицине, которые три-четыре раза в год читали в разных университетских городах. Конечно, я мог бы делать это за счет своего отпуска. Я показал им книги, которые привез с собой, и фотографии. Рейнгард несколько раз восклицал: «Если бы я лучше разбирался в этом!» Или: «Если бы я, как вы, знал иностранные языки! Португальский, испанский, английский. Я бы тоже мог углубиться в эти проблемы».

Эрна, его дочь, пожалела, что ее подруга Герта не слышала моего рассказа. «Она такая фантазерка,— сказала жена Рейнгарда,— после ваших рассказов она не спала бы всю ночь».

Потом я пошел на кладбище. Нашел могилу женщины по фамилии Виганд — это могла быть мать Марии Луизы — и положил на могилу цветы.

На следующий день шеф спросил, не похоронен ли здесь кто-нибудь из моих родных. Сразу стало ясно, какой это маленький городок. Я ответил: «Нет, никто». Меня утешала мысль, что у меня здесь есть родная могила.

Вечером пришла подруга Эрны, Герта Беринг. Худенькая, черноволосая, с серо-голубыми глазами, она была на год моложе Эрны. Мне пришлось снова показывать книги и фотографии. Она слушала меня самозабвенно, затаив дыхание. А потом спросила, можно ли снова, когда у нее будет время, посмотреть фотографии.

Вскоре я встретил Герту в городе. Мы немного прошлись. Она спросила меня, не трудно ли мне было расстаться с той чудесной страной, где я жил.

«Очень трудно,— ответил я.— Я едва привык здесь».

«Вы, наверно, оставили там друга вашей юности? Человека, к которому были привязаны всем сердцем?»

«А если так?»

«Вы ее ждали?»

«Я очень долго ждал ее. Надеялся, что она приедет ко мне. А недавно она умерла».

«От чего умерла? — спросила Герта. Ее вопросы странным образом противоречили ее робкому виду. Я помедлил с ответом:

«Многие живут там у моря. И часто купаются, плавают. Она тоже жила на берегу и утонула во время купанья».

Герта надолго задумалась.

«Кто вам сказал?» — История эта, видно, так ее затронула, что она не могла сдержаться.

«За это время я сам побывал там на выставке в Сан-Паулу».

«Она, наверно, умерла от тоски. Если человек всю свою юность провел вместе с другим человеком... У меня такого не было».

«Она вышла замуж».

«Ну и что же? Несмотря на замужество, она, наверно, по-прежнему любила вас. И уплыв в море, задумалась, задумалась о вас и...»

Мы долго еще молча шли по улице.

«Как ее звали?»

«Мария Луиза».

«Вы, наверно, ее никогда не забудете».

«Забуду? Нет! Никогда. В ней была моя жизнь. Но с тех пор как она погибла, прошло много времени».

«Какого числа она погибла?»

«Этого, Герта, я не знаю. Забыл спросить. Вот мы и дошли до больницы. Пожалуйста, поужинайте с нами».

«Меня ждет отец, но попозднее я непременно приду».

Мы с Гертой часто совершали далекие прогулки. Она хорошо знала лес и горы, а я только сейчас начал ощущать всю прелесть мягкого и спокойного пейзажа нашей родины. Когда я говорил об этом, Герта радовалась. Само слово «тишина» напоминало мне холмы и густые леса, по которым мы бродили вместе. Мы посетили места, связанные с именем Гёте. Его приводил сюда случай — герцогская охота или любовное приключение. Я не очень почитаю Гёте. Он кажется мне высокопарным, упоенным собственным благородством, постоянно думающим о потомках, в то время как его современники тяжко трудились и нуждались в помощи.

Но я не решился сказать Герте всего, что думаю. Уж очень это не совпадало с тем, что стремился выразить сам Гёте и за что его прославляют потомки. Я промолчал — мне совсем не хотелось обижать Герту. Ее приучили в школе и дома видеть в Гёте высшее существо. От этого я мог бы отучить ее лишь постепенно. Мы поднялись на гору, которую называют Петушиный гребень. Герта дала мне прочесть знаменитое стихотворение Гёте «Горные вершины...». Я заметил, что она наблюдает за мной — произвели ли на меня стихи должное впечатление.

«Это одно из самых прекрасных стихотворений о природе на немецком языке»,— сказал я.

Тогда она спросила, что я под этим понимаю. И неужели можно представить себе что-нибудь более прекрасное.

«Конечно, Герта, например, такое стихотворение о природе, где возвышенными словами говорится не только о деревьях и птицах, но и о человеческой жизни со всеми ее радостями и муками».

Она спросила, могу ли я перевести ей какое-нибудь испанское стихотворение, например, Гарсиа Лорки, которого убили фашисты. Я рассказывал ей о нем.

Подумав, я перевел ей стихотворение о девушке, возлюбленный которой был уверен, что она невинна, пока она не сбросила всех своих юбок и корсажей и не легла с ним в высокую траву. Я не подумал сразу, что это стихотворение вряд ли подходит молоденькой девушке из Ильменау, что она едва ли его поймет.

Я переводил ей также стихи Мачадо, который умер в концлагере. Они были ей понятнее. Как-то мы заговорили о бое быков, и я попытался объяснить ей, что бой быков — не варварское убийство беззащитного животного, а символ — в угрожающей близости быка испанцы видят символ смерти.

Я рассказывал ей о Мексике, где не был, рассказывал, что там художников больше, чем поэтов, и обещал показать позже репродукции с фресок. Вся история Мексики изображена в виде фресок на стене

лоджии. Мне говорили друзья, что индейцы привязывают своих мулов к дереву, вместе с женой и детьми поднимаются в лоджию и рассказывают им все, начиная от Кортеса и его злодейств до белой лошади Сапаты.

Потом мы заговорили о великом бразильском скульпторе Алейжадинью, и Герта попросила меня вечером еще раз показать ей фотографии.

Внезапно она спросила меня, смотрел ли я статуи Алейжадинью вместе с Марией Луизой. Я ответил, как оно и было: «Да». И тут Герта произнесла странно прозвучавшие слова: «Я бы стала совсем иной, если бы посмотрела их с тобою вместе. Ты никогда не забудешь Марию Луизу, потому что вместе с ней видел высокую лестницу пророков».

Я не знал, что ей на это возразить. Мне вспомнились часы, проведенные с Марией в Белу-Оризонти. И я почувствовал боль в сердце. Разве можно сравнить застенчивую скромность Герты с золотым сиянием Марии Луизы!

«Но разве обязательно девушку должно окружать сияние? — подумал я.— Есть много богинь — белых и темнокожих — без золотого блеска».

Вскоре пришло неожиданное приглашение. Я и не подозревал, что привлек к себе внимание на курсах, куда ездил каждые два-три месяца. Но мои рефераты оказались, видимо, лучше, чем у других. Поэтому, когда пришло приглашение на конференцию по вопросам тропической медицины в Баии, выбор пал на меня.

В штате Баия, особенно в его столице Салвадоре, наверно, больше материала по этим вопросам, чем где бы то ни было, и больше всего больных. Я никогда не бывал в Баии. Удивительно, что мне снова представилась возможность поехать в Бразилию. Сам я туда больше не стремился.

Но мне важно было побывать в Баии. В этой части Бразилии живет много негров. Гораздо больше негров, чем белых. Я принял приглашение с радостью.

Мой шеф охотно отпустил меня. А Герта огорчилась: «Кто знает, вернешься ли ты? Это страна твоей юности, ты принадлежишь ей всем существом».— «Ну что ты говоришь? — сказал я, улыбнувшись.— Совсем в стиле классиков. Все, что можно, я посмотрю — с точки зрения работы это для меня чудесно,— но там я чужой. Всему, чему можно, научусь и приеду обратно в Ильменау. Мы с тобой не бывали еще даже в Эрфурте. Это для меня сейчас не менее важно, чем Салвадор».

Но Герта оставалась грустной. У нее дрожали губы. Она еле сдерживала слезы. Я удивился, как она ко мне привязалась. И понял, что приоткрыл для нее совершенно новый, сверкающий, яркий мир. Это и радовало меня и тревожило.

На прощание она принесла мне букет полевых цветов, хотя знала, что они скоро завянут, и десяток прекрасных зимних яблок. Когда я крепко ее поцеловал, она совсем смутилась. Я подарил ей колечко с голубыми камешками, похожее на цветок незабудки. Я не покупал этого кольца и не мог вспомнить, откуда оно у меня. Мария Луиза таких украшений никогда не носила. Быть может, кольцо принадлежало моей матери.

Скоро вы поймете, Хаммер, что нас с вами здесь, на борту, судьба свела не случайно,— я должен был рассказать свою жизнь. Она не очень длинна, моя жизнь. Но длинна ли она, коротка ли, я рассказал вам главное. А во многом я и сам еще не разобрался.

— Вы не зря мне ее рассказали, Трибель. У вас станет легче на душе.

— Но мы еще не кончили. Горький конец впереди.

Кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся и увидел Садовского. Он засмеялся и сказал:

— Спустимся скорее в помещение команды. Я вам кое-что покажу.

Пока мы спускались, он объяснил:

— Монахиня — я говорил вам, что она интересуется командой,— сидит в каюте Владимира Клебса, и он угощает ее кофе с настойкой. Зрелище для богов! Она не думала, что кто-нибудь увидит ее. Сидит и таращит на него глаза. Поглядите сами.

Мы прошли несколько дверей и остановились перед каютой Клебса. Матрос, его сосед по каюте, выдворил нас. Он несколько раз приносил в каюту угощение. Садовский упорно пытался привлечь внимание окружающих к монахине или помешать Клебсу открыть новую бутылку.

Клебс рассердился. Он вышел из каюты и потребовал, чтобы ему не мешали разговаривать. Он сказал, что должен обсудить с монахиней очень важное дело. Я уже догадался, что Клебс и монахиня просто разговаривали и намеки Садовского — сущая чепуха.

Сосед Клебса не стал бы снова и снова носить кофе и печенье в каюту, не будь для того серьезных причин. Наконец, монахиня ушла. Товарищи столпились вокруг Владимира Клебса, расспрашивая его о беседе. Садовский тем временем ушел, почувствовав, что этот разговор будет ему не интересен. Но матросы продолжали расспрашивать Клебса. Он кивнул мне, предлагая остаться и слушать.

Клебс объяснил, что монахиня — специалистка по азбуке для слепых, иначе называемой азбукой Брайля. Она научила читать уже десятки, даже сотни слепых детей. Буквы накалываются на странице выпуклыми точками, так что ребенок, который прошел это обучение, через некоторое время может, ощупывая страницы, читать текст. Постепенно он выучивается читать даже географические карты. Но это трудная задача, которая требует полной сосредоточенности и ребенка и учителя.

А у Владимира Клебса есть маленькая сестра, которая несколько лет назад ослепла после болезни. В Польше только еще собираются создать светскую школу для слепых. До сих пор слепых детей учат лишь в школе при церковном училище. Владимир Клебс однажды уже встретился случайно с этой монахиней, и она пыталась убедить его отдать сестренку в их школу. Светская школа откроется, быть может, через несколько лет. Зачем заставлять ребенка так долго ждать?

Эта монахиня пыталась ввести изучение системы Брайля в Бразилии. Сейчас группа монахинь занимается переводом азбуки для слепых на португальский язык. Они надеются, что это увеличит приток детей в их школы. Но семья Клебса, в отличие от многих других польских семей, настроена решительно против церкви. Они не хотят отдавать девочку в такую школу.

Владимир Клебс так и сказал монахине. Она же убеждала его, что главное — поместить ребенка в хорошую школу, где ему будет создана возможность относительно нормальной жизни. Клебс понимал, что это предложение вызовет ярость его отца. Что значит относительно нормальная жизнь? Ребенок избавится от одного зла и станет жертвой другого. И неизвестно, какое зло меньше. Если бы задать этот вопрос монахине, она бы, конечно, ответила — духовное.

До полуночи мы толковали о предложении монахини и о том, что в нем хорошего и что плохого для его маленькой сестры.

Мы уговаривали Клебса разыскать какого-нибудь педагога будущей светской школы для слепых и прежде всего посоветоваться с ним. Он должен знать, когда предположительно откроется такая школа. Если ее открытие — дело близкого будущего, вопрос решается сам собой. Странным образом, Клебс колебался, как будто был чем-то обязан монахине.

Пожалуй, он предпочел бы без промедления послать девочку в духовную школу.

Когда мы снова остались вдвоем, я попросил Трибеля подробнее рассказать мне о Баии, потому что я там никогда не был. Надо сказать, что рассказы о путешествиях мне нравятся больше, чем рассказы о любви.

Трибель продолжал:

— В Салвадор мы прилетели самолетом. Возвращаться я собирался морем, так как должен был везти целую библиотеку, которую мне дома поручили закупить. Ведь во время войны у нас большая часть научных трудов сгорела. Мой груз значительно повысил бы стоимость перелета.

На аэродроме меня встретили участники конгресса — одни только негры, с умными и веселыми лицами. Меня отвезли в маленький отель — конгресс располагал скромными средствами, и участников собралось не очень много: несколько французов, два шведа, один профессор из Советского Союза, латиноамериканцы и свободный от предрассудков американец из США.

Я быстро привык видеть вокруг гораздо больше черных, чем белых людей. Не знаю, как они смотрели на нас. Полагаю, что цвет нашей кожи им был совершенно безразличен. Меня поразило бесчисленное множество церквей. Всюду я видел погруженных в молитву негров, особенно женщин.

Мой спутник, молодой врач по имени да Кастро, сказал: «Их приводят в церковь суеверия, воспоминания, чрезмерная чувствительность». На шее у него я заметил амулет и спросил, зачем он его носит. Он ответил без всякого смущения: «Это не амулет, а опознавательный знак. По нему мои друзья узнают, что я занимаю почетное место среди наших верующих и принадлежу к числу жрецов. Разве вы никогда не слышали о кандомбле?»

Я осторожно ответил: «В Рио я слышал о макумбе. В местах, где совершают эти обряды, находят кучки пепла и черепки, как после небольшого пожара. Иногда это означает угрозу враждебным соседям. Ежегодно на берегу они устраивают празднество с песнями и плясками в честь богини океана. Не знаю, связан ли этот обычай с местным языческим культом или с одной из мировых религий».

Да Кастро рассердился: «Не все ли равно, языческий или не языческий? Как вы определите, что языческое, а что нет? Разве что по болтовне священников? На нее тоже нельзя полагаться».

«Священники в какой-то степени обращаются к разуму. Быть может, они идут по ложному пути. Они основываются, возможно, на старых верованиях, но, во всяком случае, не на одном обожествлении природы...»

Да Кастро перебил меня:

«Как-нибудь вечером поглядите сами. Заседания у нас будут ведь только после обеда».

Должен сказать, я был изумлен уровнем медицинских сообщений. При этом не было никаких намеков на непонятные для нас обычаи. Мне охотно помогали выбрать книги для моей страны. Да Кастро работал врачом в институте проказы. Его объяснения, всегда строго научные, не имели ничего общего со странными туманными рассуждениями, в которые он пускался, когда мы оставались вдвоем. Я спросил его, не носит ли кто-нибудь из его больных такие же амулеты, как у него,— ведь он объяснял мне, что этот амулет указывает на принадлежность к высшему рангу,— он живо ответил: «Конечно, а почему бы и нет?»

Мы занимались день и ночь, местные врачи нам помогали. Как бы

я хотел остаться здесь, чтобы продолжить свои занятия! Неиадолго я забыл свою жизнь в Ильменау. И маленькая сероглазая Герта тоже исчезла из моей памяти. Белая кожа очень скоро стала казаться мне странной. Но я понимал, что это будет продолжаться, только пока я здесь. Да Кастро рассказал мне, сколько трудностей ему пришлось преодолеть, чтобы закончить среднюю, а особенно высшую школу. Денег на покупку книг, даже подержанных, не было. Книги брал в библиотеке на несколько часов. Мать его — она была честолюбива — помогала сыну поденной работой. Когда он сдал экзамены, она устроила праздник, какого ему никогда больше не увидеть.

Больные, которых исследовали и лечили в институте Кастро, резко отличались от прокаженных, встречавшихся нам на улице. Эти производили впечатление обреченных. Они нищенствовали и жили большей частью в своих семьях. На них никто не обращал внимания. Они были неотъемлемой частью уличной толпы, и только взгляд врача мог разглядеть в ее гуще больного.

Естественно, что я не встретил ни одного белого в большом, величиной с дом, шатре кандомбле, куда меня вечером привел Кастро. Раздавалось громкое пение, и в такт ему колыхались одежды женщин. Они занимали половину шатра, в другой половине стояли мужчины. Всем действом руководила величественная жрица. Она сидела на возвышении. И вся заполнявшая шатер толпа мужчин и женщин неистовствовала перед ней. Вокруг нее стояло несколько мужчин с амулетами, указывавшими на принадлежность к числу жрецов, и среди них Кастро. Мне подумалось, что танцы и песни вызывали на лице Кастро такое же сосредоточенное внимание, как наши доклады. Возможно, в детстве его так отпугнули церковные обряды, что он обратился к этому своеобразному культу природы.

Они привезли свои обычаи из Африки, и эти обычаи их объединяли даже на кораблях работорговцев, даже в цепях. Теперь здесь рабства не существовало. Но негров по-прежнему объединяли древние обычаи.

Мальчиком я присутствовал на празднествах макумбы. Там я впервые в жизни столкнулся с язычеством, уже не диким, но со множеством устоявшихся обрядов. Я подумал, что эти обряды восходят так же, как одеяния женщин, ко временам рабства; тогда для предков этих людей тайные ночные собрания с танцами и песнями, на которые их созывал глухой, только им внятный бой барабана, были шагом на пути к свободе. Белые в Африке до сих пор страшатся звуков барабана в джунглях. Но здесь негры свободны. Их праздник — только подражание старым обычаям.

Те, кто участвовал в обряде, полагали, что божества, к которым они взывают, не говорят с ними, а переселяются в них, чтобы вещать из их души, из всего их существа. Чувствуя, что на них нисходит божество, они падали на землю и бились в экстазе.

Кастро был огорчен, что праздник не произвел на меня впечатления, на которое он рассчитывал. Я попытался объяснить ему почему: мне думается, эти люди собрались только в угоду древнему обычаю. Но мои доводы показались ему рассудочными и рассердили его. Он спросил, не хочу ли я поговорить со жрицей наедине, спросить ее о чем-нибудь или посоветоваться с ней. Я ответил, что у меня нет ни малейшей потребности советоваться ни со жрицей, ни со священником. Кастро посочувствовал: у меня, должно быть, очень убогая жизнь. «Возможно,— ответил я,— моя жизнь могла бы быть и свободнее, и богаче, и счастливее, если бы я придерживался, подобно вам, старых обычаев».

Время, которое мне еще оставалось пробыть в Баии, я использовал для того, чтобы побольше увидеть, а главное, чтобы закупить книги, нужные для наших библиотек. Под конец, как я уже говорил, у меня

набралось столько книжных пачек, что стало ясно — придется возвращаться морем. К счастью, в это время в Баии стояло польское судно, на котором мне больше всего хотелось плыть домой и на котором мы с вами сейчас плывем,— «Норвид». Говорили, что оно отправится через два дня и зайдет в Ильеус, где возьмет большой груз какао. Я перевез свой багаж на борт и познакомился с капитаном и его помощниками. Пассажиров было мало. Большинство должно было приехать из Рио: вы, например, певец с женой — он тогда еще заканчивал турне, консульша с детьми, наш специалист по звездам Барч — его тетка хотела, чтоб он остался у нее в Белу-Оризонти, но он возвращается на рудник, ваш сосед Войтек — ему надо было получить документы в посольстве в Рио и деньги на дорогу, и еще несколько человек, которые появились позже. На борту уже была монахиня со своей тощей спутницей, они приехали из монастыря в Баии. Монахиня и тогда сидела за отдельным столиком, но ни с кем, кроме своей спутницы — в той тоже есть что-то монашеское,— не разговаривала.

Я пригласил Кастро на борт, угостил его вишневкой и показал все наше судно. Оно, как вам известно, почти новое. Он выразил восхищение, но уже не был так приветлив и откровенен со мной, как в первые дни. Я думаю, что его обидела моя сдержанность по отношению к празднику, на который он меня водил, словно я иронически отнесся к религии верующего человека.

Несмотря на это он мне многое показал в городе. Он водил меня в кабачки, где не только пьют и едят, но танцуют и слушают музыку. Показал мне потаенные уголки порта, где легко ускользнуть от таможенников и портовых комиссаров. Водил в подвалы, к своим родственникам и некоторым пациентам. Они жили в тесноте и нужде, но весело. Казалось, что воздух подвалов рвется из душного, затхлого подземелья, чтобы смешаться со сладостным зовом песен и гитар...

Он показал мне большой рынок. Меня опьянил запах плодов, разнообразных плодов этой земли. Я разглядывал украшения, бусы, нанизанные из косточек невиданных плодов — волосатых косточек с огненно-красной серединой и гладких, как кожа девушки, но светло-зеленого цвета, и вокруг говорили: вот бусы для мулатки, вот — для белой женщины, а вон те — для негритянок. Если бы мне пришлось пожить здесь дольше, я, вероятно, смог бы лучше понять верования здешних людей и веру Кастро.

Украшения продавались во множестве лавочек. Ожерелья из пестрых бусин свисали, подобно гроздьям ягод, а над фруктовыми лавочками висели гроздья бананов и других плодов, растущих на пальмах, и казалось, что они созревают в узких крытых переходах рынка.

Мне вдруг пришло в голову купить самых разных фруктов и привезти Герте, выбрав недозрелые — у них будет время дозреть в дороге — и тщательно их запаковав. Ей всегда хотелось увидеть их. Я почувствовал себя вдруг очень одиноким и купил подарки дочери моего шефа и жене отца. Одной — яркое ожерелье, другой — гребень в виде рыбы.

Здесь были целые ряды, где торговали старьем: такую одежду носили обитатели подвалов, в которых мы недавно были. Крытая часть рынка отведена была изделиям из кожи, среди них встречались искусно украшенные тиснением. Я купил себе на зиму грубые туфли, отделанные мехом.

В последний вечер в Баии в нашу честь устроили своего рода праздник. Хозяин дома был членом Академии и очень известным в стране врачом. Сам он не принимал участия в нашем конгрессе, но был другом одного из устроителей и знал, что у нас не так уж много денег на развлечения. Женщины его семьи приготовили угощенье. Мы много выпили. Случайные гости тоже ели и пили. Возможно, среди них были его па-

циенты, которым удалось здесь поесть, выпить и немного повеселиться. Некоторым досталось только по стакану вина и тарелке фруктов.

Мы сидели вперемежку, не по старшинству, в большом зале, отделанном деревянными панелями. Во всех стенах были окна, так что отовсюду виднелось море. Дом стоял на мысу и своими террасами и садами занимал весь мыс.

Хозяин рассказал нам, что неделю назад ему домой доставили на лодке больного с проходящего парохода. Такие случаи здесь нередки. Этот больной, моряк-негр, перенес уже один приступ лихорадки, второй начался перед прибытием в порт. Врач не смог сразу распознать болезнь. Пока только известили семью больного, которая проживает неподалеку. Непонятно, что делать с матросом дальше.

Один врач, участник нашего конгресса, предложил взять через несколько дней матроса к себе в больницу, если хозяин согласится продержать его до тех пор у себя.

Мне все это показалось чересчур сложным, трудно выполнимым, но гости, по-моему, слушали рассказ врача с одобрением. Разговаривая, мы все время слышали, как волны бьются о садовую ограду. В окнах, куда ни глянь, возникали то весельная лодка, нагруженная овощами и спешащая на рынок, то моторка, плывущая вдоль берега.

Вдруг в комнату вбежали два мальчугана, светловолосых, с корзинами, полными фруктов. Они поставили корзины и очень ловко исполнили акробатический танец. Нам объяснили, что юные белокурые акробаты — сыновья нашего хозяина.

Море перед глазами, плывущие по нему суда, голоса птиц, шум волн, беззаботность гостей вызывали у меня ощущение, что я сам уже плыву по морю.

Мы так долго пили и пели, что утром я, захватив свой чемодан, сразу перешел на борт «Норвида». Он стоял у самого берега. На берегу, полускрытые пыльными пальмами, возвышались две церкви. Помощник капитана взял мои документы. Еще раз пришел Кастро пожелать мне счастливого плавания. Он-то и обратил мое внимание на монахиню и провожавших ее сестер и послушниц.

За одним столом со мной сидела супружеская чета. Оба маленькие и сухощавые. Они говорили по-португальски. На палубе и между грузовыми люками лежали и ходили негры — вероятно, батраки.

Нас, пассажиров, было еще слишком мало, чтобы плыть из Баии прямо в Европу. Остальные должны были присоединиться к нам в Рио.

В Ильеусе сошла чета сухощавых супругов, скорей всего это были торговцы. Меня поразило, как смело они прямо в открытом море спускались в маленькую моторку, которая должна была доставить их на берег. Наверно, привыкли к таким путешествиям. Я заметил, что здесь сошло очень много негров — по-видимому, они законтрактовались в Баии на плантации какао. Так как настоящей гавани не было, мешки с бобами какао доставляли на борт в лодках. На веслах сидели негры.

Пока грузили все мешки с какао, прошел целый день. Старший грузчик распоряжался размещением груза в трюмах. «Сколько же мешков какао потребуется Берлину на зиму?» — подумал я. Негры время от времени возвращались на берег, чтобы снова нагрузить свои лодки. Они пели негромкими усталыми голосами. Только иногда врывался неукротимо-радостный возглас. Им нужно было погрузить много мешков какао на борт нашего маленького польского судна, и эта работа вряд ли могла вдохнуть радость в их песни. Входят ли эти люди в профсоюз? Сколько им платят за день работы? Кто? Быть может, тот человек, который только что покинул судно?

И еще я подумал, что им приходится работать за тех, кто живет легкой жизнью.

На закате все лодки, наконец, вернулись на берег. Вдалеке на краю леса виднелись пальмы. Редкие огни ранчо и деревень провожали нас. Мы отплыли.

По пути нам сообщили, что «Норвид» пойдет не в Рио, а в Сантус. Там он примет груз кофе. Пассажиров из Рио доставят прямо в Сантус.

Помощник капитана почему-то решил еще раз проверить мои документы. И вот в Сантусе мне пришлось снова стать в очередь вместе с пассажирами, которые сели там. Помните, Хаммер, вы стояли тогда за мной.

— Да, я даже услышал, что вы немец и что плывете до Ростока. В каюте, которая была мне указана, уже лежал пьяный Войтек. Он перепачкал там все. Я вышел, чтобы умыться, и послал юнгу убрать каюту.

— Вы об этом даже не упомянули,— сказал Трибель.

— Я не придал этому значения. Вы, Трибель, казалось, были счастливы, что мы отплываем, вернее, что вам предстоит океанское плавание. Во всяком случае, так я подумал в тот день. А я мысленно спрашивал себя, когда же, наконец, увижу свою семью. Вы сказали, что знаете кока, что он наверняка в последнюю минуту побежал на рынок за фруктами. В первый день вы рассказали мне о приезде в Бразилию, о том, как тяжело вам пришлось в школе и о девочке, которая помогла вам выучить язык.

— Да, Хаммер, да, именно так все и началось. Но сейчас я расскажу вам, что пришлось мне пережить в последнюю ночь в городе Сантус. Вы не возражаете?

— Конечно нет! Я рад, что вы мне доверяете. Только во время нашего плавания я вдруг понял, как редко кто-нибудь испытывал настоящее доверие ко мне, да и я редко испытывал к кому-нибудь доверие. Не знаю отчего. Может быть, это идет от моей замкнутости или от ощущения, которое со временем все сильнее укореняется в нас: слишком доверять — не значит ли это обречь себя на зависимость от другого человека, предать свои мысли и чувства? Бог знает к чему это может привести. В общем-то скверная, бесчеловечная позиция... Я благодарен вам за вашу откровенность. Вначале она поражала меня, но теперь я понимаю, что она пошла мне на пользу. А это хорошо.

— Но в том, что я расскажу сейчас, нет ничего хорошего. Я, кажется, уже сказал — в Баии нам сообщили, что мы пойдем через Ильеус прямо в Сантус, не заходя в Рио, и пассажиры из Рио приедут или прилетят в Сан-Паулу, а оттуда в Сантус, где сядут на наше судно. Это изменение было вызвано необходимостью принять в Сантусе груз кофе.

Мне было все равно. В Рио меня не тянуло.

Мы прибыли в Сантус; около часа я погулял по улицам. Всюду насыпали кофе в мешки. Под ногами трещали кофейные зерна.

Я спросил, где здесь хороший отель: мы должны были отплыть только на следующий день. Мне сразу же порекомендовали отель «Эксельсиор».

«Эксельсиор» со всеми пристройками — своего рода дворец. Он сверкал пыльной роскошью, хрустальными люстрами, позолоченными замками. Затхлый воздух в его коридорах, казалось, сохранился со времен империи. Так как мне предстояло провести здесь всего одну ночь, а уже на следующее утро вернуться на судно, я подумал: бог с ним, возьму одну из роскошных душных комнат.

Проходя по холлу, я обратил внимание, что вокруг большого круглого стола в причудливом двойном свете сверкающих люстр и еще не погасшего дня сидят молодые и старые дамы, увешанные драгоценностями. Молодые с пылающими от волнения лицами, с пышными блестящими волосами, и желтые крашеные старухи — все они были страшно поглощены игрой. Я умылся в своем номере, побрился, надел свежую

рубашку — все это, вероятно, заняло минут двадцать — и еще раз прошел через тот же холл, чтобы поужинать.

Здесь больше не было двойного света. Горели все хрустальные люстры. Молодые и старые женщины все еще сидели вокруг стола. По их поведению видно было, что в игре наступает самый волнующий момент.

Мне захотелось пройти через холл как можно скорее. Через окно я заметил несколько накрытых в саду столиков. И вдруг на пороге столкнулся с человеком примерно моих лет, высоким и хорошо одетым. Мы оба остановились. Он схватил меня за плечо и воскликнул:

«Неужто — Эрнéсто! Ты что, навсегда приехал-или на время вернулся?»

Мне показалось, что Родольфо совсем не изменился со школьной поры. Гладкое лицо с красивым, смеющимся ртом.

«Я был здесь на конгрессе,— ответил я.— Рано утром отплываю на польском пароходе».

«Тогда пойдем выпьем по рюмочке коньяку,— предложил Родольфо.— Подожди, я позову жену. Она одна из тех одержимых за карточным столом».

Он обратился к одной из картежниц, она неохотно подошла к нам.

«Детка, поздоровайся».

Она улыбнулась уголками губ. В ее пышных каштановых волосах, словно случайно забытый, сверкал один-единственный большой гребень, усыпанный жемчугом. Белоснежное, как ее кожа, гладкое платье облегало высокую стройную фигуру. Я похолодел. Передо мной стояла Мария Луиза. Ее глаза, серьезные и строгие, смотрели мне прямо в лицо, словно она призывала меня молчать во что бы то ни стало.

«Он уезжает рано утром,— сказал Родольфо.— Я думаю, мы посидим немного вместе».

Женщина повернулась к нему.

«Прости. Но сейчас самый напряженный момент в игре».

Когда я увидел ее лицо в профиль и услышал тембр ее голоса, я вдруг усомнился, что это Мария Луиза. Ведь мог же Родольфо жениться второй раз и найти жену, похожую на первую,— ту, что умерла.

«Мы сядем к вам за стол и поглядим немножко...»

«Нельзя,— возразила его жена детским, несколько робким голосом, который принадлежал живой и незнакомой, а не умершей.— Говорят, это приносит неудачу...»

Родольфо засмеялся:

«Эти сумасшедшие бабы каждый вечер проводят за картами...»

«Он всегда преувеличивает,— сказала женщина,— не верьте ни единому слову». И когда она снова повернула ко мне лицо и проговорила эти слова тихо и решительно, я опять почувствовал острую боль в сердце и мучительное сомнение: ты ли это, Мария Луиза?.. Я сказал:

«Мне нужно очень рано уезжать. А потому пожелаю вам обоим всего доброго».

Родольфо пожалел, что мы так скоро расстаемся. Он думал, что мы выпьем коньяку, а когда игра кончится — должна же она когда-нибудь кончиться,— вместе поужинаем.

Мы пожали друг другу руки. Женщина, которая была или не была Марией Луизой, снова пристально посмотрела на меня. Мне почудилось, что взгляд ее исполнился грустью, словно ей тяжело прощаться со мной...

Я тут же изменил свои намерения. Я вернулся в душную комнату. Бросился на постель и пролежал несколько часов. Две мысли сталкивались в моей голове: это она, это не она.

Может ли человек настолько измениться, чтобы, забыв нашу прекрасную юность, остаться приклеенным к карточному столу? Может. А по-

чему бы и нет? Общаясь с Родольфо, можно сильно измениться. Тогда нет причин грустить о ней. Забудь ее. Как я могу забыть ее, мою умирающую! Это была не она. Когда она наклонила голову, украшенную этим большим гребнем, она была совсем чужой...

Но ведь в прошлый мой приезд в эту страну Эмма подкарауливала меня, чтобы подробно описать, как Мария Луиза утонула, так сказать, по моей вине, после долгого и тщетного ожидания. Бессердечная Элиза посмеялась над этим невероятным предположением. Хотя и она подтвердила, что Мария Луиза умерла. Она утверждала, что Родольфо сделал Марию Луизу счастливой. Она погибла в результате несчастного случая. Но она наслаждалась жизнью вплоть до последнего часа.

Если все это правда, правдой может быть и то, что она полностью изменилась. Тогда возможно и самое страшное. Тогда возможно, что Родольфо, с которым она была счастлива, послал Эмму в порт внушить мне, что Мария Луиза умерла, чтобы я не помешал их благополучной жизни. Ее подруга Элиза, холодная как лед и безразличная ко всему, кроме музыки, также обманула меня. Они каким-то образом поняли, что в тонкой как волосок ниточке воспоминаний о нашей общей юности таится намек на опасность. Нет, лучше причинить страдания мне и избавиться от этой опасности.

Знала ли Мария Луиза об этом обмане? Может быть, даже сама участвовала в нем? И это возможно. Это было бы только частью ужасной, сводящей с ума перемены, происшедшей в ней. А может быть, от нее просто скрыли мой приезд, когда мое имя появилось в списке гостей, приезжающих на выставку в Сан-Паулу? Потому что они чувствовали — она не перенесет встречи. Еще не перенесет. Но сейчас, сегодня вечером, она ее перенесла.

Нет, у этой женщины сегодня вечером не было никакого, почти никакого сходства в Марией Луизой. Но откуда у меня желание быть так ужасно несправедливым к Марии Луизе? Я ревную ее не к Родольфо, я ревную ее к смерти. Сорвалась ли она со скалы, попала ли в водоворот, нарочно или случайно... Не знаю. И не к чему мне доискиваться, как это было. Смерть настигла ее в воде и, прежде чем унести, ударила ее прекрасное, гибкое тело о скалы. Из зависти, что она прекрасна, как богиня океана Иеманжа, которой одной дано единоборствовать с ним.

Поникшая голова, окровавленные губы, бессильно повисшие руки, избитое о скалы тело — такой была мертвая Мария Луиза, такой она лежала на столе в зале. Так описала ее Эмма. И люди толпились вокруг, чтобы взглянуть на прекрасную утопленницу, и подлая смерть скрежетала зубами в бессильной ревности.

Нет, женщина в отеле со сверкающим гребнем в волосах была чужой.

Ну, а если, несмотря ни на что, это была все-таки она? Если это она украсила волосы гребнем? Эмма могла мне солгать. Эмма всегда была привязана к своим господам. Не говоря уже об Элизе. Для той ложь — наслаждение.

А может быть, Родольфо узнал, что мы снова начали писать друг другу письма, полные любви. И он бы не допустил, и по законам этой страны она никогда бы не смогла приехать ко мне. И выйти второй раз замуж. А раз она была вынуждена остаться с ним, в кругу его друзей, она подумала: чем хуже, тем лучше. И на всем поставила крест. На каждом воспоминании о нашей счастливой жизни. Она, как в трясину, погрузилась в пеструю сутолоку, и наряжалась, и причесывалась, чтобы он мог ею кичиться...

Нет, нет, я несправедлив к моей Марии Луизе, ужасно несправедлив и еще буду страдать от этого. Такой богатый человек, как Родольфо, сумеет рано или поздно найти жену, похожую и лицом и телом на умер-

шую возлюбленную. Он найдет ее, потому что никогда не любил по-настоящему ту, мертвую. Он только играл в любовь. Это я любил ее, я, и поэтому для меня она никогда не умрет. Я могу представить себе ее мертвой лишь на мгновение. И тут же я начинаю вспоминать о нашей общей неумирающей юности. Я не хочу думать ни о чем другом. Я не хочу...

Сколько времени мы в пути, Хаммер? Сколько времени прошло с тех пор, как я столкнулся с Родольфо в отеле «Эксельсиор» и увидел женщину, похожую на мою Марию Луизу так, что их можно было спутать? А может быть, она и была Марией Луизой? Может быть, все-таки несмотря ни на что это была она? Так страшно изменившаяся. Совсем не изменившаяся и так страшно изменившаяся, в том недостойном окружении, куда она попала. Ничего невозможного нет, Хаммер. Все, все возможно. Любое изменение к крайностям зла и к крайностям добра. Но нет. Это неправда.

Я сам разволновался. Я воскликнул:

— Конечно, неправда. И если вы сами знаете это, Трибель, зачем вы снова и снова растравляете старые раны?

Трибель продолжал, но в другом тоне, словно теперь ему нужно было утешать меня:

— Сплошь и рядом слышишь прелюбопытные истории. Но все-таки в душе человека таится искра, иногда ее заволакивает дымом, иногда она скрывается под пеплом, но снова и снова разгорается прежним огнем.

Такая искра должна быть. Это я понял из последнего письма Марии Луизы. Почему здесь, на борту, я снова начал сомневаться? Не грех ли сомневаться в Марии Луизе? Она умерла. И никто не может воскресить ее. Откуда же во мне это желание придумать ей сомнительную смутную жизнь?

Я сказал:

— Мы восемнадцать дней в пути. Я прошу вас, Эрнст Трибель, перестаньте мучить себя этой историей. Не воскрешайте Марию Луизу. Вы никогда больше не увидите эту женщину. Заклинаю вас — прекратите это бессмысленное самоистязание.

Некоторое время Трибель молчал. Потом сказал:

— Стало гораздо прохладней. И уже давно нет летающих рыб. Сегодня ночью Барч покажет нам, что Южный Крест окончательно и безвозвратно закатился на юге, а Большая Медведица поднялась на нашем северном небе.

Я ответил:

— Мне хочется вместе с вами понаблюдать ночью звездное небо. Но капитан пригласил нас сегодня распить бутылку сливовицы. Это, наверно, в последний раз. И знаете, что обещал нам кок? Вы говорили об этом в самый первый день: он угостит нас печеными яблоками. Он действительно приберег их на обратный путь.

— Печеные яблоки так прекрасно пахнут. Я уже заранее предвкушаю их,— сказал Эрнст Трибель.— Тогда мы с Барчем подымемся наверх после печеных яблок.

За едой я рассказал Садовскому, что узнал от Клебса о разговоре с монахиней. Он скорчил недоверчивую мину. Я сказал:

— У вас, наверно, нет детей?

Он ответил резко:

— Откуда вы это взяли? Может быть, я оставил в Аргентине прекрасную польку с маленькой девочкой.

После угощения сливовицей я снова остановился с Трибелем на палубе. Я прервал его, когда он хотел начать все сначала:

— Я больше не могу слышать о ваших сомнениях и заботах. Разве вы мне не говорили, что вы врач? Неужели каждый раз, когда ваш больной в опасности, у вас наступают такие приступы отчаяния?

Трибель ответил:

— Не верю, Хаммер, что вы говорите это всерьез. Просто вы хотите меня успокоить, вот и все. Не говорите мне, что безразлично — обманула меня Мария Луиза или нет. Все это совсем не так просто. В Ильменау я узнаю, написала ли она мне. Если она, несмотря ни на что, любит меня, я предложу ей немедленно приехать в Росток.

— Милый Трибель, она не приедет. Она умерла.

— Это вопрос, на который пока нет ответа. Я не могу поверить в ее смерть.

Трибель долго молчал.

— Позовем Барча, попросим его показать нам звезды Северного полушария,— сказал я, наконец.— Он играет с польским мальчиком.

Мы разошлись по каютам, меня удивило, что моего соседа нет. Спать не хотелось. Я снова вышел на палубу. Когда я поднялся наверх, я увидел, что капитан гуляет по палубе об руку с Войтеком, как обычно ходили мы с Трибелем.

Скоро Войтек вернулся в каюту. Он был возбужден, но заснул быстрее, чем всегда. Наверно, капитан успокоил его и предложил помочь с работой.

Мы оба, наверно, хорошо бы выспались, но в дверь сильно постучали. Это были Трибель и Барч. Они позвали нас посмотреть на маяк Бретани, первый свет Европы. Мы выскочили на палубу, хотя пока что была видна только крохотная светящаяся точка. Но я точно помню: едва завидев маяк Бретани, мы страшно обрадовались. Мы сами не понимали, почему он наполнил наши души такой радостью.

Пожалуй, только мне это было ясно. Я скоро увижу детей и жену, вернусь к своей работе. Пусть я досадовал, что меня так срочно вызвали, зато смогу рассказать, как меня встретили в Риу-Гранди-ду-Сул, как удивлялись там, что мы так быстро откликнулись на вызов нашего покупателя. Но больше всего я радовался встрече с дочками. У них косички с бантиками. Как весело мне будет слушать их болтовню — гомон и щебет моих маленьких птичек!

Войтек, наверно, думает о разговоре с капитаном. Для него лучше вернуться как можно скорее. Капитан обещал ему временную работу в Гдыне и посоветовал поступить на курсы для моряков, на те же курсы, которые он уже однажды окончил,— тогда он не провалится на вступительных экзаменах. А с дипломом он быстро найдет место, и никто из его родни и прежних друзей не узнает, где он проболтался столько времени. Предложение капитана обрадовало Войтека. Видимо, мысль об этом мучила его в потерянные годы.

По всему поведению капитана видно было, что это настоящий человек на своем месте. Мне нравилось, что он сам стирает свое белье на палубе в общей стиральной машине. Потом сам развешивал его сушиться. Хотя команда ничего не говорила, ей это, видно, тоже нравилось. Монахиня — та молча отдавала белье своей худой спутнице. Капитан был сильным, крепким человеком. Но и монахиня не была изможденной, болезненной женщиной.

Нам казалось, что мы все время приближаемся к маяку, хотя это был обман зрения. Напротив, мы удалялись от него, приближаясь к входу в Ла-Манш.

В дневном свете маяк скоро станет неразличимым. Первый помощник, который вглядывался в этот свет Европы так же пристально, как мы, сказал внезапно:

— Маяк стоит на острове Квесан у входа в Ла-Манш. Вокруг остро-

ва много рифов, опасных для мелких судов, особенно для рыбачьих, поэтому и сложилась пословица,— он произнес ее по французски: — Qui voit Quessant, voit son sang.

Все захотели услышать перевод пословицы на польский и на немецкий. «Кто увидит Квесан, заглянет в лицо смерти».

— Теперь с нами ничего не случится,— сказал Барч.— Вот несколько позже, в равноденствие, наше плавание было бы потруднее.

Трибель сказал:

— Было бы невероятной случайностью, если бы меня еще раз пригласили в Бразилию. Никогда больше не увижу я этого континента.

— Ты все равно больше не увидел бы Марию Луизу,— решительно сказал я.— Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов.

— А если меня ждет письмо? — возразил он.

— Сожги его.

Тем временем к нам подошли монахиня, ее спутница и певец с женой. Монахиня с восхищением посмотрела на маяк и произнесла несколько фраз по-польски, а может быть, и по-латыни, и ее спутники повторяли их. Наверно, она благодарила бога за благополучное прибытие в Европу.

— Прекрасно,— сказал Барч.— Мы совершаем это плавание по наикратчайшему маршруту. Без всяких отклонений.

— А мне оно показалось очень долгим,— проворчал Войтек себе под нос, как ворчал все эти дни.

Потом появилось много танкеров, грузовых и пассажирских судов разного типа. Со всех сторон они спешили к Ла-Маншу.

— Если ты действительно поступишь на пароход,— сказала вдруг маленькая девочка,— ты будешь инженером, как наш отец.

— Нет,— упрямо ответил мальчик.— Я твердо решил, у меня будет замечательная профессия.

Взрослые не успели спросить у него, что это будет за профессия, как капитан сказал:

— Мы тебя проэкзаменуем и увидим, на что ты годен.

К нам совсем близко подошел пароход под польским флагом. С его борта что-то кричали. Я подумал, что это, наверно, традиционные приветствия: «Со счастливым прибытием!» и слова благодарности маяку, который был перед нами.

Барч вдруг круто повернулся:

— Примите, господин капитан, нашу благодарность вам и всей команде.

Трибель молчал, потом тихо произнес то, о чем все время думал:

— А может быть, она уехала оттуда еще раньше нас?

Я закричал на него:

— Прекрати, наконец! Она умерла. И все! Она утонула в море. Все было именно так, как ты мне рассказывал. Предоставь ее тому, что мы называем «вечным покоем». Я умоляю тебя, не говори больше о ней.

Первый помощник поглядел на нас. Мне показалось, что он хорошо разбирается в сложностях человеческих судеб, потому что немало разных историй слышит во время плавания.

По каналу мы проходили в ясный и солнечный день. Стояло позднее лето. В этот безветренный час сияющий солнечный свет спокойно освещал противоположный берег канала. Нас разделяли проплывавшие мимо суда, но все равно казалось, что берег лежит совсем рядом.

Мы разглядывали многоэтажные склады, торговые и жилые здания. В ясном и мягком, четко очерчивающем все свете можно было разглядеть каждый этаж. Мы видели людей, которые отдыхали на балконах, разговаривали, заходили в магазины.

Берег словно притягивал нас. Он казался гораздо выше и круче, чем

был на самом деле. Мы видели только маленький выступ суши, а нам представлялось, что стоит пересесть в вагон поезда, и мы мгновенно очутимся посреди английской равнины.

Садовский опять спросил, какие книги Джозефа Конрада мы читали. Его интересовало, помним ли мы рассказ Конрада о том, как римляне высадились на этот суровый остров, как овладели побережьем.

— Об этом в книге Конрада рассуждают люди, спускающиеся на лодке вниз по Темзе уже в наши времена,— сказал Садовский,— их поражает, что даже в этих краях земля была некогда совсем дикой.

Удивительно, что такой человек, как Садовский, так много читал, я ему даже завидую. Мы детьми помогали отцу в поле, иногда играли в футбол и почти ничего не читали. Но Садовский, как видно, хорошо разбирался в самых разных вещах.

Барч резко возразил ему:

— Разве вы забыли, что немцы сбросили в воду английский гарнизон Дюнкерка? Что во время воздушных налетов они уничтожали целые кварталы Лондона? Неужели вы не видите, что мир остался диким?

Тем временем канал расступился, показалось устье Эльбы, все пешли с борта, обращенного к морю, на борт, обращенный к материку. Одни суда все дальше по реке углублялись в материк, а другие, те, что шли из Гамбурга, начинали здесь свое морское плавание. Мы причалили в Брунсбюттелькоге, помощник капитана подошел к каждому из нас со списком товаров. На коротком отрезке пути можно было делать покупки беспошлинно. Я купил жене и дочкам яркие кофточки.

Трибель сидел один, в стороне от всех. Скрестив руки на релинге и положив на них голову, он вглядывался в равнину, в которую мы углублялись. Этот пейзаж был ему непривычен. Не знаю, случалось ли ему прежде плавать на пароходе по зеленой долине. Странное это было ощущение — плыть не по волнам пустынного океана, а среди колышущихся хлебов.

Все, что Трибель рассказал о своей юности,— правда. Я не сомневаюсь в этом. Боюсь только, ему будет не легко избавиться от своего горя. Труднее всего преодолеть боль и страдания юности, а забыть их невозможно. Часто говорят, что беды молодости легко забываются, но это не так. Я тоже никогда не забуду тяжелых переживаний юности: смерти любимого брата, не забуду, как медленно, без всякой помощи, умирал в поле мой лучший друг. Как преодолеть тоску, что владеет Трибелем? Она тяжко давит на сердце, и хотя иные осудят меня за эти слова, я думаю, в этом есть своя хорошая сторона. В нашем теперешнем, изменяющемся, стремительно рвущемся вперед мире хорошо, если в душе человека есть нечто прочное, даже если это — неослабевающая боль.

Человек, испытавший столько тяжелого, лучше поймет людей, на чью долю тоже выпали страдания. А способность понимать других пойдет на пользу ему в его жизни и работе.

Осенний день с его мягким, спокойным светом перевалил за половину. На меня упала легкая прозрачная тень. Кто-то положил руку мне на плечо. Я сразу догадался, что это Трибель, который не хотел больше оставаться один.

Он проговорил:

— Знаете, Хаммер, я рад, что обо всем рассказал вам. У меня стало легче на душе, как будто я сбросил в море всю тяжесть — камень за камнем. Теперь я рад, что возвращаюсь домой, это для меня еще не совсем настоящий дом, но он станет им. Я радуюсь возвращению в маленький город Ильменау, в больницу, к моей работе, к моим пациентам, я радуюсь, что мне предстоит доклад о конгрессе в Баии, что я везу с собой много книг, я радуюсь встрече с главным врачом и его семьей, и с маленькой милой сероглазой Гертой. Хорошо, что я везу каждому пода-

рок. Я вам признаюсь, Хаммер, в Ростоке меня, возможно, будет встречать Герта.

Я ответил:

— Ваш рассказ сделал мое путешествие богаче и интереснее. Но не надейтесь слишком, что Герта встретит вас в Ростоке. Из Тюрингии до Балтийского моря не близкий путь.

— Она намекнула мне на это в письме. Я буду рад ей, но вовсе не рассчитываю, что она приедет...

Стемнело. Мы поужинали неторопливо и почти в полном молчании — не хотелось больше пить вина и произносить тосты. Все рано легли спать. Когда, спустя несколько часов, мы встали, Трибель уже сидел на своем месте. Он разговаривал с Барчем. На берегу тянулись сады, золотистые и алые яблоки сверкали в ветвях, как маленькие солнца.

# КАРЛОС ФУЭНТЕС

# *Все кошки серы*

## ПЬЕСА В ДЕВЯТИ КАРТИНАХ

*Перевод с испанского и вступление М. БЫЛИНКИНОЙ*

**Известного мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса наши читатели знают по роману «Смерть Артемио Круса» («Иностранная литература» №№ 7—8, 1965 г.). Недавно он выступил в новом для себя жанре — драматургии.**

**В основу пьесы «Все кошки серы» положен исторический сюжет: завоевание в XVI веке испанским конкистадором Эрнаном Кортесом ацтекского царства Моктесумы. Автор открыл самую первую, трагическую страницу истории Мексики и прочитал ее с точностью скрупулезного летописца и мастерством современного художника. Не искажен ни один исторический факт эпохального события, ни один миф, дана верная картина древней страны ацтеков и средневековой Испании.**

**И тем не менее перед нами — волнующее художественно-философское произведение наших дней, актуальной проблематики.**

**Мексиканский писатель встревожен экспансионистской политикой империализма США по отношению к развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, и прежде всего, конечно, Мексики,— об этом недвусмысленно свидетельствует финал пьесы. Однако народы развивающихся стран — это еще одна важная тема, поднятая в пьесе,— должны преграждать путь не только Эрнану Кортесу и стоящим за его спиной темным силам, надо остерегаться своего «собственного» Моктесуму, потворствующего внешней реакции и нагнетающего реакцию внутреннюю.**

**В политическом языке современной Мексики широко распространен термин «малинчизм», то есть — «предательство национальных интересов». Попавшая в рабство к испанским конкистадорам молодая индеанка Малúнче, или Малинцúн, получившая после крещения имя «Марина», стала возлюбленной Кортеса и содействовала успехам испанцев, выступая против индейских народов. Имя ее стало нарицательным для обозначения предательства. Автор меняет историческую ассоциацию привычного термина, наполняет его новым, более широким смыслом, толкуя «малинчизм» так: одна женщина не могла принести Кортесу с его пятьюстами солдат полную победу над Моктесумой с его десятками тысяч воинов. Основная беда, погубившая ацтекский народ,— «малинчизм» Моктесумы, а не Малинче; «малинчизм», исподволь подрывающий внутренние силы народа и распахивающий ворота перед внешним врагом. В новой и новейшей истории многих латиноамериканских республик найдется не один такой Моктесума, или, как называли его раньше, Монтесума.**

**Когда ацтеки под руководством вождя Куаутéмока — ныне национального героя Мексики, которому воздвигнут памятник в центре мексиканской столицы,— устремились против захватчиков, вырвавшись, наконец, из ночи царя Моктесумы, было уже поздно. Перед ними стояла ночь Эрнана Кортеса. А ночью, как известно, все кошки серы...**

**Искусно перебрасывая в финале пьесы мост от трагедии прошлого к тревогам настоящего, Карлос Фуэнтес, однако, оптимистически рисует будущее, которое символизирует и озаряет мифический герой ацтеков Кецалькóатль — надежда и воплощение трудового народа Мексики. После ночи непременно настает день.**

**Антиимпериалистическая, философская пьеса Карлоса Фуэнтеса вызвала живой отклик среди соотечественников писателя, увидевших в этом произведении не только далекое прошлое. С большим интересом пьеса была встречена и в других странах Латинской Америки — однако она не была опубликована там, где за власть еще держатся вассалы конкистадоров XX века вместе с жрецами-клерикалами.**

---

Текст пьесы иллюстрируют репродукции рисунков из старинных мексиканских исторических хроник, а также гравюр известных мексиканских художников Леопольдо Мендеса, Альберто Бельтрана и других.

## Действующие лица

### ДВОР МОКТЕСУМЫ:

МОКТЕСУМА ХОКОЙОЦИН — *верховный правитель царства ацтеков.*
КУИТЛАУАК — *брат Моктесумы.*
КУАУТЕМОК — *племянник Моктесумы.*
СИУАКОАТЛЬ — *верховный жрец.*

**Хор авгуров:**

1-Й АВГУР, он же УИЦИЛОПОЧТЛИ — *бог войны и солнца, Колдун-Колибри.*
2-Й АВГУР, он же КЕЦАЛЬКОАТЛЬ — *бог света, ремесел и искусств, Пернатый Змей.*
3-Й АВГУР, он же ТЕСКАТЛИПОКА — *бог ночи, Курящееся Зеркало.*
4-Й АВГУР — *женщина.*
5-Й АВГУР.

ЦАРЬ ТЕСКОКО — *старый вождь, союзник Моктесумы.*
ЦОМПАНТЕКУЧТЛИ — *советник Моктесумы.*
ТОРГОВЕЦ.
ПАСТУХ.
СБОРЩИКИ ДАНИ.
МАГИ-ВОЛШЕБНИКИ.
ОХОТНИКИ.
ПОЭТ.

*Семья Цомпантекучтли, девушки-прислужницы, горбуны, уроды, карлики, воины, музыканты, танцоры, певцы, ремесленники, женщины, дети, наставники и др.*

### ЛАГЕРЬ КОНКИСТАДОРОВ:

ЭРНАН КОРТЕС — *испанский военачальник, предводитель отряда конкистадоров.*
МАРИНА — *индеанка, возлюбленная Кортеса.*
БАРТОЛОМЕ ДЕ ОЛЬМЕДО — *монах-капеллан.*
ПЕДРО ДЕ АЛЬВАРАДО — *военачальник.*
АЛОНСО ЭРНАНДЕС ПОРТОКАРРЕРО — *военачальник.*
КРИСТОБАЛЬ ДЕ ОЛИД — *военачальник.*
ГОНСАЛО ДЕ САНДОВАЛЬ — *военачальник.*
ДИЕГО ДЕ ОРДАС — *военачальник.*
ТОЛСТЫЙ КАСИК ИЗ СЕМПОАЛЫ.
КОРОЛЕВСКИЕ ФИСКАЛЫ.
СЕРМЕНЬО — *военачальник.*
ЭСКУДЕРО — *военачальник.*
СОЛДАТЫ.
ПОСЛАНЦЫ МОКТЕСУМЫ.
МАТРОС.
ЖРЕЦЫ ИЗ ЧОЛУЛЫ.
ЮНОША-ЖЕРТВА.
ДВОЙНИК МОКТЕСУМЫ.

*Индейцы-носильщики, индейские юноши-жертвы, поющий солдат, девушка-индеанка, писарь, индейские женщины, мужчины, дети и др.*

1

Темнота. Медленно нарастают два контрастирующих шума, заполняющие сцену и зрительный зал: частое дыхание влюбленной пары и шелест метлы, которая метет сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Из глубины зрительного зала с факелом в вытянутой руке к сцене бежит женщина-индеанка, это Марина. Она одета в белую тунику с цветной каймой — как ее изображают старинные манускрипты. Волосы черные, длинные, распущенные.

Марина. Малинци́н, Малинцин, Малинцин... Марина, Марина, Марина... Мали́нче, Малинче, Малинче... Ай, куда мне идти? Мир моего народа, мир ацтеков гибнет. Куда мне идти? Может быть, единственный дом всех людей — это дом тех, кто уже лишился тела? Может быть, наш дом — это дом умерших, далекие небеса? А может быть, наша земля уже стала или всегда была домом умерших? Ай, все мы уйдем, все уйдем. Никого не останется на свете! Тогда не будем горевать!.. Малинцин, Малинцин, Малинцин... Марина, Марина, Марина... Малинче, Малинче, Малинче... У тебя было три имени, женщина: то, которое тебе дали родители; то, которое дал тебе твой возлюбленный, и то, которое дал тебе твой народ. Малинцин, сказали твои родители, Малинцин — волшебница, богиня злой судьбы и кровавых распрей... Марина, сказал твой муж, Марина — память об океане, по которому он приплыл в эти земли. Малинче, сказал твой народ, Малинче — изменница, голос и проводница белого человека. Богиня, возлюбленная и мать — я пережила страшную историю и могу поведать ее вам. Это история двух людей: одного, который имел все и звался Моктесума Хокойоци́н, великий владыка ацтеков; и другого, который не имел ничего и звался Эрнан Кортес, маленький капитан, мелкий испанский идальго. Я пережила страшную историю и могу поведать ее вам. Это история двух народов: ацтекского, который сомневался очень во многом, и испанского, который мало в чем сомневался. Малинцин, Марина, Малинче. Я стояла у колыбели истории новой нации, потому что я была богиней, которая предвидела ее появление; во-вторых, я, индеанка, была любовницей белого человека, зачавшая новый народ; и, наконец, я стала матерью, которая родила мексиканцев. Богиня — Малинцин, распутница — Марина, мать — Малинче. *(Пауза.)* В году Се Акатль по ацтекской хронологии и в 1519 году христианской эры — как я потом узнала, когда научилась считать,— великие владения ацтеков наполнились странными фигурами и звуками...

Открывается занавес, Марина тушит факел в котле с водой и уходит.

# 2

Мехико — Теночтитла́н [1], 1519 год. У стен дворца царя Моктесумы. Внезапный слепящий свет заливает авансцену. Два индейца падают на колени. Первый — бродячий Торговец в простой тунике и сандалиях. Второй — Пастух; бедра обернуты шкурой, в одной руке держит посох, в другой — сверток, который прижимает к обнаженной груди. Яркий свет заставляет обоих закрыть руками глаза.

Торговец. Опусти глаза, пастух.

Пастух. Ну и свет, я не мог бы смотреть, если бы даже хотел...

Торговец. Этот свет излучает наш царь Моктесума, воплощение солнца, властелин всех земель...

Пастух. Говорят, никто не имеет права глядеть на Моктесуму, видеть его лицо, кроме четырех его родственников, самых близких.

Торговец. Так и должно быть. Попробуй взгляни на солнце — и ты ослепнешь.

Пастух. Не для того, знать, сделаны наши глаза, торговец, чтоб глядеть на такое величие.

Торговец. Ты и я сделаны для мелких дел. *(Пауза.)* Ты, пожалуй, для еще более мелких, чем я.

Пастух. И все-таки...

Торговец. Что?

Пастух. Тебе никогда ничего не чудится?

Торговец. А, и тебе, значит, тоже!..

Пастух. Да, но я никому не рассказываю о своих снах и видениях.

Торговец. Я их называю наваждениями. А кто захочет купить наваждения! За сколько зерен какао я мог бы продать свой вчерашний сон, когда я видел, как море изрыгало чудовищ о четырех лапах и белых бородатых людей, страшно щеривших зубы?

Пастух. Мой сон был поприятней! Из-за моря вернулся наш великий бог Кецалькоатль, бог добра и счастья, чтобы принести добро и счастье беднякам нашей земли.

Торговец. Ха! Сны становятся у всех одинаковыми, как шлифованные камни.

Пастух. А ведь предсказания оправдываются, торговец. Никто не знает, как объяснить эти чудеса, но их видят все. Небо загорается, кометы

---

[1] В XV веке два больших ацтекских поселения — Теночтитлан и Тлателолько — слились в один город-государство Мехико. Однако Теночтитлан продолжает особо выделяться историками, в частности, потому, что по количеству жителей (более 60 тысяч семей) и размерам он значительно превосходил Тлателолько и в нем находилась резиденция верховного правителя ацтекского царства. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

летают, воды озера кипят, умирающие женщины вдруг воскресают, крича: «Скоро конец царству Моктесумы!» *(Пауза.)* Чем-то дрянным пахнет. Вроде мертвечиной.

Торговец *(принюхиваясь)*. А что у тебя в узле?

Пастух. Ничего...

Торговец. Ну-ка покажи!

Пастух. Да ничего тут нет, говорю тебе...

Торговец вырывает у Пастуха сверток, из которого вываливается мертвый сопилот [1].

Торговец. Дохлый сопилот...

Пастух. Сопилот... Ты смог бы его продать, торгаш?

Торговец. Дурак. Кому нужна эта падаль?

Пастух. Не знаю, не знаю... А может, нашему царю Моктесуме... Говорят, он спустился в ад наложить на себя покаяние. Говорят, он беседует там со своими предками и с богами, чтоб узнать, что означают все эти чудеса и предсказания... Может, он захочет обменять павлинов из своего дворца на эту зловонную птицу. Зачем ему павлины в аду, а это как раз...

Торговец. Говорят, сопилоты — все равно что боги: пожирают дохлятину, чтобы очищать поля.

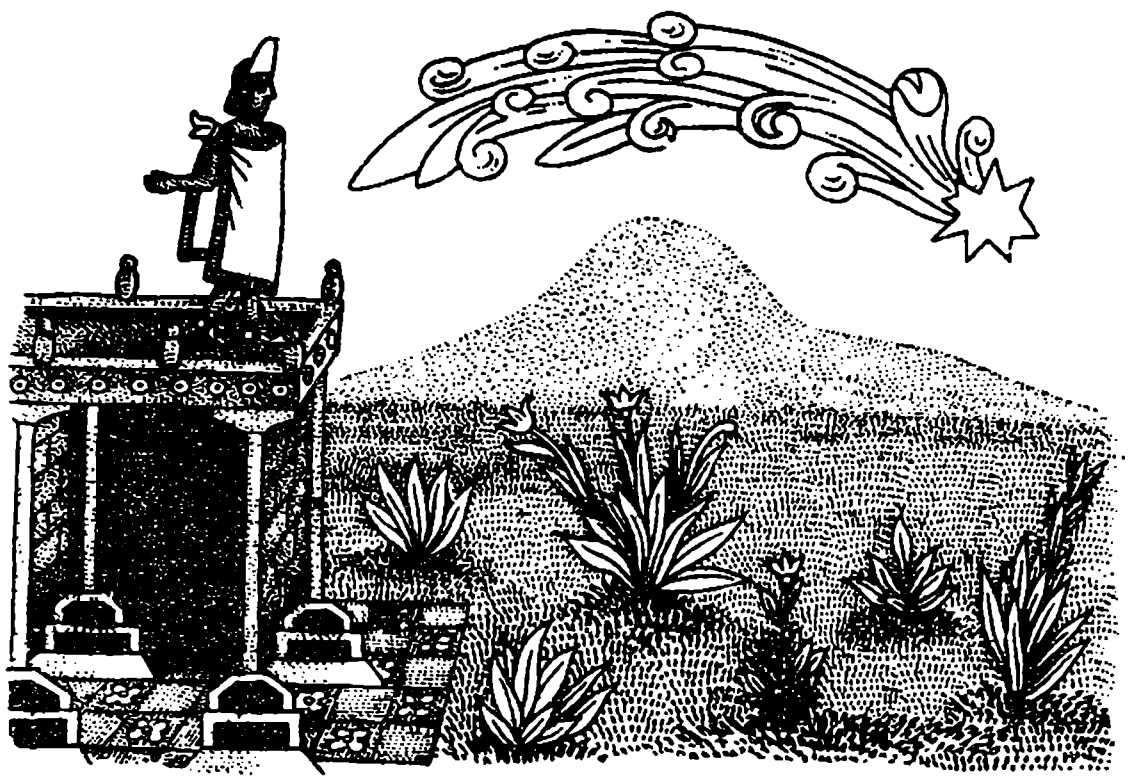
Пастух. Грязь и чистота.

Торговец. Чистота и грязь.

Раздается страшный крик Женщины за сценой.

Голос женщины. О мои сыны, бедные мои сыны! Все мы пропадем, все погибнем!

Пастух и Торговец в ужасе снова прикрывают глаза руками. Уходят.



## 3

Зал во дворце царя Моктесумы. Слепящее сияние гаснет. На сцене разлит неяркий, сумеречный, мягкий свет. Обнаженный человек — в одной набедренной повязке — медленно метет метлой. Это Моктесума. Входит хор авгуров — их пятеро в белых блестящих туниках. Их фантасмагорическое появление сопровождается странными телодвижениями, жестикуляцией. Они прыгают, ползают, валяются по полу, что-то нашептывают Моктесуме на ухо, кричат, бегают по сцене. Одновременно нарастают, смешиваясь и чередуясь, зловещие звуки, предвещающие трагическую судьбу ацтеков: рычат дикие звери, каркают неведомые птицы, стучат топоры по дереву, ухают филины, квакают лягушки, пищат крысы.

Хор авгуров. О наш светлейший повелитель, о наш всемилостивейший и всемогущий царь! Драгоценнейший из драгоценных камней!

Моктесума. Горе мне, горе! Несчастнейший я человек!

---

[1] Ястреб-стервятник.

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума!..

1-й авгур. О всемогущий повелитель, только ты достоин быть владыкой этого царства, которое оставили тебе твои предки!

2-й авгур. Твои предки, Моктесума, не забывай их — они узаконили твою собственную власть.

Хор авгуров. Акамапи́чтли, Уицилиуи́тль, Чимальпопо́ка, Ицкоаци́н, Моктесума Старый, Ахаяка́тль, Тисосикаци́н, Ауисо́тль и ты...

Моктесума. Пусть замолчат лягушки...

3-й авгур. ... и ты, Моктесума Хокойоци́н, молодой, щенок империи...

Моктесума. Разве вы не слышите, как ухают филины?

4-й авгур. Твои предки прибыли на это плоскогорье усталые, но чистые; без ничего, но в сиянии славы!

Моктесума отбрасывает метлу, затыкает уши руками.

5-й авгур. Они прибыли издалека, из-за белых морей, после бесконечных скитаний, окоченевшие от холода, в поисках огня родины.

Моктесума становится на четвереньки и начинает убивать муравьев на земле.

Моктесума. В этом доме развелись муравьи...

1-й авгур. Твои предки умели охотиться на оленей и ягуаров, забивать сладких фазанов и диких уток...

2-й авгур. Они убивали, чтобы выжить.

Моктесума. Проклятые муравьи...

3-й авгур. Твои предки сражались на рассвете со зверями, сами голые и безоружные, как звери...

Моктесума *(прислушивается)*. Слышите, как рычит дикий зверь в горах?

4-й авгур. Твои предки научились добывать огонь.

Моктесума. Слышите, как топор стучит по дереву во тьме?

5-й авгур. А когда догорали угли, они учились читать по звездам...

Моктесума. На болоте квакают лягушки.

1-й авгур. Звезда сумерек, она же звезда зари, вывела их на правильный путь...

2-й авгур. ...к тому месту, что значилось в предсказании...

Моктесума. Слышите, как пищат крысы?

3-й авгур. К месту основания нашего города...

4-й авгур. К озеру около вулканов...

Хор авгуров. Это здесь...

5-й авгур. Скала посредине озера...

Хор авгуров. Это здесь...

1-й авгур. На вершине скалы — кактус...

Хор авгуров. Это здесь...

2-й авгур. На кактусе — огромный орел...

Хор авгуров. Это здесь...

3-й авгур. А в клюве орла — змея...

Хор авгуров. Это здесь, это здесь, это здесь...

4-й авгур. Змея, задуше́нная ацтекским орлом...

Хор авгуров. Берегись, Моктесума, берегись, Моктесума...

5-й авгур. ... чтобы змея не задушила орла![1]

Моктесума. В моем доме воняет мочой шакала...

1-й авгур. Боги дали нашему народу эти прозрачные высоты под самым куполом ясного неба, далеко от серых стен океана и выжженных

[1] На государственном гербе Мексики изображен орел, держащий в клюве змею.

солнцем пустынь, которые защищают наши земли, как стены твоего дворца, Моктесума, охраняют тебя...

Моктесума. Ящерица вползла в мой дом.

2-й авгур. Эта империя[1], как начертанное на камне прорицание, должна существовать вечно...

3-й авгур. Твоя империя, Моктесума, империя солнца и войны...

4-й авгур. Империя крови, стоящая на крови распоротых грудей и вырванных сердец, которые должны питать солнце, питающее наши поля...

5-й авгур. Твои предки основали столицу империи Мехико — Теночтитлан, и отсюда они устремились в шуме сражений на завоевание остальных, известных нам земель...

1-й авгур. Они завоевали многие народы, стали взимать с них дань: золото и дерево, маис и кровь, чтобы орошать ею алтарь нашего бога Уицилопо́чтли, бога войны...

2-й авгур. Ты был ничем, Моктесума...

3-й авгур. Мы выбрали тебя за твои достоинства, мы вознесли тебя из праха к солнцу, которое господствует над землей...

4-й авгур. Девятнадцать лет назад ты был избран, маленький Моктесума, избран знатными принцами Мехико. И мы тебе сказали...

5-й авгур. Ты уже никогда не сможешь спрятаться или уйти, никогда не сможешь отрешиться от приговора: «Моктесума, тебе дана власть».

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума, ты царь, ты властелин, ты владыка-солнце беспредельной империи, которую оставили тебе в наследство твои предки...

4-й авгур *(каркает)*. Все империи верят, что будут существовать вечно!

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, царь, властелин, солнце...

1-й авгур. В чем ты каешься?

2-й авгур. В чем сомневаешься?

3-й авгур. Чего ты боишься?

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума, что будешь делать со своей властью?

Моктесума. Что прикажут мне боги...

Хор авгуров. Все началось на небе...

5-й авгур. Ты не забывай этого, царь наш и повелитель. Истоки нашей жизни — на небесах, и тебе положено выполнять наказы неба на земле...

Моктесума. Пусть боги поговорят со мной. Я их выслушаю.

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума, какому богу ты подчинишься?

1-й авгур. Мне, Уицилопо́чтли, богу войны...

1-й авгур сбрасывает белую мантию и является в одеждах бога Уицилопочтли: на голове — плюмаж из желтых и синих перьев гуакамая[2]; вокруг бедер — сетчатая голубая ткань, унизанная колокольчиками; на ногах, разрисованных голубым,— золотые сандалии. В руках — щит, стрелы и стяг из перьев. Уши прикрыты голубыми перьями, на лбу — кровавое пятно.

Хор авгуров. Уицилопочтли, юный воин, явился из дыма пожарищ, в рычании тигров и в клекоте орлов...

Авгур Уицилопочтли. Я не зря ношу убор из желтых перьев, потому что заставляю восходить солнце.

---

[1] Термин «империя» применен здесь автором условно. Исторически так называемое царство ацтеков XVI века определяется как конфедерация трех городов-государств — Мехико (Теночтитлана), Тескоко и Тлакопана,—подчинившая себе и обложившая данью другие многочисленные индейские племена древней Мексики.

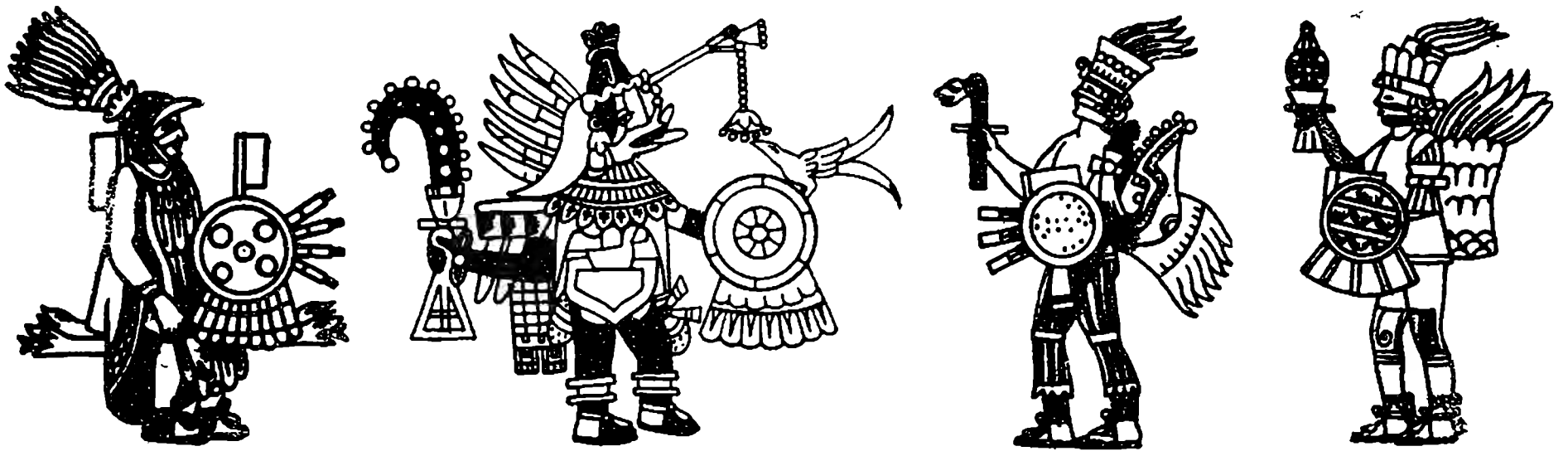
[2] Вид попугая с красно-желто-синим оперением.

Моктесума. Повторите мне истины, чтобы я продолжал в них верить.

Хор авгуров. Вот истина: твои подданные — это твое бремя, о всемогущий царь. Нет власти без подданных, ибо никто не властвует над пустотой...

Авгур Уицилопочтли. Как накормишь ты своих сынов, Моктесума, если не дашь им плоды земные? А как будет земля твоей, если ты не завоюешь ее руками своих воинов?

Хор авгуров. Подчини себе все соседние народы, Моктесума...



Авгур Уицилопочтли. Но, если ты и завоюешь всю землю, как будет расти на ней маис, который дает нам хлеб, и кактус-магей, который дает нам пьянящий напиток пульке, если солнце ее не согреет, если ветер ее не подметет, если дождь ее не увлажнит?

Хор авгуров. Бог Тонатиу — солнце, бог Эекáтль — ветер, бог Тлалок — дождь.

5-й авгур. Служи многим и не будешь в услужении ни у кого.

Моктесума. Что же мне надо делать?

Авгур Уицилопочтли. Собери десять тысяч своих людей и брось их против земель, которые еще не поклялись тебе в верности, как мятежная Тласкала, или против тех, кто ропщет, как лукавая Семпоала. Уничтожь ее воинов, а тех, кого не убьешь, возьми в плен; пленных принеси в жертву на великой пирамиде Теночтитлана, твоей столицы. Клянусь тебе, Моктесума, что солнце выпьет эту кровь и возродится на следующее утро.

Моктесума. А если меня одолевают слабость и лень?

Авгур Уицилопочтли. Утоли мою жажду, Моктесума, или солнце навечно уйдет отсюда и ночь овладеет твоими землями. Построй мне храм, Моктесума, чтобы весь народ знал, какого бога он должен чтить.

Хор авгуров. Тласкальцы — наши враги!

Авгур Уицилопочтли. Иди со мной!

Хор авгуров. Семпоальцы — наши враги!

Авгур Уицилопочтли. Иди со мной!

1-й авгур снова набрасывает на себя белую мантию.

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума, что ты будешь делать со своей властью?

Моктесума *(в отчаянии)*. Я буду слушать богов, буду слушать богов.

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума, какого бога ты будешь слушать?

2-й авгур. Меня, Кецалькоатля, бога-наставника.

2-й авгур отбрасывает свою мантию. Он одет в наряд Кецалькоатля — Пернатого Змея: с головы, почти до полу, спускается длинный плюмаж из голубых и белых перьев, на плечах — чешуйчатая туника, лицо закрывает белая бесформенная маска.

Хор авгуров. Родился Кецалькоатль в солнечных землях, где люди рождаются в пламени жаровни и в огне семени.

Авгур Кецалькоатль ложится на землю.

Авгур Кецалькоатль. Однажды, искупавшись, я приник к земле, ласкал ее и играл с ней, и мое огненное семя изверглось на комья земли. Пыль ожила, и родились люди. Люди, которых раньше не было, благодарили меня за то, что я подарил им жизнь.

Хор авгуров преклоняет колени перед Кецалькоатлем.

Хор авгуров. Спасибо, спасибо, спасибо.

Авгур Кецалькоатль. Но из-за этого бог ночи стал завидовать мне — в своей тьме он ничего не мог создавать. Ночь питается растущей пустотой. Я создал людей в любви и для любви, в свете и для света.

Яркий луч освещает фигуру бога Кецалькоатля. 3-й авгур отходит от коленопреклоненного хора, откидывает белую мантию и остается в черной одежде. Лицо его закрашено черным, зверски оскалены зубы.

Хор авгуров. Тогда бог ночи сказал...

Авгур Тескатлипока. Кецалькоатль — это свет, и его сыны-люди родились из света. Но даже свет нуждается в отдыхе, и моя империя, ночь, освобождает от усталости все живое.

Авгур Тескатлипока спиной к зрителям наклоняется над лежащим Кецалькоатлем и что-то вырывает у него. Кецалькоатль вскрикивает от боли, корчится. Освещение тускнеет. Хор авгуров со стонами разбегается.

Сыны Кецалькоатля не будут лучше и совершеннее солнца, поэтому они, как и само солнце, захотят спать. И тогда я, Тескатлипока, демон сна,— стану властвовать над ними каждую ночь и насылать на них сны, которые заставят людей усомниться в доброте их создателя.

Хор снова собирается вокруг Кецалькоатля. Авгуры будто сеют, собирают урожай, обтесывают булыжники, шлифуют драгоценные камни, ткут одежду.

Авгур Кецалькоатль. Днем я обучал своих сынов шлифовать яшму, сеять маис, держать ткацкие станки, красить ткани. *(Пауза. Хор ложится и засыпает.)* Но по ночам, когда все падали от усталости, я не мог управлять их видениями, сон отдалял их от меня.

Авгур Тескатлипока подходит к хору и приближает к лицу спящих нечто большое, длинное, обернутое золотой тканью.

Авгур Тескатлипока. Спящие, я спрашиваю ваши уши: видели ли вы когда-нибудь лицо отца вашего, Кецалькоатля? Это не ваше лицо, лицо тех, кто им создан; это лицо дочеловеческих времен. Если бы вы его увидели, вы умерли бы от ужаса. Вас много, он один. Вы родились и умрете, и ваши лица отразят прекрасную и непрочную людскую эпоху. Он же никогда не умрет: лик его страшен, потому что непознаваем; непознаваем, потому что вечен.

Авгур Тескатлипока приближается к авгуру Кецалькоатлю.

Авгур Кецалькоатль. Бог ночи подарил мне что-то, завернутое в ткань.

Авгур Тескатлипока передает авгуру Кецалькоатлю длинный, кажущийся тяжелым сверток. В руках последнего неожиданно оказывается зеркало.

Авгур Тескатлипока. Бог света взял подарок и посмотрел. Это было зеркало.

Авгур Кецалькоатль. Я взглянул в него, я, никогда не видевший своего лица.

Авгур Тескатлипока. Ты, создавший лица людей.

Авгур Кецалькоатль. То, что я увидел, ужаснуло меня. Мой лик не походил на людские лица. Если люди, мои творения, были божественным чудом, то я должен быть просто чудовищем. Если же я был богом, то мои сыны, столь непохожие на меня, должны были быть порождением ада.

Авгур Тескатлипока. Твое лицо было вечным, подобным зеркалу,— пустой бесконечностью. Подобным моему царству ночи. Ты увидел себя в зеркале и закричал...

Авгур Кецалькоатль. Если бы мои сыны меня увидели, они в страхе бежали бы от меня!

Авгур Кецалькоатль подбегает к чану с водой и пьет жадно, как разъяренный зверь.

Авгур Тескатлипока. В отчаянье от того, что ты не похож на свои творения, ты той ночью напился допьяна...

4-й авгур отбрасывает покрывало и оказывается обнаженной женщиной. Авгур Кецалькоатль приближается к ней, заключает в объятья.

Авгур Кецалькоатль. Я нашел единственную женщину в своей обители, но она оказалась моей родной сестрой.

Авгур Кецалькоатль страстно прижимает к себе женщину — 4-го авгура.

Авгур Тескатлипока. Ты стал мужчиной, овладев родной плотью и кровью.

Авгур Кецалькоатль. Я стал мужчиной. Я стал человеком. *(Отталкивает от себя 4-го авгура. Женщина в изнеможении опускается к его ногам.)* И потому, что бог стал человеком, люди почувствовали себя свободными и сильными. Но они ощутили себя и виновными, ибо для того, чтобы получить свободу и силу, им пришлось смешать свет с тьмою, и прежде чем получить свободу, им надо было утратить ее.

Женщина-авгур осторожно, со страдальческим выражением лица кутается в покрывало — будто оно усеяно иглами. Авгур Кецалькоатль бросает на середину сцены большое продолговатое зеркало. Авгуры опускаются на колени перед зеркалом и, как собаки, лижут его. Авгур Кецалькоатль медленно спускается по авансцене к партеру. Затем, так же медленно и задумчиво, он идет в глубь зрительного зала, выходит.

Авгур Тескатлипока. Кецалькоатль бежал за моря...

Авгур Кецалькоатль *(появляясь слева на просцениуме)*. ...устыженный и печальный.

Авгур Тескатлипока. Он создал людей, но чтобы отличить их от бога, дал им свободу. Он дал им лицо — зеркало времени; время — отражение их устремлений; устремления, порожденные необходимостью.

Авгур Кецалькоатль. Бог не свободен в своих поступках, бог — это лишь начало начал, которое воплощается в мир, в воздух, во все, в ничто.

Авгур Тескатлипока. Желая улучшить свое творение и придать ему смысл, он не мог обойтись без моей помощи, без ночи, без сна, без зла.

Авгур Кецалькоатль. Ночь, сновидения, зло, из них вырастают желания и устремления.

Авгур Тескатлипока. С тех пор мы вместе правим людьми.

Авгур Кецалькоатль. Но я удалился из этих земель, я ушел за моря, на восток.

Авгур Тескатлипока. Кецалькоатль, белый бог света, рыжеволосый бог, ты не можешь существовать без моей непроницаемой чер-

ноты... Вот контраст, который, отвергая тебя, тебя же утверждает и выделяет...

Хор авгуров. Моктесума, царь, сделай так, чтобы свет снова вернулся в твою империю. Ты правишь людьми, а не камнями, и людям нужна не только ночь, но и день. Они хотят жить и любить по своему разумению в этом рискованном сочетании света и тьмы...

Авгур Кецалькоатль. Пока меня тут не будет, я буду желанным, я буду символом единства, созидания мира, иллюзий, утраченных этим народом... Я буду в каждой скульптуре, в каждом горном отроге, в каждой вспаханной борозде, в каждой сложенной песне, в каждом вдохновенном танце, в каждом посеянном злаке...

Авгур Тескатлипока. Не забывай о конечной судьбе своих благодеяний, Пернатый Змей: они желанны потому, что их нет; именно потому, что их нет — они желанны.

Авгур Кецалькоатль. Все же я когда-нибудь вернусь, я обещаю. И когда я вернусь в золотом отсвете солнца и океана, я спрошу по праву создателя жизни и участника жизни, по праву творца процветания и падения мира, творца великого единства начал и конца нашего мира, я спрошу, взывая к памяти людей, родившихся по желанию любви, а не по велению темной покорности: как вы воспользовались моими дарами? Что вы сделали с властью, данной людям?

Моктесума. Так что же мне сейчас делать?

Авгур Кецалькоатль. Очисти от грязи свою империю, Моктесума, откажись от преступных человеческих жертвоприношений и от войны, победи ночь, возроди свет, перестань опираться в своей власти на смерть, прислушайся к моему голосу: земля не может быть завоевана никем, потому что она принадлежит всем. Сколько сил надо затратить людям, чтобы возделать одно поле маиса!

Моктесума. Ты вернешься?

Авгур Кецалькоатль. Да, с миром, если ты подчинишься мне; с огнем и мечом, если ты на это идешь и этого просишь.

Моктесума. Твое возвращение будет концом эпохи?

Авгур Кецалькоатль. А может быть, снова началом эпохи.

5-й авгур. Придет время, когда все мы станем рабами. И нынешние рабы, и те, кто правит,—все будем делать самую черную работу. Придет голод и принесет великий мор, который опустошит страну, погубит народ.

Авгур Кецалькоатль. Пусть эта предсказанная эпоха не будет твоей, Моктесума.

Уходит. Авгур Уицилопочтли в гневе снова сбрасывает с себя мантию.

Авгур Уицилопочтли. Эпоха Мехико и твоей империи не кончится, Моктесума, если ты будешь ее защищать. Не слушай голоса сомнения — ни одна абсолютная власть его не терпит. Сомнение уничтожает империю раньше, чем голод и болезни. Ты — царь и действуй как царь и путеводная звезда; не предавайся думам и сомнениям, будто женщина или раб.

Снова набрасывает на себя мантию. Моктесума падает на колени.

Моктесума. Что же мне делать? Что мне делать?

Голоса хора, затихающие вдали.

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума, царь, властелин, солнце, как ты употребишь свою власть?

Долгая пауза, Моктесума берет метлу и снова принимается медленно мести. Хор с жалобными стонами скрывается в глубине сцены.

Моктесума. Искупление, покаяние... *(Отбрасывает метлу. В порыве скорби и раскаяния говорит об епитимье, которую наложил на*

*себя.)* Твои грехи — это те хитросплетения и сети, в которых ты запутался, та бездна, в которую упал... Ты будешь до крови истязать свое тело шипами кактуса... Чтобы искупить содеянное зло, будешь дважды в день продираться сквозь острую осоку: первый раз — вдоль ее рядов, второй раз — поперек, лицом к ее остриям... *(Вдруг с отвращением сплевывает, порывисто выпрямляется, опираясь на метлу.)* Нет, хватит. *(Пауза.)* Лучше скажи себе самому — кто ты, несчастный... И повторяй это тысячу раз — столько, сколько повторяешь слова покаяния: «Я — воплощение солнца, я — единовластный властелин...» Никто не может бунтовать против меня и против того, что я представляю. Империя сложена как великая пирамида, камень за камнем, ступень за ступенью. Я нахожусь на вершине, я — вершина. Кто восстанет против меня — не преступник, он — безумец... Вне моей власти и тех милостей, которые она источает, нет ничего, кроме безумия и смерти. Я — это все, вне меня — никто и ничто. *(Пауза.)* Почему же тогда я неуверен в себе? *(Пауза.)* Наверное, потому, что знаю истину нашего, человеческого происхождения и знаю также, как ее сокрыть, чтобы удержать власть, для которой я избран и которую должен представлять... Наверное, потому, что я использую и узаконенную мораль, и незаконные средства. Какая нелепость! Служить двум враждебным богам! Уицилопочтли! Кецалькоатль! Если бы они слились воедино! *(Несколько раз оборачивается вокруг себя.)* Боги! Почему вы отвели мне двойную роль — жертвы и палача? *(Пауза. Собирается с мыслями.)* Да, жертва; я не хочу нести ответственность царя, хочу умереть в унижении. Да, палач, я хочу остаться на троне, хочу убивать унижая. *(Вздыхает. Снова берется за метлу.)* Я могу только ждать и мести.

Входит **Сиуакоатль**. По голосу, виду, походке — человек. На нем роскошные одежды жреца.

Сиуакоатль. Повелитель... Всемогущий повелитель...

Моктесума медленно метет, не глядя на Сиуакоатля.

Сиуакоатль. Повелитель... Что ты делаешь?
Моктесума. Подметаю.
Сиуакоатль. Вижу, но не понимаю смысла.
Моктесума. Выметать.
Сиуакоатль. Но тогда в чем суть этого смысла?
Моктесума. Очищать.
Сиуакоатль. Дворец чист.
Моктесума. Но моя душа запятнана.

Сиуакоатль. Это прекрасно, когда владеющий всеми и всем знает, что тоже имеет душу. Большинство твоих подданных не знает, что это так. Остерегайся, как бы они не узнали слишком много, повелитель. Не обнажай своей души, Моктесума. Если царь станет понятным и доступным, это вскружит голову подданным. Они протянут руку к тому, что им неположено, и в конце концов решат по-своему, без всякого сострадания. *(Пауза.)* Слуги могут подмести твои хоромы.

Моктесума. А кто выметет мои проступки, кто?

Сиуакоатль. Никому не следует знать о них, кроме тебя самого. Никто не упрекнет тебя в них, кроме тебя самого.

Моктесума. Уйди отсюда, из ада, Сиуакоатль, у тебя — другие обязанности.

Сиуакоатль. Из ада, господин?

Моктесума. Я нахожусь в Миктлане, в царстве мертвых, и здесь я слышу голоса умерших. Только они говорят нам, живым, всю правду.

Сиуакоатль. Ты находишься в зале своего дворца. Отсюда ты не выходил.

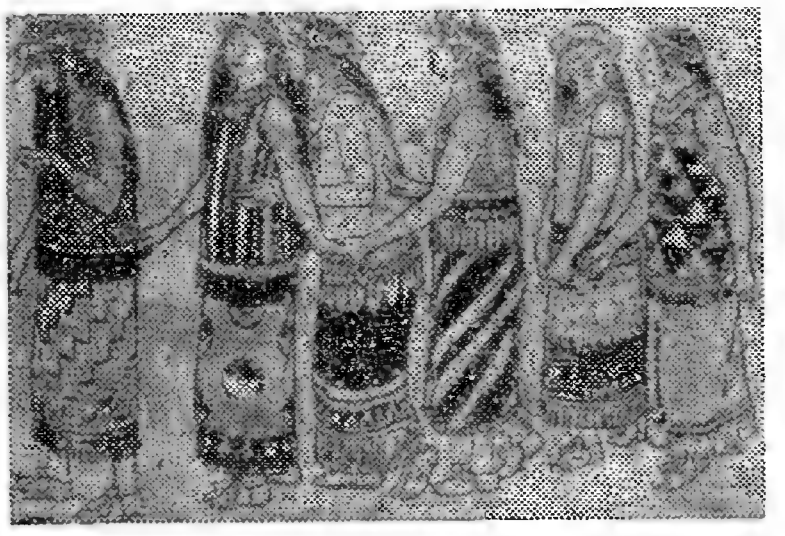
Моктесума. Я должен знать будущее, чего бы это ни стоило. Я пришел сюда наложить на себя покаяние.

Сиуакоатль. Для царя это одна из форм безделья. Позволь мне ответить тебе твоими словами. У тебя — другие обязанности.

Моктесума. Посмотри на меня, нагого и унижающегося, посмотри в зеркало, Сиуакоатль. Кто мы без наших пышных, церемониальных одежд, разве не такие же бедняги, как все остальные бедняги империи? Кем бы ты стал без этой женской одежды, которую носишь?

Сиуакоатль. Возможно, никем, господин. Но я ношу женскую одежду только в силу древней традиции. Сейчас великий жрец — я, мужчина, но раньше священные деяния выполняла женщина. Когда женщины перестали выполнять высокий обряд, наши предки сочли опасным вслух говорить об изменениях в привычном ритуале. Ничто не должно меняться, если хочешь уцелеть. Да, в действительности изменилась суть, но народ видит только формы и привыкает к ним.

Сиуакоатль призывно машет рукой, поворачиваясь во все стороны. По его повелению входят придворные: воины, альбиносы, горбуны, карлики и три девушки, которые вносят одежды, сандалии и огромный плюмаж царя. Все молча занимают свои места. Девушки начинают одевать Моктесуму согласно ритуалу.



Моктесума. Ты — великий жрец, ты накладываешь епитимьи, верно?

Сиуакоатль. Но я накладываю их не на царя, а на его вассалов.

Моктесума. Так знай, что властелин опустился ниже всех своих подданных: они ни в чем не сомневаются, а меня точат сомнения. Они не безумны. Тогда, значит, безумен я? Значит, Моктесума — единственный восставший против Моктесумы? В таком случае Моктесума заслуживает пыток и смерти от рук самого Моктесумы. *(Пауза.)* Никто из моих предков не терзался сомнениями.

Сиуакоатль. Потому что их время предваряло твою эпоху. Твое же время — конец эпохи. *(Пауза. Секунду колеблется. Наконец решается.)* Твои подданные тоже сомневаются, повелитель. *(В страхе склоняется перед Моктесумой.)* Предсказания исполняются, ждать недолго.

Авгуры оживают, выползают из темных углов, встают, жестикулируют. Моктесума неподвижно стоит в горделивой позе, продолжается церемония одевания. Придворные уроды бегают по сцене, резвятся, корчат страшные гримасы.

1-й авгур. Каждую ночь мы видим огромное пламя, которое возгорается на востоке, растет и принимает форму огненной пирамиды...

3-й авгур. Что означает это пламя, авгур?

1-й авгур. То, что приближается время, когда должно исполниться предсказание Кецалькоатля...

4-й авгур. То, что Кецалькоатль возвращается сам, чтобы узнать, что сделали люди в его царстве...

5-й авгур. Ибо земля дана людям богами. Люди не хозяева земли, а садовники...

1-й авгур. Средь бела дня в зеркалах отражаются звезды...

3-й авгур. То и дело кометы летают по небу...

4-й авгур. В озере около Мехико поднимаются огромные волны...

5-й авгур. ...словно озеро закипает...

1-й авгур. Волны бегут далеко и заливают жилища, сотрясают стены, даже рушат дома...

3-й авгур. Кто в этом виноват?

Хор авгуров. Моктесума!

1-й авгур. Ты, Моктесума, отец, властелин, царь, солнце, только ты виновен во всех тех бедах, от которых страдает индейский народ...

Хор авгуров. Твой народ — это твое бремя, повелитель. Никто не властвует над ничем, над пустотой...

3-й авгур. Ты, Моктесума, ты ответствуешь за порядок во Вселенной...

Хор авгуров. Мы тебе дали власть, пользуйся ею!

Моктесума. Кто видел то, о чем говорили?

Хор авгуров. Все!

Сиуакоатль. Не спеши, повелитель,— народ видит то, что хочет видеть, и то, что ему нужно видеть, если даже это и не существует...

Моктесума. Так кому же привиделись эти чудеса?

1-й авгур. Мне...

3-й авгур. Мне...

4-й авгур. Мне...

5-й авгур. Мне...

Моктесума, закончив ритуал одевания, отталкивает от себя девушек-прислужниц.

Моктесума. Выходит, все вместе видят одно и то же, а каждому в отдельности видится что-то свое? *(Пауза.)* Сиуакоатль, разошли соглядатаев по всему городу! Пусть найдут прорицателей и провидцев и притащат их ко мне.

Сиуакоатль. Будет исполнено, повелитель. *(Подает знак воинам, которые выходят.)*

Моктесума. Вот как... Им видится... Они осмеливаются видеть сны и мечтать...

Авгуры рассаживаются на сцене, стонут. Девушки подносят Моктесуме золотые бокалы, блюда с фруктами, дичью и мясом. Моктесума ест и продолжает говорить.

Моктесума. Так, значит, только на вассалов ты накладываешь покаяния, жрец? Я говорю тебе: царь — это всего лишь первый вассал. С какого другого подданного ты спросишь больше, чем с меня?

К Моктесуме приближается Карлик и пытается стащить кусок мяса с блюда. Сиуакоатль ударом ноги отшвыривает Карлика, подбирает кусок мяса и бросает его павлинам.

Я спустился в ад, чтобы поговорить со своими предками и богами. Предки мертвы, они говорят по праву первых создателей империи; на меня они возлагают ответственность за ее сохранение. *(Дает Горбуну выпить из своего бокала.)* Боги... боги — это начало начал, которые превращаются в мир, в воздух, во все, в ничто. Они сами мне об этом говорили. Они оспаривают друг у друга мою приверженность им, противоположным началам. Я же должен решать.

Уроды и шуты из царской свиты сгрудились вокруг Моктесумы и делают вид, будто слушают его с интересом, но только того и ждут, как бы полакомиться объедками с его стола.

Подчиненные мне народы с радостью взбунтовались бы против моей власти, они выжидают лишь удобного момента.

С досады Моктесума опрокидывает стол, уроды и шуты набрасываются на остатки его трапезы; павлины громко верещат.

Если я подчинюсь Кецалькоатлю, я оскорблю Уицилопочтли и сам позволю разгореться мятежам в подвластных мне землях, которые своей данью поддерживают нашу мощь. Если я подчинюсь богу войны, я оскорблю Пернатого Змея и подорву мораль, которую сам узаконил своей властью. *(Молчание. Он рассеянно смотрит на пиршество уродов и шутов.)* Иной раз, поверь, мне хотелось бы стать юношей, плененным в «Войне избранных»[1]. Хотя бы один полный день я наслаждался властью, любовью и яствами без всяких забот — до того, как мне вырвали бы сердце на пирамиде.

Девушки преклоняют перед ним колена в порыве обожания.

Сиуакоатль. Есть такие юноши, которые предпочитают эту славную смерть жизни носильщиков, всю жизнь гнущих спину.

Моктесума медленно раздевает одну из девушек.

Моктесума. А почему ты думаешь, что царь — исключение?

Сиуакоатль. Безымянные судьбы можно изменять. Ты же не можешь заменить свою судьбу другой. Просто потому, что она единственная в своем роде, повелитель. Подобных ей нет.

Моктесума рассеянно ласкает грудь Девушки-прислужницы.

Моктесума. Я хотел уйти, Сиуакоатль. Опять хотел. Разве это не считается достаточной виной? Разве это не достаточное доказательство того, что избравшие меня ошиблись, что, может быть, я не желал быть всем, а желал быть ничем?

Сиуакоатль. Тебе некуда уйти. Империя обширна, но она — твоя. Где бы ты ни спрятался, ты будешь императором.

Моктесума обнимает девушку, две другие девушки-прислужницы загораживают их тонким покрывалом. Сиуакоатль выходит на авансцену.

В аду твоего воображения, в раю твоих желаний, в золотых подземельях твоего дворца или на обагренной кровью вершине твоей пирамиды тебя будут посещать духи твоих предков и наших богов. Они напомнят тебе о том, о чем говорили самим себе на заре эпох и в зените своей славы: то, что создано, должно быть незыблемо, но то, что создано,— уязвимо. Всякому творению духа или рук человеческих всегда приходится противостоять жестоким и слепым силам природы, которые созданы раньше, чем мы, и сильнее любой человеческой воли. *(Пауза.)* Для этого и была придумана власть — чтобы поддерживать то, что создано людьми. Не важно, хороша ли власть или плоха,— она необходима. Без нее люди давно погубили бы друг друга — из-за ревности, честолюбия, плотоядности или страха. Власть по крайней мере избирает своих жертв и, убивая их, утоляет общую жажду крови. Лучше тысячи жертв на пирамиде, чем гибель всего человеческого рода. Власть всех означала бы смерть для всех. Власть одного — это смерть для некоторых и жизнь для большинства. *(Пауза.)* Твои предки, Моктесума, не требуют от тебя большего, чем они требовали от самих себя: развивать цивилизацию с ее

---

[1] «Войной избранных» у ацтеков назывался обрядовый турнир лучших воинов, который происходил в мирное время, но нередко заканчивался настоящим сражением между несколькими городами-государствами. Пленных приносили в жертву богам.

добром и ее злом — там, где была пустошь, где не было ни добра, ни зла, ничего.

Моктесума *(из-за покрывала)*. Но как это делать, жрец? Миром или войной? Словом или действием?

Сиуакоатль *(склоняясь перед покрывалом)*. Повелитель, прости меня, но ты терзаешься потому, что своей властью причиняешь зло людям. Сначала, мечтая о реальной власти, ты грезил о полном господстве. Но чтобы достичь и удержать власть, ты должен был частично поступить неограниченностью власти во имя жизненной необходимости. В конце же концов у тебя снова появился вкус к полновластью. Ты опять захотел быть средоточием всего добра и всего зла, источником всего счастья и всего несчастья. И вот, вернув свое былое величие, ты опять неизбежно начинаешь утрачивать власть...

Покрывало падает из рук девушек-прислужниц. Девушка, которая ублажала любовью царя, стыдливо отворачивается. Моктесума пристально смотрит на Сиуакоатля, но жрец преклоняет перед ним колено и показывает рукой на один из выходов.

Сиуакоатль *(шепчет)*. Власть могут удерживать только посредственности, те, которые не сомневаются, не мечтают. *(Поспешно.)* Повелитель, к тебе привели мечтателей!

Моктесума поднимается на возвышение для трона. Входит Торговец, за ним Пастух. Оба прикрывают глаза руками, как в начале действия. Торговец в смятении бросается к ногам Моктесумы.

Торговец. О всемилостивейший повелитель и светлейший царь!

Моктесума. Ты кто?

Торговец. О повелитель, я — скромный торговец, падающий ниц перед твоим слепящим, как солнце, ликом...

Моктесума. Разве торговцы тоже бредят? Я думал, что их единственные грехи — это корыстолюбие и тщеславие, за что я их и наказывал....

Торговец. О всевышний повелитель, я не хочу ни гневить тебя, ни печалить! Но твой человек велел повторить тебе мой сон,— мол, ты того желаешь, да и мне это на руку...

Моктесума *(устало)*. Говори. Если твой сон мне понравится, отпущу тебя с миром.

Торговец. Мир очень нужен бедному торговцу, простому разносчику товаров, который бродит по долинам и горам, взывая к милости богов и твоей, о посланец богов на земле, великий Моктесума...

Моктесума *(нетерпеливо)*. Рассказывай, велю тебе.

Торговец. Случилось так, что я заснул и привиделся мне наш бог Кецалькоатль. Я тут же узнал его, потому что это был змей, существо земное, но летевшее по воздуху, а перья на нем голубые да золотые...

Пастух глядит на Торговца в комическом удивлении, отведя руки от глаз.

Пастух. Паршивый торгаш украл у меня мой сон...

Торговец. И говорит мне Пернатый Змей: «Близится время моего возвращения. Если царь Моктесума примет меня как бога, все будут жить в богатстве и довольстве. Если царь Моктесума объявит мне войну, он сам умрет, и весь его народ умрет от голода, и не будет ни торговли, ни ремесел никаких, ни...»

Моктесума. Замолчи, несчастный. Ты только повторяешь то, что сам бог мне уже поведал.

Торговец. Но, светлейший повелитель, я же принес тебе добрую весть; я сказал богу, что ты, конечно, примешь его хорошо, потому что дворец твой полон добра, которое приносим тебе мы, торговцы, полон...

Моктесума. Замолчи, болван!

Торговец припадает головой к земле. Пастух шепчет ему.

Пастух. Хорошо еще, что ты не проболтался о наваждении, о тех морских чудищах, каких видел...

Моктесума. Говори ты, пастух.

Пастух. О всемогущий повелитель, отец наш! О, как я счастлив быть здесь, я, сирота-индеец, бродящий в поисках отца и матери, в поисках кого-нибудь, кто защитил бы меня и направил!

Моктесума. Говори, бедняк, что тебе пригрезилось?

Пастух *(с невинным видом)*. Мой повелитель, пасу я свое стадо, как всегда, и вдруг с небес ко мне спускается орел, хватает меня в лапы и поднимает в небо...

Торговец *(удивленно вскидывает голову)*. Орел?! Ведь он же нашел дохлого сопилота на лугу! *(Снова опускает голову.)*

Пастух. И увидел я тогда нашу землю с высоты, о всемилостивый царь, вот как ты ее видишь со своего трона. *(Пауза.)* Я увидел нищету, услыхал плач, узнал о таких вещах, о каких раньше мне, бедняку, никогда бы не узнать. Я увидал, что очень мало людей имеет очень много всего — это были твои жрецы, твои воины, твои принцы...

Распростертый на земле Торговец дергает Пастуха за набедренную повязку, чтобы заставить его замолчать.

Я увидал много людей, желающих много вещей, для них невозможных, и это были мы, твой народ, твои бедняки, твои юноши, которых посылают на войну и на жертвенный камень; твои матери и жены, опечаленные смертью своих сынов и любимых мужей; твои старики, которые никак не забудут обещаний мира и божьей помощи, добрых дел и работы...

Торговец продолжает толкать Пастуха и шепчет ему.

Торговец. Молчи, дурак, нас повесят...

Пастух. Все это я видел, мой повелитель. Народ недоволен, ты этого и не знал. Приносит меня орел в ярко освещенную пещеру, и встречает меня там человек, окруженный сиянием. И человек этот мне говорит: «Я Кецалькоатль, создатель всех людей. Люди созданы не для того, чтобы воевать друг с другом, а для того, чтобы бороться с природой, которая им угрожает. Первые люди убивали, чтобы выжить. Царь Моктесума выжил, чтобы убивать. Но убивать моих сыновей, чтобы задобрить природу,— это значит перестать быть человеком и испортить творение рук моих. Мое имя не должно служить светлой маской, которая скрывает угнетение. Скажи это своему царю Моктесуме. Скажи ему, что я возвращаюсь. Скажи ему, что рядом со мной он — ничто».

Моктесума. Ничто?

Пастух *(наивно)*. Рядом с ним, повелитель, ты — ничто!

Моктесума взмахивает рукой. Пастух опускает голову. Сиуакоатль вводит царя Тескоко.

Моктесума *(удивленно)*. И ты, вождь, ты тоже...

Царь Тескоко выступает вперед. Это старик, одетый просто и благородно, опирающийся на посох. Моктесума сходит с возвышения, направляется к нему, обнимает его.

Моктесума. Ты, царь Тескоко, второй после меня человек в империи, ты, моя правая рука во всех завоеваниях, ты, дающий мне воинов... Ты тоже видел вещий сон?

Тескоко *(глядя прямо в лицо Моктесуме)*. Не называй меня царем, Моктесума, ибо я больше не царь. *(Пауза.)* Ты знаешь: никто, кроме меня, не изучил так хорошо пути звезд и те истины, которые открывают нам их созвездия, их исчезновения и появления. Каждую ночь в моей обсерватории около озера я читаю на небе по звездам, как нас тому научили наши предки, которые следовали только законам неба.

Моктесума. Мы все почитаем науку неба, старик. Мы все знаем, что истина сокрыта в звездах.

Тескоко. Тогда поверь мне, сын мой, поверь моим сединам и моим правдивым речам: я говорю тебе, что пророчество начинает сбываться, что море, горы и даже воздух содрогаются и на востоке виден яркий свет и слышен шум, грохот, голоса, какие никогда еще не звучали в этих землях.

Моктесума. Что же ты намерен делать, почтенный вождь?

Тескоко. То, что я уже сделал: покинул свое царство, приказал своим военачальникам и воинам сложить оружие, чтобы они могли спокойно насладиться миром и властью то короткое время, которое у нас остается.

Моктесума заметно вздрагивает, отшатывается от царя Тескоко, отступающего в тень. Воины вводят, держа за руки, человека в богатых одеждах, за которым следуют жена и двое детей. Это Цомпантекуцтли. Он отворачивается, чтобы не встретиться взглядом с царем Тескоко.

Моктесума. Мой советник тоже видит сны?

Цомпантекуцтли. Эту свободу ты еще оставил нам, повелитель.

Сиуакоатль. Советник Цомпантекуцтли видит сны наяву, о светлейший царь. Его схватили, когда он со своей семьей громогласно плел заговор против тебя.

Моктесума. Плел заговор? Громогласно? Мог бы не утруждать себя. Даже пастухи и торговцы участвуют в заговорах, не раскрывая рта.

Торговец с ненавистью глядит на Пастуха, тот блаженно улыбается.

Цомпантекуцтли. Но как же иначе высказывать на нашей земле пожелания, которые ты сам не изволил высказать, повелитель?

Моктесума. Высказывать? Пожелания? О чем ты говоришь, советник? Истина высказана в моем царстве раз и навсегда. Никто не может ее изменить. Это истина богов.

Цомпантекуцтли. Тогда взгляни на разгул смерти за стенами твоего дворца. Разве боги приказывали, чтобы дети, рожденные под своим священным знаком, приносились в жертву?

Моктесума. Почему бы и не боги, советник? Или ты полагаешь, что от этих жертв зависят мое личное благополучие или мое личное счастье? Я только выполняю волю богов: смерть нескольких юношей задержит или, по крайней мере, отдалит гибель всего света.

Цомпантекуцтли. Разве боги затеяли этот фарс, который твои жрецы и воины называют «Войной избранных»,— когда даже в мирное время ты можешь отрывать юношей от их народов, от их женщин и от их работ для того, чтобы устраивать кровавый пир на твоей пирамиде?

Моктесума. Боги...

Цомпантекуцтли. Нет, власть — чтобы преступлениями внушить страх тем, кто уже не может терпеть...

Моктесума. Не может терпеть чего — власти или преступлений? Выражайся ясно, советник, это твое призвание.

Цомпантекуччтли. Ты сделал так, что знамение власти отражается в зеркале преступления.

Всеобщая тревога, приближаются воины. Моктесума улыбается, задерживает их движением руки.

Моктесума. Продолжай, советник. Задавай мне еще вопросы.

Цомпантекуччтли. Я уже не говорю о мелочах, о них ты не любишь упоминать: ты караешь смертной казнью служителя, который вдруг появится в запретном зале твоего дворца; танцовщика, который вдруг ошибется в ритуальном танце, и даже любого человека, который, не имея на то права, наденет короткую тунику. *(Пауза.)* Разве и обо всем этом пекутся боги? *(Пауза.)* Ты унизил смерть, повелитель. Ты сделал смерть смешной, жалкой, пошлой, присутствующей при всех никчемных действиях твоих запутанных ритуалов. Ты взываешь к богам, это так — но лишь для того, чтобы узаконить свой единственный в своем роде царский долг — не перед людьми и не перед богами, а перед кастой жрецов и воинов, которые посадили тебя на трон именно потому, что видели в тебе покорного человека, готового защитить их привилегии. У тебя — безмерная власть, только она не твоя, ты обязан ею своей касте.

Долгая пауза.

Моктесума. Я докажу тебе, что я независим и беспристрастен. Скажи, что мне следовало бы сейчас делать?

Цомпантекуччтли. Это, без сомнения, ты знаешь и сам.

Моктесума. Да, я знаю. Мы воздвигнем золотой храм богу Уицилопочтли, нашему богу войны. Мы отделаем внутренность храма яшмой, украсим перьями птицы кецаля — все должны осознать свой долг, долг ублажать бога, который нас защитит от любого врага... Как тебе это нравится?

Цомпантекуччтли. Господин мой и повелитель... твоя затея неудачна. Ты разоришь свой народ и оскорбишь небо. Ты должен знать, что бог, к которому ты обращаешься, не всегда будет с нами и что скоро должен прийти хозяин всей земли и творец человечества.

Моктесума. Я вижу, создается враждебный отряд в нашем царстве.

Цомпантекуччтли. Пернатый Змей — не отряд. Это начало начал, это принцип, который отрицается в твоем царстве.

Моктесума *(едва сдерживая гнев)*. Откажись от своих слов, дерзкий советник, иначе будет поздно. Власть в Мехико едина и неделима.

Цомпантекуччтли *(взглянув на Моктесуму с презрением)*. Бойся не слов, повелитель, страшись действительности. Кецалькоатль — это начало добра, которое ты отрицаешь своими действиями. И добро это — есть действительность, затаенная, робкая, придавленная, смутная, но существующая. Она живет в груди каждого человека, рожденного на земле. Кецалькоатль вернется. И его возвращение напомнит людям об их происхождении, людям, озверевшим от гнета. Это напоминание воплотится в намерение: они захотят стать хозяевами собственной жизни, уберечься от капризов царя.

Моктесума поднимается на возвышении. Повелительно взмахивает рукой. Сиуакоатль впускает на сцену вооруженных воинов, которые врываются, как звери, бегают, кружа по сцене, что-то вынюхивая. Авгуры остаются на своих местах, но машут руками. Пастух и Торговец визжат. Семья Цомпантекуччтли обнимает отца. Старый царь Тескоко выпрямляется, молчаливый и полный достоинства.

Моктесума *(кричит)*. Убить их!

Карлики, альбиносы, девушки и горбуны в страхе разбегаются, хватая павлинов. Воины набрасываются на авгуров, Торговца, Пастуха, царя Тескоко, Цомпантекучтли и его семью, колят, рубят, убивают ударами палиц и кинжалов.

Цомпантекучтли. Несчастный город во власти иллюзий... Несчастная земля, где сомнения господ находят выход только в преступлениях...

Моктесума *(кричит)*. Убейте их, убейте сны и видения, кончайте с фантазерами!

Плач и крики умирающих. Окровавленный царь Тескоко направляется, шатаясь, к центру сцены, будто хочет что-то сказать, но падает ничком к ногам Моктесумы.

Моктесума *(в растерянности)*. О старик, провидец.

Бродит, опустив голову, среди трупов. Долгая пауза. Воины уходят.

Сиуакоатль. Всемогущий повелитель...

Моктесума *(рассеянно)*. Да, да...

Сиуакоатль. Охотники принесли тебе дары.

Моктесума. Мы остались одни, жрец.

Сиуакоатль. Охотники... дары...

Моктесума. Мы остались одни... Я не хотел, чтобы так случилось...

Сиуакоатль. Ты царь. Ты должен... идти на это, чтобы твои наследники не падали духом, чтобы не прерывалась цепь власти.

Сиуакоатль приглашает охотников, которые втаскивают большую серую мертвую птицу, похожую на журавля. Охотники подходят к Моктесуме, преклоняют перед ним колена, кладут птицу к его ногам, стараясь не глядеть на царя.

Моктесума *(подавленно)*. Опять мечтатели и фантазеры?

Сиуакоатль. Нет, повелитель, это охотники... Они сегодня утром убили эту птицу...

Моктесума. Журавль...

Сиуакоатль. Но у него на голове круглое зеркало...

1-й охотник. ...и в зеркале, о великодушный царь, отражается небо...

2-й охотник. ...и звезды тоже...

Сиуакоатль поднимает голову птицы. Яркий блеск слепит Моктесуму. Теперь он сам должен прикрыть глаза руками. Отступает назад. Спотыкается о труп Цомпантекучтли, пачкает руки в крови советника. Смотрит на свои руки в полной растерянности.

Сиуакоатль. Не читай будущее по своим рукам, повелитель, они суть плоть человеческая. Лучше взгляни на это чудо небесное.

Моктесума устремляет взгляд на зеркало, кричит.

Моктесума. Толпы людей!..

Начинают освещаться отдельные секторы зрительного зала: проходы, балконы, выходы и т. д. Там показываются под звуки заунывных религиозных песнопений конкистадоры: Кортес, Альварадо, Олид, Ордас, Портокарреро, Сандоваль, Серменьо, Эскудеро, солдаты, монах Бартоломе де Ольмедо; появляются пушки, аркебузы, арбалеты, а также лошади и собаки...

Неизвестные животные... Люди и животные, слитые воедино в страшные чудовища; толпы белых людей...

Бессильно опускается на землю. Через зрительный зал, задыхаясь, бежит Гонец, направляется к сцене, падает ниц перед лежащим монархом. Пауза.

Гонец. Повелитель, всемогущий повелитель, властелин всех земель...

Гонец и Моктесума лежат на сцене, оба в одинаковых позах: одинаковые люди глядят друг другу в глаза, забыв о церемониале.

Моктесума. Ты откуда?

Гонец. С берегов, всемилостивейший царь, четыре дня и четыре ночи бежал я без устали, чтобы своим языком сказать тебе то, что слышал собственными ушами...

Моктесума. Тебе тоже что-то привиделось?

Гонец. Я видел, повелитель, как плыло по морю и пристало к берегу множество каких-то домов. С них сошли люди, одетые в серебро или камень, и разглядеть у них можно было только лица, а лица были белые, глаза серые, волосы рыжие, бороды длинные...

Моктесума начинает подниматься, каждое слово Гонца действует на него, словно живительное дуновение ветра.

И они слиты воедино с животными о четырех лапах, проворными, которые пускают дым из ноздрей и оставляют глубокий след на песке. Их оружие извергает изо рта гром и молнию. Уши мои чуть не лопнули от этого грома... А воздух наполняется страшным зловонием... А шары из их оружия разносят деревья в щепы...

Моктесума. Ты говорил с ними? Узнал, кто они?

Гонец. О непобедимый повелитель, не спрашивай меня о том, что знаешь сам... Вернулся Кецалькоатль. Среди нас снова появился бог, который нас сотворил... Пришли боги — теулы.

Моктесума улыбается, поднявшись во весь рост. Кажется, будто он сбросил с себя невыносимо тяжелый груз.

## 4

Берег Мексиканского залива. Полная тьма. Шуршание метущей метлы. Постепенно его заглушают шумы и шорохи тропической ночи. Их перекрывает затем частое дыхание влюбленных. Тусклый свет. На покрывале — обнаженные мужчина и женщина. Это Кортес и Марина.

Кортес. Кто ты, женщина?

Марина. Дар, принесенный тебе вождями Табаско вместе с четырьмя диадемами и золотыми ящерицами. Я — добыча, захваченная на этих берегах. *(Пауза.)* А ты в обмен на дары и на меня предлагаешь им какую-то другую женщину. Кто она?

Кортес. Это не женщина. Это образ нашей святой девы с ее святым младенцем на руках.

Марина. Все говорят — она женщина.

Кортес. Она — дева.

Марина. Дева? И имеет младенца? Не понимаю, господин. То, что ты говоришь, противно природе. Ты поклоняешься идолам?

Кортес. Это таинство. Тебе не надо этого понимать. Тебе надо повторять и верить.

Марина. Конечно, девушки — тоже женщины, и в наших землях они приносятся в жертву, умирают прежде, чем стать настоящими женщинами. И это таинство, но главное — слишком большая расточительность.

Кортес. Мария — на небесах, она — мать нашего господа бога.

Марина. А все видят в ней женщину, называют Великая Тесигуата, что по-нашему означает «великая госпожа».

Кортес. Где бы я ни проходил, я велю делать ей богатые алтари. Она нам покровительствует с небес.

Марина. Это хорошо, когда великие госпожи не трогаются с места.

Кортес *(смеясь)*. А ты сама откуда явилась?

Марина. Не с неба, господин. С небес я не могла бы покровительствовать или служить тебе. Я родилась на земле, неподалеку от больших рек, но под дурным знаком. Мои родители царской крови, но оракул предупредил их: «Дочь ваша родится под знаком Се-Малиналли, под знаком злой судьбы, распри и ссор, пролитой крови и недовольства». *(Пауза.)* Ах, господин, предсказания всегда исполняются, если произносятся вслух. Если их никто не оглашает, они остаются погребенными в самых глубоких тайниках человеческого разума. Только молчание предотвращает беды. Сказать о них громко — это все равно что дать им жизнь. Назови зло злом, любовь любовью — и ты сотворишь их. Вырвешь их из сна, в котором покоятся силы природы, пока ты их не призовешь. *(Пауза.)* Мы виновны в том, что тревожим сон, который нас окружает. Всё в мире мы приговариваем к долгому бдению. Мы думаем, что спим, но мы разбужены навеки, и потому смерть кажется нам облегчением — мы возвращаемся ко сну. Мы пришли на землю, чтобы внести разлад между вещами, которые пребывают во сне. Они только спят, только существуют, но не живут, пока мы не скажем им: «Ты — добро, ты — зло, ты — счастье, ты — несчастье». Так была названа и я еще до рождения, и потому все действия мои уже были предрешены. Силы мира перевоплощаются под нашими заклинаниями, господин. Они теряют первозданное назначение цветка, плоти, камня, воды... и рядятся в людские одежды, подчиняются судьбе, которую им готовит наше слово... *(Пауза.)* Знак моей судьбы испугал родителей. Однажды ночью меня отдали народу Хикаланго и пустили слух, что я умерла. Случайно этой же самой ночью умерла девочка, дочь рабов моих родителей. Они сказали всем, что умерла я, их наследница, и было похоронено мое имя, но не мое тело. Я была отдана народу Хикаланго, а оттуда попала к вождям Табаско, и они подарили меня тебе, господин. Для всех я рабыня. Мое имя сгинуло с трупом той девочки.

Кортес. Мы будем звать тебя Мариной, а когда встретим твоего отца и твою мать, окрестим их и дадим имена Лазаря и Марии.

Марина. Окрестите, господин?

Кортес. Дадим им имена. Имена, угодные господу богу.

Марина. Одному-единственному богу?!

Кортес. Да, мы заставим их раскаяться в родительском грехе, в том, что они отказались от своего ребенка.

Марина. В грехе, господин? Но благодаря поступку моих родителей оправдалась моя судьба.

Кортес. Ты встретила меня...

Марина. Да, и веду тебя по этим землям, которых ты не знаешь. Пусть Великая Тесигуата покровительствует тебе на небесах, а я буду оберегать тебя на земле.

Кортес. Ты говоришь, твой знак — война?

Марина. Ты будешь воевать, господин, не сомневайся; и рука твоя сильна, я знаю. Но тебе нужен тот, кто владеет ключами от моря и от гор, кто знает мечты и горести этих земель, их мощь и слабость, а также их страхи. *(Пауза.)* У тебя есть дома, плавающие по морю, есть животные о четырех лапах, никогда не виданные нами; есть огненные копья, да. Но не забывай, у тебя есть также я...

Кортес. Марина...

Марина. Так называешь меня ты. А как будет звать меня мой народ?

Кортес. Я взял тебя для себя. Ты — моя жена.

Марина. Нет, господин. Я — только твой голос.

Пауза. Кортес встает и начинает одеваться. Марина, обнаженная, остается лежать. В то время как они разговаривают, Кортес надевает белую блузу, черные штаны.

Марина. А ты, господин, ты кто?

Кортес. Я солдат. Учености немного — долгов хоть отбавляй.

Марина. А ты не принц в своих землях?

Кортес *(хохочет, удивленный)*. Я? Принц? Скажи спасибо, что мне удалось побывать в университете Саламанки и прослыть образованным. Нет, принцы не едут в Новый Свет, женщина. Они — хозяева Старого Света. Там у них свои войны, свои интриги, свои дворцы и свои симпатии. Пора тебе знать, что Новый Свет открыт для нас, для тех, у кого ничего нет. Могу побиться с тобой об заклад: никогда испанский король не будет пахать на этих землях, завоеванных нами для его потомства. *(Пауза. Кортес на секунду умолкает, мечтательно глядя вдаль.)* Один только дон Ничто может променять все прелести Испании на лишения и опасности этих диких земель. Сам я из Эстремадуры. Родился в городе Медельине. Запомни эти названия, Марина, это мои корни, которые я не оборвал. Солнечный свет там золотистый, а земля красная; на колокольне церкви Святого Мартина вьют гнезда аисты. Деревня моя прилепилась к крутому склону, над самой рекой Гуадианой. Ты говорила о знаке, под которым родилась? *(Смеется.)* В год, когда родился я, было затмение солнца, был мор и наводнение... По крайней мере, так говорили старики. Реки выходили из берегов, заливали дома, сады, виноградники. Но наш народ крепкий, он привык силой отбирать у земли ее плоды, а также менять, когда надо, мотыгу на шпагу. Отец мой был капитан, участвовал в войне против мавров — капитан Мартúн Кортес. Мать моя, Каталина, была женщина честнейшая, богобоязненная, работящая, скромная. Были у родителей мельница, виноградник да пасека. Сколотили они деньжат и послали меня учиться в университет Саламанки. Лучше бы вложили деньги в дело повыгодней. Был я в университете заядлым гулякой и бездельником, зубрил немного латынь, но больше увлекался повестями о рыцарях, учившими отваге и чести, и рассказами о Новом Свете, учившими мечтать о городах из золота и воинственных амазонках. *(Пауза.)* Представляешь себе? Мне было семь лет, когда Колумб открыл Антильские острова, и с тех пор перед моими глазами всегда стоял Новый Свет.

Марина. Это ты для нас новый, непонятный.

Кортес. Мне осточертела учеба, женщина. Я бросил все и стал переписчиком у нотариуса в Вальядолиде, изучил каллиграфию. Во всяком случае, сумею приложить руку ко всему, что нам тут еще встретится. *(Пауза.)* Домой я вернулся без гроша в кармане. Родители рассвирепели, решили сделать меня моряком. Я влюбился в замужнюю женщину. Ревнивый муж кинулся на меня со шпагой. Я удрал, спрыгнув с полуразрушенной стены... Еще чуть — и свернул бы себе шею, и мы никогда бы не встретились! *(Смеется.)* Таков я, кабальеро без всякого уме-

ния и разумения, который в девятнадцать лет ушел из дому, чтобы отправиться в Индии... *(Пауза.)* Ты думаешь, если бы у меня было сто тысяч дукатов дохода в год, большой дом в Мадриде или поместье с садами в Гуаренье... Винные погреба... Женщины, которых я всегда обожал, а иногда и любил... Разве я пустился бы в эту авантюру?

Марина. Да.

Кортес. Что ты сказала?

Марина. Да. Я думаю, что несмотря на все ты оказался бы здесь.

Кортес *(в сомнении)*. Возможно, ты и права. Но я об этом не думал. Факт тот, что я приехал из Испании на Кубу, изгнанный из родительского дома за нерадивость, а теперь прибыл с Кубы в эти земли бесславным скитальцем, послав к черту долги да бедность. Нет, ты не думай, у меня было немало здоровых индейцев и хорошая усадьба; я нажил и то и другое, правда, не без труда, потому что был весьма беспокойным жителем Эспаньолы[1], а потом не менее беспокойным служакой при дворе Диэго Веласкеса, губернатора Кубы. И золота добыл я немало из рудников. Но все растратил на свою персону, и любовные приключения, и на платья своей жены, когда, увы, пришлось жениться, и на многих незнакомых гостей, которые меня одолевали,— гостеприимство и вкус к веселой жизни всегда мне были присущи! Эх, пропади все пропадом! И мое имение Сан-Хуан-де-Баракоа, и моя энкомьенда[2], и моя супруга. Выбрал меня предводителем этой рискованной экспедиции жирный губернатор, который хотел добыть славу, не решаясь на подвиг. Он желал присвоить чужую славу, арендовав одиннадцать каравелл и назначив первым капитаном эстремадурца — человека, по его мнению, хитрого, высокомерного, тщеславного и мстительного. Ну что ж, я прибавил к своим прежним долгам новые, разоделся в пух и прах — в шелк и бархат, напялил свой шлем с султаном из перьев, навесил на себя все свои медали и золотую цепь, и вот, наконец, я тут, перед тобой, бравый капитан собственной персоной. Представляю тебе, Марина, дона Фернандо[3] Кортеса. *(Весело смеется.)* Иногда я думаю, что болван Веласкес, который родился где-нибудь в свинарниках Куэльяра, затеял эту экспедицию, чтобы избавиться от меня. Случись мне утонуть во время бури, погибнуть в сражении или попасть на обед дикарям — и не доведется мне поиздеваться над тупостью и ленью губернатора. Ха-ха! Он думает: если поход удастся, вся слава будет его, а если не будет удачи, позор падет на меня. *(Сжимает кулак и поднимает руку вверх.)* Как бы не так, Марина, не сбудется его мечта. Здесь превыше всего воля и судьба бедняка идальго из Медельина. У меня было много передряг в жизни, они меня закалили. Я сломал замок тюрьмы, куда Веласкес бросил меня за бунтарство, пристукнул спящего стражника, отобрал у него шпагу, вылез в окно и был таков. А когда мне пришлось спасаться от ярости семьи, честь которой была поругана моим легкомыслием, я оделся слугой и плыл против течения по реке Макагуанигуа. Утони я тогда — и никто бы не ведал, где я. *(Пауза.)* Теперь я знаю: не будет у меня другого такого шанса, как этот, и придется дешево продать свою жизнь, если в этот раз я не решусь поставить ее на карту. Прощай, Испания! Прощай, Куба! Прощай, долги! Прощай, бестолковая жизнь, проказы и детские шалости! Я пришел в Индии не для того, чтобы повторить жизненный путь моего бедняги отца в Эстремадуре. Я пришел, чтобы вырвать у Нового Света во сто крат больше благ для нового человека. *(Пауза.)* Я — дон Ничто, и мне нечего терять. *(Пауза.)* И все средства хороши, чтобы стать чем-нибудь и кем-нибудь. *(Пауза. Кортес*

---

[1] Остров Гаити в XV веке получил название Ла Эспаньола.

[2] В испанских колониях Америки — индейское поселение, жители которого работали на испанского землевладельца — энкомендеро.

[3] Фернандо — полное испанское имя, Эрнан — сокращенное.

*снова смеется, затем говорит с горькой решимостью.)* Блудный сын больше не вернется в родимый дом с пустыми руками.

На сцену выходят три военачальника, одетые в латы: Педро де Альварадо, Гонсало де Сандоваль и Алонсо Эрнандес Портокарреро.

Сандоваль. Капитан...

Альварадо. Фернандо...

Кортес протягивает руку одному, прижимает к груди другого и хлопает по плечу третьего. Марина прячется в покрывалах.

Кортес. Сандоваль... Верные друзья... Альварадо... Мои бравые капитаны... Портокарреро... Все земляки мои, эстремадурцы.

Альварадо. Нельзя терять времени.

Портокарреро. Местные индейцы нас атакуют.

Кортес. Разве им не сказали, что мы пришли к ним с миром?

Сандоваль. Сказали и даже обменяли наши стеклянные четки и зеркала на низкопробное золото, которое дали нам их вожди.

Альварадо. И все же они нас теперь атакуют.

Кортес. Быстро. Где мои доспехи?

Три военачальника надевают на Кортеса шлем и латы.

Кортес. Индейцы никогда не видели мушкетов и самострелов. Верно, донья Марина?

Марина высовывается из-под покрывала.

Марина. Да, это так, господин. Мы принимаем огонь твоего оружия за колдовство.

Кортес. Тогда мы сделаем так, как сделал король дон Фернандо под Рондой, где он пороховыми залпами до смерти напугал мавров и отбил у них всякую охоту сражаться. Сначала стреляйте в индейцев, посейте панику и только потом выпускайте кавалерию. Мы пришли в диковинные земли, сеньоры. Здесь, как видно, не знают ни лошадей, ни колес...

Марина. Колдовство...

Кортес. Альварадо, прикажи всадникам вовсю орудовать копьями, а если встретят сопротивление, пусть зажмут копья под мышки, дадут шпоры коням и на скаку давят наглых дикарей. Да, не забудьте повесить колокольчики лошадям на шеи — для пущего страху.

Сандоваль. Самое опасное у индейцев — их острые мечи.

Кортес. Избегайте рукопашного боя. Лошади и пушки, сеньоры, пушки и лошади. Избегайте индейских мечей.

Портокарреро. Они держат мечи в обеих руках и орудуют ими очень ловко.

Кортес. Ничего им не сделать против кастильской стали!

Альварадо. Но нас мало, а их уйма.

Кортес. Поэтому всегда надо быть начеку и все знать. После бога, который нас охраняет, мы сами себе — лучшая защита. Долой все сомнения, вперед на врага!

Четыре вооруженных военачальника уходят. Марина остается одна на сцене, протягивает вперед руку.

Марина. Господин, послушай меня, господин! Когда кончится сражение, похорони своих мертвых. *(Пауза.)* Народ мой не должен видеть, что твои люди смертны.

Марина встает и, завернувшись в покрывало, спускается на авансцену. В глубине сцены быстро сменяют друг друга свет и тьма, сталкиваются кастильские стяги и индейские знамена из перьев, слышится визг индейских флейт, свист раковин и бой барабанов, удары клинков, грохот пушек и

мушкетов, ржание лошадей и жужжание москитов. В разгаре битвы, еще не очнувшись от боя, появляется испанский Солдат, останавливается в центре сцены.

1-й солдат. Сбежались все индейцы, вооруженные до зубов. У всех у них луки, стрелы, копья, такие же длинные, как наши, и другие, поменьше; щиты, и палицы, и мечи в обеих руках, и камни, пращи и всякое другое оружие из веревок, трубы и барабаны... У одних лица раскрашены черной краской, у других — белой и красной... Идут они плотными рядами...

Марина. Не раскрывай своих секретов, господин, а я выдам тебе тайны моей родины. Ты из моих уст все узнаешь о ней, она ничего не узнает о тебе — одну ложь, которая поможет твоей победе. Ты — обычный, смертный человек, но мои уста сделают тебя богом и бессмертным.

1-й солдат. И они начали осыпать нас стрелами, поддевать копьями... Мы многих убили из мушкетов, но они обрушили на нас ливень стрел.

Марина охватывает себя руками.

Марина. О Малинцин, бедная сирота, бедный подкидыш! Ты нашла свою судьбу в знаке своего происхождения: война и кровь. Ты нашла свой утерянный и желанный дом в сильных объятьях рыжеволосого смеющегося мужчины, на его белокожей груди, у его мускулистых бедер. Бедная Малинцин, окрещенная Мариной, теперь ты богата: тело твоего мужа — это земля, которой ты владеешь.

1-й солдат. На полях, где мы сражаемся,— тучи крохотной саранчи, которая мечется, бьет нам в лицо. Масса индейцев сыплет тучи стрел, а нам кажется, что это летит саранча, и мы не прикрываемся щитами, и стрелы нас ранят. Иногда же мерещится — летит стрела, а на самом деле саранча мелькает перед глазами... *(Пауза.)* Тяжко, ох, тяжко нам было сражаться.

Марина. Служи, женщина, служи своему мужчине, и ты послужишь себе. Вспомни историю своей родины, вспомни имя древней богини, которая дала тебе свое имя: Малинаксочитль, жрица зари, владычица диких зверей, которые помогали ей порабощать мужчин и подчинять их желаниям ее любви, жестокой любви, вечной любви, властной любви, дьявольской ночной любви. Вспомни, как кровавый бог Уицилопочтли победил и казнил волшебницу, которая повелевала миром, и вместо жестокой женской любви навязал жестокую мужскую войну. Прекратилось господство женщины на этой земле, и началось господство мужчины.

1-й солдат. Но вскоре мы сбили их воинственный пыл пальбой из мушкетов и грохотом пушек. Наши кони нагнали на них страху, хотя они еще долго держались. Потом мы загнали их в трясину неподалеку от деревни.

Марина. Может быть, мое предназначение в том, чтобы восстановить утраченную власть любви и женщины, помогая победам белого человека? *(Хватается руками за горло.)*

1-й солдат. Они ранили одного нашего хорошего скакуна. Сегодня ночью я вылечу его кровью и жиром убитого индейца.

Солдат медленно удаляется, свет и шумы гаснут, падают побежденные индейские знамена, развеваются кастильские флаги.

Марина. Твое семя душит меня, господин, твое семя наполняет меня, оплодотворяет меня, омывает меня... Я хочу иметь от тебя сына, сына наших обеих кровей...

Падает на колени. Длинная пауза. Слышатся заунывные религиозные песнопения. На сцену выходят с одной стороны два посланца Монтесумы, нагруженные дарами; с другой стороны — шесть испанских

солдат, победоносных, но едва не падающих от усталости: они садятся, растягиваются на земле. За ними выходят Кортес, Сандоваль, Портокарреро, Альварадо, Олид, Ордас и Писарь... Кортес останавливается в центре сцены, рядом с коленопреклоненной Мариной. Протягивает ей руку, она дает ему свою. У Кортеса в другой руке стяг с крестом и надписью «Под знаком его — побеждаешь». Отпускает руку Марины. Вытаскивает из ножен шпагу и трижды взмахивает ею. Его движения и торжественны и поспешны.

Кортес. Святой крест принес нам победу, такова воля нашего господа бога. Во славу его мы заложим здесь город, назовем святым именем Вилья Рика де ла Вера Крус [1] и поднесем его великому королю дону Карлосу, которого здесь представляем.

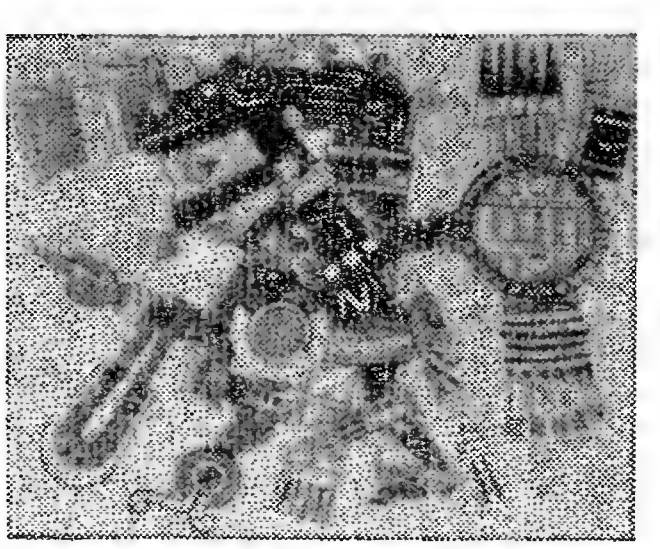
Марина смотрит на Кортеса; слышен легкий ропот солдат.

Писарь, садись и пиши. Надо наметить границы селения, отвести места под жилища. Пусть возведут позорный столб и виселицу — символы власти.

Писарь пишет на пергаменте, посыпает написанное песком, свертывает манускрипт и уходит.

Пусть глаза наши взирают на богатые земли, и да будем мы умело ими править. Дай нам бог успеха в ратном деле, как паладину Роль-дану [2], а во всем остальном я с вашей помощью, новоявленные господа и сеньоры, и сам не плохо управлюсь.

К Кортесу подходят посланцы Моктесумы, кладут к его ногам одежды из хлопка, изделия из перьев, мозаичные маски. Посланцы жестикулируют, не произнося ни слова. Марина встает и говорит от их имени.



Марина. Господин, эти люди — посланцы великого Моктесумы, они принесли тебе его дары.

Кортес. Спасибо за подарки, постараюсь отблагодарить в меру своих скромных возможностей. Альварадо, у нас, кажется, есть резное кресло. Олид, подай флорентийский бокал... Ордас... красную шляпу.

Капитаны передают эти вещи посланцам Моктесумы. Кортес продолжает.

Кортес. А кто это такой, великий Моктесума?

Марина переводит. Посланцы, в высшей степени изумленные, отступают на несколько шагов назад, что-то тихо говорят.

Марина. Моктесума — это величайший властелин на земле. Племена, которые ты побеждал на своем пути,— его данники. Вожди, воины, мужчины, женщины, которых ты встречал,— его подданные. Все народы

---

[1] Буквально: прекрасное поселение истинного креста *(исп.)*. Ныне — мексиканский портовый город Веракрус.

[2] Имеется в виду французский рыцарь Роланд (VIII век), подвиги которого воспеты в «Песне о Роланде».

этой земли обязаны платить ему дань. Никто не может глядеть ему в лицо — так ярок его свет. Ему прислуживают во дворце более двух тысяч слуг, его развлекают тридцать женщин, когда он отдыхает.

Солдаты смеются.

2-й солдат. Этот царь или здоров, как жеребец, или устал до полусмерти.

3-й солдат. Хоть бы нам дал половину своих женщин.

4-й солдат. У нас — пятьсот мужчин, помогли бы ему немного.

Кортес. Хотел бы я посмотреть на этого Моктесуму и узнать, так ли он велик, как об этом толкуют.

Марина́ жестикулирует, посланцы Моктесумы отступают в ужасе. Солдаты переговариваются и смеются.

Марина. Столица Моктесумы далеко отсюда, господин, и он ее никогда не покидает.

Кортес. Тогда я сам пойду туда и погляжу. А далеко ли отсюда эта столица и как она выглядит?

Посланцы в смертельном страхе вздымают руки. Смолкают смех и шутки солдат.

Марина. В двух или трех днях ходьбы от этих берегов, но путь очень труден, и едва останется позади жар этих морей, начнется царство страшного холода. Сырой воздух сменяется туманом, и чтобы достичь столицы Моктесумы, надо перейти цепи высоких гор и дымящихся вулканов. Оттуда виден этот город, Теночтитлан, драгоценный камень среди озера, которое его окружает, зеркало власти его царей. По озеру плавают сорок тысяч каноэ, а из воды поднимаются бесчисленные каменные башни. Блеск воды и сверканье прозрачного воздуха создают волшебную картину, картину невиданного величия и чуда природы...

Кортес. А много ли войска у этого могущественного вождя?

Марина. Воины Моктесумы, построенные рядами на огромной равнине, покрыли бы ее целиком, как волны моря, по которому ты пришел, господин.

Кортес. Больше точности, женщина, меньше поэзии.

Марина. Под властью Моктесумы находятся тридцать царей-вассалов, у каждого из них — десять тысяч воинов.

Кортес. А хороши ли его военачальники?

Марина. Да, хороши. Они с детства воспитываются для войны и изучают военное искусство. Им покровительствует сам бог войны Уицилопочтли и сопровождают души их предков, древних царей ацтеков...

Кортес, веселясь, указывает на каждого из своих капитанов по мере того, как звучат имена ацтекских царей.

Марина. Акамапи́чтли...

Кортес. А, такая птичка... не испугает моего Диего де Ордаса и его резвую кобылу, здоровую, хотя и молодую.

Ордас. Да, уж во всяком случае, моя лошадка-то получше, чем у моего соседа Баены в Тринидаде. Его соловая ни к черту не годится.

Марина. Чимальпопо́ка...

Кортес. Вот именно — мал пупок для моего Алонсо Эрнандо Портокарреро, не стоит он и копыта его гнедого скакуна, хотя и необузданного.

Портокарреро. Да, но конь по имени Арьеро, который принадлежит музыканту Ортису, получше и попрытче моего...

Марина. Ицкуаци́н...

Кортес. Пусть-ка этот сукин сын выйдет против моего Гонсало де Сандоваля и его вороного, который бьет всеми четырьмя ногами.

Сандоваль. Против моего вороного — это верно, Эрнан. Только не трогай и не вводи в бой клячу Хуана Седаньо,— она успела ожеребиться на корабле.

Все смеются, кроме Марины и посланцев Моктесумы.

Марина. Все они — цари-основоположники и благороднейшие властелины!

Кортес *(смеясь)*. Все они вместе, говорю тебе, пустятся наутек от храбрейшего Педро де Альварадо и его быстроногой рыжей кобылы, которую он отобрал у ее законного хозяина Фернандо Лопес де Авилы...

Альварадо *(смеясь)*. Я купил ее, Эрнан, почти целиком... В общем, половину...

Ордас. Какую же половину? От загривка до брюха или от брюха до зада?

Альварадо. Смотря по надобности.

Все смеются. Посланцы Моктесумы ничего не понимают.

Олид. Значит, Педро, и на паре конских ног не пропадет лихой ездок...

Кортес поднимает руку.

Кортес. Кабальеро... Сеньоры... Хватит балагурить в присутствии гонцов великого Моктесумы. *(Осматривает подарки.)* Покрывала... Мозаика... Перья... *(Становится — руки в боки — перед посланцами Моктесумы.)* Даже самые захудалые вожди давали нам золото, хотя и не высокой пробы. Неужели у величайшего Моктесумы нет ни крошки этого металла или, может быть, он — величайший скряга и негостеприимный хозяин?

Движение среди посланцев.

Марина. Один из залов дворца Моктесумы до потолка наполнен золотом, там — все золото империи.

Кортес снимает шлем и дает его посланцам.

Кортес *(Марине)*. Скажи им, женщина, чтобы они наполнили этот шлем слитками золота, и тогда я, быть может, начну верить в величие их хозяина.

Марина что-то говорит посланцам. Один из них нехотя берет шлем, вытаскивает из-под туники мешок, высыпает его содержимое — массу золотых слитков — в шлем Кортеса; шлем наполняется до краев. Капитаны в изумлении приближаются, солдаты встают.

Портокарреро. Если даже вычесть королевскую долю, и то хватит на весь наш флот...

Олид. А наверное, там, откуда принесли, его еще больше?

Альварадо. Сначала-то припрятали, сукины дети!

Марина. Господин, посланцы великого властелина Мехико, Моктесумы, прощаются с тобой, благодарят тебя за подарки и желают тебе счастливого, хотя и недолгого пребывания в этих землях.

Кортес. Счастливого? Пусть тогда поймут, что мы пришли к ним не для того, чтобы творить зло, а разделить с ними по-братски то, что сами имеем. Пусть великий Моктесума повелит своим вассалам не досаждать нам войной, а открыть нам путь и давать продовольствие. Только тогда наше пребывание будет счастливым. *(Пауза.)* И недолгим, говоришь?

Марина. Великий Моктесума Хокойоцин ожидает, что ты, господин, и твои теулы, поглядев на эти земли, возвратитесь туда, откуда пришли.

Посланцы смиренно кланяются и уходят. Солдаты тут же набрасываются на шлем, полный слитков золота, начинают считать их, взвешивать в руках. Капитаны пьют и осматривают свое оружие.

К о р т е с *(Марине)*. Ты произнесла слово, которое я не понял. Гонцы назвали нас теулами... Что это значит?

М а р и н а. Бог, боги.

К о р т е с. Боги... Мы?

М а р и н а. Бог... Ты.

Изумление Кортеса переходит в громкий смех.

К о р т е с. Я? Но я же ничто...

М а р и н а. Для Моктесумы, который — всё, ты — больше, чем он сам. Послушай меня, господин, кто считается ничем, тот может стать всем, а кто сейчас всё, может обратиться в ничто.

К о р т е с. Бог?.. Я? Замолчи, богохулка!

М а р и н а. Мой голос — это голос моей земли, и его никто не может заставить замолчать.

К о р т е с. Знай, надо мной стоит император дон Карлос, которого я представляю, а над всеми нами — истинный и единый бог Иисус Христос, который умер на кресте за наши грехи.

М а р и н а. Это было в твоих землях, господин. Здесь же... не должно быть никого превыше тебя.

Кортес отходит от Марины и медленно идет к капитанам. Солдаты подкидывают вверх слитки золота.

1-й с о л д а т. Ничего золотишко. Получи я свою часть, мог бы купить земельку на Кубе и жениться...

2-й с о л д а т. Но ты не на Кубе, а на земле этого самого Моктесумы, и золотом твоим тут ни раны не залечишь, ни глотку не смочишь.

3-й с о л д а т. Золотом этим и мертвых не воскресить, а их уже пятнадцать.

4-й с о л д а т. Вы слыхали, что было сказано? Слыхали, что нас ждет? Недосягаемый город под облаками; крепость, которую защищает сотня тысяч воинов.

5-й с о л д а т. А нас горстка. Сколько нас всех?

Кортес останавливается около них.

К о р т е с. Ты уже сказал, сколько нас, когда мечтал поразвлечься с женами Моктесумы. Нас всего-навсего пятьсот человек.

6-й с о л д а т. И таким-то малым числом мы хотим победить войска Моктесумы, капитан?

5-й с о л д а т *(неуверенно)*. Золото у нас уже есть...

4-й с о л д а т. А хлеб наш заплесневел и прогорк.

1-й с о л д а т. Капитан, подумай о холоде, голоде и смертях, которые нас поджидают... О том, как тяжко тащить все оружие на своем горбу, и о многих других трудностях... Не хватает еды... С таким хлебом, солью и салом нам не пройти этих трех дней до города Моктесумы...

К о р т е с. Так нельзя рассуждать. На что вы жалуетесь? Вам не хватает только еды. Можете взять ее у индейцев.

2-й с о л д а т. Капитан, ты удивляешься, что мы думаем, на кой черт нам эти войны и — коль скоро им уже конец — доживем ли мы до этого конца? Но куда мы идем? Ведь взять эту далекую столицу — дело трудное, силы у них огромные, и если мы ввяжемся в войну с полчищами Моктесумы, что тогда будет?

К о р т е с. Сеньоры, когда я был ребенком, из дверей своего дома я смотрел на руины замка в Медельине. Когда-то он был великим. Потом пришел в запустенье. Хозяева оставили его. Но, как только я отворачивался от руин и спускался в деревню, я видел там жизнь. Там ходили такие же люди, как вы; народ спускался из Трухильо в Сан Лукар де Баррамеду и в Кадикс, шел из Мериды в Кордову; торговцы бродили

между деревнями в Ла Серена и селениями в горах Монтанчес. Все искали счастья, удачи, денег и не уповали на провидение. Замок лежал в руинах, потому что эти люди бросили его: они перестали быть рабами феодала, они стали частью народа в движении, они пошли по дорогам мира, открытого их устремлениям. *(Пауза.)* Мы тоже часть этой Испании в движении, Испании, которая бросила замок в руинах. Испания уже находится не в самой Испании, мы раздвигаем ее границы. Кто хочет, пусть возвращается к тому замку. Кто хочет быть человеком новым, решительным и волевым, тот пойдет за мной и пусть благодарит небо, что участвует в этом походе, который мы предприняли во славу нашего высочайшего повелителя, короля дона Карлоса.

3-й солдат. Но ведь не король дал тебе право представлять его тут, а губернатор Кубы.

Кортес. А где он, этот губернатор? Может, кто-нибудь видел его среди нас? Может, он тоже страдал от голода, лихорадки, морских бурь, индейских стрел и играл со смертью, как мы? На завоевания новых земель идут такие люди, как вы, которые смотрят в лицо всем опасностям, но не ради интересов толстопузых губернаторов.

4-й солдат. Капитан, ты восстаешь против того, кто дал тебе власть, да еще снарядил корабли для этого похода...

Кортес. А ты не восставай против меня, потому что власть Диэго Веласкеса не простирается на владения Моктесумы. Здесь признается только власть короля. И помни: если кроме кораблей у нас есть люди, оружие, хлеб, лошади, сало и куры, то это только потому, что Эрнан Кортес постарался собрать снаряжение, платил, а иной раз и воровал что было нужно, как благородный пират ради доброго дела. Хватит болтовни! В поход пошли сами, сами поход снарядили, сами будем и кончать дело. *(Подходит к своим военачальникам.)* Сандоваль, ты осмотрел берег?

Сандоваль. Да. Но так и не смог найти подходящей гавани, где бы укрыть суда от северных ветров.

Кортес. Что будем делать?

Портокарреро. Остается только два пути.

Олид. Вернуться на Кубу с золотом и дарами, которые тут добыли.

Ордас. Или укрепиться в этом лагере, построить береговые сооружения и ждать, что будет дальше.

Альварадо. Нет, есть и третий путь: вторгнуться в империю Моктесумы.

Сандоваль. Это грозит мятежом. Сторонники губернатора Веласкеса ропщут против тебя.

Ордас. Они говорят — ты их обманул; тебе, мол, дана власть только обменять товары на золото и вернуться на Кубу.

Олид. А ты вопреки указу основал тут поселение.

Портокарреро. Да еще грозишься идти в далекий город Моктесумы.

Кортес. Альварадо, брось немного золота бунтарям — этот металл сдвигает горы и смягчает сердца.

Портокарреро. Некоторые предпочитают вернуться нищими, да живыми.....

Олид и Ордас уходят. Кортес в гневе оборачивается к солдатам.

Кортес. Кем ты был в Испании, солдат?

4-й солдат. Конюхом, капитан.

Кортес. А ты?

5-й солдат. Сыном землепашца, капитан.

Кортес. А ты?

6-й солдат. Свинопасом, капитан.

Кортес. И к этому хотите вернуться, мятежники? В грязи родились — в грязи подохнуть хотите? Зачем тогда жизнью рисковали? Как это понять? Или не в характере испанцев идти всегда вперед?

2-й солдат. Дай нам немного золота, которое ты выменял, капитан, и позволь живыми вернуться на Кубу.

Кортес. Портокарреро! Возьми все добытое золото, все покрывала, всю яшму, все вещи из перьев и мозаики, отнеси на один из кораблей и отправь его сегодня же ночью в Испанию. Пусть все это будет положено к ногам его величества короля дона Карлоса. Пусть мадридский двор, вся Испания, вся Европа узнают, что за люди открыли эти земли. Даже если нас прикончат воины Моктесумы, слава, по крайней мере, будет нашей, а не этого невидимки, губернатора Веласкеса.

Пока Кортес говорит, Портокарреро, действуя самым решительным образом, заставляет 5-го и 6-го солдата собрать дары; уходят.

Кортес *(3-му солдату)*. Теперь даже это золото не достанется тебе, солдат. А если хочешь заполучить его, пойдешь за мной дальше.

Слышен громкий ропот оставшихся солдат. Входят Ордас и Олид и вводят двух связанных капитанов — Эскудеро и Серменьо.

Ордас. Капитан Кортес...

Кортес. У нас не будет ни дня отдыха и покоя...

Олид. Эти люди — Эскудеро и Серменьо. Их накрыли, когда они пытались захватить одну из каравелл. Они сознались, что хотели удрать на Кубу, рассказать губернатору о твоих действиях, опередить твоих гонцов и отстранить тебя от командования. Они хотели присвоить себе славу покорителей этих земель, а также все права на сокровища, которые в ней сокрыты...

Кортес *(солдатам)*. Теперь вы видите? Видите, ради кого воевали и терпели лишения, кому отдали бы свое богатство и честь? Изменникам! Тем, кто не страдал рядом с вами! Карта брошена! Альварадо, высечь этих подлецов!

Олид и Ордас связывают кричащих Эскудеро и Серменьо.

Эскудеро. Нас всего лишь горстка слабых людей!

Серменьо. Нам не устоять против несметных войск Моктесумы!

Альварадо и Ордас стегают их хлыстами. Мятежники стонут и кричат.

Кортес. Это вам не устоять, трусы, а мы сможем, все сможем. Карта брошена, повторяю. Брошена еще в Испании. Уже тогда, когда нас родили наши матери. *(Пауза.)* Ты, Серменьо, будешь вздернут сегодня ночью на виселице. И да простит мне бог, что я проливаю кровь испанца. *(Пауза.)* А тебе, Эскудеро, я отрублю ноги, и ты будешь служить живым напоминанием об измене и уроком для других.

Входит Матрос, дрожащий, растерянный, с беретом в руках. Кортес замечает его.

Кортес. Корабль Портокарреро отплыл в Испанию?

Матрос. Ушел, капитан.

Кортес. Матросы выполнили мои распоряжения?

Матрос. Мы выполнили, капитан.

Кортес. Карта брошена. *(Движение среди присутствующих.)* Для этой горстки людей возврата нет. *(Пауза.)* У нас больше нет кораблей. *(Всеобщее замешательство и волнение.)* Корабли затоплены. *(Волнение присутствующих нарастает.)* Знайте все, что нам выпала трудная миссия и что с помощью нашего господа бога Иисуса Христа мы должны выиграть все битвы и все сражения. Мы должны только побеждать —

если где-нибудь мы будем разбиты, нам уже не спастись. Нам неоткуда ждать помощи или спасения, кроме как от бога, потому что у нас нет кораблей для возврата на Кубу. Наша единственная надежда — это наша доблесть и храбрые сердца. *(Пауза.)* Признаете ли вы Фернандо Кортеса своим капитан-генералом, высшим судьей и хозяином пятой части золота, которое останется за вычетом королевской доли?

Все. Да!

Кортес. Тогда вперед, к великому Теночтитлану Моктесумы! Вперед, чего бы это ни стоило! Если коза хромонога, трудна ей любая дорога!

Всеобщая суета и движение. Сцена окутывается тьмой.

## 5

Зал во дворце Моктесумы. Моктесума, спокойный, улыбающийся, кормит павлинов. Входит Сиуакоатль. Увидев своего верховного жреца, царь улыбается, берет его за руки, Сиуакоатль склоняется перед Моктесумой.

Сиуакоатль. Ты доволен, господин?

Моктесума. Я чувствую облегчение, жрец, облегчение... Какое чудесное слово, будто омовение в голубых водах, будто весенний вечер под соснами Чапультепека, будто погружение в глубокий и сладостный сон. Предсказания сбылись, теперь больше не будет догадок и предположений. Сомнения рассеялись, теперь они перестанут мучить меня. Сны и видения обернулись реальностью. Теперь сгинут фантазеры, которые досаждают мне своими иллюзиями. Да, все это так. Призраки имеют плоть и душу. Наша вера не посрамлена, отнюдь нет — она укрепилась, ибо случилось так, как написано: Кецалькоатль вернулся в тот самый день, что предсказан авгурами, в день знака Се Акатль. *(Пауза.)* Бедный торговец, бедный пастух! О мой союзник, царь Тескоко! Храбрый Цомпантекуктли... Как жаль. Если бы они говорили сейчас, я не убил бы их, а велел воскурить им фимиам. Сама истина говорила их устами... Только не вовремя. Какое странное свойство имеют люди, жрец,— говорить правду, когда никто не желает ее слушать, и умирать до того, как эта правда станет видимой и осязаемой. *(Пауза.)* Ох, наконец-то я могу отдохнуть.

Сиуакоатль. Моктесума, у ворот твоей империи стоит новая сила, которая нам угрожает.

Моктесума. Ты желаешь разрушить мое счастье, жрец? Тебе доставляет удовольствие огорчать меня?

Сиуакоатль *(встает)*. Этот человек, прозванный своими людьми Кортесом — святой он или нет, не знаю,— но он несет с собой новую веру. Он ведет с собой своих жрецов.

Моктесума. Да, это теул Кецалькоатль. Или ты думаешь — он должен явиться голым, как бедняк индеец, без свиты, без воинов и священнослужителей?

Сиуакоатль. Я сомневаюсь, чтобы он воспринял наши обычаи. Скорее всего, он казнит наших воинов и разгонит жрецов!

Моктесума. Не беспокойся. Не пугайся раньше времени. Я все предусмотрел. Я успокою теулов дарами. Сто носильщиков спустились на берег с большими изделиями из золота, серебра, с бирюзой и яшмой и другими ценностями, добытыми из всех наших богатых рудников. Все это их, конечно, умиротворит. Убедившись, что я их почитаю, они поверят в благополучие этого царства и вернутся морем в свои небесные жилища.

Сиуакоатль. Вернутся? Не знаю. Быть может, они захотят иметь больше того, что ты им даришь. Быть может, ты только разбередил их алчность. Они потребуют все больше и больше, пока не отберут у тебя твои собственные сокровища, которые ты хранишь в тайниках своего дворца Ахаякатль.

Моктесума. Значит, они не боги? Значит, их предводитель — не воплощение Кецалькоатля? Разве ты слышал когда-нибудь, что бог жаждет золота? Разве он не говорит лишь о таких незыблемых основах, как единство, мир и счастье? Нет, я полагаю: достаточно небольшого количества золота, чтобы откупить нашу власть, жрец. Бог подумает, что тот, кто воздает ему такие почести, всецело повинуется ему, управляя этими землями. И удовлетворенный, он уйдет с миром. *(Пауза.)* Верь моим словам. Дай мне насладиться моим возвращенным покоем.

Сиуакоатль. Твой покой может обернуться нашей гибелью. Ты веришь фатальному совпадению: они пришли, когда должны были прийти. Эти люди для тебя — Кецалькоатль и его свита. Думал ли ты, что можешь ошибиться?

Моктесума. Ты снова стремишься вселить в меня ужас, сомнение и неуверенность в себе, от которых я избавился. Имей же сострадание. Дай мне свободно вздохнуть. Не возвращай меня в ад.

Сиуакоатль. Сострадание, о котором ты меня просишь, может стать преступлением. Оно не будет благословенным ни для тебя, ни для меня, ни для нашего царства. Подумай, повелитель: если этот бородатый военачальник действительно сам бог Кецалькоатль, почему он непрестанно провозглашает, что представляет собою другого властелина, более могущественного, чем он, далекого императора по имени Карлос? Почему он упорно повторяет, что над ним и над его повелителем стоит другой бог, единственный и непобедимый, который покровительствует ему в его победах над прибрежными вождями?

Моктесума. Не наводи черную тень на благословенную ясность этого пришествия. Если то, что говорит предводитель теулов, правда, то тем более надо ублажить и умилостивить его. Вместо того чтобы чтить одного-единственного бога, мы будем почитать трех новых богов: бога-капитана, бога-царя и бога-бога. В нашем пантеоне достаточно свободного места. *(Пауза.)* Почему ты любишь запутывать всех своими жреческими домыслами? Прими эту простую истину: предвиденное совпало с происшедшим.

Сиуакоатль. Повелитель, встретились два мира, никогда не соприкасавшиеся и несравнимые. Наши боги для них не боги, их боги не наши боги. В этой борьбе нет общих понятий, а если их нет, остается одно — борьба. Будь к ней готов.

Моктесума *(энергично возражает)*. Нет, драма окончена, жрец.

Сиуакоатль. Драма только начинается, повелитель.

Моктесума. Окончена, говорю тебе,— таково пророчество неба, и оно сбылось. Их предводитель — Кецалькоатль. Так должно быть. Если бы это было не так, ты подорвал бы магические основы нашей веры... А меня вверг бы в безумие.

Сиуакоатль. Кстати о вере, повелитель,— ты обещал построить храм для нашего бога Уицилопочтли...

Моктесума. Ты с ума сошел? В то время когда явился Кецалькоатль, ты хочешь воздать почести его сопернику?

Сиуакоатль. Но ты обещал. Если не исполнишь обета, ты оттолкнешь жрецов и воинов.

Моктесума. Пусть строят храм для Кецалькоатля, я приказываю.

Сиуакоатль. Уицилопочтли — это бог воинов, мы нуждаемся в нем, верь мне.

Моктесума. Если тебе нечего делать, жрец, прикажи удвоить число мужчин и детей, которых надо принести в жертву в честь вернувшегося бога. *(Пауза.)* А теперь иди...

Снова начинает кормить павлинов. Сиуакоатль уходит.

## 6

Лагерь около Семпоалы. Слышится голос 7-го солдата, который напевает старый кастильский романс. Вдалеке гудят индейские барабаны. Кортес — взлохмаченный, в рубахе навыпуск, спит, положив голову на колени Марины. Солдат перестает петь. Молодая красивая Девушка-индеанка робко высовывает голову из-за кулис. Солдат ее замечает и направляется к ней. Девушка отбегает в сторону. Солдат вытаскивает из-за пазухи стеклянные четки и зеркальце, гремит четками. Девушка останавливается. Солдат играет зеркальцем, которое поблескивает. Девушка прикрывает глаза руками, Солдат подходит к ней, обнимает за талию. Она вырывается, он манит ее рукой, предлагает зеркало Девушка возвращается, с удивлением смотрится в зеркало, протягивает руку Солдату, берет зеркало. Он ее целует, они уходят.

Марина. Отдыхай, мой господин, отдыхай, и пусть мои объятия будут тебе колыбелью. Спи в моих объятиях, и я буду тебя убаюкивать, буду рассказывать обо всем, что делается в этой земле, которая стала другой с тех пор, как ты ступил на ее берег. *(Пауза.)* Ты вошел в страну, сложенную по образу и подобию пирамиды. *(Пауза.)* Земля наша —

пирамида, которая устремляется ввысь — от широких, влажных и жарких берегов к чудесным террасам плодородных долин и холмов, к острым пикам гор, снежным вулканам и высокому, выжженному солнцем плато. Здесь — вершина пирамиды, и имя ее: город Мехико — Теночтитлан. Царство наше — тоже пирамида. В ее основании — работа пленных рабов, бедняков, носильщиков и тысяч безымянных людей. Выше — муравьиный труд сборщиков дани, ремесленников, торговцев и всяких прислужников. Еще выше — отвага воинов и таинственные обряды жрецов. Надо всем этим — честолюбие и привилегии принцев, а на вершине пирамиды — Моктесума со своим полновластьем. Там есть место только для одного человека. *(Пауза.)* И духовная жизнь наша — как пирамида, потому что все наши устремления направлены вверх, туда, где должны соприкоснуться постройки из презренной глины и неосязаемый небосвод. Все пирамиды, построенные на наших землях,— это архитектура нашего духа, наших вожделений и нашего страха. Мы хотим дотронуться до неба, и поэтому мы мечтаем и работаем, как все люди. Но мы хотим также и не тревожить небо, потому что мы его боимся: еще очень свежо воспоминание, очень свежо, господин мой... *(Марина бурно ласкает спящего Кортеса.)* Очень свежо воспоминание о страшных потрясениях начала жизни, о времени, когда люди были совсем беззащитны перед зверями, голодом и жуткой тишиной. Мы очень недалеко ушли от времен, когда небеса гневались на землю; мы очень недалеко ушли от изначальной тьмы. Мы еще чувствуем себя беззащитными, господин. Есть силы, более мощные, чем мы, и мы, наверное, можем обуздать их, только обратившись в то, чего боимся сами, и в то, чего желаем. Мечтай обо мне, господин, я — воздух. Трогай меня, господин, я — огонь. Пей меня, господин, я — дождь. Бери меня, господин, я — земля. *(Пауза.)* Мехико еще сотрясается, земля еще не отдыхает, сотворение еще не окончено. До сих пор мы порабощены дьявольским множеством всего того, чего мы страшимся и чего не знаем. Мы создали пантеон многочисленных богов, чтобы умиротворить Вселенную. Наш мир — мозаика из множества мечтаний, множества страхов, множества противоречивых принципов. Поэтому один человек — Моктесума — может безнаказанно тиранить нас. На вершине пирамиды, там, где встречаются камень и небо, должна быть по крайней мере единая воля, общность тела и души над такой разобщенностью между жизнью и мечтой.

Кортес шевелится, просыпается.

Кортес. Марина...

Марина. Господин...

Кортес. Я видел сон.

Марина. Что тебе снилось, господин?

Кортес. Слова. Все происходило на словах.

Марина. Я тебя предупреждала. Существует только то, что названо словом.

Кортес. Нет, так бывает во сне. Наяву имеет значение только дело.

Марина. Ты действуешь, господин, и люди не забудут твоих деяний. Не мешай мне говорить слова во имя тебя.

Кортес *(улыбаясь)*. Ты — мой голос.

Марина. Твой голос говорит тебе, что голоса этой земли называют тебя богом.

Кортес. Ты продолжаешь богохульствовать? *(Пауза. Сомнение. Внутреннее колебание.)* Значит, так говорят обо мне?

Марина. Так говорят. Ты — теул, ты — бог. И не только потому, что ты и твои люди уже прослыли бесстрашными, и не потому, что твои животные и твой огонь вселяют ужас... И даже не потому, что полагают, будто бы вы бессмертны, побеждая войска, настолько превосходящие вас

числом. Нет, господин, ты бог потому, что так написано на небесах, на которых наши авгуры умеют читать...

Кортес. Какая глупость... Пустые домыслы.

Марина. Я ждала, пока ты проснешься, хотела сказать тебе это... Постарайся, чтобы весь мой народ и даже великий Моктесума продолжали верить, что ты бог, постарайся во имя своей победы...

Кортес. Я — верноподданный короля Карлоса, и куда бы я ни пришел, где бы я ни был, я не могу не провозглашать, что представляю его величество и ему одному приношу свои победы и плоды побед.

Марина. Господин, твой король так же далеко отсюда, как и губернатор, чью власть ты отвергаешь. Так почему же те, кого нет с вами, должны присваивать себе славу и богатства, добытые одним тобой? Я спрашиваю тебя о том же самом, о чем ты спрашивал своих солдат: где король, который властен над тобой? Или он тоже участвовал вместе с тобой в жестоких сражениях, или тело его изранено отравленными стрелами?

Входит Бартоломе де Ольмедо и останавливается в темном углу. На нем одеяния монаха ордена милосердных: белая туника и черный капюшон. Прислушивается к разговору.

Кортес *(смеясь)*. Нет, мой юный король дон Карлос ведет приятную жизнь за пределами Испании. Сын Фландрии, он даже не умеет говорить по-испански. Сын Хуаны — безумной королевы, он живет в таком же уединении, как и его мать... Среди наставников, врачей и придворных.

Марина. Господин, будь ты царем этих земель. Ты можешь быть царем. Ты и я — вместе... Господин, победи Моктесуму и возьми его власть, но не разрушай эти земли, не насилуй их... Стань новым императором Мехико, отступись от своего царя и своего бога. Ты можешь быть сам себе царем и богом...

Кортес *(выслушав ее, ласково)*. Я не знаю, чего в тебе больше — нетерпения или наивности? Наберись хотя бы терпения, если не разума. Наш поход еще не закончен.

Марина. Ты никогда не станешь царем, если будешь ждать, когда тебя посадят на трон. Прежде чем иметь, надо желать. Господин, ты будешь хозяином только того, чего сам твердо желаешь.

Приближается Ольмедо.

Ольмедо. Замолчи, дьяволица! Хотя я сам крестил тебя святой водой и дал крест целовать, твоей языческой душой еще владеют грязные каменные идолы, которых мы повергаем в прах на нашем пути. *(Становится напротив Марины.)* Изыди, изыди отсюда, сатана...

Марина быстро убегает, как вспугнутый зверек. Ольмедо оборачивается к Кортесу.

Ольмедо. Великие подвиги ты свершил, капитан.

Кортес. Я не смог бы их свершить без благословения нашего господа бога.

Ольмедо. Воистину так. Не забывай об этом.

Кортес. Я не забываю, падре Ольмедо. Не забываю я и того, что предначертания господа бога выполняются только руками людей.

Ольмедо. Святая истина. И тем больше должно быть смирение людское, когда они сознают, что все сказанное и содеянное ими ничего не стоит, если это не говорится и не делается во славу божию...

Кортес. Аминь. А сейчас я бы хотел еще немного отдохнуть.

Ольмедо. Да обретет твое тело покой. Но успокоится ли твое тщеславие?

Кортес. Ты принадлежишь к ордену милосердных братьев, имей же немного милосердия к уставшему человеку.

Ольмедо. Не увидели бы индейцы твою усталость. Боги должны бдеть без устали.

Кортес. Боги...

Ольмедо. Эти дикари принимают тебя за бога, потому что их предки сказали им: придут белые бородатые люди оттуда, откуда восходит солнце, и люди эти будут ими повелевать. А вожди, видя золото, присланное тебе царем Моктесумой, думают также, что он тебя убоялся, а бояться он может только бога.

Кортес. Что ж, пусть их суеверие послужит нам на пользу. Ты сам видишь, путь наш очень тяжел. Ты знаешь, сколь сильна моя вера, падре Ольмедо, и знаешь также, что скромный долг капеллана — это сопровождать войска, а не вмешиваться в военные планы, которые принесут победу нашему оружию.

Ольмедо. Я терплю то, что ты путаешься с этой языческой пифией.

Кортес. И я не хочу, чтобы ты обижал ее словом или делом.

Ольмедо. Я смотрю сквозь пальцы на твой блуд и на многие другие мелочи, хотя они и не так уж ничтожны. Не беспокойся, церковь умеет быть снисходительной к слабости человеческой. Но она не потерпит гордыню человеческую, если гордыня ослепляет человека и заставляет забывать, что любой личный подвиг — только частица двух великих предназначений: во-первых, шпагой увеличивать просторы Испанской империи; во-вторых, крестом расширять владения нашего господа бога.

Кортес. А как же люди, которые тут сражаются, а иногда и умирают?

Ольмедо. Они — ничто в сравнении с теми целями, которые я указал, ничто — дерьмо и прах. Из праха они вышли и в прах превратятся, покинув этот мир. Испания будет существовать и после них, а еще дольше, чем люди и Испания, будут существовать небо и ад, которые ждут нас в конце нашего бытия.

Кортес. А ты, падре Ольмедо, не подумал об одной вещи?

Ольмедо. Говори.

Кортес. Что эти земли стали для нас и небом и адом?

Ольмедо. Поостерегись, капитан, поостерегись молвить опасные слова...

Кортес. Я затопил корабли. Возврата нет. Мы все можем умереть сегодня ночью. Достаточно Моктесуме бросить десять тысяч его людей против нашего жалкого отряда — все наши слова вместе с нами сойдут в могилу. Дай же мне их высказать, а потом забудь про них.

Ольмедо. Ты все равно повторишь их перед богом.

Кортес. Еще раз — аминь, но спроси-ка у любого солдата и матроса, которые открыли и завоевали Кубу, Эспаньолу, Панаму и Большие земли, Юкатан и Табаско, а сейчас идут по империи Моктесумы,— спроси-ка их, что значат для них эти земли? И если они не побоятся сказать правду, ты услышишь такое их признание *(пауза)*: мы, падре, которые всего лишь прах и дерьмо, мы — испанские свинопасы, землепашцы и конюхи, мы, всегда подавлявшие свои желания, мы, которым некуда было направить нашу волю и энергию, мы, которые всегда были унижены так же, как наши с тобой отцы, Ольмедо,— мы бежали из невыносимого мира, где были господа и были мы, слуги, мечтавшие о небе и желавшие неведомых благ. *(Пауза.)* Теперь цель наша достигнута, это — Новый Свет. Он — наше небо, а порой и наш ад. Он — наши неведомые блага. Здесь мы можем быть господами. Здесь нет границ нашим мечтаниям, свершениям и удаче. Мы нашли реальный и осязаемый рай, который раньше был для нас пустой химерой. Такова истина, пад-

ре Ольмедо, и если ты ее будешь отрицать, значит, не понимаешь людей, души которых призван спасать.

Ольмедо. Твоя воля сильна, но божественное провидение еще сильнее. Постарайся, чтобы оно тебя не оставило.

Кортес. Провидение? Я называю это удачей. *(Пауза.)* Если наш поход окончится победой — мы возблагодарим провидение. Если проиграем — будь оно тогда проклято, это провидение. *(Пауза.)* Удача, падре, удача. Сила нашего устремления, противопоставленная опасностям нашего времени: неудача или успех. Только тогда мы поговорим о добром или злом провидении, когда наши дела завершатся.

Ольмедо. Еретик! Грешник! Не может быть благоденствия на земле без участия церкви! Если бы мы были в Испании, я бросил бы тебя в руки инквизиции!

Кортес. Но мы не в Испании, а в диких местах, и назад пути нет. Я тоже мог бы приписать тебе еретические слова, сказанные тут без свидетелей, и мог бы послать тебя на ту же самую виселицу, где болтается несчастный Серменьо.

Ольмедо. Истины вечны, и не тебе их отменять.

Кортес. Истины меняются со временем, и лучшее тому доказательство — я сам. Как ты думаешь, если бы времена не менялись, Фернандо Кортес смог бы наплевать на мельницу в Медельине и на чернильницу писаря в Вальядолиде? *(Пауза.)* А ты сам, падре, если бы времена не изменились, разве не остался бы ты жалким священником, пропахшим ладаном и мочой где-то в Ферроле, в Галисии? Нет, падре. Колумб дал новый мир Кастилии и Арагону, а их сыновьям, то есть тебе и мне, он дал возможность впервые проявить свою волю в подходящее время. А раньше, вспомни-ка, такой народец, как мы, только получал объедки чужих свершений со стола других времен. Теперь же мы научились мечтать и воплощать в жизнь наши мечты. *(Пауза. Кортес смеется.)* Видишь, недаром я был в университете Саламанки — могу поспорить и с церковником! Ладно, монах, иди с миром. Мой большой спор — не с тобой и не с богом... Значит, Моктесума думает, что я бог? Тем лучше для меня. Я удивлю его, действуя, как человек; потягаюсь с ним простыми людскими средствами — там, где он ждет каких-то чудес. *(Пауза.)* Ты хочешь, чтобы я воевал во имя нашего господа бога? Я и так громогласно заявляю об этом каждый раз, когда выполняю свой долг простого смертного. Никто не узнает, о чем мы тут говорили. Но ты и я, мы знаем — нам обоим нужна власть, чтобы достичь наших целей, твоей и моей. *(Пауза.)* Не беспокойся, такие люди, как ты и я, всегда поймут друг друга. Оставим публичные диспуты Цезарю и богу и будем делать то, что нам надо сделать на этом свете.

Ольмедо. Не пытайся обмануть меня, капитан Кортес. Тобой овладела гордыня. Это дьявольский грех. Я слышал твой разговор с той женщиной. Ты, эстремадурец, ты — бог? Ты — император индейцев?

Кортес. Я иду на завоевание империи.

Ольмедо. Да, но отваживаешься на это только потому, что тебя поддерживает другая империя.

Кортес. Империи на то и созданы, чтобы переходить из одних рук в другие. Так было от Александра Македонского до Карла Пятого.

Пауза Ольмедо с издевкой ухмыляется.

Ольмедо. Сперва рубаху заправь в штаны, капитан.

Смутившийся Кортес поспешно оправляет одежду.

Так вот, не спеши, капитан, твое самомнение больше твоего честолюбия. Хотя твое честолюбие может сравниться только с твоей жестокостью. *(Пауза.)* Это у тебя тоже оттуда, снизу, от твоего хлева деревенского и

твоих блудней — недостаток истинного благородства и врожденного достоинства. Ну, да ладно, будьте Ахиллами Нового Света, вы — свинопасы, мельники и недоучки-бакалавры. Но знаешь ли, против чего ты не устоишь? *(Пауза.)* Ты не сможешь не раструбить на весь свет о своих победах. Ты вернешься в Испанию и будешь павлином распускать хвост — что перед придворными, что перед односельчанами... *(Пауза.)* Когда ты отрезал пути назад, ты возомнил себя Юлием Цезарем, перешедшим Рубикон. Хорошо. Твои действия достойны восхищения. *(Пауза.)* Но Цезарь был империей, ты же... всего лишь подданный короля и церкви. *(Пауза.)* И если хочешь прославиться как великий мореплаватель, а может, и как великий завоеватель этих земель — хотя об этом еще рано толковать,— ты должен вернуться в Испанию рука об руку с церковью и заручиться ее покровительством. И даже в этом случае ты скоро увидишь, как легко все предают забвению и сколь велика неблагодарность людская. *(Пауза.)* Во всяком случае, позаботься, чтобы церковь была с тобою. Без нее ты всегда будешь только спесивым провинциалом и останется тебе одно — рассказывать сказки о своих похождениях своим внукам в Медельине. *(Поворачивается, чтобы уйти. Оглядывается.)* А долго ли просуществует твоя индейская империя, капитан, если тебе удастся завоевать ее и сделаться королем? *(Пауза.)* Я тебе скажу — она погибнет раньше, чем умрешь ты сам в своем гордом одиночестве, раньше, чем потеряют свою белую кожу и кастильский язык твои чада, которых ты тут наплодишь.

Кортес, ошеломленный неожиданной насмешливостью Ольмедо, выслушивает его в мрачном смирении. Уходя, Ольмедо сталкивается с двумя солдатами. С противоположного конца сцены входит Марина.

1-й солдат *(к Ольмедо)*. Извините, падре, благословите...

2-й солдат. Мы спешим, падре, спешим сообщить новости...

Ольмедо их благословляет, улыбаясь Кортесу, и уходит.
Солдаты, взволнованные, устремляются к Кортесу.

1-й солдат. Капитан...

Кортес. Говорите.

2-й солдат. Наш передовой отряд увидел совсем близко отсюда город — он блестит, будто весь из серебра...

Марина. Не все то серебро, что блестит в империи Мехико. Это город Семпоала и блестит потому, что стены его домов побелены.

1-й солдат *(Кортесу)*. Городской вождь тебя ожидает.

Кортес. Пусть сам придет ко мне.

2-й солдат. Говорит, никак не может, капитан.

Кортес. Он что, калека?

2-й солдат. Нет, очень толстый.

1-й солдат. Такой жирный, что не может двигаться.

Кортес *(энергично)*. Пусть приползет на четвереньках или притащится со своими слугами. Скажите ему, что он должен чтить меня. Я — теул, а он простой вождь.

Солдаты выходят.

Кортес *(весело усмехаясь)*. Посмотрим на этого жирного касика из Семпоалы. Может быть, и увидим, на какую ногу хромает чудесная империя великого Моктесумы. *(Оставшись наедине с Мариной, Кортес нетерпеливо шагает из стороны в сторону. Затем опускает голову.)*

Марина. Господин, в чем твое сомнение?

Кортес. Мое сомнение имеет имя.

Марина. Моктесума.

Кортес *(утвердительно кивает)*. Кто в действительности этот царь? Мне хотелось бы угадать или узнать это сразу, без невыносимых оттяжек, которые нам навязывает проклятое время...

Марина. Спрятавшись, я слышала твою беседу с вашим жрецом. Ты говорил, что твой спор — это спор не с богом. Но Моктесума — все равно что бог на земле, а в тебе он видит другого бога. Разве тебе надо быть ниже своего противника и ниже того образа, который создал твой противник о тебе?

Кортес. Боги, боги, боги... Все говорят о богах. *(Пауза.)* Они мне не нужны. Все это очень просто, Марина: борьба одного бога против другого — это роковая неизбежность. *(Пауза.)* Меня не интересует роковая неизбежность, с ней мне делать нечего. Если все происходящее само по себе неизбежно, тогда, выходит, не нужны моя воля, моя доблесть или моя жертва? Нет, мой спор не с каким-нибудь богом, а с людьми. Я хотел бы помериться человеческой силой с этим Моктесумой. Человек — я, человек — он. И тогда, как люди, и он и я узнаем подлинную силу наших разных устремлений и подлинную суть наших судеб на земле. *(Пауза.)*

Марина. Народы пойдут за тобой. Ты будешь местью против гнета Мехико — Теночтитлана... *(Пауза.)* Я последую за тобой...

Кортес вопросительно смотрит на нее.

Кортес. Но кому и за что мстишь ты?..

Носильщики вносят паланкин с Толстым касиком из Семпоалы. Толщина его потрясающа. Он то и дело оправляет накидку из перьев, которая прикрывает его жирный живот, и обмахивается веером. С другой стороны сцены входят испанцы. Кортес останавливается в нетерпеливом ожидании. Солдаты подносят ему кресло. Кортес садится. Марина приближается к Касику, целует ему руку. Касик жестикулирует, не говоря ни слова, обмахивается веером, стонет, всхлипывает. Марина переводит.

Марина. Господин, касик этой земли тотонаков принимает тебя и с восторгом приветствует, так как слышал о твоих подвигах и о том страхе, который ты внушаешь великому Моктесуме.

Кортес. Этот касик — тоже вассал Моктесумы?

Марина. А кто тут не вассал Моктесумы? Касик говорит, что мощь владыки Мехико огромна, гнет его невыносим для земель, которые находятся в его власти...

Кортес. Скажи касику, что есть владыки, более могущественные, чем Моктесума.

Марина. Касик был бы очень рад, но ему трудно поверить в это. Ежегодно Моктесума требует у Семпоалы многих ее сынов и дочерей для жертвоприношений или работы в царских домах и на царских полях. Под гнетом Мехико здешние племена вымирают. На их землях всего вдоволь: цветы, ваниль, какао, табак, фрукты — сапоте и мамей, но все отбирается сборщиками дани для Моктесумы, которые, кроме того, берут красивых женщин и девушек и насилуют их. Такова трагедия земли тотонаков, где живет более тридцати племен.

Кортес. Скажи касику, что я пришел облагодетельствовать его, прекратить грабежи и насилие, освободить от рабства.

Шумное ликование Толстого касика.

Марина. Касик отвечает тебе, что в таком случае ты можешь взять с собой тотонакских воинов, и по пути отсюда в Теночтитлан все порабощенные народы примкнут к тебе, потому что все только и ждали возможности, чтобы восстать против Мехико...

Кортес. Тогда пусть касик подготовит свои войска к сражению и пошлет гонцов к остальным тридцати племенам этого народа. Пусть сообщит им, что завтра мы выступаем на Тласкалу.

Марина. Касик говорит, что хотя Семпоала и Тласкала — враги Моктесумы, они также враждуют и между собой, и он не желает освобождаться из-под гнета Мехико, чтобы попасть под власть тласкальцев, людей жестоких и воинственных, которые так же стремятся угнетать соседей, как и ацтеки...

Кортес. Скажи касику, чтобы он повиновался мне и не боялся. Пусть пошлет парламентариев в город Тласкалу, и пусть они объявят от моего имени, что мы придем с миром, если их войска присоединятся к нашим и вместе с нами пойдут к великому Теночтитлану Моктесумы. В противном случае мы объявим им войну и они ничего с нами не сделают, так как мы — боги.

Монах Ольмедо делает шаг вперед. Напряженно слушает, глядя на Кортеса. Пауза. Кортес упрямо продолжает.

*(Марине.)* Скажи касику, что ему не придется служить двум господам— отныне власть Моктесумы в этих землях кончилась... *(Пауза.)* Скажи ему, что я буду защищать его от посягательств Мехико, а также Тласкалы и что отныне и впредь он должен будет повиноваться только одному властителю.

Пауза. Нарастает внутреннее напряжение Кортеса и Ольмедо. Появляются сборщики дани Моктесумы. Их появление ввергает в панику Толстого касика, который возбужденно жестикулирует. Марина переводит.

Марина. Господин, эти люди собирают дань для великого Моктесумы. Узнав о твоем прибытии, они пришли сюда, чтобы передать тебе еще одно приветствие от царя...

Сборщики преклоняют колена перед Кортесом; один из них ставит к его ногам курильницу для копала[1] и предлагает изделия из перьев; второй складывает к ногам Кортеса убитых кур и фрукты.

Марина. Сборщики дани просят тебя сделать выбор между этими дарами. Если ты бог, они будут курить тебе фимиам из копала и наденут на тебя убор из перьев. Если ты простой смертный, они просят тебя принять кур и фрукты, чтобы утолить голод.

Длительная пауза. Кортес колеблется. Встает. Ольмедо выжидательно смотрит. Кортес смеется, потом с гневом отшвыривает ногой курильницу, берет кур, бросает их своим капитанам, которые ловят их на лету, и протягивает руку к фруктам. Сборщики встают.

Марина. Сборщики Моктесумы прощаются с тобой и говорят, что намерены идти дальше, выполнять свой долг — собирать дань с этих земель для империи Мехико...

Кортес. Сандоваль! Альварадо! Взять их!

Сандоваль и Альварадо грубо хватают опешивших сборщиков. Касик трясется от страха.

Кортес. И если у них такие загребущие руки — отрубить их!

Олид и Ордас держат сборщиков, Сандоваль и Альварадо четырьмя сильными ударами отсекают у них кисти рук. Страдальческая гримаса Марины. Радостное изумление Касика. Вой и плач сборщиков дани.

Кортес *(к Ольмедо)*. Я предаю их твоей святой воле, падре. Пусть идут с тобой и постигнут таинства нашей религии. Ничего другого они уже не смогут постичь. А потом отпусти их в Мехико с... пустыми руками. Нет — также и с моим торжественным обещанием: я переправлюсь через горы и познакомлюсь с Моктесумой.

---

[1] Копал — смола тропических деревьев, употреблявшаяся при ритуальных церемониях индейцев.

Сборщики дани с плачем ползут на коленях к выходу. Между ними, подталкивая их за головы, шагает Ольмедо.

Кортес *(Марине)*. Касик Семпоалы в качестве доказательства его преданности должен дать мне не только всех своих солдат, но и носильщиков, чтобы тащить нашу артиллерию. Сам касик останется у нас заложником.

Поспешно, еще не очнувшись от изумления и не отдавая себе отчета в том, что происходит, Толстый касик начинает погонять своих слуг; они поднимают паланкин и выходят.

Кортес *(капитанам)*. Итак, сил у нас прибавляется.

Повеселевшие капитаны окружают Кортеса.

Сандоваль. Значит, с нами теперь отряды тотонаков.

Альварадо. С нами и отряды тласкальцев.

Кортес. Сегодня вы поняли, в чем слабость здешних земель? Местные народы проклинают Моктесуму и ненавидят друг друга.

Олид. Значит, завоевание индейцев будет осуществляться руками самих же индейцев?

Ордас. А кто поджигает лес, тот из леса уходит...

Кортес. Нет, завоевывать Новый Свет будем мы, испанцы. Не сомневайтесь, сеньоры. Посмотрите на эти земли и подумайте: здесь мало обработанных полей, здесь нет верховых лошадей и вьючных животных, здесь не знают железа. У них также нет настоящих войск, одни необученные орды. *(Пауза.)* Пусть бьют друг друга эти орды. Мы же, сплоченные и собранные в единый кулак, будем лишь проходить путем, который они нам откроют.

Сандоваль. Ты хочешь сказать, что с нами или без нас, эта империя все равно рухнет?

Кортес. Никогда не повторяй этих слов, Сандоваль; упаси тебя бог, если какой-нибудь королевский фискал использует их против нас. Тогда прощай, наши награды по заслугам. Скажем лучше, что, благодаря нашим смелым действиям, эта империя обретет свою настоящую судьбу. *(Пауза.)* Попробуй подожди, пока эта империя рухнет сама собой,— и сегодня же ночью индейцы перережут тебе глотку. *(Пауза.)* А теперь отдыхайте, сеньоры, завтра утром мы выступаем на Тласкалу.

Тусклый свет. Капитаны уходят. Коленопреклоненная Марина остается на сцене. Кортес подходит и опускается на колени перед ней. Они смотрят друг на друга. Вновь появляется парочка: Солдат и Девушка-индеанка; они прогуливаются, обняв друг друга за талию, спускаются к рампе, останавливаются и садятся. Солдат начинает тихо напевать романс. Кортес обнимает Марину.

Кортес. Мы одни. Мне хочется еще поспать.

Его голова падает на колени Марины.

Марина. Да, отдыхай, господин. Пусть мои объятия будут твоей колыбелью; спи в моих объятиях, я убаюкаю тебя, расскажу об этой земле, которая стала иною с тех пор, как ты ступил на ее берега...

Кортес спит. Солдат продолжает вполголоса напевать романс.

О господин, я знаю, что ты смертен, хотя и силен. Но в тебе столкнулись судьбы двух миров, которые ведать не ведали друг о друге и которые в тебе и из-за тебя увидели, что ни один из них не составляет всей Вселенной... Отныне вы, мы и наши дети должны жить с вечной думой о том, что весь мир человеческий — это нечто большее, чем только наши земли, наши жизни или наши представления... И когда от усталости, страха или высокомерия захочется презреть остальной мир, буря настежь распахнет наши двери и окна. Мои сыновья будут помнить о тебе.

господин, хотя и отрекутся от тебя. Ты открыл нам истину: надо правильно оценить всю величину мира, или придется впасть в рабство и покориться миру. *(Пауза.)* Кортес... Кортес... Кортес... Ни у кого из людей не было такой жизни, как у тебя: ты родился в положенный день, ты рос, любил, путешествовал и сражался, как все, но ты пришел в нашу землю как раз в ту пору, когда тебя ждали. Твое прежнее лицо не имеет значения. Мексика надела на тебя маску Кецалькоатля, страстно ожидаемого бога, создателя жизнетворного братства. Да, бога-наставника, но не бога-убийцы. *(Собирает плоды, принесенные сборщиками дани, и предлагает их спящему Кортесу.)* О господин, будь верен судьбе, которая с колыбели сопровождает тебя незримо и молчаливо. Будь настоящим Пернатым Змеем Кецалькоатлем. Верни настоящее счастье и сплоченность этому разрозненному и угнетенному народу. *(Пауза.)* Не опустошай этот сад... Возьми... возьми, господин, плоды моей земли...

## 7

Зал во дворце Моктесумы. Два мага-волшебника осторожно протягивают нить через всю сцену. Моктесума внимательно наблюдает за ними. Жрец Сиуакоатль из глубины сцены смотрит на происходящее со скептической усмешкой. Моктесума подходит к натянутой нити и, кажется, вот-вот дотронется до нее, но в страхе отступает, боязливо улыбается.

Моктесума. Вы думаете, это поможет?

Маги кивают головами, скорбно завывая. На каждое замечание Моктесумы они реагируют таким же образом.

Конечно, как я не сообразил раньше. Теулы разбивают наши войска, потому что войска состоят из обычных людей. Только волшебство может задержать богов. *(Пауза.)* Вы уверены, что теулы не смогут наступать, если поперек их пути протянуть эту нить? *(Колебание Моктесумы внезапно уступает место высокомерию властелина.)* В нашей империи много волшебников, из массы я выбрал вас, я оказал вам честь, разрешив прислуживать в моем дворце, но предупреждаю: если волшеб-

ство не поможет, вас не только вышвырнут вон. *(Пауза.)* Я велю вас повесить. *(Пауза.)* Военачальник может быть побежден. Военная победа или поражение — это обычная часть жизни. Но волшебство не может терпеть поражения, ссылаясь на законы жизни, ибо назначение волшебства — господствовать над природой. Буря, засуха, внезапная тьма — вот силы, могущие победить любого военачальника. А волшебник не должен знать поражения. Волшебство всегда должно побеждать — или это не волшебство. *(Пауза.)* Прекрасно. Идите навстречу теулам и протяните эту нить поперек их пути.

Маги-волшебники уходят, Моктесума оборачивается к Сиуакоатлю

В самом деле, где же теперь находятся эти бородатые боги?

Сиуакоатль. У ворот Тласкалы, господин.

Моктесума. Их встречают миром?

Сиуакоатль. Тласкальский вождь Хикотенкатль вызвал белых людей на решающий бой. Он сказал: если иноземцы победят, он поверит, что они боги. Если же они будут разгромлены, он поклялся убить их, как простых смертных, и съесть их мясо.

Моктесума. Жестокие, ненасытные тласкальцы. Сначала надо испытать все мирные средства.

Сиуакоатль. Ты никогда не выходишь из своего дворца, повелитель. Ты не знаешь характера сотен племен, которые тебе подчиняются. Если им свойственны продажность и раболепие, то иной раз они также могут проявить мужество и недоверие.

Моктесума. Это правда, я не знаю своих земель.

Сиуакоатль. Кортес же берет их пядь за пядью. Не опасаешься ли ты, повелитель, что те, кто никогда не имел чести видеть тебя, предпочтут быть вассалом этого упорного, сильного и своенравного человека? Не боишься ли ты, что народы, которым теперь дано выбирать между двумя владыками, предпочтут явную, зримую власть и отвергнут твое далекое, призрачное господство?

Моктесума стоит неподвижно. Потом оглядывается.

Моктесума. Мой дворец... *(Пауза.)* Мой дворец. Мой храм. Мое затворничество. *(Пауза.)* Ведь я прошу немногого. Жить, не выходя отсюда, не знать ничего из происходящего за этими стенами... Разве не заслуживает хотя бы эту награду тот, кому приходится быть царем? Иначе зачем быть царем, если царь даже не может оградить себя от забот, от приемов, от трудов и от мерзкого лицемерия обыкновенных людей? Мне некуда идти, я на вершине мира, я владею всем... Скажи, жрец, не я ли представляю солнце на земле?

Сиуакоатль. Да, это так.

Моктесума. Разве нельзя получить в обмен на эту власть немного покоя и одиночества? Или это слишком большая просьба? Пусть не глядят на меня, пусть не трогают меня, пусть не говорят со мной. Разве мало только существовать и представлять солнце на земле? Разве необходимо существовать страдая и представлять сомневаясь?

Сиуакоатль. Кто отвергает власть, сам будет отвергнут властью. Эти иноземцы хотят того, что ты отвергаешь: не только представлять власть, но и употреблять ее, чтобы изменить лицо земли нашей.

Моктесума. О, почему эти боги не останавливаются? Дары... почести... жертвы... покаяния... Все им предложено, все, что может требовать бог от смертных. Чего они еще хотят?

Сиуакоатль. Познать тебя.

Моктесума. Меня? *(Пауза.)* Разве боги уже не познали меня из своей небесной обители? Разве боги уже не увидели того, чего я сам не вижу: мою судьбу, мою смерть?

Сиуакоатль. Их желание знать — не любопытство богов, а любопытство людей, для которых ты такая же загадка, что и они для тебя.

Моктесума. Да? *(Пауза. Размышляет.)* Тогда, жрец, я решил, что надо делать. Найди человека, похожего на меня. *(Пауза.)* Однажды я говорил тебе... Что мы представляем собой без наших церемониальных одежд? И кто мы, такие, как не два бедняги, похожие на всех других бедняг империи? Воспользуйся этой истиной, отыщи мне двойника среди горожан, обряди в мои одежды, укрась его голову моим плюмажем и покажи его теулам. Тогда они удовлетворят свое любопытство, увидев меня, и вернутся назад.

Сиуакоатль. Если они боги, маскарад не поможет. Ты не в силах обмануть богов, так ведь? Боги или люди — они хотят познать твою душу, а не твои одежды.

Моктесума. Повинуйся. Делай, что я тебе приказываю.

Сиуакоатль кланяется, уходит. Входят два сборщика дани с перевязанными руками, простираются на полу перед царем.

Моктесума. Выполнили мои повеления?

1-й сборщик. Да, да, всемилостивейший повелитель.

Моктесума. И что сделал теул?

Сборщики поднимаются и показывают обрубки рук.

Моктесума. Боги жестоки, это я знаю. Что же он сделал? Принял ли священные подношения или предпочел утехи людские?

1-й сборщик. Он отшвырнул от себя курильницу.

2-й сборщик. Он предпочел кур и фрукты.

Долгое молчание Моктесумы.

1-й сборщик. Больше того, всемогущий повелитель,— он поклялся, что придет к тебе, и велел передать свое слово.

Моктесума. Кто же они? Чего ищут в моих владениях? Почему стремятся дойти до моей столицы? Кто ответит на мои вопросы? *(Пауза.)* Хотел бы я разгадать... Кортеса... сразу, не видя его... Или увидеть его сейчас же, не изводясь ожиданием...

2-й сборщик. Он сам показал, кто он есть, светлейший царь,— он избрал грубую пищу смертного и отверг нежный фимиам богов.

Моктесума. Нет, он просто посмеялся над нами. Он—бог. Он должен быть богом, или его победы необъяснимы.

1-й сборщик. О великодушный повелитель, мы знаем и другое. Этот капитан Кортес и в остальном предпочитает человеческие радости...

2-й сборщик. Он живет с одной изменницей, с Малинцин, которая была принцессой и рабой в землях Хикаланго, а теперь переводит речи иноземца...

Моктесума. А разве Кецалькоатль не жил со своей сестрой?

1-й сборщик. Этот капитан похваляется, что он не только простой смертный, но и человек низкого происхождения.

2-й сборщик. Он сын мельника и командует шайкой свинопасов и земледельцев...

Моктесума. Ложь! Ложь! Не может быть простолюдином тот, кто посягает на мою власть... Он принял обличие человека и употребил слова людские, чтобы ввести меня в обман, убить веру в священные пророчества, войти в мою столицу, а потом судить меня судом божьим... Вон отсюда!

Испуганные сборщики убегают.

Моктесума. Они должны быть богами, он должен быть богом... *(Пауза.)* Моктесума не может снизойти до каких-то отношений с простолюдином — уважать ли его, страшиться ли, сражаться ли с ним... *(Пауза.)* Кортес должен быть богом; мне надо, чтобы он был богом:

предсказанная драма должна окончиться. Так начертано на небесах... *(Пауза)*... что предсказанная драма должна скоро закончиться... Какая радость! Получить то, что я хочу: спокойствие, уединение. Само по себе это ничто, но я получаю желаемое, потому что исполняется священное пророчество о возвращении богов... И никто не сможет упрекнуть меня в кощунственном отказе от царствования, если я уступаю богам... Пусть разыгрывается драма без моего участия, драма, навязанная мне роком и волшебным предсказанием, самой природой. Я — земля, всюду меня окружает море. Я — берег, прибой накатывает и отступает по воле рока. Я — маисовый початок, желтый по воле рока. Я — сопилот, черный по воле рока. Я — луна, белая по воле рока. *(Пауза.)* И все же не все ночи одинаково темные, и не каждая заря прогоняет туман. *(Пауза.)* Рок, неизбежность... Должен был бы подчиниться року любой другой человек на моем месте или это суждено только мне? Почему моя жизнь, именно моя жизнь, совпала с этой роковой неизбежностью? Фатальная необходимость, необходимость фатальности. О Моктесума, Моктесума... Все подчинено силе рока, но все происходит во мне, для меня, из-за меня... Самое страшное в пророчествах то, что кто-то должен их выполнять. Самое страшное в судьбе то, что человек сам ее определяет. *(Пауза.)* Но если моя судьба — это смерть, то смерть моя должна быть по воле богов, только по воле богов. Иная смерть для меня невозможна. Жизнь моя будет чего-то стоить, если я паду перед богом. Смерть моя зачеркнет мою жизнь, если я потеряю жизнь от руки человека ниже меня. *(Пауза.)* Возможно, Кортес и не бог. *(Пауза.)* Но я должен притворяться до самого конца, что верю в его божественное происхождение... *(Пауза.)* Они должны быть богами, должны быть богами.

Входит Сиуакоатль.

Сиуакоатль. Повелитель, твой брат принц Куитлауак и твой племянник принц Куаутемок испрашивают позволения видеть тебя...

Моктесума кивает головой Входят Куитлауак и Куаутемок.
В отличие от других, они глядят царю прямо в глаза.
Сиуакоатль уходит.

Куитлауак. Брат, маленький отряд иноземцев победил огромные силы тласкальцев.

Моктесума *(в ужасе)*. Тласкальцев! Их я сам никогда не мог подчинить!

Куитлауак. Тласкальцы ничего не смогли сделать против грома и огня, против сверкающих мечей; не смогли побороть ужас, который вселяют потные ревущие животные, топчущие землю.

Моктесума. Нет, мы не равные противники, мы — ничто перед ними!

Куаутемок. Нет, повелитель, эти люди, пришедшие по великой воде, захватили нас врасплох, и в этом их преимущество. Они скоро поняли, что нас страшит и лишает сил: они сразу бросаются на предводителя отряда, убивают его и отбирают знамя. После этого наши воины в ужасе разбегаются, потому что гибель вождя — это словно гибель представителя предков и самих богов. *(Пауза.)* Мы должны научиться сражаться, если даже наш вождь погибает.

Моктесума. Сражаться без вождей, без предков, без богов? Сражаться, утратив все, на чем стоит наше общество? Для чего тогда защищать это общество?

Куаутемок. Империи существуют лишь для того, чтобы переходить из одних рук в другие. Вспомни, повелитель, что царство Мехико — Теночтитлан само еще очень молодо и основано на том, что когда-то было царствами Тула и Теотиуакан. В этих древних царствах, существо-

вавших еще до нас, мы сами были незваными пришельцами и завоевателями. *(Пауза.)* Когда-то мы тоже были здесь иноземцами и захватчиками. В этом мы похожи на Кортеса и его людей. Наша империя может умереть, как умерли большие царства до нас, как умрет империя, которую здесь создадут эти иноземцы, если победят нас.

Моктесума. Пусть тогда погибнет империя, если так решили боги.

Куаутемок. Да, пусть погибает империя, но не народ.

Начинают освещаться различные зоны зрительного зала: балконы, проходы, лестницы и т. д. Появляются группы индейцев — мужчин, женщин и детей. Они приступают к своим обычным делам: обрабатывают поля, занимаются ремеслами, преподаванием и т. д. На авансцене появляется группа индейских танцоров.

Куаутемок. Лучше умрем мы, чем вековая мудрость наших земель... *(Пауза.)* Взгляни, повелитель, в окна твоего непроницаемого храма, в котором ты сокрыт, как зародыш во чреве... *(Пауза. Куаутемок указывает рукой на освещенные участки зрительного зала.)* Пусть погибнет империя, но не этот вот мастер, который с такой любовью и терпением делает уборы из перьев и может голодать целый день, пока не пришьет последнее перо к своему чудесному изделию... *(Пауза.)* Пусть погибнет империя, но останутся школы, где старики учат молодых человеколюбию, выдержке, уважению и обходительности... *(Пауза.)* Пусть погибнет империя, но останутся хранилища мудрости: письмена, календари, рисунки и летописи, где отражены следы эпох, где хранятся предсказания звезд и описаны растения, животные и другие чудеса природы. *(Пауза.)* Пусть погибнет империя, но не умрут правдивые слова нашего народа, прозвучавшие там, за стенами власти и ее ритуалов...

Ацтекский поэт. Да покинет тревога людские сердца,
Да не будут печальными ваши слова.
Вы истину знаете так же, как я:
Мы, люди, живем только раз, а не два.

Мы живыми с зарею выходим на свет,
Но спускается ночь — и с живыми нас нет,
Мир мертвых зовет всех обратно, друзья,
На жизнь кинув жалкую пригоршню лет.

Нам земля не навечно дается, а в долг.
Какой в войнах толк? Какой в войнах толк?
Спокойствие и радость друг другу даря,
Счастливее каждый прожил бы свой срок.

Куаутемок. Пусть погибнет империя, но останутся наши сооружения, останется надежда, которая живет в наших письменных знаках, скульптурах, посевах, цветах, танцах и песнях; живет, несмотря на наши ошибки. Надежда — это семя нашей самобытной и лучшей жизни. Надо дать возможность выжить нашему молодому народу, мятущемуся, энергичному, способному...

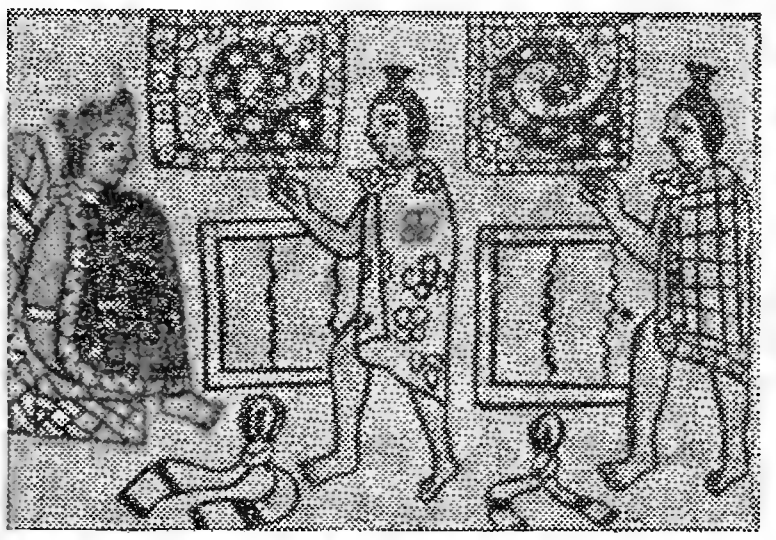
Раздается громкая индейская музыка, слышится пение; танцоры танцуют.

Твоя ответственность такова же, что и ответственность Кортеса — вы оба или каждый в отдельности можете погубить нашу надежду.

Сразу умолкают все звуки, медленно погружаются во мрак освещенные участки зрительного зала, расходятся группы людей.

Моктесума *(высокомерно, с раздражением)*. Ты хочешь сказать, племянник, что если бы даже теулы и не пришли, нашей империи суждено погибнуть?

Куаутемок. Высочайший повелитель, я только полагаю, что земля эта должна всегда наследовать свою жизнь, даже если властелины ее меняются. Я хочу верить, что самые сокровенные наши мечты, которые сверкают в поэмах, в возделанных полях, в танцах, в маленьких ярких птицах, должны исполниться.



Куитлауак *(Куаутемоку)*. Поистине это мечты, племянник. Ты забыл о насущных делах, которые нас сюда привели. *(Моктесуме.)* Что ты будешь делать, брат?

Моктесума *(снова со страхом)*. Я послал своих колдунов остановить теулов...

Куаутемок *(сдерживая гнев)*. Мы не остановим их волшебством, мы должны узнать их слабости, так же как они уже узнали наши...

Куитлауак. Золото — вот их слабость. Когда они его видят, они, как обезьяны, хватают его. У них страшная жажда золота, от золота у них вздымается грудь и загораются глаза.

Куаутемок. Они бросаются на золото, как голодные свиньи.

Моктесума. Я дал им золота.

Куаутемок. Ты дал им мало, повелитель, они хотят иметь все.

**Моктесума** *(уныло)*. Тогда пошлите послов к теулу. Передайте ему, что я готов платить ему дань. Пусть скажет, сколько я должен поставлять ему ежегодно, и место, где он будет ее принимать.

Куитлауак. Он хочет войти в наш город и увидеть тебя.

Моктесума *(в ужасе)*. Все, все, только не это... Пусть видит все, что хочет, просит все, что хочет. Я все ему дам, позволю вернуться к морю, но только чтобы он не приходил ко мне, не видел моего лица... Пусть позволит мне царствовать и быть его вассалом до самой моей смерти, но только сохранять видимость, что ничего не изменилось... Разве это большая просьба? Я даю ему все, но хочу остаться хозяином своего лица, своего одиночества и своих иллюзий. Ему нечего глядеть на меня, ибо если он бог, то, увидев меня, он познает меня и тотчас вынесет мне приговор. Он осудит мои слабости, мои сомнения, мои проступки, мои капризы, мои преступления. А если он человек...

Куаутемок *(прерывая)*. Тогда разбей его сейчас же. Он человек, и, если ты впустишь его в наш город, он займет твое место, будет жить в твоем дворце, сядет на твой трон, и ты не будешь даже вассалом — ты будешь пленником, рабом в цепях...

Моктесума. Разбить его? Мне? С колдовством, никуда не годным? С войсками, никуда не годными? С богами?..

Поднимает руку ко рту, устрашенный собственными мыслями.

Куитлауак *(успокаивая Моктесуму)*. Куаутемок говорит с задором молодости. Будем же упорны и в то же время полны достоинства. Прими его в твоем городе и в твоем доме. Почти его по законам нашего гостеприимства — это всегда угодно богам и приятно людям. *(Пауза.)* А когда он окажется в нашем городе и не пожелает уйти или станет угрожать твоему господству... тогда ты снимешь мосты, заполнишь город нашими войсками, наводнишь озеро вооруженными каноэ... и схватишь его, как в мышеловке... Потом поднесешь его тело богу Уицилопочтли в Большом храме Ку. *(Пауза.)* Пусть он побеждает твоих вассалов и врагов. Замани его к себе. Когда же он будет здесь, окруженный...

С силой сжимает кулак, потрясая рукой в воздухе. Длинная пауза.

Моктесума. Куда сейчас направляются теулы?

Куитлауак. К Чолуле, нашему священному городу, пантеону всех богов нашей империи, туда, где воздвигнуты триста шестьдесят пять храмов...

Моктесума *(размышляя)*. В таком случае не давайте им съестного. Пусть они предстанут голодными и холодными перед нашими богами. Пока мы больше ничего не будем делать, пусть решают боги.

Куаутемок склоняется перед Моктесумой.

Куаутемок. Повелитель...

Моктесума. Говори, сын мой.

Куаутемок. Если эти люди нас победят, они разрушат наш мир... *(Пауза.)* Но если победим мы... Постараемся же, постараемся, повелитель, не разрушать его сами...

Моктесума, удрученный, продолжает сидеть на троне. Куитлауак и Куаутемок уходят. Некоторое время Моктесума остается один. Входит Сиуакоатль.

Сиуакоатль. Повелитель... Повелитель всемогущий...

Моктесума *(с горькой иронией)*. Всемогущий...

Сиуакоатль. Повелитель, имеющий всё,— чего тебе не хватает?

Пауза.

Моктесума. Поражения.

# 8

Чолула. В глубине сцены стоит жертвенный камень, окруженный каменными идолами. На авансцене — индейские юноши, одетые и раскрашенные, как женщины, весело резвятся, строят гримасы. Входят три жреца с черными длинными волосами, все они — в черных длинных туниках, испачканных кровью. Подводят одного из юношей к жертвенному камню.

1-й жрец. Хорошо ли ты провел свой последний день на земле, мальчик?

Юноша. Лучше, чем все предыдущие годы, потому что за один только день я узнал, что такое роскошь и отдых, обильная еда и исполнение желаний. Я пил самые опьяняющие нектары и любил самых прекрасных женщин.

1-й жрец. А сейчас ты испытаешь величайшее блаженство и тебе будет оказана величайшая честь...

Юноша. Жрец... Перед тем как умереть, могу ли я спросить тебя?

1-й жрец. Да.

Юноша. За что я умираю?

1-й жрец. Мы избрали тебя среди самых молодых и красивых мужчин Чолулы, чтобы принести наивысшую жертву и успокоить гнев теулов, которые пришли с больших берегов. Ты умрешь в светлом божественном огне. Разве ты предпочел бы жить в темноте?

Юноша. Не знаю, жрец. Я любил свою жизнь и свою работу.

1-й жрец. Что ты делал?

Юноша. Я делал наряды из перьев. Я был только ученик, но уже умел очень многое и мог работать целый день без еды, не беря в рот ни крошки: разбирал и сортировал перья, прилаживал одно перышко к другому, поворачивал вещь то к солнцу, то к тени, чтобы посмотреть, как лучше блестят перья — с этой стороны или с другой...

1-й жрец. Твоя работа была полезной, потому что плащи из перьев носят цари, а щитами из перьев вооружаются воины...

Юноша. Перья асулехо, колибри, кецаля — перья голубые, желтые, всех цветов радуги... Почему мне надо умирать, жрец?

1-й жрец. А почему в одни месяцы можно убивать уток, а в другие нельзя?

Юноша. Это я знаю, жрец,— чтобы не выбить весь утиный род.

1-й жрец. Если мы перебьем всех уток, то в конце концов умрем от голода. Но если бы мы вообще не убивали уток, мы тоже умерли бы от голода... И, кроме того, у тебя не было бы перьев для твоей работы. *(Пауза.)* И скажи мне еще, мальчик, разве люди твоего ремесла не при-

носят каждый год в жертву одного раба в честь бога — покровителя мастеров по перьям, бога-койота?

Юноша. Да, это так.

1-й жрец. Тогда мы имеем еще большее право принести в жертву тебя: мы делаем это не только во имя процветания полезного ремесла, а для того, чтобы насытить солнце, которое в свою очередь дает нам пищу! У истоков жизни всегда кровь: надо убивать, чтобы выжить, умерщвлять, чтобы родить. Однако надо и сохранять то, что должно умереть, чтобы всегда было кому нас кормить и в мире царил бы порядок. Утки... Олени... Люди... Даже сами боги идут на жертвоприношение, когда отдают свою кровь, чтобы создать жизнь. *(Пауза.)* Трудно сохранять равновесие, мальчик, очень трудно! Существует вечная опасность убить более того, чем требуется, чтобы накормить землю,— и тогда умрет сама земля. Но если мы никого не принесем в жертву, нас ждет то же самое: голод и смерть. Ты понимаешь меня, мальчик?

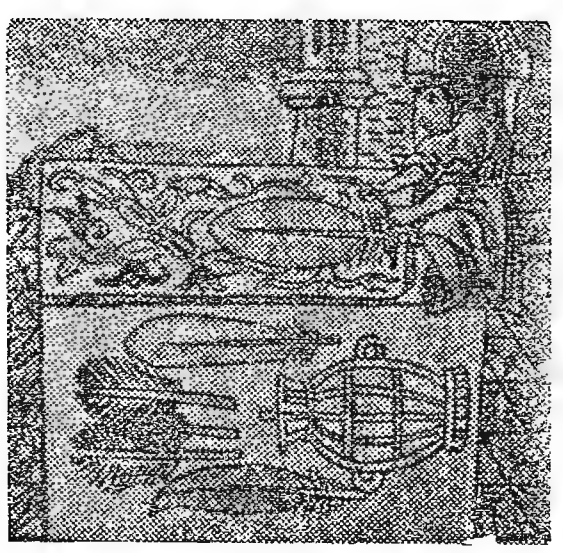
Юноша. Да. Я — олень, я — утка...

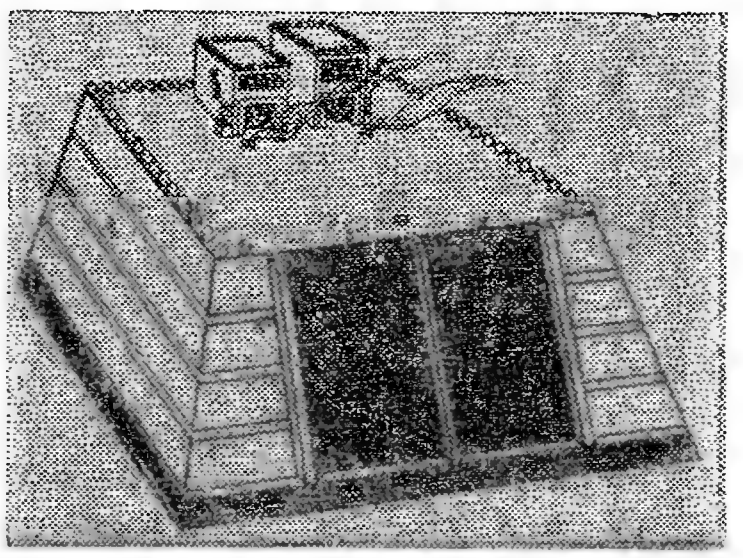
1-й жрец. Ты — дар. В обмен на порядок в царстве, в обмен на свет самого солнца мы отдаем тебя, и ты уподобляешься богу, принося себя в жертву. Ты — дар, ты — подношение. *(Пауза.)* Знай, лишь за дань и воздастся.

Юноша. А белые теулы поймут твои доводы?

1-й жрец. Нет, это не только мои доводы, это всеобщие доводы. Святые законы везде одинаковы. Кто-то должен умирать, чтобы остальные жили.

Юноша колеблется, но покоряется. Жрецы кладут его на жертвенный камень. Юноша начинает дрожать, стонет, наконец, вскрикивает и начинает вырываться. Два жреца крепко держат его за руки и за ноги. 1-й жрец заносит над ним кинжал из обсидиана [1].





1-й жрец. Пусть твоя кровь смягчит гнев богов, которые вернулись к нам по великой воде, как обещали! Пусть твое бьющееся сердце возьмет великий бог Кецалькоатль в доказательство нашего смирения перед его мощью! Пусть твое обескровленное тело примет земля и принесет нам обильные плоды и пусть твоя гниющая плоть будет утолять голод рождающегося солнца...

1-й жрец вонзает кинжал в грудь юноши. Ужасающий вопль, потом тишина и долгая пауза. Из глубины зрительного зала к сцене идут испанцы. Во главе процессии — монах Ольмедо с огромным распятием в поднятой руке, на распятии — окровавленный Христос. Позади — Кортес, Ма-

[1] Обсидиан — черный или темно-зеленый твердый минерал вулканического происхождения.

рина, Альварадо, Сандоваль, Олид, Ордас и испанские солдаты. Испанцы поднимаются на сцену. С отвращением смотрят на жертвенный камень. Марина бесстрастна. Кортес напряжен. Монах Ольмедо еще выше поднимает распятие.

Ольмедо. О господь бог наш Иисус Христос, ты позволил глазам нашим узреть эти мерзкие деяния только для того, чтобы люди еще более поверили в тебя и в твое милосердное и человеколюбивое учение! И пусть сгинут эти проклятые идолы при виде твоего образа на кресте, ибо на другом кресте ты принял страдания и смерть во имя спасения всего рода человеческого! Во имя тебя мы пришли в эти варварские земли, во имя тебя мы их берем, во имя тебя мы спасем этих дикарей от преступлений и грехов, в которые их вводит дьявол!

Кортес. Не забывай, падре, что нас встретили с миром. Сначала решим дела политические, а потом религиозные...

Ольмедо *(энергично)*. Нет, капитан, нет...

Ольмедо в ярости устремляется к центру алтаря и ставит там большое распятие напротив изображения Кецалькоатля. Бросает взгляд на Кортеса и отходит, сокрушенно качая головой. Двое индейских юношей приближаются с любопытством к распятию. 2-й жрец с испачканными кровью руками также приближается к распятию и дотрагивается ладонью до груди Христа, оставляя там еще один кровавый след. Сцена снова начинает заполняться индейскими мужчинами, женщинами и детьми. Старцы учат молодых, мастера по обработке перьев и металлов занимаются своими делами, женщины с детьми раскладывают на земле различные товары и плоды. Кортес подходит к 1-му жрецу.

Кортес *(Марине)*. Женщина, скажи этим святошам, что во всей округе Чолулы нам отказывали в провианте...

Марина и жрецы обмениваются словами и жестами, как в предыдущих сценах.

Марина. Верховный жрец пантеона Чолулы говорит: если ты и твои воины — боги, вам не надо иной пищи, кроме священных жертвоприношений...

Марина указывает рукой на труп убитого юноши. Кортес подходит к одной из женщин и протягивает руку, прося дать ему поесть. Женщина поспешно прикрывает плоды. На сцене происходят быстрые одновременные действия: Альварадо приближается к танцорам — те тотчас останавливаются; Сандоваль подходит к наставнику и ученику — те закрывают лица руками и прекращают беседу; Олид подходит к мастерам — те перестают работать. Молчание и внутреннее напряжение. Капитаны собираются вместе: тотчас возобновляются работы, танцы, торговля. Жрецы запевают скорбную песнь. Индейские юноши замирают в восторге перед образом Христа, затем начинают ощупывать его тело, набедренную повязку. В углу сцены совещаются капитаны. Марина прохаживается между индейцами. Монах Ольмедо молится около распятия.

Кортес. Сеньоры... Со мной вы можете быть откровенны...

Пауза. Капитаны вопросительно смотрят на Кортеса.

Кортес. Зачем вы пришли в эти земли и для чего рискуете тут жизнью?

Альварадо *(улыбаясь)*. Для того, чтобы идти с тобой, Фернандо.

Кортес. Но если бы ты сам мог стать верховным военачальником в другом походе, ты бросил бы меня в угоду своему честолюбию.

Альварадо *(продолжая улыбаться)*. Ну значит и с тобой меня ведет мое честолюбие.

Кортес. А тебя что́ прельщает, Сандоваль?

Сандоваль. Слава.

Кортес. А тебя, Ордас?

Ордас. Власть.

Кортес. Тебя, Олид?

Олид. Золото.

Кортес *(с горькой усмешкой)*. А как же Испания? Король? Бог? *(Никто не отвечает.)* Спасибо за откровенность. *(Пауза.)* Слава, власть и золото — все это будет у нас, если мы найдем правильный выход из положения. Я хочу вас выслушать.

Все порываются что-то сказать, за исключением Альварадо, который молча ждет решения самого Кортеса.

Сандоваль. Мы можем уйти отсюда, запастись съестным в следующем селении и продолжать путь на Мехико.

Олид. Чолула не нападает на нас...

Кортес. Но сопротивляется. Что задумал Моктесума?

Ордас. Наверное, это он распорядился, чтобы нам не давали продовольствия.

Сандоваль. Или он хочет уморить нас голодом?

Олид. Но в то же время воздает нам почести и открывает путь к своему городу.

Ордас. А в своем городе нас, обессиленных и успокоенных...

Олид. ...прихлопнет, как крыс.

Сандоваль. Ну а что сделал бы король дон Карлос на твоем месте?

Кортес. Король? Короля здесь нет... Здесь одни мы... Вы и я... Короля нет, нет короля...

Сандоваль. Но мы действуем именем короля.

Кортес *(гневно)*. Мы действуем, как сам король! *(Пауза.)* Нет, мы делаем больше, чем сам король. Разве король отправился вместе с нами, затопил свои корабли, пошел с пятьюстами человек на завоевание целой империи?

Ордас *(с иронией)*. Говоришь, больше, чем сам король, капитан? А по-моему, ты просто вошел в роль короля, выступая против другого короля...

Кортес. Нет, Ордас, не приуменьшай своих собственных подвигов. Ты и я — мы действительно отстранили от участия в этой драме касту королей и придворных. Мы — настоящие участники этого великого таинства; только мы, народ Испании, теперь действующая сила.

Ордас. Тогда прикинь, что сделал бы Моктесума на твоем месте?

Кортес. Я не знаю, что в душе Моктесумы — страх или коварство?

Ордас. Наверное, и страх и коварство. Этим все объясняется.

Кортес. Моктесума должен сражаться как военачальник и как человек... Если этого не будет, не стоит и смотреть на его лицо... Нам придется сражаться против женщин и против призраков, и тогда... наши подвиги не будут стоить ни гроша.

Олид. Чолула — важный центр, центр их религии. Здесь находятся все их боги... Включая тех, которых мы сами представляем в глазах этих нечестивцев...

Сандоваль. Давайте уважать это место, пусть они думают, что мы боги.

Олид. Нет, они подумают, что если мы подчиняемся их богам, значит мы ниже их.

Ордас. Да и Ольмедо напишет в Испанию...

Олид. Мы прослывем идолопоклонниками, и вместо почестей нас встретит инквизиция...

Ордас. Наша слава и богатство зависят от того, будут ли нас считать носителями христианской веры в этих землях...

Кортес. Опять зависеть от властей и чинов!

Ордас. Да, Эрнан, так устроен мир...

Кортес. Я — человек, а значит — независимая воля...

Олид. Так пусть твоя воля берет верх над властями, а не они над твоей волей...

Кортес. Но как? Действуя... или уклоняясь от действий? Честно... или в обход их приказов?

Олид. Хитрость всегда примиряет противоречия. Пока сделаем вид, что подчиняемся.

Ордас. Поступай как хочешь, но только старайся, чтобы история была написана в твою пользу...

Кортес. История...

Ордас. Да. Наша история, если мы победим. Пусть будет написано: в горных ущельях засели вооруженные воины Моктесумы, пытаясь окружить нас и убить...

Кортес. Пусть будет написано...

Ордас. И мы были окружены и погибали от голода...

Кортес. Пусть будет написано...

Ордас. И если бы мы простили хоть одного изменника, дальше нас ожидали бы еще худшие беды...

Кортес. Да будет так.

Капитаны одновременно обнажают шпаги, в клятве поднимают их вверх. Марина подходит к Ольмедо, который все еще молится перед крестом. Рядом с ним 1-й жрец.

Марина *(к Ольмедо)*. Белый жрец, скажи: тот, кому ты молишься, твой бог?

Ольмедо. Это Иисус Христос, бог, ставший человеком...

Марина. Умерший бог?

Ольмедо. Бог, принесенный в жертву...

Марина. Здесь приносят в жертву людей в честь богов. А у вас приносят в жертву богов в честь людей?

Ольмедо. У нас нет «богов», у нас — один истинный бог, хотя в трех разных лицах: отец, сын и дух святой...

Марина. Один, который два, который три и опять один? *(Пауза.)* Жрец Чолулы говорит, что не понимает твоих речей. *(Пауза.)* По правде говоря, и я не понимаю.

Ольмедо. Этому кровожадному язычнику ничего не понять.

Марина. Да, он говорит, что понимает только одно: где боги — там всегда кровь.

Капитаны единым взмахом опускают шпаги. Одновременно появляется Двойник Моктесумы, которого поддерживают и подталкивают ацтекские воины. Фальшивый монарх в одеждах Моктесумы приближается, дрожа, к Кортесу. Марина спешит к группе испанцев. Ацтекские воины жестикулируют.

Марина. Господин, эти воины представляют тебе царя... Великого Моктесуму...

Двойник Моктесумы трясется от страха. Кортес замечает это, обходит его кругом.

Кортес. А... Всемогущий повелитель этих земель... *(Пауза.)* Сдается мне, он болен трясучкой и смертной тоской, а эти недуги не могут поразить такого славного монарха...

Марина. Путь был очень труден, но Моктесума желает удовлетворить твое любопытство, чтобы тебе не надо было бы подниматься к городу Теночтитлану.

Кортес. Скажи этому дурацкому царю, что сутана не делает монаха...

Воины отступают в смущении, Двойник Моктесумы пятится, дрожа от ужаса; Кортес впадает в ярость.

За кого они нас принимают, почему хотят ввести в обман? *(Подходит к Двойнику Моктесумы, грубо сбрасывает с его головы плюмаж, срывает с него одежды и оставляет в одной набедренной повязке.)* Настоящий Моктесума никогда не покидает своего города, и туда мы все-таки придем, чтобы увидеть его лицо. Моктесуме не спрятать от нас своего лица и не скрыться от нас, даже если он превратится в птицу и полетит, если превратится в крота и зароется в землю... *(Кортес стискивает рукой подбородок Двойника.)* Что же ты боишься показать мне свое лицо, Моктесума? Или, может, ты боишься посмотреть на меня? *(Опускает руку, смеется.)* Но ведь у нас не лица, а только маски! *(Пауза.)* Ты ожидал богов. Боги пришли. Маски теперь сняты. Тебе больше нечего ждать. *(С яростью к солдатам.)* Разбивайте идолов!

Двойник Моктесумы и ацтекские воины убегают. Испанские солдаты разбивают богов-идолов, индейские юноши бросаются друг другу в объятия подле креста. Жрецы раскачиваются и жалобно стонут. Мужчины, женщины и дети прекращают работы, собирают свои вещи, некоторые уходят... Один из жрецов на коленях подползает к Кортесу, Марина следует за ним.

Марина. Господин, жрец Чолулы спрашивает: если ты бог Кецалькоатль, зачем разбиваешь свой собственный образ?..

Кортес. Никакой я не бог! Я всего лишь человек! У меня нет другого лица, кроме лица Эрнана Кортеса! *(Обращается к Ольмедо.)* Да, падре Ольмедо, мы — скромные христиане и поклоняемся Иисусу Христу, верим в него, и, если пришли в эти земли, мы не позволим, чтобы индейцы приносили себя в жертву и поклонялись этим проклятым болванам...

Ольмедо *(среди каменных идолов, сброшенных на землю)*. Тут, в этом святилище навсегда останется распятие Христа и образ святой девы Марии, и они увидят, какая снизойдет на них благодать...

Альварадо. Аве Мария, Пречистая дева...

Ордас. Непорочно зачавшая...

Кортес *(жрецам)*. А вы, кровопийцы, вонючие служки, живо отказывайтесь от своего дьявольского идолопоклонства и принимайте благословенную веру, которую мы вам несем...

1-й жрец падает на колени перед Кортесом и жестикулирует.

Марина. Жрец просит тебя, чтобы ты простил его, но требование твое невыполнимо. Это — вера их предков, и свет для них померкнет, если они от нее откажутся...

Кортес *(Альварадо и Олиду)*. Так пусть сейчас померкнет свет для этих трех нечестивцев, от которых и так разит мертвечиной...

Альварадо и Олид пронзают жрецов шпагами. Кортес указывает своей шпагой на разряженных индейских юношей, предназначавшихся для жертвоприношения.

Кортес. А вам, проклятые бездельники и развратники, смерть слишком легкое наказание, ваша грязная кровь только запятнает наши шпаги... *(Подает знак Альварадо, который берет железное клеймо и кладет в одну из курильниц, дымящихся в языческом храме.)* Вы пожили в свое удовольствие, а теперь потрудитесь на нас. Будете нашими рабами и станете таскать тюки вместо мулов, которых здесь нет. А раз вы мулы, как мулы, будете мечены клеймом, чтоб каждый знал, чей это раб.

Альварадо берет за волосы одного из юношей и метит ему лоб каленым железом. Юноша падает без чувств... Народ в ужасе начинает разбегаться...

Кортес. Хватайте их. Бейте!

Капитаны и солдаты набрасываются на мужчин, женщин и детей, находящихся в храме, убивают шпагами мужчин и детей, бросают наземь женщин...

Бейте на улицах, рубите их, жгите, крошите, грабьте, врывайтесь в дома! Пусть они тут узнают, что такое война, если не идут на поля сражений!

Капитаны сгоняют женщин в центр сцены.

Клеймите их буквой «в» — война.

Капитаны начинают клеймить женщин. Сцена превращается в сущий ад: крики, рыдания, вопли, трупы, разрушение...

Кортес *(к Ольмедо)*. Этот день посвящен святой вере. *(Пауза.)* Ты ведь этого хотел, падре?

Ольмедо почтительно склоняется перед Кортесом, затем поворачивается к нему спиной и, вздымая руки перед распятием, читает благодарственную молитву. Капитаны преклоняют колена, опускают головы. Кортес продолжает стоять, сжимая шпагу в руке. Марина, подавленная горем, приближается к нему.

Марина. Господин...

Кортес. Женщина...

Марина. Ты устроил нам кровавое побоище... Ты принес страх и рабство...

Кортес. Ты ошибаешься. Я очистил от страха, крови и рабства эту империю.

Марина. Ты навязал свое господство вместо власти Моктесумы. Или твой бог разрешает, чтобы во имя его свершались такие преступления? Ты...

Кортес с силой швыряет Марину на землю.

Кортес. Заткнись, колдунья! Смотри, как бы я снова не отдал тебя в рабство, из которого вытащил... *(Пауза.)* Смотри, как бы не бросил тебя самому грязному из своих солдат.

Марина, униженная, лежит на земле, затем приподнимается, говорит.

Марина. Господин... Не жги, не убивай, не опустошай эту землю. Одно зло не побеждается другим, еще большим. Послушай, о чем я тебя попрошу, хотя я не умею мыслить по-мужски и говорить разумно. Возьми эту землю, береги ее... Для меня, для себя, для всех...

Кортес. Земля твоя проклята богом. Здесь допускают жертвоприношения, поклоняются идолам и всякому безобразию...

Марина. Никогда я не видела жертвоприношения более страшного, чем то, какое ты от нас потребовал... Господин, послушай меня, прислушайся к моим словам... Вглядись глубже в нашу жизнь. За продажностью и растлением, которые ты видишь сверху, ты разглядишь душу моего народа, самобытную, чистую, страждущую. Моктесума — это имя всех подлых завоеваний. Задолго до того как ацтеки пришли в эти места, где встретили орла и змею, мой народ уже мечтал, представлял себе свое будущее, творил, верил. Мой народ хочет доброй жизни в труде. Не убивай добро в моем народе, господин, если хочешь искоренить в нем зло... О господин, постарайся понять нас. Дай нам волю, не уничтожай наши земные мечты своей шпагой, не разрушай наше непрочное единство. Возьми все, что построено здесь, и строй вместе с нами. Позволь нам понять твой мир и постарайся понять наш! *(Пауза.)* Оглянись, господин, на наше прошлое, и, может быть, ты сам узнаешь что-нибудь и о себе и о всех других людях. *(Пауза.)* Не губи мою родину. *(Пауза.)* Возьми ее, подумай, что никто не может господствовать над ничем; подумай, что ты не сможешь стать владыкой над мертвыми. *(Пауза.)* И подумай, что до самой твоей старости тебя будет грызть сомнение, жечь вопрос, кото-

рый тебе придется завещать твоим сынам в Мехико и в Испании. Ты будешь спрашивать себя, господин: а что было бы на этой земле, если бы вместо того чтобы губить ее, я дал бы ей жить и сам жил вместе с ней?

Кортес *(со смешанным чувством грусти и убежденности)*. Оставь, не мешай мне закончить свое дело... Я солдат... Потом... Потом... Мы создадим здесь новый мир... Хороший мир...

Марина *(качая головой)*. Будет слишком поздно. Ты крестил нас кровью, и только кровью мы можем восстановить наше попранное имя. *(Пауза.)* Ты думаешь, что мы — одно только зло.

Кортес. Зло?.. Нет, враги...

Марина. Ты не постарался разглядеть добро, которое может скрываться за маской зла. Ты прибыл издалека...

Кортес *(мечтательно)*. Да, Медельин... Эстремадура... Саламанка...

Марина. Ты боишься того, чего не знаешь, и называешь злом то, что тебе неизвестно, то, чего боишься, так как у тебя могут отнять...

Кортес. Дону Ничто нечего терять. И все средства хороши, чтобы стать кем-нибудь. *(Пауза.)* Блудный сын больше не вернется домой с пустыми руками.

Марина. А что увидели бы мы в твоем доме, господин, если бы все случилось наоборот, и мы пришли бы в твои земли завоевать их? Какое зло, какой страх, какие жертвы, какие бесчинства нашли бы мы в твоем испанском доме, господин?

Кортес *(раздумывая)*. Со времен паладина Рольдана Европа научилась защищать себя от неверных и от их заразы. Говоришь, что ты у нас увидела бы, женщина? То же самое, что мавры.

Марина. Я не понимаю тебя. Я знаю только то, что ты пришел в день, предсказанный нашей историей. Не отнимай у нас нашей истории, ведь благодаря ей ты тот, кто ты есть, стал кем-то, чем-то... Дай нам волю, дай нам расцвести — ведь пока мы еще только зерно, скрытое в земле, зерно, жаждущее увидеть свет... *(Пауза.)* Дай нам волю.

Слышится непрерывное бормотание монах Ольмедо и капитаны читают молитвы. Кортес устремляет взгляд вдаль, в его голосе слышится странное смешение нежности, боли, решимости и горечи.

Кортес. Волю... Лучше скажем — шанс в жизни... А кто дал бы его мне? Только я сам. *(Пауза.)* Не слушай меня, падре Ольмедо, служи свою мессу, насаждай Христову веру, играй свою роль пастыря: накручивай хвосты волам. Все равно не быть тебе рыцарем в этом великом походе; ты — простой оруженосец. В тебе же, Марина, в тебе я похороню всю свою правду. *(Пауза.)* Значит, шанс... А дали бы его мне твои братья, женщина, если бы я не применял хитрость и силу, чтобы пробивать путь в ваших гиблых землях? Нет, не думаю. При моем малейшем просчете они попросту съели бы меня и преподнесли своим богам мое сердце. *(Пауза.)* Кровь за кровь, кровь на кровь... *(Пауза.)* Шанс, говоришь? А дал бы мне его губернатор Кубы, даже если бы я опять вложил в эту рискованную затею все свои душевные силы, все способности? *(Пауза.)* Коварство пользуется необходимостью, сила пользуется слабостью. Единственный шанс в жизни... Разве дал бы мне его сам король дон Карлос, если бы он и его приспешники могли бы покрыть себя здесь славой, не опасаясь за собственные шкуры? Я — пасынок истории, простой солдат. Таков мой собственный скудный шанс. *(Пауза.)* Ты говоришь, что существует только то, что имеет название. Тогда послушай те слова, которыми я создаю мир, слова, которые будут повторяться, а возможно, и будут записаны... Вера, честь, отвага, хитрость, насилие, преступление, завоевание. Но ты не верь в них, Марина. Сами по себе они ничего не говорят, они только мешают мне — это гремящие цепи, которые сковы-

вают мое страстное желание вылезти из грязи. Я — одержимый человек и повторяю, повторяю эти слова, которые, как ни странно, еще больше разжигают мою страсть. *(Пауза.)* Ты предупреждаешь меня, что я делаю глупости и иду к погибели. О том же самом меня предупреждает падре Ольмедо, но я не слушаю и не желаю никого слушать. Я прислушиваюсь только к голосу своей страстной мечты, своих собственных побед, потому что, завоевывая эту империю, я завоевываю человека, которого зовут Эрнан Кортес. *(Пауза.)* Я был никем, я могу быть только тем, что сам сделаю и чего добьюсь в этих землях. Я иду быстро, мне нельзя задерживаться, у меня нет времени, мне не дадут времени больше того, которое я сумею здесь выиграть. *(Пауза.)* Я один в мире... Я жду, когда родится после моих слов и после моих дел другой голос, другое «я», с другими словами, другой Кортес, о котором стоит говорить и к которому стоит обращаться... Другая совесть, скрытая за моей совестью... *(Пауза.)* Зазвучит ли когда-нибудь этот голос, мой второй голос?.. Не знаю. Сначала я должен закончить этот поход. И я закончу его на свой страх и риск — так, как захочу именно я... *(Пауза.)* Медельин... Саламанка... Ла Эспаньола... Куба... Мехико... *(Пауза.)* Я один. Так есть и так будет, пока не покорю Моктесуму. Игра стоит свеч: один человек против целой империи. Или буду побежден, или добьюсь триумфа. Только тогда моя совесть будет говорить с моей совестью и мой голос будет слушать мой голос.

М а р и н а. Один человек против целой империи? Нет, господин, ошибаешься. Если ты выступаешь против ацтекской империи, ты делаешь это от имени испанской империи, и в этом вся твоя трудность: ты должен победить нашу империю и не оказаться побежденным своею собственной империей. *(Пауза.)* Если ты хочешь, чтобы победила твоя страстная мечта, ты должен разбить и Мехико и Испанию.

Долгая пауза. Кортес не шевелится. Заунывное религиозное песнопение продолжается. Марина падает на колени, протягивает к нему руки, раскрывает объятия. Кортес секунду колеблется.

Я люблю тебя, господин.

Кортес падает на колени перед Мариной. Они глядят друг другу в глаза. Сжимают друг друга в объятиях.

Я люблю тебя и боюсь не твоей смерти, а твоей судьбы, потому что судьба всегда короче жизни. Живой человек уже мертв, если он выполнил то, что предназначено ему судьбой.

Кортес кладет голову на плечо Марины, она гладит ее.

Ведь мы беззащитны, господин. Есть силы более могущественные, чем мы. Чем ты и я. *(Пауза.)* Но я люблю тебя, господин.

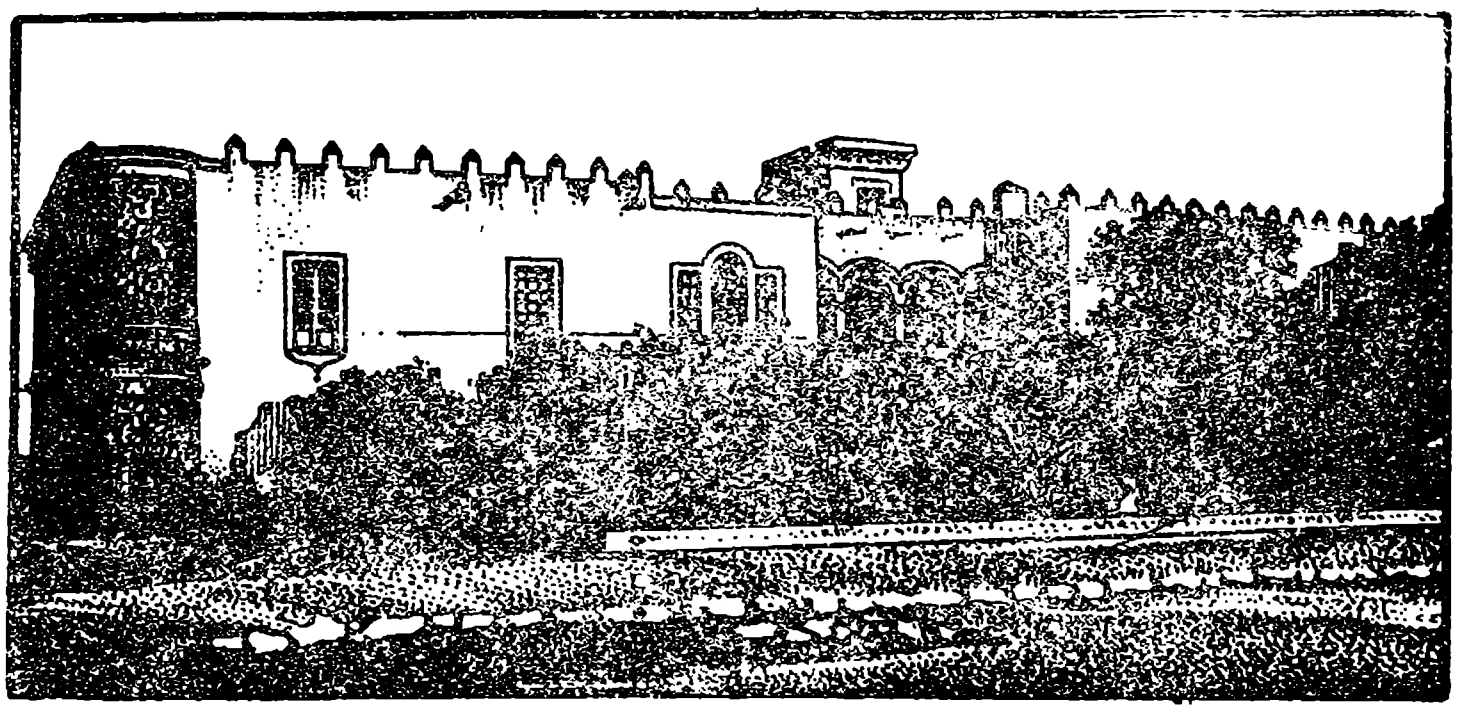
К о р т е с. И я люблю эту землю... Мою Испанию, мою Новую Испанию... Свою жизнь здесь... Этот момент... Марина, клянусь тебе: мы построим тут новый мир... Мир, в котором мы будем представлять самих себя, тех, кто здесь, а не отсутствующих властителей.

Они самозабвенно и страстно обнимаются. Появляется а в г у р Т е с к а т л и п о к а, одетый в черное. Он танцует и прыгает вокруг пары, потрясая длинным зеркалом.

А в г у р Т е с к а т л и п о к а. Боги стали людьми, и люди почувствовали себя свободными. Но они ощутили себя и виновными, ибо для того, чтобы получить свободу, им пришлось смешать свет и тьму; и прежде, чем добиться свободы, им сначала надо было утратить ее. Свобода! Любовь!

Авгур Тескатлипока громко хохочет. На сцену опускается тьма.

# 9



На сцене начертаны три круга, на которые по очереди будет падать луч яркого света. Слева — черный круг, в центре — белый и справа — желтый. В первом находится Моктесума; он снова в одной набедренной повязке и с метлой в руке. Во втором круге лежит Марина. В третьем — Кортес; он сидит в массивном кресле, спиной к публике. В начале действия на сцене темно. Затем освещается первый круг, остальные скрыты во тьме. Моктесума медленно подметает пол. Останавливается и прислушивается.

Моктесума. Вы не слышите, как ухают филины? *(Пауза.)* Не слышите, как рычат дикие звери в горах? *(Отбрасывает метлу, становится на четвереньки.)* В этом доме развелись муравьи... *(Пытается прихлопнуть их рукой.)* Проклятые муравьи... Проклятые муравьи... *(Падает ничком, рыдает.)* Проклят, проклят, проклят... Не болен, не безумен, не слаб... Только проклят... *(Пауза. Далекий шум сражения.)* Будь я безумный или больной, я потерял бы себя, но не свое царство. Слабый — я потерял бы царство, но спасся бы сам. Проклят, проклят, проклят... Погибли и царство, и я... *(Чему-то удивляется, прижимает ухо к земле.)* Вы не слышите, как квакают жабы на болоте? *(Встает, шатаясь, пытается говорить гневно и властно.)* Семпоала... Тласкала... Вассалы-предатели... По приказу теулов их войска окружили мой город. Семпоала... Тласкала... С какой радостью они мстят мне. Но радость их продлится недолго: они лишь сменили одного властелина на другого. *(Снова падает, обессиленный.)* Мои родные... Куаутемок, орел... Куитлауак, принц и брат... Повелитель Тлакопана... Повелитель Койоакана... Мои храбрые союзники... Зачем вы пошли против теулов? Разве вы не видите всю бесполезность нашей борьбы?.. Заключайте мир, покоряйтесь, старайтесь что-нибудь сохранить... Гибель смотрит нам в лицо, у нее огненные веки... *(Пауза.)* Трагедия написана... я слышал предсказания, я верил в них, я... Но я всегда знал истину... Не сражайтесь больше, братья, наша победа — ложь, и только наше поражение — истина... *(Пауза.)* О мой народ... Почему ты отвернулся от меня? Когда я, наконец, позволил смотреть на себя, ты отказался наградить меня взглядом, почему? *(Пауза.)* Боги, боги, почему вы меня оставили?.. Я старался служить двум святым принцам: Уицилопочтли, принося ему жертвы, и Кецалькоатлю, веря в его обещанное возвращение. О боги, вас уже не ублажает ни кинжал из обсидиана, ни фимиам из копала? Боги, боги, или я предал вас? Может быть, я не понял того, что вы мне сказали?... *(Пауза.)* Может быть, не надо было чтить бога или сражаться против человека... а беречь свое царство?.. *(Пауза.)* Теперь уже поздно... Слишком поздно...

Входят Альварадо и Олид с цепями в руках. Швыряют грохочущие цепи на пол. Хватают Моктесуму, вывертывают ему руки.

Моктесума *(согнувшись от боли)*. Чего вы хотите от меня? Чего еще желаете?.. Я предложил вам гостеприимство своего дома... Я вышел встретить вас дарами, я бросал вам цветы под ноги, я украшал вас гирляндами. Капитану, который вас ведет, я сказал: «Господин наш, ты устал, но ты пришел в свою землю. Ты достиг своего города, Мехико. Ты пришел сюда, чтобы взойти на свой трон. Я и мои предки уступаем его тебе. На короткое время. Так велели нам боги и наши праотцы, которые сказали, что ты должен прийти сюда. Теперь это свершилось, ты пришел. Иди и отдыхай. Владей своими царскими дворцами...» *(Пауза)*. Где же теперь Кортес? Почему он не смотрит на меня? О, я чувствую себя публичной женщиной, на которую глядят только раз, из любопытства... Или, как бог Кецалькоатль, мы всегда должны в ужасе бежать от собственного лица? Или нам никогда не увидеть то лицо, которое мы хотим увидеть? *(Пауза. Снова обращается к капитанам.)* Чего вы еще хотите? Я показал вам письмена для записи дани, чтобы вы знали, где собирать богатства на этих землях. Я отдал вам сокровище своих царских хранилищ. Я велел показать вам места, где добывается золото. Я видел, как вы переплавляли мое золото в слитки. Я передал вам восставших против вас индейских воинов, и вы сожгли их перед главным храмом. Вы превратили мой дворец в притон и публичный дом. Что мне осталось отдать вам? *(Пауза.)* Свою жизнь?

Альварадо и Олид опутывают цепями руки и ноги Моктесумы, царь повинуется. Его уводят в глубь сцены. Появляются четыре августа, одетые в белые туники.

1-й август. Они хотят, чтобы ты обратился к своему народу.

3-й август. Чтобы успокоил его с башни своего замка...

4-й август. Но твой народ уже не верит в тебя...

5-й август. Весь твой народ восстал против иноземцев.

1-й август. Твой народ уже не верит ни во что...

3-й август. Ни в то, что ты — воплощение солнца на земле...

4-й август. Ни в то, что белые люди — это боги счастья, вернувшиеся по Великому океану...

5-й август. Они увидели твое чудовищное унижение...

1-й август. Они увидели их чудовищную кровожадность...

3-й август. Они не бессмертны: мы видели, как они умирали.

4-й август. Ты не бессмертен: мы хотим видеть, как ты умрешь.

5-й август. Твой народ уже познал, что нет ничего выше самого народа, и потому он борется против тебя и против иноземцев в нашем городе...

Зрительный зал наполняется сражающимися войсками ацтеков и испанцев. С одной стороны — плюмажи, круглые щиты, палицы, отравленные копья, стрелы, колокольцы и знамена из перьев; с другой — шпаги, арбалеты, стяги, сверкающие шлемы и латы. Идет жестокий бой врукопашную — в партере, в дверях, около кулис и т. п. Громко и пронзительно звучит индейская музыка. Во время сражения говорят августы.

4-й август. Наш народ научился защищаться...

5-й август. Он уже не боится пушек и коней...

1-й август. Он уже знает, что это называется пушками и конями, он больше не считает это волшебством.

3-й август. Наш народ наносит удары и исчезает, словно вокруг — глубокая ночь...

4-й август. Атакует и исчезает, исчезает и атакует...

1-й август. Мы научились сражаться и будем сражаться — сейчас, и потом, и всегда, если даже придется терпеть поражения...

3-й август. Мы сражаемся, как ящерицы: сливаемся с цветом наших гор, леса, неба, а родина — непобедима...

5-й авгур. Мы захватили пушки, арбалеты, шпаги. Мы научимся ими владеть.

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума, Моктесума...

4-й авгур. С тобою кончается одна из эпох нашей истории...

1-й авгур. Все было в твоих руках, всемогущий повелитель, даже поражение.

3-й авгур. С тобой кончилась пора нашего одиночества...

4-й авгур. Нашего блаженного и печального неведения...

5-й авгур. Теперь мы знаем, что не одни мы существуем на свете...

1-й авгур. Теперь начинается новая полоса истории: в мире, вместе с миром, против мира...

Хор авгуров. Мы будем сражаться, сражаться, сражаться...

1-й авгур. Чтобы иметь лицо...

3-й авгур. Чтобы иметь имя...

4-й авгур. Чтобы иметь землю...

Авгуры сбрасывают туники, остаются в одних набедренных повязках; Женщина-авгур обнажена совсем. У каждого авгура в руке камень. Бой затихает, сражающиеся мало-помалу удаляются из зрительного зала.

Женщина-авгур. Мы не плачем по тебе, Моктесума, ты — старое, отжившее, истлевшее. Ты — сам гнет под маской бога...

Моктесума. Гнет... Власть... Я хочу понять...

4-й авгур. Ты — немощь, ставшая преступлением, ты — злодейство, превратившееся в слабость...

Моктесума. Немощь... сила... Боги, не покидайте меня... Если вы отняли у меня власть, дайте мне теперь хотя бы разум.

4-й авгур. Ты — мутное зеркало властителей, которые угнетают народы... Твое величие зависело от робости твоих подданных. Когда твой народ стал велик и деятелен, ты стал ничтожен... Для чего ты нам нужен? Ты не нужен теперь даже испанцам!

Хор авгуров. Моктесума, Моктесума... Моктесума...

4-й авгур. Царь Мексики, угнетатель рабов...

1-й авгур. Царь Мексики, раб угнетателей...

3-й авгур. Царь без лица, властитель в маске...

Моктесума. Я сомневался, всегда и во всем сомневался, и, сомневаясь, я ведь все время действовал, существовал, сомнение было моим действием и моим бытием.

4-й авгур. Напрасно ждал ты возвращения Кецалькоатля.

Моктесума. Кто он — бог или человек? Я сомневался, потому что думал — Кортес иной, чуждый, непонятный, совсем другой, чем я. Теперь я знаю правду. Люди не имеют собственной судьбы, они зависят от действий, которые совершают. Действия и судьбы Моктесумы и Кортеса определены мерой их власти, а не самим Кортесом или Моктесумой, которые даже не хозяева своих лиц... У Кецалькоатля было свое лицо, но он его испугался. Кортес и Моктесума не имеют лиц, и это их страшит... Моктесума и Кортес — игрушки двух империй. Суеверный Моктесума, своевольный Кортес... Но мы оба действовали только по воле рока. И он и я. И я и он... мы противостояли друг другу, но еще больше спорили со своим собственным «я», внутренним противником, который меня терзал и побуждал бездействовать, а Кортеса терзал и заставлял действовать.

5-й авгур. Добро и счастье не приходят из-за моря...

1-й авгур. Здесь, у нас, мы сами должны их обрести: на нашей земле, в нашем имени, в нашем лице...

Моктесума. Кортес, Кортес, Кортес, ты мой слепой близнец, так же как я — твой слабый двойник. Кортес не бог, не человек, а всего лишь мое собственное «я», «я» — противник Моктесумы, второй голос Моктесумы...

3-й авгур. Вернулся не Кецалькоатль. Пришла другая власть, другая власть, другая власть...

Моктесума. Другая? Но разве мы оба вместе не причастны к одной и той же власти? К власти вообще? Я отдавал ее, Кортес брал. Побежденный Моктесума, победитель Кортес — мы оба рабы власти, хотя и верим, что ею распоряжаемся... Я чувствую облегчение, чудесное облегчение...

4-й авгур. Но так же, как и ты, конкистадоры станут бояться возвращения Пернатого Змея — возвращения счастья на землю Мехико...

Моктесума. Власть в Мехико неделима. Власть едина, но она — как палка о двух концах. Я не пользовался ею; ты, Кортес, стал употреблять ее в полную меру. Но ты не мог бы взять ее, если бы я ее не терял, а я не потерял бы ее, если бы ты не стал ее домогаться...

5-й авгур. Прислушайся, авгур, прислушайся, погляди вдаль...

1-й авгур. Я слышу грохот этих же самых пушек, я слышу цокот копыт этих же самых коней... Но теперь стреляем мы, теперь мы скачем по огромным пылающим равнинам...

3-й авгур. Значит, у нас будет имя, земля и лицо...

Моктесума. Это верно... Верно... Верно! Боги, спасибо, боги... Спасибо за то, что вы просветили меня: вражья сила не противница моя, она сподвижница моя... Она — моя дочь... Моя наследница... Я разбит. Снимает ли это с меня вину? Нет... нет... Виновно мое неведение — зачарованная жертва сама призвала своего палача. *(Пауза.)* Власть. *(Пауза.)* Но ее я не теряю, нет... Я лишь передаю власть испанцам... Они продлят ее жизнь... Они моим именем установят старую вассальную зависимость на этих землях... Они тоже будут приносить в жертву людей... Их преступления продолжат мои... За алтарем их неумолимого бога встанут, усмехаясь, мои боги, и имя Христа заменит имена богов Уицилопочтли и Кецалькоатля... Испанцы постараются, чтобы эта земля осталась землей господ и рабов, хозяев и слуг... О, ничто не умрет... Ничто не умрет. Моктесума навсегда останется хозяином Мехико... До тех пор пока один человек может властвовать над всеми остальными, Моктесума будет жить...

Авгуры швыряют в Моктесуму камни, которые были у них в руках. Альварадо и Олид прикрываются щитами. Моктесума падает, сраженный насмерть. Капитаны выволакивают труп Моктесумы. Слышится заунывное песнопение авгуров, которые медленно перемещаются в следующий, белый круг, где под покрывалом лежит Марина. Четким контуром вырисовывается ее большой живот.

Хор авгуров. Плач идет, идет дальше; слезы катятся там, в Тлателолько.

1-й авгур. В Тлателолько Моктесума казнил мечтателей.

3-й авгур. В Тлателолько Альварадо казнил певцов.

4-й авгур. Альварадо, рыжий, как Тонатиу[1], велел запереть выходы, окружил танцоров, забил их копьями и кинжалами, заколол шпагами.

5-й авгур. Все хотели бежать, некоторые влезли на стены, но никому не удалось спастись.

1-й авгур. Певцов обезглавили, танцорам вспороли животы, а музыкантам отрезали руки.

3-й авгур. Окровавленные, бежали старые боги.

4-й авгур. Окровавленным явился новый бог.

1-й авгур. Тлателолько навсегда останется местом преступления[2].

Марина корчится от боли и стонет: у нее начинаются роды.

---

[1] Один из образов бога солнца (или огня) в ацтекской мифологии.

[2] На площади Тлателолько, известной не только жертвоприношениями и казнями ацтеков, в октябре 1968 года была расстреляна студенческая демонстрация.

5-й а в г у р. Испанцы атаковали наш город с бригантин, построенных на озере.

1-й а в г у р. Наш город осажден.

3-й а в г у р. Пали ворота Орла.

4-й а в г у р. Разрушены мосты...

5-й а в г у р. Народ умирает от голода и жажды.

1-й а в г у р. Нет чистой воды, одна только затхлая горькая жижа.

3-й а в г у р. Мы едим ящериц, ласточек, маисовые листья.

4-й а в г у р. Мы стали есть кожу и шкуры оленей.

5-й а в г у р. Мы жуем глину, глину, глину...

1-й а в г у р. Мало-помалу нас оттеснили к стенам...

3-й а в г у р. Мы бежали из Теночтитлана, спрятав золото во рту...

4-й а в г у р. Но испанцы схватили нас, изнасиловали наших женщин, угнали мужчин в рабство, клеймив раскаленным железом их губы...

5-й а в г у р. Мы затыкали носы платками, мы глотали тошнотворный запах мертвецов, разлагавшихся тел...

4-й а в г у р. Воюющий народ пришел в смятение, люди в печали поднимались на башни и взирали на свою гибель...

5-й а в г у р. Дети, старики и женщины плакали...

4-й а в г у р. И господа, и знать в каноэ — все опустили руки.

1-й а в г у р. Восемьдесят дней длилась осада города Мехико—Теночтитлана...

3-й а в г у р. Погибло более двухсот тысяч ацтеков, и среди них почти все благородные вожди. Спаслись только некоторые господа, и военачальники, и малые дети...

4-й а в г у р. Пал Орел, наш последний царь, Куаутемок, который бился до конца...

5-й а в г у р. Знатные люди уведены в рабство...

1-й а в г у р. Город разрушен: не осталось ни храмов, ни замков, ни садов, ни рынков...

4-й а в г у р. Все это натворили здесь белые люди...

Х о р  а в г у р о в. Куда мы идем, друзья?!
Дым вокруг поднимается.
Темный туман расстилается.
Плачьте — не плакать нельзя!

На улицах горы тел,
Черви кишат, размножаются,
Кровь водой растекается.
Никто не остался цел.
Досталась дорого им
Жизнь девушки, юноши каждого,
Ребенка, жреца кровожадного...
Но ацтекский народ погиб.

Плачьте, плачьте, друзья,
Плачьте — не плакать нельзя!

Авгуры склоняются, стонут, плачут, обнимают друг друга. Марина кричит.

М а р и н а. О, выходи скорее, сын мой, выходи, выходи, выходи из меня... Выходи, сын измены... Выходи, сын распутницы... Выходи, сын блудницы... Обожаемый сын мой, выходи скорее... Выходи на землю, которая уже не моя и не отца твоего, а твоя собственная.. Выходи, сын двух вражеских кровей... Выходи, мой сын, взять обратно свою проклятую землю, что стоит на незыблемых преступлениях и зыбких мечтах... О, если бы ты смог возродить свою землю и воплотить в жизнь свои мечты, мой сын, белый и смуглый, если бы мог смыть кровь с пирамид, со шпаг,

с крестов, которые страшными алчными пальцами торчат из твоей земли... Выйди на свою землю, сын утренней зари, выйди, полон злобы и страха; выйди, полон презрения, коварства и притворной покорности... Выйди, сын мой, выйди, чтобы ненавидеть своего отца и поносить свою мать... Говори тихо, сын мой, как подобает рабу. Кланяйся, служи, терпи и вооружайся тайной ненавистью для дня своей мести. В тот день ты выйдешь из недр этой нищей и богатой земли так же, как сейчас выходишь из моего чрева; и тогда ты говори громко, ступай уверенно по серебру и грязи, пой песни, гарцуй на конях своего отца, жги дома своего отца, как он жег жилища твоих предков, распинай своего отца на стенах Мехико, как он распял на кресте своего бога, убивай своего отца его собственным оружием. Убивай, убивай, убивай, сукин сын, чтобы они опять не убили тебя. На земле слишком много белых людей, и все хотят одного: крови, труда и склоненной спины рабов, темных от солнца. Волнами будут накатывать белые люди на нашу землю, чтобы овладеть ею. Тебе придется сражаться против них всех, и борьба твоя будет печальной, потому что ты будешь сражаться против части своей же крови. Твой отец никогда тебя не признает, мой смуглокожий сын, никогда не увидит в тебе своего семени, а только своего раба. Тебе придется самому утверждать себя в своей сиротской жизни, и не будет у тебя иной поддержки, кроме тощих рук твоей несчастной матери. Напивайся пьяным, сын тоски, люби женщин, пой песни, танцуй, одевайся в цвета земли, одинокое дитя земли, чтобы сама земля возрождалась из грязи твоего изможденного тела. Устрой на нашей земле великий праздник, праздник тайный и невидимый... У тебя не будет иных спутников в твоем одиночестве, ни иных богатств в твоей нищете, ни других голосов в твоем безмолвии, кроме великих праздников смерти и мечты, мятежа и любви. Мечта, любовь, мятеж и смерть станут для тебя единым целым. Бредовый праздник, в котором ты будешь бунтовать, чтобы любить; будешь любить, чтобы мечтать; мечтать, чтобы умереть. Измажь землею свое тело, сын мой, чтобы земля была твоей маской и господа не смогли бы разглядеть под ней ни твоих мечтаний, ни твоей любви, ни твоих мятежных чувств, ни твоей смерти. Посыпь себя пылью, сын мой, чтобы даже после смерти ты казался живым и тебя бы боялись, хитрого, подлого, пьяного, насильника, мятежника, вооруженного аркебузом и ножом, грозного своим криком и цветом, страшного даже в своем упорном и немом смирении. Ты сумеешь ждать, ждать, ждать, как наши предки ждали пришествия бога Кецалькоатля, бога, который бежал, испугавшись собственного лика, чтобы теперь твое пугающее лицо, сын мой, явилось бы в хлопьях тумана и блеске яшмы, в маске пыли, под пеленою слез. Когда-нибудь, сын мой, твое ожидание вознаградится, и бог добра и счастья снова покажется из-за какой-нибудь церкви или какой-нибудь пирамиды в мираже большой мексиканской равнины. Но он объявится только тогда, когда ты сам будешь готов воплотиться в него, ты, мой сын-горемыка. Ты должен стать пернатым змеем, крылатой землей, птицей из грязи, ты, подонок, презираемый сын Мексики и Испании. Ты — мое единственное наследие, наследие Малинцин-богини, Марины-распутницы, Малинче-матери...

Хор авгуров. Малинцин, Малинцин, Малинцин... Марина, Марина, Марина... Малинче, Малинче, Малинче... Распутная матерь наша... Порочно зачавшая... Ты полна злобы, тебя наущает дьявол, ты будешь проклята всеми женщинами... И проклят будет плод чрева твоего...

1-й авгур. Кортес...

3-й авгур. Моктесума...

4-й авгур. Испания...

5-й авгур. Мексика...

Марина *(кричит)*. Нет, нет, не надо имен, больше не надо названий! Пусть будут только люди, люди, люди, живые, добрые, злые, свет-

лые и темные, жестокие и нежные, мстительные и великодушные. Больше не надо героев, не надо тиранов, не надо Кортеса, Моктесумы, не надо отдельных судеб — пусть будет общая судьба, которую я рожаю... *(Пауза.)* Ты, сын мой, будешь моим триумфом, триумфом женщины...

Хор авгуров. Малинаксочитль, богиня зари... Тонанцин, мать...

Марина. Я снова стану богиней. Блудница станет чистой. Дети смывшей грехи распутницы станут людьми...

Все молчат. Все неподвижны. В белом круге появляется жрец Сиуакоатль — в отрепьях, лицо изрыто оспой. Он вздымает вверх руки, мечется по кругу. За ним выходит францисканский монах, трогает его за плечо.

Монах. Сын мой...

Сиуакоатль. Разве ты мой отец? Ложь! На этой земле остались только сироты.

Монах. Ты кто?

Сиуакоатль. Павший принц. Нищий жрец.

Монах. Я тоже священник и нищий. Пойдем со мной вместе.

Сиуакоатль. Какой еще новой болезнью ты меня наградишь? Взгляни на меня, я уродлив и слеп от оспы, которую вы принесли сюда. Вы наслали на мой народ смерть, медленную и неотступную, страшную и разъедающую смерть от язв...

Монах. Твое страдание причиняет мне боль.

Сиуакоатль. А мне причиняет боль моя жизнь, потому что я видел смерть моих господ и моего народа, которых, наконец, уравняла общая гибель.

Монах. Я хочу помочь тебе. *(Пауза.)* Давай посадим вместе большое дерево, лавр Индий. И будем ходить от селения к селению, сеять, что сможем, и ждать, пока лавр окрепнет и укроет в своей тени всех людей...

Монах берет за руку Сиуакоатля, который со стоном тащится за ним.

Сиуакоатль. Подайте милостыню... Бедному слепому... Милостыню... Во имя господа бога...

Марина *(кричит)*. Не верь больше в богов, безумец! Заставь богов поверить в тебя! Сорви маски с богов, безумец, и под каждой маской ты увидишь лицо угнетателя! Не проси неба у богов, требуй у них землю, свободную от гнета! Слепцы, не бойтесь глядеть на запретный свет! Мечтатели, делайте свои сны реальностью! Поборники правды, ненавидьте то, что вы не можете любить! Бунтари, разрушайте то, что вас вынуждают делать! Воры, крадите то, что украдено у вас! Мексиканцы... *(Она вдруг замолкает, удивленная новизной этого слова.)* Мексиканцы... Да погибнем мы и восстанем из праха!

Над вторым кругом гаснет свет. Освещается третий, желтый круг. Кортес сидит в массивном кресле, спиной к публике. Рядом с ним большой глобус. У его ног Карлик из свиты Моктесумы забавляется резиновым мячом. Неподалеку стоит стол, на котором в беспорядке лежат листы бумаги. В тускло освещенной части круга появляются три королевских фискала — все трое в одеждах законников: гофрированные воротники, черные мантии, черные высокие шляпы, очки.

1-й фискал. Ну как, лиценциат, нравится вам эта Новая Испания?

2-й фискал. По правде говоря, слишком новая, лиценциат. Комфорта старой Испании нет и в помине.

1-й фискал. Комфорт как раз нетрудно устроить: там ведь масса индейцев для всяких работ и прислуживания.

3-й фискал *(с жестом отвращения)*. Да, индейцев с оспой, испанцев с плохим французским языком...

1-й фискал. Не волнуйтесь, лиценциат, всякие земли завоевываются грязной солдатней. А теперь наш черед — насаждать порядки в этой колонии. Вы подготовили докладную реляцию об Эрнане Кортесе?

3-й фискал. Конечно, лиценциат, вот она. (*Развертывает бумагу. Читает торжественным голосом.*) Во-первых, назначенный милостью короля губернатором Новой Испании капитан Фернандо Кортес незаконно покинул свое местопребывание и отправился в безрассудную экспедицию в Лас Ибуэрас, где не нашел ни больших поселений, ни золота, ни прохода к Южному морю и привел к гибели своих товарищей, а также изрядно опустошил королевскую казну...

2-й фискал. Тщеславие, преступное тщеславие! Разве мало ему было царства Моктесумы? Чего он еще хотел? Завоевать весь мир?

1-й фискал. Он бы не завоевал и Мексику без помощи изменников индейцев!

3-й фискал. Во-вторых, завладев сокровищами Моктесумы, капитан Фернандо Кортес тратил их налево и направо, и посему доля, причитающаяся его величеству, святейшему и августейшему монарху, никогда не доставлялась по назначению в полной сумме.

1-й фискал. Или этот капитан Кортес думал, что все открытия, завоевания и колонизация предпринимаются ради него самого и его собственной выгоды?

2-й фискал. Нет, они предпринимаются во имя и ради нашего господина, короля дона Карлоса, волей божьей повелителя Кастилии, Леона, Арагона, обеих Сицилий, Иерусалима, Наварры, Гранады, Толедо, Валенсии, Галисии, Майорки, Севильи, Серденьи, Кордовы, Корсики, Мурсии, Хаэна, Алгарвиса, Альхесираса, Гибралтара, Канарских островов, Индий, заморских островов и земель...

1-й фискал. Князя Барселоны, властителя Бискайи и Молины, герцога Афинского, князя Русильонского, маркиза де Ористана и Госиано, эрцгерцога Австрийского, герцога Бургундского и Брабантского, князя Фландрского и Тирольского...

2-й фискал. И т. д., и т. п., и т. п....

1-й фискал. Мы служим королю, а не самим себе...

2-й фискал. Королю, богопомазаннику и законному наследнику династии...

3-й фискал. В-третьих, капитан Фернандо Кортес повелел возвести себе дворцы и построить дома, такие огромные, как большое селение...

1-й фискал. Будто он сам — король в этих землях...

2-й фискал. И не считался с многочисленными представителями королевской власти, приехавшими из Испании...

1-й фискал. Вице-королями и алькальдами, инспекторами. казначеями, поставщиками, нотариусами, королевскими послами, королевским судом, инквизицией...

3-й фискал. В-четвертых, капитан Фернандо Кортес настаивал на том, что местные индейцы, имеющие благородное происхождение и гораздо более смышленые, чем индейцы ранее завоеванных островов, должны получить землю во владение и быть избавлены от личного услужения испанцам. Лишь с великим трудом его заставили принять режим энкомьенды, вменяющий индейцам в обязанность работать в наших домах и на наших полях...

2-й фискал. Вот что значит путаться с язычницами-индеанками.

1-й фискал (*смеясь*). Этот капитанишка из Эстремадуры действительно возомнил, что он «бог добра», как называли его эти идолопоклонники!

2-й фискал. Бог? Да он ничто! Кем он стал, этот плюгавый идальго из Эстремадуры после завоевания Новой Испании? Все пустил прахом! Всеми забыт! И точка. Один-единственный шанс дала ему история!

3-й фискал. В-пятых, кроме упомянутых преступлений, как-то: неповиновение властям, самоуправство, присвоение королевской казны, интриги и тирания, капитан Фернандо Кортес обвиняется в том, что он задушил свою законную супругу Каталину Хуарес, которую заставил приехать на Кубу, после того как он отдал индеанку Марину солдату Хуану Харамильо и умертвил отравленным сыром трех своих соперников, претендовавших на пост губернатора,— полномочных лиценциатов, прибывших в эти земли после их завоевания.

1-й фискал. На основании всего сказанного Фернандо Кортес отстраняется от управления Новой Испанией и осуждается на изгнание из города Мехико...

3-й фискал свертывает пергамент. Все фискалы исчезают в тени.

Кортес *(спиной к публике)*. Изгнан из города, завоеванного и перестроенного мною... *(Пауза.)* Изгнан теми, кто недостоин сам жить там.

Встает и поворачивается лицом к публике. Это уже старый человек с белыми волосами и бородой, одетый в черное; на голове четырехугольная шапочка из черного бархата. Карлик играет резиновым мячом.

Карлик. Когда мы вернемся в Мехико, господин? Мы еще долго будем здесь, в Мадриде?

Кортес. Мы будем здесь до тех пор, пока король не примет меня и не воздаст мне должное.

Карлик. Или ты не видишь? Мы уже надоели здешним людям, они не удивляются даже моему резиновому шарику. А тебя и твоих солдат и капитанов, которые обивают пороги королевских дворцов и молят о справедливости, называют краснорожими индейцами и еще похуже.

Кортес. Мои капитаны... Кто вовремя не умер, тот бросил меня... Тщеславный Альварадо, неверный Ордас... *(Кортес хмурится, идет к столу, ворошит бумаги.)* Моктесуму хоть камнями забили, а меня закидали бумагами... Судилище, изгнание, определение места жительства... *(По-стариковски, хрипло смеется.)* Место жительства, вид на поселение... А кто теперь населял бы Мехико, если бы я не завоевал его? *(Поворачивается к глобусу.)* Для кого я завоевал мир, в двадцать раз больший, чем Испания? *(Вертит глобус вокруг оси.)* Для жалких буквоедов... Для лиценциатов... Для тех, кому удалось получить диплом в Саламанке... Но кто удрал бы при первой же атаке индейцев... Для тех, кто повинуется закону, но обходит его... *(Горько смеется. Выпрямляется. Спускается к авансцене. Говорит с достоинством.)* Ваше величество, светлейший и августейший монарх, я полагал, что своим трудом в юности я заработал себе право на отдых в старости. Сорок лет я недосыпал, недоедал, таскал на себе оружие и латы, рисковал жизнью, растрачивал свое состояние и жизнь во имя службы господу богу, загоняя овец в его овчарню. Все это происходило на землях, лежащих на краю света; на землях, нам не знакомых и не описанных в наших манускриптах. И я приумножал богатства и расширял владения моего короля, завоевывал и передавал под власть королевской короны многие великие царства и владения варварских народов и племен, подчиненных мной самим, на свой собственный страх и риск. Никто не помогал мне в этих походах — напротив, мне часто мешали завистники, которые отлипали от меня, как толстые пиявки, насосавшись моей крови...

Карлик. Господин капитан, тебе надо отдохнуть. Ты каждый день говоришь одно и то же, и никто не слушает тебя, кроме меня...

Кортес. Молчи, выродок... Ваше величество, святейший и августейший монарх, сейчас я беден и стар, отягощен долгами, мои слуги ропщут и требуют платы; мне шестьдесят три года, и это уже не тот возраст, когда можно скитаться по постоялым дворам. В эту пору следует пожинать

плоды своих трудов. Я хотел бы вернуться в Мехико, как только со мной обойдутся по справедливости, и свести там свои счеты с богом... Я хочу вернуться в Мексику, мой повелитель, я хочу умереть в Мексике. Я снова молю, ваше величество, проявить великодушие и приказать судьям... *(Прерывает в ярости свою речь.)* Я не прошу больше какой-то крохи того мира, который завоевал! Ваше величество, благодаря мне вы приобрели Новый Свет. Я подвергал себя опасностям, а с головы вашей священной особы не упал ни один волосок!.. Новый Свет. *(Падает на колени в отчаянии. Карлик невозмутимо играет с мячом. Долгая пауза.)* Марина... Марина... Новый Свет... Мы вместе, ты и я... Марина... Марина... Судьба всегда короче жизни. Живой человек уже мертв, если он выполнил то, что предназначено ему судьбой. Марина... Мы вместе, ты и я... ...Новый Свет... Новая Испания... *(Кричит в гневе.)* Неблагодарная Испания, подлая мачеха, старая скряга! Я подарил тебе целый мир... Ты заперлась в своем замке из холодного камня и ладана, чтобы считать золото, которое мы тебе поднесли... Ты изуродовала мир, который мы тебе завоевали... *(Пауза.)* Один человек против целой империи. *(Пауза.)* Нет, не так. Один человек, завоевавший империю, чтобы отдать ее другой империи. Я — человек, который ничего не имел, растоптал империю... А моя собственная империя растоптала меня, человека, который ничего не имеет... Кортес, жертва двух властей: побежденной и победительницы. Марина... Марина... Я все потерял на твоей земле... И ничего не выиграл на своей собственной. *(Пауза. Начинает смеяться сквозь слезы.)* Блудный сын не вернется с пустыми руками в родимый дом... Кортес, бог, пришедший с востока, как говорилось в предсказаниях Моктесумы... Моктесума, мой слепой близнец, Моктесума, всемогущий повелитель, посмотри на своего завоевателя, посмотри... *(Пауза.)* Мы были всего-навсего людьми, которые сражались... Людьми...

Карлик. Господин, пожалуйста, отдохни...

Карлик помогает Кортесу подняться и уводит его. Кортес шепчет по пути.

Кортес. Люди... Люди... Люди...

Какое-то время сцена остается пустой. Затем начинает заполняться людьми, по внешнему виду — нашими современниками. С одной стороны вползают на коленях кающиеся, которые истязают себя бичами, тащат хоругвь с образом «покровительницы» Мексики — Святой девы Гвадалупанской, заунывно поют молитвы. С противоположной стороны входит народный мексиканский ансамбль — марьячи. В то время как певцы играют и поют, загораются яркие рекламные объявления: Форд, Кока-кола, Пан-Ам, Хилтон, Котекс, Ярдли и т. д. Марьячи исполняют современную популярную песенку — «Я — чистый мексиканец». Появляются Торговец и Пастух, одетые в грязные комбинезоны, обутые в уарачи[1], и тащат на себе тюки. Входят другие действующие лица: жрецы из Чолулы, одетые как официанты из ресторана; Гонец — теперь модно одетый мужчина, несущий плакат партии ПРИ[2]; солдаты, маги-волшебники, сборщики дани, посланцы Моктесумы и охотники в мундирах мексиканских гренадеров[3]. Появляются авгуры в формах полицейских, царь Тескоко в виде ветерана мексиканской революции, увешанный медалями; Цомпантекуччтли в образе современного интеллигента с книгами под мышкой. Куитлауак — в мундире генерала мексиканской армии, Сиуакоатль в отрепьях слепого нищего, монах Ольмедо — в одеяниях архиепископа Мексики. Толстый касик — в костюме мексиканского депутата или наемного убийцы. Сандоваль, Альварадо, Олид, Ордас и Портокарреро выглядят как типичные бизнесмены с портфелями в руках. Марина выхо-

---

[1] Уарачи — индейские самодельные сандалии.

[2] Конституционно-революционная партия («Партидо Революсьонарио Институсьональ») — правящая партия крупной мексиканской буржуазии.

[3] Полицейский корпус гренадеров участвовал в расстреле студенческой демонстрации в октябре 1968 года в Мехико.

дит в платье певицы из кабаре. Появляется Кортес — в полной форме генерала армии Соединенных Штатов Америки, его сопровождает Матрос в форме морского пехотинца США. Наконец, входит Моктесума — в черном костюме с президентской лентой через плечо (лента—зелено-бело-красного цвета, с мексиканским гербом, на котором изображены орел и змея). Куаутемок — в костюме простого молодого человека. С ним появляются девушки Моктесумы — в мини-юбках. Музыка рок-н-ролла заглушает музыку марьячей: ансамбль «Ролинг-Стоун» играет песенку «Пусть льется кровь». Молодежь танцует. Карлики, альбиносы и горбуны из свиты Моктесумы прыгают и кривляются в нарядах клоунов из ярмарочных балаганов. Затем все кланяются публике. Внезапно из темноты зрительного зала вырывается и бежит к сцене, задыхаясь, преследуемый Юноша, который был принесен в жертву в Чолуле: на нем рубаха и джинсы мексиканского университетского студента. Он вбегает на авансцену, мексиканские гренадеры и полицейские стреляют в него. Юноша падает мертвым к ногам Моктесумы и Кортеса. Тишина. Марина становится на колени подле мертвого юноши, гладит ему голову, а затем пристально и напряженно смотрит куда-то в зрительный зал. Все лучи света сходятся в этой точке: появляется Кецалькоатль. На сцену с высоты обрушивается ливень мертвых сопилотов.

*Мехико, 1970.*

# ЭРИХ ФРИД

*Вступление и перевод с немецкого В. КУПРИЯНОВА*

«Некто сказал камням: будьте человечны. Камни сказали: для этого мы недостаточно каменны». Камни, люди и звери, пророки и калеки, рыбы и цветы из стихов Эриха Фрида как бы вовлечены в страшный сюрреальный хоровод: собаки вянут среди лающих цветов; леса идут на службу на бумажные фабрики, где обрабатываются люди; деревья съедаются собственными плодами. Прием доведения до абсурда не нов в литературе, но, используя его, Фрид намерен прежде всего разрушить стереотипы мышления, сформированного средствами массовой коммуникации: буржуазной печатью, радио, телевидением,— заставить читателя думать. Разрушая речевые штампы, играя парадоксами, поэт стремится пробудить человеческое в человеке, дать ему надежду на будущее. Даже печальный миф о Сизифе звучит у него не безысходно: камень изотрется, станет пылью, и останется только память о прежних мучениях. Но память необходима.

Парадоксальные образы Фрида порождены обостренным восприятием больных проблем современного западного мира. Уже сами названия книг говорят о том, что занимает Эриха Фрида: «Германия» (1944), «Австрия» (1945), «Предостережения» (1964), «Размышления» (1964—1965), «Искушения» (1967), «Вопросы времени» (1968), «Ложь о коротких ногах» (1969). Не случайно по отношению к творчеству Эриха Фрида немецкая критика употребляет термин: «Поэзия предостережения».

Поэта настораживает забывчивость человечества, и он видит свой долг в том, чтобы неустанно напоминать о результатах неправедных деяний. Говоря о недавнем прошлом, о времени газовых камер, Фрид пишет: «Дети сгоревших боятся огня. Дети детей сгоревших огня не боятся». Эта же тема возникает и в книге «...и Вьетнам и...» (1966), в которой стихи сопровождает календарь действительных вьетнамских событий.

Эрих Фрид родился в Австрии в 1921 году, в 1938 году был вынужден эмигрировать в Лондон, где живет и сегодня. За это время он сменил много профессий, от стекольщика до комментатора Би-Би-Си. Однако методы работы этой радиостанции оказались для него неприемлемыми, и Эрих Фрид, выразив свой протест, порывает с ней отношения. Большую известность ему принесли его переводы с английского, прежде всего новое прочтение пьес Шекспира. Эрих Фрид является лауреатом премии имени Шиллера. Одна из его последних книг была издана в 1969 году в ГДР.

Настоящая публикация знакомит читателя со стихами Эриха Фрида последних десяти лет.

## *Горгона*

### 1

Если в лицо времени
долго никто не смотрит
становится лицо времени
лицом
в которое никто не смотрит

Кто после временной слепоты
посмотрит в лицо времени
тот увидит лицо
в которое никто не смотрит
и окаменеет

### 2

Те кто вроде бы вовсе бездушны
просто слишком одушевленны
для того чтобы стать изваяниями
и они поворачиваются спиной
ко времени

Тогда их гонят куда угодно
сгоняя в стада
или пары
они бегут от познания
которого не избежать

## *Опасность войны миновала*

На твоих губах
лежало вчера
зеркало смерти

От твоего
еще живого дыханья
зеркало запотело

В зеркале запотевшем
твой взгляд
лишь себя увидел

не того кто за твоей спиной
протирал
зеркало

для следующего раза

## *Тактичность*

В
доме
повешенного
не
говорят
о
веревке
так
как
нынче
его
палач
мирно
живет
в
этом
доме

## *Разговор о деревьях*

Садовник сделал ветвям подпорки
и теперь я спокоен за яблоки
Но листья у груш
больны Они свертываются

Во Вьетнаме деревья безлисты

Все дети мои здоровы
Лишь младший меня тревожит
он не может прижиться
в новой школе

Во Вьетнаме дети убиты

Крыша моя налажена
надо только выкрасить окна
Страхование от пожара
вздорожало с ростом квартплаты

Во Вьетнаме дома сгорели

Какой собеседник нудный
О чем с ним ни говори
а он опять о Вьетнаме —
оставьте меня в покое

Во Вьетнаме для многих вечный покой
Ваш покой их обрек на это

## *Ложь о коротких ногах*

Ноги
большой
лжи
вовсе
не
так
уж
коротки

Короче
пожалуй
жизнь
тех
кто
в
нее
верил

## *Картина за занавесом*

Иные любят свободу
так же
как любят
жену
в темноте

Так и живут
на ощупь
стесняясь
увидеть ее
обнаженной

## *Птичий мост*

По нечаянной лестнице я взобрался на мост
ведущий из пустоты в пустоту
там птицы спасались оставшись без гнезд
над морем мечущимся в холодном поту

Когда первая птица шла через мост
люди внизу забыв человеческие имена
шли друг на друга и был их напев прост
и о факелы их обожглась утопленница-луна

Когда вторая птица шла через мост
одни враги забыли о прочих врагах
забыли о мраке и о мерцании звезд
забыли о детях женщинах стариках

Когда третья птица шла через мост
он шатался уже над ничейной страною
весь забывчивый люд лег на забытый погост
и все волны внизу стали одной волной

Моя лестница стала сплошным огнем
лишь пепел птиц кое-где еще застил свет
И все это было уже ни ночью ни днем
лишь остался на камне мой выжженный силуэт

## *Предвидение победы*

Сизиф
пропылен
и по горло сыт
прахом
своего камня
Ужас:
камень
ветшает

Бессмысленность —
вечный
проклятый
смысл его труда
выбит
его проклятиями

Тает камень
и тает
сострадание тени
в которой
таяли
его силы

Скоро скатится
лишь песчинка
с истерзанной кручи
Что останется?

Только мука
сознавать себя
пережившим муку

## *Противовес*

В стихах
стремление к истине
В мире
стремление к фальши

Я вычеркиваю
никчемное
Насущное
все яснее

Мир вычеркивает
насущное
Никчемное
расползается
Этот мир
меня держит в страхе:
он слабей
чем стихи

## *Разговор в мечтах*

Я мечтал,
будто сбылась мечта.

И она сказала:
Мечтай же!

Я смутился:
О чем? О тебе?

Нет, о себе!
Иначе тебя нет.

# КЭНДЗАБУРО ОЭ

# *Футбол 1860 года*

РОМАН

*Вступление и перевод с японского В. ГРИВНИНА*

Журнал «Иностранная литература» впервые знакомит советского читателя с творчеством Кэндзабуро Оэ — одного из крупнейших писателей современной Японии. Оэ принадлежит к послевоенному поколению японских писателей — ему тридцать шесть лет. Первое произведение, которое привлекло к нему интерес широкого читателя, была повесть «Уход за скотиной», удостоенная высшей литературной премии — премии Акутагава.С тех пор популярность Оэ в Японии и за ее пределами непрерывно растет. Достаточно сказать, что уже в 1966 году вышло шеститомное собрание его сочинений. В течение трех лет оно переиздавалось семь раз.

Произведения Оэ остросоциальны, большинство из них посвящены жизни молодого поколения Японии. Таков, например, роман «Опоздавшая молодежь» (1962). Главный герой этого романа — юноша, «опоздавший на войну» и тем самым лишившийся возможности сражаться за «великую Японию». Он не успел попасть на фронт и на собственном опыте убедиться, что идеалы, за которые он готов был отдать жизнь, ложны, что все эти годы его обманывали. Милитаристская пропаганда еще крепко сидит в нем. Велика заслуга писателя, сумевшего десять лет назад показать путь, каким идет возрождение японского национализма. События недавнего времени, и в первую очередь самоубийство Мисима, подтвердили, насколько прав был Оэ, подняв в своем романе эту проблему.

Большой резонанс в Японии получила и публицистика Оэ. В 1965 году он выпустил «Хиросимские записки», посвященные героической борьбе врачей за жизнь пострадавших от атомной бомбы. На обсуждении «Хиросимских записок» в редакции журнала «Гундзо», где они печатались, писатель заявил: «Сейчас, когда мир раскололт, мне хотелось сказать о людской солидарности, о том, что все люди на земле должны быть едины и сплочены в борьбе со злом, как это было, когда произошла хиросимская трагедия. Только так удастся избежать новой войны». В 1967 году Оэ опубликовал «Записки об Окинаве», в которых рассказал о тяжелом положении народа этого острова, фактически лишенного родины, уже четверть века живущего в условиях оккупации и ставшего разменной монетой в японо-американской дипломатической игре.

Роман, с которым мы знакомим читателя (в журнальном варианте), вышел в 1967 году. В течение одного года он выдержал одиннадцать изданий и был удостоен литературной премии Танидзаки. На Третьем съезде Союза демократической литературы Японии в 1969 году в докладе Такаси Цуда говорилось: «Существуют писатели, которые видят свою задачу в том, чтобы остро критиковать реакционные явления в современной японской действительности. В качестве примера можно привести «Футбол 1860 года» Кэндзабуро Оэ».

Роман Оэ сложен. То, что происходит с героями сегодня, проецируется в прошлое, соотносится с событиями столетней давности.

Две стихии соединяются в замысле, жанре и стиле романа. С одной стороны — вековая японская традиция, дух предков, сложная символика национальной культуры; с другой — черты современного индустриального мира, дух середины XX века, с ха-

рактерным для наших дней подъемом движения молодежи и широких антиимпериалистических выступлений.

В 1860 году на родине Мицу, от имени которого ведется повествование, вспыхнуло крестьянское восстание. Через сто лет, в 1960 году, Япония стала свидетелем бурных событий — борьбы против японо-американского «договора безопасности». Ядро этого движения составляла молодежь. Но в ходе борьбы выяснилось, что некоторые руководители молодежи, занимающие ультралевые или анархистские позиции, не более чем политиканы, для которых интересы народа, интересы Японии стоят на втором плане. Борьбу против «договора безопасности» они стремились использовать для того, чтобы нажить политический капитал. По существу они оказались предателями молодежи. Своеобразно преломившиеся в сюжете, эти события сопоставлены в романе с крестьянским восстанием 1860 года.

То, что произошло сто лет назад, было для руководителя крестьян, человека эгоистичного и корыстного, не более чем игрой. Ту же самую игру, по мысли автора, затеял через сто лет правнук главаря восстания. Чтобы сплотить деревенскую молодежь и подчинить ее себе, он организовал футбольную команду, ставшую в романе своего рода символом. Молодым героем руководило вовсе не бескорыстное желание улучшить положение крестьян, освободить их из-под ига короля супермаркета. Итак, через сто лет повторилось то же самое — молодежь оказалась обманутой. В самом названии романа символизирована связь времен: события исторически далеких лет и напоминание о современной массовой игре иронически совмещены в словах — «футбол 1860 года». Здесь же слышится и трезвое отношение автора к описанным им событиям. Если Такаси — один из двух братьев, основных героев романа — сродни многим главарям нынешних «новых левых», для которых важна не столько идейная цель, сколько само движение, на волне которого они выплывают на политическую арену, то старший брат Мицу — полная противоположность ему. Читатель знакомится с ним в минуту его глубочайшего отчаяния, полного отвращения к жизни. Сам образный строй тех страниц романа, которые посвящены Мицу, перенасыщен тягостными и мучительными подробностями. Выгребная яма, в которой в начале романа сидит герой, созерцая кизиловый листок, становится в сознании читателя символом традиционной «восточной» пассивности и квиетизма.

Вначале Мицу против любой борьбы, считает восстание злом, ничем не оправданным насилием. Он беспрерывно обращается к прошлому, пытаясь поверять им настоящее. Но постепенно начинает понимать: для того чтобы оценить — зло восстание или благо,— нужно знать, кто и во имя какой цели поднял его. Ведь самое кровопролитное восстание может обернуться благом, а самое бескровное — злом.

Роман Оэ иносказателен с первой и до последней страницы. Каждый его эпизод — это не просто рассказ о том или ином событии, он обычно имеет глубокий, хотя подчас и трудноуловимый подтекст: служит либо раскрытию внутреннего мира героев, либо обнажению скрытых пружин тех явлений, с какими они сталкиваются. Примером может служить хотя бы рассказ настоятеля о том, как благодаря корейцам, согнанным в военные годы на лесоразработки, в деревне привился обычай употреблять чеснок. Чеснок для деревни — нечто чужеродное. Но местные жители переняли этот обычай, несмотря на то что корейцы для них — люди презираемые, существа «второго сорта». До предела бесправные и угнетенные, японские крестьяне третируют корейцев — людей еще более бесправных и угнетенных, чем они сами. Но эта вопиющая несправедливость мстит жителям деревни. Они начали с малого, с заимствования корейского обычая употреблять в пищу чеснок, а кончают полным, безраздельным подчинением королю супермаркета — корейцу, эксплуатирующему деревню с помощью чисто американского изобретения — супермаркета.

Читателю, недостаточно знакомому с японской литературой, может показаться, что развитие действия в романе происходит слишком медленно. Следует, однако, учесть, что раздумчивость, неторопливость рассказа, перегруженность деталями, на первый взгляд не относящимися к повествованию, традиционны для японской литературы. Автор как бы дает в руки чатателя строительный материал для сюжета, а сам отходит в сторону и лишь деликатно руководит движением читательской мысли, не навязывая своей концепции событий. Эта традиция восходит еще к дзэн-буддизму, когда намек побуждал читателя к совместному творчеству. Зато, когда читатель уже вполне освоится с манерой письма автора и почувствует себя участником событий, действие романа становится все динамичнее, начинает раскручиваться с кинематографической стремительностью.

Роман Оэ, взращенный на почве древней японской традиции и вместе с тем глубоко современный, помогает нам лучше понять эту страну, понять то общее, что присуще ей, как и многим странам, понять то специфическое, что присуще ей одной и что позволяет проникнуть в душу ее народа.

# 1. ВЕДОМЫЕ МЕРТВЕЦОМ

Пробуждаясь в предрассветной мгле, я пытаюсь отыскать в себе жгучее чувство надежды, но обнаруживаю лишь горький осадок сна. Мои лихорадочные поиски, движимые мыслью, что чувство надежды, такое же жгучее, как и опалившее внутренности виски, снова вернется ко мне, всякий раз оказываются тщетными. Я сжимаю обессилевшие пальцы. Каждый мускул, каждая косточка кажутся непомерно тяжелыми, но с приближением рассвета это ощущение неохотно покидает меня, уступая место острой боли. И я с покорностью снова обретаю свое отяжелевшее тело, испытывающее острую боль в каждой частице в отдельности, не ощущающее, что эти частицы как-то связаны между собой. И, настойчиво избегая воспоминаний о том, что это за поза и отчего я принял ее, скрючившись засыпаю.

Каждый раз, просыпаясь, я снова и снова стараюсь найти жгучее чувство надежды. Не ощущение утраты, а жгучее чувство надежды, позитивное, существующее само по себе. Убежденный, что мне не удастся его обнаружить, я пытаюсь вновь толкнуть себя в пропасть сна: спи, спи, мир не существует.

Но в это утро боль во всем теле, словно от страшного яда, не дает окунуться в сон. Рвется наружу страх. До восхода, пожалуй, еще не меньше часа. И до тех пор не узнаешь, какой сегодня будет день. Точно зародыш в утробе матери, я лежу в темноте, не представляя, что происходит вокруг. Спи, спи, а если не можешь, то хоть притворись спящим. Неожиданно из тьмы в моем воображении всплывает прямоугольная выгребная яма, которую вчера вырыли рабочие. В больном теле скапливается разрушительный, горький яд и медленно, точно паста из тюбика, начинает сочиться из ушей, глаз, носа, рта...

В полусне я встаю и, поминутно останавливаясь, плетусь в кромешной тьме. Глаза закрыты, и я, беспрерывно натыкаясь то на дверь, то на стену, то на мебель, точно в бреду, издаю жалобные стоны. Правый глаз все равно ничего не видит, сколько ни напрягайся, даже в ясный день. Смогу ли я когда-нибудь постичь скрытый смысл обстоятельств, при которых я потерял правый глаз? Это был нелепейший случай. Однажды утром, когда я шел по улице, разбушевавшиеся школьники с воплями бросались камнями. Мне угодили в глаз, я упал на мостовую, так и не успев понять, что произошло. Мой правый глаз — и белок и зрачок — оказался рассеченным и перестал видеть. Мне и сейчас кажется, что я не до конца постиг истинный смысл происшедшего. Может быть, я просто боюсь понять его.

Если идешь, прикрыв ладонью правый глаз, то обязательно натыкаешься на предметы, поджидающие тебя справа, и ударяешься о них. Естественно, что на правой половине моей головы появлялись все новые и новые ссадины. Я уродлив. Это постоянно внушала мне мать еще до того, как я ослеп на один глаз. Она всегда сравнивала меня с младшим братом, обещавшим превратиться в красавца. Так что постепенно я свыкся с мыслью о своем уродстве. А вытекший глаз усугубляет и постоянно подчеркивает его. Врожденное уродство старается укрыться в тень и помалкивать. И вытекший глаз виноват в том, что я вытаскиваю его на свет божий. Я придумал занятие для погруженного во тьму глаза. Глаз, потерявший способность видеть то, что меня окружает, я превратил в глаз, широко открытый во тьму черепной коробки. И этим глазом я всегда пристально вглядываюсь в наполненную кровью горячую тьму жарче температуры моего тела. Я сам назначил себя в разведку, чтобы, вглядываясь в ночной лес во мне, приучиться следить за происходящим внутри меня.

Пройдя столовую и кухню, я нащупываю дверь, распахиваю ее и только тогда открываю глаза — в предрассветной осенней дымке белеют лишь далекие горы. Подбегает черная собака и начинает ласться ко мне. Но сразу же, уловив мой запрет, так и не залаяв, съеживается и смотрит на меня, выставив из темноты мордочку, похожую на гриб. Я хватаю ее под мышку и медленно иду вперед. От собаки пахнет. Она прерывисто дышит. Под мышкой становится жарко. Может быть, собака больна? Босой палец натыкается на доску, ограждающую яму. Тогда я спускаю собаку на землю, рукой нащупываю лестницу, а потом обнимаю тьму в том месте, куда опустил собаку,— тьма оказывается наполненной ею. Невольно улыбаюсь, но улыбка мимолетна. Собака действительно больна. С трудом спускаюсь по лестнице. На дне ямы стоят лужицы воды — ее так мало, что она не закрывает и ступни босых ног. Кажется, что яма сочится влагой. Как мясо соком. Я сажусь прямо на землю и чувствую, как вода проникает сквозь пижамные штаны и трусы, и я вдруг обнаруживаю, что принимаю это с покорностью, как человек, который не в силах ничему противиться. Но собака, естественно, может противиться. Она молча, но с таким видом, будто собирается что-то сказать, примащивается у меня на коленях и слегка прижимается ко мне жарким дрожащим телом. Чтобы сохранить равновесие, она когтями, превратившимися в крючки, вонзается в мои колени. Я чувствую, что не в силах противиться этой боли, а через пять минут вообще становлюсь равнодушен к ней. Становлюсь равнодушен и к воде, намочившей зад. Мое тело сливается с землей. Среди всего — и моего тела, и окружающей меня земли, и сырого воздуха — живут только тепло собаки и ее ноздри, напоминающие двух блестящих жучков. Ноздри двигаются с поразительной энергией и вбирают в себя исходящий из ямы убогий запах, точно это сказочный аромат.

Разрушительный, горький яд заливает все тело, и не похоже, что он просочится наружу. Жгучее чувство н а д е ж д ы не приходит, но страх покидает меня. Я становлюсь безразличным ко всему, и вот сейчас безразличен даже к тому, что я обладаю плотью и кровью. Жаль только, что меня, совершенно безразличного к самому себе, не видят чьи-либо глаза. Собачьи? У собаки нет глаз. У меня, безразличного, тоже нет глаз. Как только я спустился по лестнице, сразу же закрыл глаза и сейчас сижу, не открывая их...

Потом мне привиделся товарищ, на кремации которого я присутствовал. В конце лета он выкрасил в красный цвет голову, разделся догола и повесился. Его жена, которая после ночной попойки, как больной заяц, еле приползла домой, обнаружила странный труп мужа. Почему он не пошел на вечеринку вместе с ней? Все знали: не пошел, чтобы остаться в своем кабинете и поработать над переводом (этот перевод мы делали вместе).

Жена товарища, точно прокрутили назад киноленту, топча никому не видимые ночные тени, единым духом промчалась оттуда, где стояла, в двух метрах от трупа, до того места, где была вечеринка,— от ужаса волосы у нее встали дыбом, она бежала, размахивая руками, беззвучно крича, зеленые туфли все время сваливались у нее с ног, и даже после того, как сообщили в полицию, она все продолжала всхлипывать, пока ее не увели родители. Едва полиция закончила расследование, все заботы о похоронах пали на меня и бабку покойного, оказавшуюся женщиной мужественной. Рассчитывать на его мать, страдавшую слабоумием, не приходилось.

«Надо было уговорить его вернуться в санаторий».

«Нет, он больше не мог туда поехать,— возразила бабка.— В санатории он себя вел прекрасно, все больные так уважали его. И тем не менее он уже не мог оставаться там. Вы просто забыли об этом и

теперь совершенно напрасно упрекаете себя. Что ни делается, все к лучшему — это ведь действительно очень хорошо, что, выйдя оттуда, он смог хоть немного пожить на свободе. Если бы он там покончил с собой, то ему, наверно, не удалось бы повеситься, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола. Больные обязательно бы помешали ему».

«Ваша выдержка помогает мне сохранять присутствие духа».

«Все умрут. И через сто лет уже никто не будет докапываться, как умер тот или иной человек. Что может быть лучше, чем умереть так, как тебе хотелось».

Сидевшая на краю кровати мать не переставая гладила его ноги. Эта женщина, похожая на испуганную черепаху, сидела, глубоко втянув голову в плечи, и никак не реагировала на наш разговор. Мелкие черты плоского, безжизненного лица, до жути похожего на лицо покойного сына, расплылись, точно растаявшее желе. Давно уже я не видел лица, которое бы с такой силой выражало беспредельное отчаяние.

За год до смерти товарищ прервал свои занятия в Колумбийском университете, вернулся на родину и тут же попал в санаторий из-за легкого психического расстройства. О местонахождении санатория и о жизни там я знал только с его собственных слов. Ни жена, ни мать, ни бабка ни разу у него не были. Он запретил навещать его. И, судя по тому, что произошло, начинаешь сомневаться, был ли он в санатории.

Но если верить его словам, этот санаторий называют Учебным центром веселья или Тренировочным залом улыбок — те, кто там содержится, перед едой принимают огромные дозы успокоительного и поэтому днем и ночью пребывают в покое, лучезарно улыбаясь. Санаторий расположен в одноэтажном доме, половину которого занимает солярий. День почти все больные проводят на качелях, во множестве сооруженных в большом саду, и беседуют. Строго говоря, они даже и не больные, а, если можно так выразиться, отдыхающие, прибывшие на длительный срок. Благодаря успокоительному отдыхающие превращаются в самые тихие на свете существа, наподобие домашних животных. Им разрешено выходить за пределы санатория, никто не чувствует себя под надзором, и поэтому никто оттуда не убегает.

Когда товарищ, пробыв неделю в Учебном центре веселья, вернулся, чтобы взять новые книги и переодеться, он рассказал, что приспособился к жизни в этом необычном месте гораздо быстрее и легче, чем любой из тихо улыбающихся больных, попавших туда до него. Но когда через три недели он снова приехал в Токио, то, хоть на его лице по-прежнему блуждала улыбка, он был печален. Вот что он откровенно рассказал жене и мне. Санитар, раздающий больным успокоительное и еду,— человек грубый, он нередко проявляет жестокость к беззащитным больным, которые, приняв успокоительное, ни на что не реагируют. Проходя мимо, он без всякого повода бьет их по животу.

Я предложил выразить протест руководству Центра, но товарищ сказал, что директор, видимо, убежден, что мы либо врем от скуки, либо страдаем обычной манией преследования, а может быть, и то и другое. «И это верно — во всяком случае, на побережье, где находится санаторий, не найти людей, скучающих больше, чем мы, ну и, кроме того, ведь все мы в той или иной степени душевнобольные. А тут еще успокоительное — мне и самому показалось, что я потерял способность раздражаться».

Дня через два после возвращения товарищ не выпил успокоительного во время завтрака, дневную и вечернюю порции тоже вылил в унитаз. На следующее утро он почувствовал, что по-настоящему зол, и тогда, подкараулив грубого санитара — товарищу, видно, тоже нема-

ло от него доставалось,— едва не убил его. Этим он снискал глубокое уважение тихо улыбающихся больных, но сам вынужден был покинуть санаторий. Когда он, пожимая руки провожавшим его душевнобольным, которые, как обычно, до глупости добродушно улыбались, уезжал из Учебного центра веселья, то ощутил глубокую грусть, как никогда прежде.

«Я испытывал печаль, как Генри Миллер, который говорил (правда, я до сих пор не уверен, что это действительно слова Генри Миллера): «Я тоже пытался улыбаться вместе со всеми, но не мог. Я был безмерно печален, за всю свою жизнь я никогда не был так печален». И это не просто слова. С тех пор меня восхищают и другие слова того же Миллера: «Разве не пребывают в радужном настроении, лишь когда все безразлично?..»

Я вспомнил об этом в разговоре с женой, когда, обессиленный и опустошенный, после похорон возвратился домой. Жена, дожидаясь меня, в одиночестве тянула виски. В тот день я впервые увидел ее пьяной.

Вернувшись домой, я тут же прошел в комнату жены и сына. Тогда ребенок находился еще дома. Было уже поздно, но он не спал, лежал в кроватке и смотрел на меня своими карими, ничего не выражающими глазами, смотрел спокойно, как смотрело бы растение, будь у него глаза, на человека, наблюдающего за ним. Жены в комнате не было. Потом я нашел ее в моем кабинете, в полной тьме, совершенно пьяную. Когда я увидел, как она, с трудом сохраняя равновесие, сидит, точно птица на качающейся ветке, на подставке для ног, стоявшей между книжными шкафами, то от непомерной растерянности испытал, скорее, стыд перед самим собой.

— Ты не больна? — спросил я жену.

— Нет, не больна,— ответила она насмешливо, сразу уловив мое замешательство.

— Значит, ты действительно напилась?

Я наклонился и увидел, что капелька пота, дрожавшая на верхней губе настороженно смотревшей на меня жены, скатилась вбок, следуя движению губы. Изо рта вырывалось тяжелое, пьяное дыхание. Нечеловеческая усталость, которую я принес с похорон товарища, разлилась по всему телу, и мне захотелось разрыдаться.

— Ты совсем пьяная.

— Да нет, не такая уж пьяная. Просто вспотела, но это от страха.

— Чего же ты боишься? Боишься за будущее ребенка?

— Мне страшно, что есть люди, которые способны покончить с собой, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола.

— Не этого тебе следует бояться.

— Может быть, и ты, Мицу, способен покончить с собой, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола,— вот отчего мне стало страшно.— Жена, не в силах преодолеть охвативший ее страх, опустила голову.

— Я не покончу с собой, у меня нет причины кончать с собой.

— А он что, был мазохистом?

— Почему ты спрашиваешь об этом, из любопытства?

— Возможно,— подавленно ответила жена, уловив в моем хриплом голосе раздражение (причина которого, правда, была неясна и мне самому),— видишь ли, если бы я знала, что у него была склонность ко всяким извращениям, я могла бы за тебя не бояться, правда?

Откинувшись назад, жена сочувственно посмотрела на меня. Отчаянная беспомощность ее покрасневших глаз привела меня в дрожь. Но она тут же прикрыла их веками и снова глотнула из бутылки. Ее припухшие верхние веки были черны, как грязные подушечки пальцев.

Вдруг она закашлялась до слез, из уголков рта потекла слюна, смешанная с виски. А я, ничуть не тревожась, что жена испачкает только что купленное светлое шелковое кимоно, взял из ее худой, жилистой, как у обезьяны, руки бутылку и механически тоже глотнул.

Я выпил еще глоток виски и тоже закашлялся, как жена. Виски влилось в меня теплом. И мне вдруг непреодолимо захотелось сказать жене какую-нибудь гадость: она сидела, опустив веки, такие темные, что их можно было принять за глаза,— это напоминало мимикрию мотылька.

«Хоть я и не мазохист, как он, это не значит, что тебе нечего бояться. Ведь в человеческой душе упрятан огромный импульс безумия, которому трудно противиться, и он неожиданно вызывает отклонение от нормы, в данном случае мазохизм. И не пристрастие к мазохизму породило в товарище ненормальность, приведшую к самоубийству. Скорее наоборот. Может быть, и во мне посеяны семена неизлечимой душевной болезни...»

Но всего этого я не сказал жене, и в извилинах моего усталого, отупевшего мозга такая мысль не пустила корней, хотя бы слабеньких, как у водорослей. Это лишь фантазия, которая, как пузырьки воздуха в стакане воды, вскипает и тут же исчезает. Я молча подошел к жене сзади, взял ее под мышки и поставил. Мне показалось кощунством нечистыми руками, которыми я прикасался к телу мертвеца, поддерживать загадочное хрупкое тело живой женщины, матери, дающей жизнь. И все же из этих двух тел, одинаково тяжелых для моих рук, тело мертвого товарища мне казалось более близким. Мы медленно направились в спальню, где лежал ребенок, но около туалетной комнаты жена вдруг уперлась, точно якорь бросила, и, как в воду, окунувшись в царивший в уборной теплый полумрак летнего вечера, вошла в нее. Она оставалась там долго. Когда же, наконец, вышла из тьмы, еще более сгустившейся, я отвел ее в спальню и, отказавшись от мысли раздеть, уложил в постель. Жена, глубоко вздохнув, точно выдохнула душу, впала в тяжелый сон. Вокруг губ поблескивала налипшая желтая пена, будто лепестки какого-то цветка.

Ребенок, по-прежнему широко открыв глаза, смотрит на меня, и я не в силах понять, чего он хочет: пить, есть или, может быть, ему нужно еще что-нибудь. Он лежит с открытыми, ничего не выражающими глазами, как растение в темной воде, и просто тихо существует. Он ничего не хочет, никак не выражает своих чувств. Даже не плачет. Временами начинаешь сомневаться, жив ли он. А что, если жена весь день, пока меня не было, пила и совсем забросила ребенка? Сейчас это просто пьяная женщина, спящая глубоким сном. Осознание огромного горя глубоко потрясает меня. Но мне также кажется кощунством прикоснуться к ребенку своими нечистыми руками, и я сникаю. Кроме того, мертвый товарищ представляется мне даже более близким, чем ребенок. Ребенок, пока я смотрю на него, безотрывно таращит на меня свои совершенно бессмысленные глаза. Через некоторое время из глубины этих карих глаз хлынул сон, которому невозможно противиться, словно огромной приливной волне. Так и не принеся ребенку бутылочку молока, я устраиваюсь у его кровати. Перед тем как уйти в небытие сна, я вдруг необычайно отчетливо осознаю весь ужас того, что меня окружает: товарищ, выкрасивший голову в красный цвет, уже кремирован, жена нежданно-негаданно напилась, ребенок — кретин. Не закрыв двери, не развязав галстука, как был — в траурной одежде, которая касалась трупа,— я втискиваюсь в узкую щель между кроватями жены и сына и пытаюсь заснуть. Прекратив всякие рассуждения, я превращаюсь в этот миг в наколотое на булавку бессильное насекомое. И я засыпаю, содрогаясь от чувства нависшей надо мной реальной уг-

розы, от чувства, что некое бестелесное существо пожирает меня. На следующее утро, проснувшись, я уже не мог четко восстановить ощущений прошлой ночи. И уж во всяком случае уроком мне это не послужило.

Прошлым летом товарищ встретил в одной из нью-йоркских аптек моего младшего брата. Возвратившись в Японию, он рассказал мне о жизни брата в Америке.

Мой брат Такаси поехал в Америку как участник студенческого театрального коллектива, руководимого женщиной — членом парламента от правого крыла оппозиционной партии. Этот театральный коллектив — можно сказать, ренегатский, в который входили студенты, принимавшие участие в политических акциях в июне 1960 года,— поставив покаянную пьесу «Наш собственный позор», как бы приносил извинение от имени раскаявшихся участников студенческого движения американским гражданам за то, что было сорвано посещение Японии их президентом. Такаси говорил мне, что присоединился к этому коллективу и отправился с ним в Америку, но у него свой план: как только они прибудут в Америку, он сразу же сбежит и будет сам путешествовать по стране. Однако из статей о «Нашем собственном позоре», который присылал то ли с издевкой, то ли стыдясь корреспондент одной из японских газет в Америке, я узнал, что Такаси вовсе не сбежал из театральной труппы, а все время выступал в «Нашем собственном позоре», который шел и в Вашингтоне, и в Бостоне, и в Нью-Йорке. Я пытался понять, почему же он, изменив свое первоначальное намерение, продолжает играть роль раскаявшегося участника студенческого движения, но мне не хватало воображения. Тогда я написал товарищу, который вместе с женой учился в университете в Нью-Йорке, письмо с просьбой сходить разок на спектакль, в котором участвует брат. Но товарищ все никак не мог собраться и встретился с ним совершенно случайно. Однажды, войдя в аптеку на Бродвее, он увидел моего низкорослого брата, который, облокотившись о высокую стойку, пил лимонный сок, ни на кого не обращая внимания. Когда товарищ, тихонько подкравшись, схватил его за плечо, тот, словно отпущенная пружина, так стремительно повернулся, что от неожиданности испугался сам товарищ. Такаси был какой-то грязно-потный, бледный, весь напряженный, будто его застигли врасплох в тот момент, когда он обдумывал план ограбления банка.

— Послушай,— начал товарищ,— из письма Мицу я узнал, что ты в Америке. Мицу женился, и его молодая жена уже беременна.

— Я не собираюсь жениться, не собираюсь, чтобы от меня беременели,— ответил Такаси, в голосе его еще чувствовалась растерянность.

— Ха-ха,— засмеялся товарищ, будто услышал остроумную шутку.— На следующей неделе я еду в Японию, ничего не хочешь передать Мицу?

— Но ведь и тебе, и жене нужно еще несколько лет учиться в Колумбийском университете?

— С этим покончено. Произошла неприятность — с головой у меня неладно. Не в такой, разумеется, степени, чтобы ложиться в психиатрическую лечебницу, но нелишне какое-то время побыть в санатории.

Увидев, как на лице Такаси, точно влажное пятно, разрастается жестокий стыд, товарищ понял, почему внезапная судорога свела лицо Такаси, когда он неожиданно хлопнул его по плечу. Добросердечный, он не мог не ощутить угрызений совести. Товарищ коснулся еще не зажившей раны раскаявшегося участника студенческого движения. Они оба замолчали и стали рассматривать ряды широкогорлых бутылок,

тесно составленных на полках за стойкой. Ряды широкогорлых бутылок, полных живительной золотистой влаги. Такаси и товарищ отражались в изогнутом стекле бутылок, и стоило им пошевельнуться, как их золотистые отражения, сильно раскачиваясь, готовы были запеть: Америка! Америка!

Поздней июньской ночью товарищ, так же как и Такаси, тогда еще нераскаявшийся участник студенческого движения, пришел к парламенту, правда, не столько из собственных политических убеждений, сколько из-за молодой жены, которая участвовала в небольшой демонстрации, организованной труппой театра Сингэки, и когда началась драка, он, пытаясь защитить жену от вооруженных полицейских, получил удар дубинкой по голове. В хирургическом отношении рана была несерьезной, но после той ночи, пахшей молодой листвой, товарищ сильно изменился, и у него начались явления маниакально-депрессивного психоза. Естественно, что он был тем человеком, с которым меньше всего хотелось бы встречаться раскаявшемуся участнику студенческого движения.

Товарищ, приходя во все большее замешательство от молчания Такаси, продолжал смотреть на широкогорлые бутылки, и ему стало казаться, что его глаза, расплавленные жаром замешательства, превратившись в такую же золотистую жидкость, какая была в бутылках, вот-вот выплеснутся наружу. Ему вдруг почудилось, что его расплавленные в золотистую жидкость глаза, как желток на поджаренный хлеб, вдруг упали на серебристую стойку, где плотно сдвинули потные голые локти американцы — и выходцы из южной Европы, и англосаксы, и евреи. Жаркое нью-йоркское лето, рядом Такаси — причмокивая, он высосал через соломинку осадок в стакане с лимонным соком и, нахмурившись, смахнул пот со лба.

— Если хочешь передать что-нибудь Мицу...— на прощание сказал товарищ.

— Скажи, что я собираюсь бросить труппу. Если у меня сорвется, то, наверно, вышлют — вот в чем дело. В общем, так или иначе, я больше не намерен оставаться в труппе — скажи ему об этом.

— Когда же ты от них уйдешь?

— Сегодня,— твердо ответил Такаси.

Напряжение, близкое к растерянности, в котором пребывал тогда брат, навело товарища на мысль, что Такаси чего-то ждет в этой аптеке. Смысл растерянности, отразившейся на лице брата, когда он подскочил, точно пружина, смысл его неожиданного молчания, смысл того, как он, причмокивая, тянул осадок лимонного сока, стали ему абсолютно ясными и, слившись в единую цепь, зажили своей собственной жизнью. В масляных тупых глазах брата, наводящих на мысль, что он занимается реслингом, на мгновение всплыли и тут же вновь утонули проблески чувства, и товарищ увидел в этом не скованность, проистекавшую оттого, что он встречался с плохими людьми, а нечто другое— скорее чувство сострадания к нему самому. Поняв это, он успокоился.

— Ждешь тайного связного, который поможет тебе бежать? — шутливо спросил товарищ.

— Сказать правду?! — в тон ему ответил Такаси.— За тем шкафом с лекарствами фармацевт перекладывает в маленькую бутылочку таблетки, видишь? — Товарищ наклонился вслед за братом и за шкафом, прикрывающим его, точно броней, бесчисленным множеством бутылочек с лекарством, увидел поглощенного тонкой работой лысого мужчину.— Это для меня лекарство. Если бы мне удалось без всяких хлопот заполучить вон тот большой флакон с лекарством, я бы давно сбежал от «Нашего собственного позора».

— А разве так трудно получить это лекарство? — спросил товарищ с недоступным, высокомерным видом, как бы отвергая этим взгляды окружающих.

— Если пройти необходимые формальности и лечь в больницу...— ответил Такаси, равнодушный к невинному психологическому ухищрению товарища.— Но это почти невозможно, во всяком случае, слишком хлопотно в этой самой Америке. То, что я сейчас передал фармацевту,— это рецепт, который мне удалось обманом достать у молодой медсестры-негритянки из отеля. Если о моей афере узнают, ее выгонят с работы, а меня вышлют из страны.

Почему Такаси не прошел необходимых формальностей? Дело в том, что он заразился, проведя свою первую ночь в Америке с проституткой-негритянкой, которая годилась ему в матери. И если бы это стало известно, добродетельная руководительница труппы немедленно отправила бы Такаси в Японию, из которой он с таким трудом вырвался. Из-за шкафа с лекарствами появился фармацевт с печальным лицом. Улыбка сразу же сползла с раскрасневшегося птичьего лица Такаси, на нем отразились одновременно надежда и тошнотворный страх, и товарищ, увидев это, тоже заволновался. Однако лысый фармацевт, похожий на ирландца, сказал с сердечностью:

— Здесь много таблеток, и это будет стоить очень дорого. Может быть, возьмете треть?

— Ха-ха! Ну что вы, совсем не дорого в сравнении со жгучей болью, мучившей меня столько времени,— сказал Такаси, к которому моментально вернулась развязность.

— В ознаменование того, что перед тобой, Така, открывается в Америке новая жизнь, заплачу я,— решительно сказал товарищ.

Теперь уже совсем повеселевший Такаси некоторое время рассматривал бутылочку, полную сверкающих таблеток, изяществом напоминавших хрупких девочек, а потом сказал, что сегодня же заберет свои вещи из гостиницы и в одиночестве отправится путешествовать по Америке. Товарищ и Такаси, стремясь быстрее покинуть «место преступления», вышли из аптеки и направились к ближайшей остановке автобуса.

— Ты действительно испытывал ужасные страдания, но теперь, когда все улажено, тебе, наверно, кажется незначительным до глупости то, что с тобой случилось, правда? — сказал товарищ, испытывая что-то вроде ревности к нежданной встрече бесконечно счастливого Такаси с таблетками в бутылочке.

— А разве не кажется случившееся незначительным до глупости, когда какое-то страдание устранено? — парировал Такаси.— Если после возвращения на родину и лечения в санатории ты выздоровеешь, разве не покажется тебе, что все это было незначительным до глупости?

— Только бы выздороветь! — воскликнул товарищ с надеждой.— Но если не выздоровею, это «незначительное до глупости» ляжет тяжким бременем на всю мою жизнь.

— Что же все-таки происходит с твоей головой?

— Неясно. Если прояснится и я справлюсь с этим, то начну, видимо, жалеть годы, потраченные впустую на эту незначительную до глупости штуку. Если же, наоборот, болезнь одолеет меня и превратится в бремя всей моей жизни, что в конце концов окончательно уничтожит меня, только тогда я, наверно, узнаю, что на самом деле со мной произошло. Конечно, для меня самого это уже не будет играть никакой роли. Человек, впавший в один из видов помешательства, не способен рассказать другим, что он постиг в своем до предела ограниченном состоянии,— печально закончил товарищ.

Такаси, казалось, проникся глубоким сочувствием к товарищу. Но в то же время стремился как можно быстрее расстаться с ним. Товарищ понимал, что его мучения тронули сердце Такаси. Тут подошел автобус, Такаси сел в него и через окно протянул товарищу экземпляр брошюры, сказав, что это в благодарность за оплату антибиотика, и отправился на другой конец огромного американского континента. Товарищ, да и я сам с тех пор не имели никаких известий о брате. Он, как и обещал, по-видимому, сразу же покинул труппу и в одиночестве отправился путешествовать.

В такси товарищ раскрыл брошюру, которую дал ему Такаси. Это был документальный очерк о движении за гражданские права. На первый странице он увидел фотографию негра, похожего на грубо вырезанную из дерева куклу, оттого что все лицо его вспухло, оплыло и черт было не разобрать, негра тащили белые в форменной одежде. Фотография была отвратительна тем, что в ней соседствовали комизм и трагизм, и, демонстрируя ничем не прикрытую грубую силу, захватывала смотревшего на нее человека, словно какой-то зловещий призрак. И этот призрак невольно напоминал, что ты раздавлен тяжким гнетом непреходящего, безысходного страха. В мироощущении товарища призрак сразу же легко, как сливаются две капли воды, соединился с душевной мукой от неведения, что происходит с его головой. И он подумал, что Такаси оставил ему брошюру с такой фотографией не случайно, что он коснулся его сокровенных мыслей.

— Уже потом я обратил внимание,— рассказывал товарищ,— что, кроме того, что фотоаппарат выхватил сознательно, была и периферия, запечатленная им бессознательно, нечто неожиданное, оказавшееся не в фокусе. Да, увидев этот памятный кадр, в котором граница между светом и тенью была смазана, я вспомнил, что, когда я подкрадывался к Така, он пил лимонный сок, внимательно рассматривая именно эту фотографию. Така, видимо, мучительно думал тогда об очень тягостных вещах. Он был погружен в размышления совсем не о неприятностях с рецептом, о которых он так подробно рассказывал, а о чем-то более значительном. Ты думаешь, Така — человек, способный прийти в уныние от такого пустяка, как легкая венерическая болезнь? Когда он меня спросил: «Сказать правду?» — меня потрясло, и я думаю, п р а в д а Така и то, что я услышал от него, диаметрально противоположны. Но что же это было на самом деле?

Сидя осенним рассветом на дне ямы с собакой на коленях, я не знал, что представляло собой н е ч т о, разраставшееся день ото дня в голове товарища и в конце концов приведшее его к шутовской смерти, так же как не знал, что представляло собой н е ч т о в голове брата, к которому товарищ смог хотя бы прикоснуться. Смерть внезапно оборвала нить, которая привела бы к пониманию. Существует н е ч т о, которое не может быть передано оставшимся в живых. А у оставшихся в живых возникает подозрение, которое становится все неотступнее, что покойник предпочел смерть, возможно, из-за этого непередаваемого н е ч т о. И хотя это н е ч т о, истинное содержание которого неизвестно, часто приводит оставшихся в живых к месту трагедии, но и тогда ставшим ее свидетелями ясно лишь, что вело их необъяснимое. Если бы мой товарищ вместо того, чтобы повеситься, выкрасив голову в красный цвет и раздевшись догола, умер, например, через секунду после того, как прокричал что-то в телефонную трубку, может быть, это стало бы какой-то зацепкой. Конечно, если то, что он сделал — выкрасил голову, разделся догола и потом повесился,— представляло собой один из видов беззвучного крика. Но оставшиеся в живых одного этого крика все равно не услышат. Я не в силах развивать эту эфемерную зацепку. И все же из оставшихся в живых именно мне

легче, чем кому-нибудь другому, понять покойного товарища. Мы были с ним неразлучны с первого курса университета. Находили даже, что мы похожи, как близнецы.

Если говорить о внешности, то действительно товарищ был похож на меня даже больше, чем Такаси. Брат на меня совсем не похож. Мне даже кажется, что нечто, поселившееся в голове покойного товарища, для меня доступнее, чем нечто в голове Такаси, блуждающего по Америке. Осенним вечером 1945 года одного из двух моих братьев, вернувшегося с войны, избили до смерти в корейском поселке, прилепившемся, точно нарост, у выхода из долины, где расположена наша деревня, и мужчинами в доме остались мы с Такаси, и тогда я услышал, как больная мать говорила нашей младшей сестре:

«Эти двое совсем дети, и внешне они еще не сформировались, но, я думаю, Мицусабуро вырастет некрасивым, а Такаси станет красавцем и будет жить в довольстве, окруженный любовью. Я прошу тебя, не разлучайся с Такаси, а когда вырастешь, он станет для тебя надежной опорой».

После смерти матери сестра с братом воспитывались в доме дяди — все произошло, как хотела мать, но сестра покончила с собой, так и не успев стать взрослой. У нее не было ярко выраженных симптомов кретинизма, как у моего ребенка, она была умственно отсталой, очень чувствительной к музыке, вернее, к каким-то определенным звукам, в общем, девушкой, которая, как и предвидела мать, не могла жить, не имея опоры...

Собака залаяла. Внешний мир оживает, охватив со всех сторон меня, сидящего на дне ямы. Сверху заглядывает какой-то человек. Покрепче прижав собаку, я запрокидываю голову. Беспокойство собаки передается и мне, я испытываю настоящий животный страх. Утренние лучи мутны, как глаз, затянутый катарактой. Небо, которое на рассвете белело в вышине, сейчас потемнело и низко нависло. Если бы оба мои глаза видели, утренние лучи, возможно, богаче наполняли бы пейзаж (эта твердо усвоенная мысль, связанная с оптикой, часто посещает меня), но единственный оставшийся глаз огрубел и видит лишь обнаженное темное утро. Весь выпачканный, сидя в яме, я ковыряю пальцами земляную стену. Меня мучат: снаружи — пронизывающий холод, изнутри — жгучий стыд. Заслоняя темное небо, темнее даже, чем само небо, загородив, точно падающая башня, отверстие ямы, вновь появляется тень приземистого, широкоплечего человека. Он похож на вставшего в рост краба. Собака, по-моему, взбесилась. Я испытываю страх и стыд. Точно град, рассыпается по дну ямы звук, будто разлетелось на бесчисленные осколки стекло. Изо всех сил я напрягаю свой единственный глаз, пытаясь рассмотреть лицо великана, сверху, словно бог, глядящего в яму, и от стыда растерянно и, наверно, глупо улыбаюсь.

— Как зовут собаку? — спрашивает великан.

Он произносит совсем не те слова, которых я боялся. Я спасен; вернувшись на почву будничности и наконец вздохнув с облегчением, успокаиваюсь. Этот человек, пожалуй, будет виновником скандала, которой разразится поблизости. Но это будет скандал, не выходящий за рамки будничности, а совсем не всепоглощающий скандал, которого секунду назад я боялся и стыдился. Не скандал, когда у человека, втянутого в него, от страха и стыда из каждой поры вылезает отвратительный жесткий волосок, как у пуделя, не скандал, когда, точно пружиной, отбрасывается все человеческое. Это будет уютный скандал, такой вспыхивает, когда застают с пожилой служанкой. И собака на моих коленях, почуяв, что ее защитник избежал опасности, связанной со странным нечто, притихла, как заяц.

— Что, выпили и свалились туда? — мужчина похоронил мои действия на рассвете в убийственной будничности.— Утром туман-то был густой.

Повернувшись к нему, я осторожно киваю и, продолжая обнимать собаку, поднимаюсь. К коленям, которые были до этого сухими, точно слезы, побежали капельки воды. Мужчина почему-то отошел на шаг, и теперь я вижу всю его фигуру. Это молодой разносчик молока в специальной куртке, напоминающей спасательный жилет, в котором каждую воздушную трубку заполняет бутылка молока. Стоило ему вздохнуть, и вокруг него раздавался звук трущихся друг о друга бутылок. Казалось, он дышит слишком тяжело. У него плоское лицо с приплюснутым носом, почти без переносицы, а глаза, как у человекообразной обезьяны, казалось, не имеют белков. И этими карими глазами он многозначительно смотрит на меня и глубоко вздыхает. Его дыхание кажется белой бородой, вьющейся у маленького подбородка. Боясь уловить в выражении его лица какой-то тайный смысл, я перевожу взгляд на краснолистый кизил позади него. Когда глаза твои на пять сантиметров выше уровня земли, то видна лишь сверкающая красным обратная сторона листьев кизила. Цвет этот — угрожающе-багровый и в то же время спокойно-пламенеющий, как огонь на картине ада, которую я каждый год в день рождества Будды видел в нашем деревенском храме (ее пожертвовал прадед после печальных событий 1860 года). Получив у кизила знак, смысл которого был не совсем ясен, я сказал себе: ладно. Потом опустил собаку на перекопанную землю, где ярко-зеленая и вялая трава соседствовали с черной грязью. Собака радостно убежала, видно, все, что происходило с ней до этого, она терпела с трудом. Я стал осторожно подниматься по лестнице. Были слышны голоса по крайней мере трех пород птиц, гудки автомобилей. Если не быть внимательным, трясущиеся от холода ноги соскользнут с лестницы. Когда на поверхности земли появилась во весь рост моя дрожащая фигура в перепачканной пижаме в голубую полоску, разносчик молока отступил еще на шаг. Я почувствовал соблазн припугнуть его, но, конечно, не сделал этого, а вошел в кухню и сразу же захлопнул дверь.

— Я увидел вас в яме и принял за мертвеца! — точно оправдываясь, обиженно прокричал мне вслед разносчик, потому что я вошел в дом, даже не взглянув на него.

Возле комнаты жены я остановился и прислушался: спит она или уже проснулась? Потом снял пижаму и стал обтираться. Подумал было принять ванну и как следует смыть грязь, но поленился. В какой-то момент я утратил желание держать тело в чистоте. Я дрожу все сильнее. Полотенце стало черным, и тогда, наконец, я включил свет и как следует рассмотрел руки: оказалось, что пальцы, которыми я ковырял земляную стену, ободраны и кровоточат. Я не стал искать йод, а просто обмотал их полотенцем и, продолжая дрожать, вернулся в свою одинокую спальню, одновременно служившую мне и кабинетом. Дрожь не проходила, видно, поднялась температура. Нестерпимо болели не только пораненные пальцы — тупо ныло все тело. Это самая противная боль, которую я обычно испытываю на рассвете. Я вдруг понимаю, что, бессознательно выковыривая из земли осколки кирпича и разрушая земляную стену, я, видимо, пытался заживо похоронить себя. Дрожь и тупая боль становятся нестерпимыми. Наконец, я хоть немного постиг смысл того, что испытывал, просыпаясь на рассвете в те дни, когда все тело распадалось на мелкие кусочки и каждый из этих кусочков тупо ныл.

## 2. СЕМЬЯ ВОССОЕДИНЯЕТСЯ

Во второй половине дня, когда пришла телеграмма, что брат неожиданно бросил свою бродячую жизнь в Америке и возвращается в Японию, мы с женой в аэропорту Ханэда встретились с его юными друзьями. Над Тихим океаном пронеслась буря, и самолет опаздывал. Тогда мы сняли номер в отеле аэропорта и стали ждать опаздывающий самолет. Жена, стараясь спрятать лицо в тень, села в низкое кресло спиной к окну с приоткрытыми пластмассовыми жалюзи (нельзя сказать, что жалюзи полностью задерживали лучи солнца, проникавшие снаружи,— в комнате, точно дым, которому некуда улетучиться, брезжил рассеянный свет) и тихонько потягивала виски. В левой руке, темной, как деревянный навес после дождя, она зажала высокий резной стакан, у ее ног, рядом с туфлями, стояла бутылка виски и ведерко со льдом. Виски жена захватила из дому и только лед купила в отеле.

Друзья брата сидели на застеленной кровати, тесно прижавшись друг к другу, точно звереныши в норе, и, обхватив колени, смотрели спортивную программу по транзисторному телевизору, пищавшему, как москит. С этими юнцами (Хосио и Момоко) я уже дважды встречался. Вскоре после того как брат, получив от товарища деньги на лекарство, исчез, эти двое пришли ко мне узнать его новый адрес. Через несколько месяцев они снова пришли и потребовали денег, чтобы отправить ему кое-какие вещи,— брат, видимо, сообщил о себе, во всяком случае, им, а не мне удалось установить с ним связь, но дать его адрес они отказались. На нас с женой никакого впечатления они не произвели, и лишь сознание, что они очень преданы брату и его отсутствие совсем выбило у них почву из-под ног, внушало к ним некоторое чувство благодарности.

Потягивая виски, которое в сумеречном свете комнаты казалось черным, я смотрел сквозь слегка приоткрытые жалюзи на огромное летное поле, где беспрерывно взлетали и садились неповоротливые реактивные самолеты и верткие — винтовые.

— Как сильно опаздывает самолет — буря, видно, ужасная, правда?

— Кто знает, какая буря.

— Самолет, наверно, кидает из стороны в сторону, и брату очень страшно. Он ведь до ужаса боится физических страданий, а тем более гибели в авиационной катастрофе.

— Смерть при авиационной катастрофе мгновенна, так что физических страданий не испытаешь.

— Така ничего не боится,— вмешался в наш разговор Хосио — с очень серьезным, сосредоточенным видом. Я заинтересовался — это были первые за весь день слова, которые он произнес, не считая приветствия.

— Така боится. Он принадлежит к категории людей, которые живут в вечном страхе. Это было, правда, еще в детстве. Он как-то поранил палец и показалась крохотная капелька крови — сотая миллиграмма, но его вырвало и он потерял сознание.

Это была кровь, появившаяся из ранки, когда я тихонько ткнул его острием ножа в средний палец правой руки. Брат похвалялся, что ему, мол, нипочем, если даже располосуют всю ладонь. Тогда я и решил проучить его. Он всегда утверждал, что не боится никакого насилия, никакого физического страдания и даже смерти, а я постоянно с ним спорил — это была своего рода игра. Брат же, забывая, что его можно проучить, страстно желал, хотя бы в игре, испытать себя.

— Така не боится! Я сам видел, каким смелым был Така на июньской демонстрации. Така совсем не боялся.

Меня даже удивило, как примитивно и в то же время упорно он возражает. Жена тоже слушала, не сводя с него глаз. И я по-новому взглянул на юношу, который, выпрямившись, сидел на кровати и смотрел на меня. Внешне он был похож на молодого крестьянина, недавно ушедшего из деревни. Крупные черты лица, каждая в отдельности не безобразна, но, взятые вместе, удивительно непропорциональны, словно плохо подогнаны одна к другой, и поэтому его угрюмое лицо, точно прикрытое прозрачной сеткой, выглядит комично. И это типичное для крестьянских детей ничем не пробиваемое упорство. Парень — в шерстяной полосатой куртке неопределенного цвета вроде вялой зелени, изрядно помятой и потерявшей форму — он похож в ней на огромную дохлую кошку.

— Така как раз хотел стать жестоким человеком, для которого ничего не стоит совершать насилия, но дальше мелкого хулиганства не шел. Разве это имеет что-либо общее со смелостью? — попытался я прекратить спор, парировав возражения юноши и совсем не собираясь убеждать его.— А ты не выпьешь виски или водки?

— Я не пью! — ответил юноша слишком уж решительно, даже с подозрительным отвращением и протестующе выставил руку.— Така сказал, что человек, употребляющий алкоголь, не в силах защитить себя, когда на него нападают. И если пьющий подерется с непьющим, то даже при равной силе и ловкости обязательно победит непьющий.

Я не стал настаивать и налил себе водки, а жене, которая, казалось, сгорала от любопытства, не посещавшего ее уже несколько месяцев,— виски.

— Твой Така правильный человек — это точно. Сегодня я впервые встречусь с ним, и я очень рада, что у меня такой правильный деверь.

Когда жена произнесла это, юноша, у которого даже и в мыслях не было, что пьяная женщина издевается над ним, приветливо помахал ей рукой, потом отвернулся от нас к неинтересной спортивной программе. Тихонько он уточнил счет игры у девушки, которая за все время нашего разговора не оторвала глаз от телевизора. А нам с женой не осталось ничего другого, как замолчать и снова погрузиться в питье.

Казалось, что его опоздание будет длиться бесконечно. Уже наступила ночь, а он все еще не прилетел. Аэродром, на который я продолжаю смотреть сквозь приспущенные жалюзи, похож на чуть светящуюся теплым голубым и горячим оранжевым светом чашу, вырытую в грязно-молочном темном утесе города, ночь опустилась на края этой чаши и, кажется, навеки застынет там. Устав, мы погасили электричество, но телевизор, который все еще смотрели друзья брата, ожидая конца соревнований, хотя и не мог рассеять мрак, продолжал слабо мерцать — он превратился в единственный источник света в нашей комнате. Телевизор жужжит, как пчела, и я начинаю подозревать, не в голове ли это у меня шумит?

В комнате стоит запах перегара, исходящий от жены. Мое обоняние, когда я немного протрезвел, точно улавливает, как удары пульса, каждый ее вздох. Отопление работает слишком сильно, и я, чтобы проветрить комнату, приоткрываю двойную раму; сквозь узкую щель, словно вихрь, врывается резкий вой реактивного самолета. Изо всех сил напрягаю свой единственный глаз, медленно реагирующий от перенапряжения, пытаясь перехватить самолет, должно быть идущий на посадку. Но успеваю заметить лишь два параллельных огонька, быстро удаляющихся во тьму, теперь еще более грязно-молочную. Взлеты реактивных самолетов становятся все реже, кажется, что весь аэропорт

скован параличом. Застывшая от страха ночь, залитая светом, от которого ей некуда укрыться. Стайка самолетов цвета сушеной рыбы, замерших в тепло-голубом и жарко-оранжевом хаосе.

Сидя в комнате, мы терпеливо ждем опаздывающий самолет. Я не говорю о «гвардии» брата, но для меня и жены его возвращение не имеет, казалось бы, особого значения, и тем не менее мы упорно ждем, как будто брат сообщит нам какой-то существеннейший импульс, способный возродить нас. Вскрикнув «а-а, а-а», Момоко буквально подскакивает на кровати. До этого она, свернувшись калачиком, спала прямо на покрывале. Хосио, лежавший на полу, встает и подходит к кровати. Жена со стаканом виски в руках, поднявшая голову, точно норка, и я, растерянно стоящий спиной к жалюзи, бессильны помочь девушке, мучимой кошмарами, и при свете телевизионной трубки лишь смотрим на заострившееся от напряжения и ставшее похожим на перевернутый треугольник лицо Момоко, по которому катятся огромные, сверкающие, как капельки вазелина, слезы.

— Самолет упал, он горит, горит! — захлебывается слезами девушка.

— Не упал самолет, не плачь! — сердито басит юноша, будто стыдясь перед нами за плачущую девушку.

— Лето, лето! — вздохнула Момоко, рухнула на кровать, снова свернулась калачиком и отправилась в другой сон.

Воздух в комнате действительно летний. Руки потеют. Почему этим двоим, еще совсем детям, непременно, как ангел-хранитель, нужен брат, и они даже во сне в эту долгую ночь напряженно ждут его? Неужели брат именно тот человек, который нужен их истосковавшимся в ожидании сердцам? И с чувством сострадания к юному другу брата я взываю к нему:

— Может, выпьешь хоть каплю виски?

— Нет, не пью я.

— Неужели до сих пор тебе не случалось выпить хоть каплю спиртного?

— Мне? Раньше, конечно, пил. Когда кончил школу и работал поденно. Три дня, бывало, работаешь, а на четвертый с утра до ночи хлещешь джин. По дороге домой поспишь немного, но так напиваешься, что спишь ли, не спишь ли — все равно пьяный, а сны снятся приятные,— сказал юноша с неожиданной теплотой, подойдя ко мне и прислонясь к жалюзи, отчего они зашелестели. Потом на его лице впервые появилась улыбка, и глаза ярко заблестели, что я почувствовал даже в темноте. Для него этот разговор наполнен, видимо, особым смыслом.

— Почему же ты перестал пить?

— Потому что встретился с Така, и Така сказал: больше не пей, жизнь нужно делать т р е з в ы м. Потому и бросил. И с тех пор ни одного сна не видел.

Такаси проявляет педагогические способности. Никогда не замечал этого за ним. Брат авторитетно заявляет юноше: больше не пей, жизнь нужно делать т р е з в ы м. И этого достаточно, чтобы молодой рабочий перестроил свою сломанную жизнь. И вот юноша непринужденно, с улыбкой вспоминает об этом!

— Вот вы говорите: смелый Така, не смелый,— вернулся он к вечернему спору, видя, что разговор о спиртном привел меня в хорошее настроение. Еще когда он по-собачьи примостился на полу, он, видимо, все время с тревогой думал о том, как бы вернуть славу своему ангелу-хранителю.— Во время июньской демонстрации один лишь Така делал совсем не то, что делали другие. А вы об этом не знаете, потому и говорите так.— Хосио бросился в атаку, яростно размахивая новыми

доказательствами. Он наклонился, глядя прямо на меня сверху вниз, и я ответил на взгляд, посмотрев с некоторым сомнением в его глаза, казавшиеся в темноте двумя шрамами.— Така присоединился к нападающим и жестоко избивал своих вчерашних и завтрашних друзей!

Юноша тихо, но с нескрываемой радостью, задорно рассмеялся. Тлевшую во мне ненависть точно снова разворошили палкой.

— Эта авантюра была не более чем капризом Така, ничем не оправданным бахвальством — вот что это. И ничего общего со смелостью.

— Только из-за того, что у парламента избили вашего товарища, вы, услышав, что Така был среди тех, кто избивал и сам размахивал дубинкой, теперь возненавидите его, — с неприкрытой враждебностью сказал юноша.— Потому-то вы и не хотите признавать смелости Така.

— Избил моего товарища полицейский. Така не мог этого сделать. Ты говоришь о разных вещах.

— Но ведь в темноте, да еще в такой свалке разве разберешь, кто избивал,— съязвил юноша.

— Все равно я не верю, что Така способен проломить кому-то череп, ударить человека так, чтобы тот сошел с ума и покончил с собой. Я ведь еще с детства помню, какой Така малодушный.

Сказав это, я сразу же утратил желание вести этот бесцельный спор. Я почувствовал усталость, почувствовал, как безотчетная злость, будто вылившись из больного зуба, оставила во рту противный привкус. Ожили воспоминания об умершем друге, и я упрекнул себя: неужели вести спор с этим неоперившимся птенцом — самое главное, что должен сделать для покойного оставшийся в живых? Не значит ли это, что оставшийся в живых абсолютно ничего не способен сделать для покойного? После того, что, казалось бы, без всяких видимых причин произошло в последние месяцы — умер товарищ, начала пить жена, пришлось поместить в клинику ребенка,— после всего этого (а может быть, все это было связано с тем, что копилось во мне еще раньше) меня охватило совершенно отчетливое предчувствие, я уверовал, что умру еще более бессмысленно и глупо, чем товарищ. И те, кто останется в живых после меня, наверно, ничего разумного для меня, умершего, не сделают.

— Вы не понимаете Така, вы ничего не знаете о Така. Вы и правда совсем на него не похожи. Вы — точно крыса. Зачем вы пришли сегодня встречать Така? — выкрикнул неожиданно душераздирающим, плачущим голосом юноша.

Я отвернулся, чтобы не видеть его жалкое, в слезах лицо, а он отошел от меня, прилег на кровати рядом с подругой и не проронил больше ни звука.

Я взял стоявшую у ног жены бутылку виски и бумажный стаканчик, который дают пассажирам, когда они покупают еду, и глотнул возбуждающей вонючей жидкости. Жена покупает только самое дешевое виски. Обжегши горло, я надолго закашлялся, словно чумная собака.

— Эй, крыса, чего ты всю ночь глазеешь на аэродром? Разговор есть, крыса,— невозмутимо окликнула меня жена, даже в опьянении сохранявшая ясность мыслей.

Осторожно держа в руках бутылку виски и бумажный стаканчик, я присел у ее ног.

— Если Така спросит о ребенке, что мы ему скажем?

— Наверно, лучше всего промолчать.

— Ладно, но если Така спросит, почему я пью, снова промолчать не удастся,— сказала жена, которую опьянение делало удивительно логичной.— Правда, ответ на один из этих двух вопросов снимает не-

обходимость отвечать на другой, так что проблема, казалось бы, упрощается.

— Совсем не упрощается. Если бы ты ясно сознавала причинно-следственную связь между этими двумя проблемами, ты бы преодолела и проблему ребенка, и проблему пьянства. Нового ребенка нужно зачать трезвой.

— Не пей, человек должен делать жизнь трезвым — Така будет и меня поучать? Но у меня нет желания переучиваться,— сказала жена решительно. Я наполнил ее стакан виски.— А может быть, Така думает, что мы придем встречать его с ребенком?

— Брат не в том возрасте, когда уже начинают думать о детях. Он ведь и сам еще не вполне сформировался.

Мне показалось, что жена видит тень нашего ребенка между своим левым и моим правым коленом. Она поставила стакан на узкий подлокотник кресла, вытянула освободившуюся руку и сделала такое движение, будто гладит очертания толстенького укутанного ребенка,— это усилило мою растерянность, безысходное негодование.

— Все равно я предчувствую, что Така в подарок привезет игрушечного медвежонка и все мы окажемся в глупейшем положении.

— У него нет денег покупать игрушки,— говоря это, я не мог не признать, что, как и жена, не стремившаяся рассказывать о несчастном ребенке деверю, с которым встречалась впервые, я тоже испытывал желание избежать этого.

— Что за человек Така, чуткий или бесчувственный?

— Он сочетает в себе большую чуткость с поразительной бесчувственностью. Во всяком случае, он не из тех людей, которые в твоем нынешнем положении особенно желательны как родственники, когда встречаешься с ними впервые,— сказал я, и тогда юноша, резко повернувшись на кровати, весь съежился и тихо чавкнул, как раздавленная клецка. «Гвардия» Такаси собирается, видимо, возражать.

— Я не хочу, чтобы меня кто-то допрашивал,— перешла жена к самозащите, внезапно вспылив и тут же стихнув, точно мяч, замерший на высшей точке взлета.

— Конечно, с какой стати тебя будет кто-то допрашивать. И нечего тебе бояться Така. Просто ты напряжена оттого, что предстоит встреча с новым родственником. Да и нет ничего такого, чего ты должна бояться, и ты действительно сейчас ничего не боишься.

Я пытался успокоить жену, опасаясь, что она начнет бесконечное падение по упрятанной в ней самой винтовой лестнице истерического самобичевания или самосострадания. Потом я снова наполнил ее стакан виски. Если жена не хочет сама заснуть, нужно заставить ее хоть чуточку перешагнуть обычный для нее рубеж опьянения. Наконец, она перешла рубеж. Суровые черты лица жены, лежавшей навзничь с закрытыми глазами, смягчились, лицо стало детским. Рука со стаканом плавает над коленями. И как только я забираю его, сухая, вся в черных прожилках, она, словно мертвая ласточка, падает на колени. Жена уже спит. Проглотив ее недопитое виски, я передергиваю плечами, зеваю и, следуя примеру юноши, укладываюсь прямо на полу (ты — точно крыса), собираясь влезть в неустойчивую вагонетку сна.

Мне снится, что я стою на перекрестке широкой улицы, по которой ходят трамваи, и узкого переулка. За моей спиной снуют огромные толпы людей, и чужие тела, беспрерывно толкая меня в спину и в бока, исчезают. Судя по буйству листвы на деревьях, растущих вдоль тротуара,— конец лета. Это — безбрежное буйство, такое же, как в густом лесу, окружающем нашу деревню. Расстилающийся передо мной еще один мир, на который я, отвернувшись от оставшегося за моей спиной суетного мира, смотрю, будто прильнув лицом к поверх-

ности воды и разглядывая дно, пребывает в глубоком покое. Почему он так покоен? Потому что все люди, медленно идущие по тротуарам,— старики. Потому что люди в автомобилях, едущих по мостовой, тоже старики, и люди, работающие в барах, аптеках, галантерейных, книжных магазинах, и их посетители — все старики. Потому что в парикмахерской на углу до горла закутанные в белые салфетки клиенты, отражающиеся в огромных зеркалах, виднеющихся сквозь наполовину распахнутые венецианские окна,— все старики, парикмахеры — тоже старики. За исключением клиентов парикмахерской и самих парикмахеров, у всех стариков шляпы глубоко надвинуты на уши, они в черных одеждах, а на ногах у них что-то напоминающее резиновые сапоги. Эти пребывающие в абсолютном покое старики вызывают у меня тягостное чувство, будят какие-то беспокойные воспоминания. Потом среди стариков, заполнивших улицу, я вдруг замечаю покойного товарища и нашего ребенка, помещенного в клинику,— они тоже в надвинутых на уши шляпах, в черных одеждах и в высоких сапогах. Они то появляются, то исчезают среди стариков, к тому же от остальных стариков почти не отличаются, и поэтому невозможно точно, раз и навсегда установить, какой из стариков — товарищ, какой — ребенок, но и сама эта неопределенность не является препятствием для моего восприятия. Безмолвные старики, запрудившие улицу, связаны со мной. Я испускаю вопль отчаяния, потому что какая-то неведомая сила не позволяет мне бежать в их мир.

«Я бросил вас!»

Но мой крик начал кружить вокруг меня, превратившись в бесчисленные эхо, и мне неясно, долетел он до мира стариков или нет. Старики медленно шествуют, тихо едут в машинах, старательно выбирают книги, застыли в зеркалах парикмахерской — и так навсегда, навсегда. Меня охватывает тоска, растаптывающая нутро. Почему же я их бросил? Потому что не я выкрасил голову в красный цвет и не меня кремировали вместо товарища, потому что не я превратился в забитого звереныша, брошенного в клинике, вместо ребенка? Каким образом мне это стало ясно? Это стало абсолютно ясно из того, что я не существую на этой летней улице вместе с ними как безмолвный старик в шляпе, надвинутой на уши, в черной одежде, в высоких сапогах.

«Я бросил вас!»

Я уже понимаю, что это сон, но это не облегчает моего угнетенного состояния, в которое повергают меня призраки тихих стариков. Реальнее всего я ощущаю именно их.

На мое плечо ложится тяжелая рука. Не отдавая себе еще отчета, от чего — от яркого ли света или от стыда, я плотнее смежаю веки. Когда же я пересиливаю себя и открываю глаза, то вижу, что на меня пристально смотрит брат, похожий на охотника, в куртке с бобровым (или под бобра) воротником и в грубых брюках. Лицо его, дочерна загоревшее, отливает медью.

— Ну,— будит меня брат.

Поднявшись, я вижу на кровати, напротив себя, девушку, которая, склонившись, берет одежду темно-коричневого цвета. Почти голая девушка, на которой в разгар зимы нет ничего, кроме трусиков, одевается. За этим внимательно, точно стража, наблюдают моя жена и Хосио. Полуобнаженная Момоко выглядит жалкой, точно ощипанный цыпленок, и я вместо чувственности вижу в ней осколок безжизненного хладнокровия.

— Костюм индеанки из дубленой кожи. Единственная вещь, купленная мною в Америке. Чтобы добыть деньги, пришлось продать кулон сестры.

— А, ничего,— я стараюсь скрыть огорчение из-за утраты единственной вещи, оставшейся на память о сестре.

— От этого кулона одно только беспокойство было,— сказал Такаси с таким видом, точно в самом деле освободился от хлопот, и, словно забавляясь, стал подгребать ногой к окну оставшиеся с ночи бутылку из-под виски, стаканы, грязную посуду от ужина, а потом подтянул до верха жалюзи.

Утро. Под небом, обложенным тучами, разлит белесый слабый свет, на летном поле, подернутом дымкой тумана, плотной стаей, словно саранча, стоят самолеты. И здесь тоже, в несравненно большем, в колоссальном масштабе, я увидел безжизненное хладнокровие, обнаруженное в голой девушке, и убедился, что это состояние, вызванное и похмельем после вчерашней выпивки, и недосыпанием, гнездится скорее во мне самом.

Освещенная слабым светом, проникавшим из окна, Момоко растерянно вертит головкой, торчащей из большого круглого ворота ее кожаного костюма. Он едва прикрывает ей зад — это ее, видимо, смущает. Однако лицо Момоко светится простодушной гордостью оттого, что единственный подарок Такаси привез ей. И хотя говорит она о своем кожаном костюме ворчливым тоном, слова ее звучат как песня нескрываемой радости.

— Моя кожа и эта кожа почему-то цепляются друг за друга. Какие шнурки в каких петлях завязывать, никак не могу разобраться, Така,— очень уж много здесь их нашито. Индейский счет, наверно, бинарный? Потому-то они и могут так ловко управляться со всеми этими шнурками.

— К бинарному счету они не имеют никакого отношения,— радостно подхватывает юноша, неуклюже пытаясь прийти ей на помощь.— Продетые сквозь кожу шнурки, наверно, просто для украшения.

— Пусть для украшения, но не рви же их!

Моя жена, присоединившись к теплой компании, собравшейся вокруг индейского костюма, изо всех сил помогает одевать Момоко. Я поражен, обнаружив свою сегодняшнюю жену естественно слившейся с «гвардией» брата. Пока я смотрел свой горько-постыдный сон, сошедший с прилетевшего, наконец, самолета Такаси каким-то колдовским способом сдружил мою жену с юнцами. Чувство беды, с которым еще вчера ночью была обручена жена и которым сумела заразить и меня,— сегодня лишь мое достояние.

— Ребенок страдает тяжелым мозговым заболеванием, и в конце концов пришлось поместить его в клинику.

— Я уже слышал об этом,— сказал брат печально, что меня даже немного утешило.

— Через пять недель мы поехали за ним, но даже за этот короткий период ребенок настолько изменился, что ни я, ни жена не могли признать в нем своего сына. Он, естественно, тоже нас не признал. У него такой вид, будто над ним совершили что-то ужасное. Кажется, что он мертвее мертвого. Вот мы и вынуждены были оставить его там,— закончил я тихо, чтобы не услышала жена.

В выражении лица молча слушавшего меня брата — неподдельная печаль, такая же, как в ту минуту, когда я проснулся; она звучала в его голосе, когда он сказал о нашем несчастном ребенке: «Я уже слышал об этом», и она, не встречая противодействия, проникла в сокровенные уголки моих чувств. Я и не предполагал, что мой брат может испытывать такую глубокую печаль, свойственную зрелому человеку, и понял, что затронул в нем частицу того, что ему пришлось пережить в Америке.

— Ты и об этом слышал?

— Нет, не слышал. Но понял, что произошло что-то ужасное,— сказал брат тихо, еле шевеля губами.

— Ты слышал, что мой товарищ покончил с собой?

— Слышал. Он был несколько своеобразным, верно?

Я догадался, что Такаси уже знает подробности самоубийства. Я впервые услышал слова скорби по поводу смерти товарища от человека, который был для него почти посторонним.

— Я чувствую, что вокруг меня сейчас все дышит смертью.

— В таком случае, Мицу, ты должен вырваться из этого круга и войти в сферу жизни. Иначе, Мицу, яд смерти пропитает тебя насквозь.

— Это ты в Америке стал фаталистом, а?

— Совершенно верно,— окончательно добил меня брат, разгадав, что своими словами я пытаюсь скрыть эхо, рожденное моей внутренней пустотой.— Но я и в детстве был таким, потом случайно выбросил это, а теперь снова подобрал. Ты разве не помнишь, как мы с сестрой построили соломенную хижину и долго в ней жили? В то время мы старались уйти от духа смерти и вели новую жизнь. Ведь это случилось вскоре после того, как был убит наш брат S.

Не поддакивая и не возражая, я смотрел на Такаси, и тогда в его глазах, устремленных на меня, появилось нечто сходное с недоверием и, разрастаясь, начало превращаться во что-то опасное, жестокое. Он всегда терял самообладание, когда что-либо напоминало ему о смерти сестры. И сейчас все осталось по-прежнему. И так же, как внезапно ломается сталь, когда ее слишком сильно сгибают, в глазах Такаси в мгновение растаяла начавшая затвердевать вспышка.

Я вновь удивился.

— В конце концов сестра умерла, но очарование той новой жизни оставило свои ростки. Смерть сестры была, наверно, ради того, чтобы заставить меня жить дальше. Ведь лишь из-за того, что умерла сестра, дядя согласился отправить меня в университет в Токио. Если бы я остался жить в деревне с дядей, я бы умер с тоски. Но ты, Мицу, разве не понимаешь, что должен немедленно начать новую жизнь, не то потом будет слишком поздно?

— Новую жизнь? Ну а где моя соломенная хижина? — пытался я отделаться от брата шуткой, но, откровенно говоря, слова «новая жизнь» не оставили меня равнодушным.

— Ну какую ты сейчас, Мицу, ведешь жизнь? — серьезно спросил Такаси, давая понять, что прекрасно видит мои колебания.

— Сразу же после смерти товарища я отказался от курса лекций, который мы читали вместе. В остальном все осталось по-прежнему.

После окончания филологического факультета я живу переводами книг о диких животных. Одна из них о наблюдении за животными была переиздана, и гонорар почти обеспечивает нам с женой прожиточный минимум. Правда, расходы по дому и содержанию ребенка в клинике взял на себя отец жены. А после того как я оставил работу лектора, теперь тестю придется, по всей вероятности, взять на себя и бремя наших повседневных расходов. Вначале я воспротивился даже тому, чтобы тесть купил нам дом, но с тех пор как товарища не стало, меня нисколько не трогает, что жена пользуется помощью отца.

— Ну, а как ты живешь? Настроение никуда не годное, да? Увидев, как ты, Мицу, спишь на грязном полу, я был буквально потрясен. А когда ты встал, оказалось, что и выражение лица, и голос у тебя совсем не такие, как раньше. Откровенно говоря, Мицу, ты опускаешься, катишься в пропасть.

— Смерть товарища действительно выбила меня из колеи. А тут еще с ребенком такое,— оправдывался я, сдаваясь.

— Но не слишком ли долго это длится? — наседал на меня Такаси.— Если так будет продолжаться, на твоем, Мицу, лице застынет печать падения. В Нью-Йорке я встретился с японцем-философом, инвалидом, который живет отшельником: он приехал в Америку для изучения работ последователей Дьюи и в результате сам потерял веру в себя — вот так-то. Ты, Мицу, похож на него и лицом, и голосом, но особенно всем своим обликом, позицией — они точно, как у него.

— Твоя «гвардия» утверждает, что я — точно крыса.

— Крыса? Прозвище философа тоже крыса. Ты мне не веришь?— На лице Такаси появилась растерянная улыбка.

— Верю,— сказал я, краснея оттого, что в моем голосе явно прорезаются нотки жалости к себе.

Да, я, несомненно, похож на крысу, как и тот философ, потерявший веру в себя. После ста минут на рассвете, проведенных в свежевырытой выгребной яме, я все еще переживаю случившееся. Я сознаю, что опускаюсь физически и духовно и уклон, по которому я качусь вниз, явно ведет меня туда, где витает нечто еще более ужасное, чем дух смерти. И сейчас я угадываю смысл того, что проявилось вначале как беспричинная усталость всех частей тела, каждая из которых, казалось, живет самостоятельно. Духовную боль невозможно преодолеть, даже осознав ее. Наоборот, она все чаще посещает меня. Жгучее чувство н а д е ж д ы теперь уже никогда не вернется.

— Нужно начать новую жизнь, Мицу,— повторил Такаси со все возрастающей убежденностью.

— Хорошо бы начать новую жизнь, о которой ты говоришь, Така. Я тоже понимаю, что Мицу это необходимо,— сказала жена, сощурившись глядя на нас.

Момоко уже нарядилась, как маленькая индейская невеста, и даже на голову надела кожаные украшения. Жена помогла Момоко одеться и подошла к нам. Сейчас, даже при ярком утреннем свете, она совсем не выглядела безобразной.

— Я, безусловно, готов начать новую жизнь. Но где находится моя соломенная хижина — вот в чем вопрос,— сказал я вполне искренне. Я буквально физически ощутил потребность в соломенной хижине, издающей свежий, живительный запах.

— Брось все свои дела в Токио, Мицу, и поедем со мной на Сикоку, а? Как начало новой жизни, это неплохо! — Такаси, опасаясь, что я тут же на месте отвергну его предложение, стал изо всех сил соблазнять меня.— Ведь я только ради этого прилетел.

— Така, давай поедем на Сикоку в машине! Даже погрузив в нее вещи, мы втроем уместимся и не спеша доедем, а в дороге сможем по очереди спать на заднем сиденье. Я купил «ситроен»,— вмешался в наш разговор юноша.

— Хоси эти два года работал в авторемонтной мастерской. Потом купил «ситроен», похожий больше на груду железного лома, сам, своими руками, отремонтировал, и теперь он бегает! — поддержала товарища Момоко.

Юноша покраснел и сказал с искренним воодушевлением:

— В мастерской я уже предупредил, что ухожу. Когда от тебя, Така, пришло письмо и Момоко мне сказала, что ты приезжаешь, я в тот же день пошел к хозяину и заявил, что увольняюсь.

Услышав это, Такаси даже растерялся, но в то же время на лице его отразилось детски-непосредственное удовольствие.

— Все потому, что вы еще совсем легкомысленные. Это ужасно.

— Объясни конкретно, Така, как ты представляешь себе новую жизнь на Сикоку? Будем усердно заниматься сельским хозяйством, как наши предки?

В Америке Така работал переводчиком в группе японских туристов, приехавших познакомиться с деятельностью супермаркетов — огромных универмагов самообслуживания. Один из туристов заинтересовался его фамилией. Они разговорились, и оказалось, что этот человек — владелец универмагов на Сикоку, в нашем районе. Така узнал, что он богач, прибрал к рукам всю нашу местность и уже давно хочет купить амбар — одно из строений нашей родовой усадьбы, чтобы перевезти его в Токио и открыть в нем национальный ресторан.

— В общем, появился новоиспеченный капиталист, который избавляет нас от обузы — от древнего деревянного привидения. И если ты, Мицу, согласен его продать, мы, я думаю, должны будем поехать туда, чтобы наблюдать за его разборкой. Кроме того, мне бы хотелось точнее порасспросить в деревне о том, что произошло между прадедом и его братом. Я приехал из Америки и для этого тоже.

Я не мог сразу же поверить в реальность плана брата. Даже если он и обнаружил в себе внезапно талант дельца, все равно он вряд ли сумеет продать старое, полуразрушенное деревенское строение современно мыслящему человеку, владельцу универмагов самообслуживания. Национальный ресторан? В этом неприглядном, построенном сто лет назад амбаре? Меня приятно поразило то, что брат заинтересовался разладом, происшедшим между нашим прадедом и его братом. Еще когда мы жили в деревне, незадолго перед тем как разъехаться, Такаси кое-что услышал о скандале в нашей семье, случившемся чуть ли не сто лет назад.

«Наш прадед, чтобы погасить мятеж, убил своего младшего брата. Потом он съел кусочек мяса с его бедра. Сделал он это для того, чтобы доказать властям княжества свою непричастность к мятежу, поднятому братом»,— дрожащим от страха голосом рассказывал Такаси.

Я тоже не знал правды об этом событии. Создавалось впечатление, особенно во время войны, что старики в деревне избегают вспоминать о нем, да и наша семья старалась делать вид, что между братьями ничего не произошло. Но я, чтобы избавить Такаси от страха, рассказал ему и о другой версии, которую мне удалось случайно подслушать.

«Все было иначе. Наш прадед после восстания помог брату скрыться в лесу и бежать в Коти. И тот, переправившись морем в Токио, сменил имя и позднее стал выдающимся человеком. Во время революции Мэйдзи он не раз присылал прадеду письма. Но прадед это тщательно скрывал, и тогда люди состряпали ложь, которую ты и услышал. Почему прадед молчал? По вине брата в деревне было убито много народу, и прадед старался избежать гнева, который мог обрушиться на его семью».

— Ну ладно, поехали к нам домой. Там и обсудим план новой жизни,— предложил я, с удовлетворением вспоминая об огромном влиянии, которое я имел на брата в течение нескольких послевоенных лет.

— Ну что ж, хорошо. Ведь речь идет о том, что мы собираемся увезти из деревни амбар, в течение ста лет принадлежавший нашей семье, так что не мешает спокойно все обсудить.

— Вы поезжайте в такси, а я посажу в «ситроен» Така и Момо — и за вами,— сказал Хоси, пытаясь осторожно вытеснить меня с женой из их дружной, интимной компании.

— Прежде чем ехать, давайте выпьем по стаканчику,— предложила жена, совершенно освободившаяся от настороженности по отношению к деверю, и неловко пнула ногой валявшуюся бутылку. Такаси сразу же ее поддержал:

— Есть бутылка беспошлинного виски — я купил ее в самолете.

— Ты теперь уже не т р е з в е н н и к? — спросил я, намереваясь уничтожить идола в глазах его «гвардии».

— Если бы я в Америке хоть раз напился до потери сознания, меня

бы где-нибудь в темноте непременно пристукнули. Какой из меня пьяница, ты ведь, Мицу, знаешь,— говоря это, Такаси вынул из чемодана бутылку виски.— Эту бутылку я припас специально для брата и невестки.

— Пока я спал, вы, кажется, успели прийти к полному взаимопониманию.

— У нас для этого было достаточно времени. Ведь ты, Мицу, всегда видишь такие длинные и грустные сны,— парировал мою насмешку Такаси.

— Я что-нибудь говорил во сне? — испугался я.

— Не думаю, что ты, Мицу, можешь причинить человеку зло. Никто не поверит, что ты способен на это. В отличие от прадеда, ты принадлежишь к людям, которые не могут совершить жестокость,— успокоил меня Такаси, видя, как я растерян.

Взяв у жены бутылку виски, из которой она уже отхлебнула, я тоже сделал глоток, пытаясь преодолеть смущение.

— Ладно, пошли к машине, Хоси!

И, следуя сигналу Момоко, которая, надев кожаный индейский костюм, кипела задором и радостью, наша воссоединившаяся семья двинулась к выходу. Как старший, замыкая шествие, я, внешне опустившийся человек, похожий на крысу, понял, что в конце концов покорно соглашусь на весьма сомнительное предприятие брата. Я почувствовал, что теряю силу сопротивления. Сознавая это, я хочу, чтобы жар от глотка виски, внезапно разлившись во мне, сомкнулся с жгучим чувством надежды.

## 3. МОЩЬ ЛЕСА

Автобус резко останавливается посреди леса. Впечатление, что произошла авария. Перед автобусом, преграждая ему путь, стоит молодая крестьянка с огромным тюком за плечами, у ее ног примостился какой-то зверек. Присмотревшись, я неожиданно для себя обнаруживаю, что это ребенок. Ребенок сидит на корточках. Над лесной дорогой, стиснутой стенами темных густых зарослей вечнозеленых деревьев и бегущей точно по дну глубокого ущелья, протянулась узкая полоска зимнего неба. Послеполуденное небо медленно струится, бледнея, точно меняющий цвет поток. Вечереет, небо прикрывает огромный лес, как раковина — моллюска. Становится страшно при мысли, что ты заживо погребен. Хоть я и вырос в лесу, каждый раз, возвращаясь лесом в свою деревню, не могу отделаться от этого гнетущего состояния. Это захватывающее дух состояние передается из поколения в поколение от давно ушедших предков. Преследуемые могущественным Тёсокабэ[1], они уходили все дальше и дальше в леса и, наконец, найдя веретенообразную долину, которой чудом удалось устоять под натиском леса, поселились в ней. В долине били ключи великолепной воды. И ощущение, которое испытал первый мужчина нашего рода, встав во главе небольшой группы беглецов, когда в поисках долины, нарисованной силой его воображения, вступил во мрак девственного леса, передалось сейчас мне. Тёсокабэ — страшный великан, человек из чужого мира — существует везде и во все времена. Когда я не слушался, бабушка пугала меня: вот придет из леса Тёсокабэ, и раскаты его голоса, будто страшный великан Тёсокабэ жив и поныне, слышал не только я, мальчишка, но и сама восьмидесятилетняя старушка...

---

[1] Мототика Тёсокабэ — военачальник XVI в., могущественный правитель провинции Тоса, впоследствии силой распространивший свое господство и на Сикоку.

Автобус от ближайшего к нашей деревне города, где мы садились, шел уже пять часов. На перевале все пассажиры, кроме нас с женой, пересели в другой автобус, идущий к морскому побережью. Наша дорога врезается в самую чащу леса. Мрачный зеленый лес, кажущийся совсем черным из-за огромных криптомерий, сосен и кипарисов, пристально смотрит на нас, крыс, пойманных разбитой дорогой.

Я увидел только резкое движение губ крестьянки, подавшейся назад под тяжестью огромного тюка, она что-то говорила, опустив голову. Ребенок встает и поспешно натягивает штанишки. Крестьянка резко дает ему подзатыльник. Потом, грубо подталкивая ребенка, охватившего руками голову, чтобы уберечься от нового удара, идет с ним к автобусу. Взяв пассажиров, автобус снова движется в угрожающем безмолвии леса. Крестьянка и ребенок прошли в самый конец и расположились на сиденье перед нами. Мать села у окна, ребенок — с краю, у прохода, обхватив деревянный подлокотник, и в поле нашего зрения оказалась его стриженая голова и профиль обтянутого бледной кожей лица. Жена внимательно посмотрела на мальчика красными, как сливы, глазами, в которых еще видны следы опьянения. Я тоже неприязненно посмотрел на него. И голова его, и цвет лица воскресили самые тягостные воспоминания. Стриженая голова, лицо без кровинки полны яда, способного довести до безумия, особенно такого человека, как жена, чьи восприятия перенасыщены, и достаточно лишь небольшого толчка, чтобы они начали выпадать в кристаллы. Вид его сразу же возвращает нас к тому дню, когда нашему ребенку удалили опухоль на голове.

Когда автобус въехал в лес, жена притихла, время от времени прикладываясь к плоской бутылке виски. В глазах пассажиров — местных жителей строгих правил — это носило скандальный характер, но у меня не было желания удерживать ее. Однако перед тем как заснуть, жена приняла решение начать новую жизнь в деревне т р е з в о й и выбросила бутылку с остатками виски. Я тоже надеялся, что опьянение, усыпившее жену, будет последним в ее жизни. Но теперь, когда я увидел, как глаза проснувшейся жены смотрят на голову крестьянского мальчика, я отбросил радужную надежду, что она сможет начать новую, т р е з в у ю жизнь. Я желал только одного: чтобы потрясение, пережитое женой из-за несчастья с нашим ребенком, не обострилось сейчас особенно тяжело, но убедился, что желание мое не сбылось. Дыхание жены становилось прерывистым и хриплым. Она, видимо, уже жалела, что выбросила виски.

Кондукторша, для равновесия выпятив живот, прошла в конец автобуса. Молодая крестьянка, игнорируя ее, смотрит в окно, сурово сдвинув брови. Ребенок тоже не реагирует на кондукторшу, но, наблюдая за ним, я вижу, что он напрягается все сильнее. Видимо, крестьянка и ребенок сели рядом с нами, чтобы быть подальше от кондукторши.

— Билеты,— напоминает она. Сначала крестьянка оставляет без внимания этот призыв, но вдруг разражается потоком слов. Она возмущается требованием оплатить проезд от перевала до долины. Они с ребенком прошли две трети расстояния от перевала. Если бы ребенок не занемог животом (говоря это, крестьянка трясет за плечо ребенка, ухватившегося за деревянный подлокотник), они бы и пешком дошли. Кондукторша объясняет, что новая минимальная плата за проезд установлена именно за расстояние от перевала до долины. Поскольку линия не загружена, автобусная компания разработала новое положение. Логика кондукторши, казалось, подавила крестьянку. Вдруг на ее румяном, до этого сердитом лице появляется хитрая улыбка; слова ее поразили и в то же время рассмешили меня. Крестьянка захихикала и сказала с облегчением:

— Нету денег.

Ребенок по-прежнему сидит бледный, напряженный. Кондукторша отступает, снова превратившись в беспомощную деревенскую девушку, и идет к водителю советоваться. Я надеюсь, что хихиканье крестьянки растопит напряжение, в котором пребываем мы с женой. Повернувшись к ней, я улыбаюсь, но вижу, что у жены вся шея покрыта гусиной кожей, глаза, обращенные к мальчику, сверкают, точно излучая жар. Поняв, что надвигается беда, я теряюсь. Внутри у меня все клокочет, будто одна за другой взрываются шутихи. Почему я не остановил жену, когда она выбрасывала бутылку с виски? И я принимаю первое пришедшее на ум решение.

— Сойдем с автобуса. Така должен ждать нас на остановке, и мы попросим кондукторшу передать ему, чтобы он выехал на машине нам навстречу.

Жена вяло, точно водолаз, преодолевающий сопротивление воды, наклонив голову, с сомнением смотрит на меня. Я чувствую, что она колеблется между гнездящимся в ней страхом и страхом от сознания, что ее выведут из автобуса посреди леса. Страх перед лесом все возрастает, и я, не дожидаясь, чтобы он окончательно пригвоздил ее к сиденью, смотрю, как бы со стороны, на себя, стремящегося уговорить жену, и вижу, что я и сам хочу как можно быстрее бежать от этого крестьянского мальчика с бритой головой и иссиня-бледной кожей — точной копии нашего ребенка.

— А что, если телеграмма не дошла и Така с друзьями не придут нас встречать?

— Даже если нам придется идти пешком, к ночи дойдем до деревни. Смотри, ведь даже этот ребенок собирался идти пешком,— сказал я.

— Тогда я согласна, сойдем,— сказала жена, точно ухватившись за соломинку, хотя беспокойство ее еще не улеглось. Я почувствовал облегчение и жалость к ней. Кондукторша, неумолчно разговаривая с водителем, продолжала посматривать на крестьянку с сыном, якобы не имевших денег на проезд. Я сделал ей знак.

— На автобусной остановке в долине нас должен встречать мой брат. Вы не можете передать ему багаж и сказать, чтобы он ехал нам навстречу? Мы хотим дальше идти пешком,— сказал я.

Но когда кондукторша посмотрела на меня своими тупо-подозрительными, точно заплывшими жиром, глазками, я растерялся, поняв, что мне не удалось придумать причину, достаточно убедительную для посторонних.

— Меня укачало в автобусе,— быстро пришла на помощь жена, но кондукторша продолжала подозрительно смотреть на нас. И, не принимая моих объяснений, пыталась сделать вид, что все понимает.

— Автобус до деревни не идет — паводком снесло мост,— сказала она.

— Паводком? Зимой паводок?

— Еще летом паводком снесло.

— И с лета он так и стоит разрушенный?

— По эту сторону моста новая остановка, до нее автобус и доходит.

— Значит, там нас брат, наверно, и ждет. Зовут его Нэдокоро,— сказал я.— Однако почему же до зимы не починили мост, который снесло еще летним паводком?

— Поняла я, приедут за вами на машине,— вмешалась крестьянка, прислушиваясь к нашему разговору,— если их там нет на остановке, мой мальчишка сбегает к Нэдокоро в Кураясики!

Крестьянка по ошибке считает кураясики названием возвышенности, где стоит наш дом. Ту же ошибку совершали двадцать лет назад мои товарищи по играм. На самом же деле кураясики — амбар в нашей усадьбе. Таких теперь не строят. Но так или иначе, я успокаиваюсь.

Из заднего окна удалявшегося автобуса, покинувшего нас на лесной дороге, прильнув голова к голове, на нас смотрели крестьянка и кондукторша. Сын крестьянки, наверно, по-прежнему сидит бледный, ухватившись за деревянный поручень, и даже не хочет выглянуть в окно. Когда мы поклонились им, кондукторша приветливо помахала рукой, а крестьянка, продолжая улыбаться, непристойно сложила пальцы и погрозила нам.

Запахнув пальто и обняв себя руками, мы идем по прорезанной в красноземе лесной дороге, устланной опавшими листьями, и в лицо нам дует сырой, холодный, наполненный бесчисленными запахами ветер.

— Почему же Така не сказал, когда мы говорили по телефону, что мост снесло паводком?

— Така нужно было сказать очень многое, верно? Он ведь рассказывал о таких потрясающих событиях — и нет ничего удивительного, что ему было не до того, чтобы говорить о ремонте моста,— защищала Такаси жена.

Такаси отправился в деревню за две недели до нас. Со своей «гвардией» он совершил долгое путешествие в «ситроене». Днем и ночью Такаси и Хосио, по очереди ведя машину, за три дня добрались до деревни. Мы с женой услышали от Такаси, позвонившего нам с почты по междугородному телефону, потрясающую новость, которая, не успел он приехать в деревню, произвела на него огромное впечатление. Новость касалась немолодой крестьянки по имени Дзин, которая присматривала за нашей усадьбой. Когда родился Такаси, Дзин взяли к нам в няньки. С тех пор она так и осталась в нашем доме. И даже выйдя замуж, продолжала жить у нас с мужем и детьми.

Когда Такаси и его друзья остановили машину в самом центре деревни, на площади перед сельской управой, и с вещами на плечах стали подниматься по узкой, крутой мощенной камнями дорожке, ведущей к нашему дому, им навстречу выбежали, запыхавшись, муж и сыновья Дзин. Их худоба и болезненно-серая кожа привели в ужас Такаси и его друзей, особенно их поразили сыновья — с огромными рыбьими глазами,— они напомнили Такаси детей бедняков в Латинской Америке. И эти немощные на вид сыновья Дзин выхватили у Такаси и его друзей вещи и поволокли наверх. А грустный муж своим заунывным голосом, который мог показаться и сердитым, что-то пытался втолковать Такаси. Но он сильно робел, и Такаси понял лишь одно: до того, как он встретится с Дзин, муж хочет объяснить, что с ней случилось. Он как бы нехотя вынул из кармана сложенную вчетверо вырезку из местной газеты и показал Такаси. На грязном, потертом на сгибах клочке бумаги виднелась большая фотография. Взглянув на фотографию, Такаси был поражен. В правой ее половине фотоаппарат честно запечатлел застывших в напряженной позе, точно на свадебной фотографии, изможденных домочадцев Дзин в летней одежде. Всю левую половину занимала огромная, толстая Дзин. В пестром платье, она полулежит, опираясь на левую руку. Все запечатленные на снимке, включая и ее, смотрят прямо перед собой печально-терпеливо и в то же время настороженно.

**Крестьянка, страдающая обжорством.**
**Желудок требует пищи целый день.**
**Работай, муж, работай.**

Недавно стало известно, что в нашей префектуре живет самая большая женщина в Японии. Самая большая женщина в Японии — Дзин Канаки, проживающая в деревне Окубо, находящейся в лесном районе на юго-востоке нашей префектуры. Замужняя, 45 лет, мать четверых детей. Ее рост — 1 м. 53 см.— обычный, но

необычен вес — 132 кг. Объем груди — 1 м. 20 см., талия — 1 м. 20 см., толщина руки — 42 см. Дзин-сан не всегда была такой толстой. Шесть лет назад она весила 43 кг., и ее скорее можно было назвать худой. Трагедия началась шесть лет назад. Дзин-сан вдруг почувствовала в руках и ногах конвульсии, началась анемия, и она потеряла сознание. Через несколько часов она пришла в себя, но с тех пор ее преследует чувство непреходящего, неутолимого голода. Организм ее не может нормально функционировать, если рот ее пуст. Когда еда хоть чуть запаздывает, она начинает громко рыдать, ее охватывает дрожь и в довершение ко всему она теряет сознание.

Сейчас Дзин ест через каждый час. Неимоверный аппетит привел к тому, что в течение трех лет вес ее утроился и она продолжает полнеть.

Но самой большой жертвой в результате всего оказался муж Дзин-сан. Обеспечить необходимое для ее желудка количество пищи — дело совсем не легкое. Одни только гречневые или лапшовые пампушки — и те требуют огромных расходов. Правда, Дзин-сан сама немного зарабатывает шитьем, но для неутолимой потребности ее желудка — это капля в море. Сельская управа, войдя в положение Дзин-сан и ее мужа, установила им ежемесячное пособие, но и его не хватает.

**Рассказ Дзин-сан.**

Долго я стоять не могу — через пятнадцать минут устаю. Даже шить и то не могу, сколько нужно. Почти весь день сижу. В автобус влезть не могу, и поэтому, когда нужно поехать в больницу, приходится нанимать грузовик. Ночью сплю плохо. Часто вижу страшные сны.

Такаси растерялся, а муж Дзин сказал, что ему пришлось, чтобы добыть денег, сдать главный дом усадьбы учителю начальной школы, но он договорился с ним, что на время пребывания в деревне Такаси и его друзей тот переселится в школу, в комнату дежурного, и спросил, согласен ли на это Такаси. Выложить все это было для мужа Дзин самым трудным делом.

Дзин сидела в темном углу на полу, далеко от входа, на вид она не казалась подавленной свалившимся на нее несчастьем и лишь повторяла: «Позор, позор, как я разжирела!» Если вы захотите привезти Дзин подарок, то лучше всего захватите большую коробку пампушек или чего-нибудь в этом роде!

Дорога, по которой мы шли, стиснутая с двух сторон лесом, разворачивалась перед нами в бесконечном однообразии. И поэтому моему единственному глазу, потерявшему способность воспринимать перспективу, казалось, что мы топчемся на месте.

Как разъяренный зверь, взметая землю и сухие листья, на нас летит «джип». Приближение «джипа» восстановило перспективу, и я освободился от чувства, будто топчусь на месте.

— Така приехал!

— А где же «ситроен»? — с сомнением спросил я, осаживая жену, в голосе которой слышалась неподдельная радость, хотя и сам в стремительно летящем «джипе» увидел проявление характера этого долгожданного головореза Така.

— Это Така, Мицу,— убеждала меня жена.

«Джип», взметнув в пяти метрах от нас облако краснозема, ткнулся носом в заросли сухой травы у обочины, проскреб крылом по дереву и встал, а потом, на той же скорости, помчался назад и, наконец, перестав метаться, остановился. Жена сразу же выскользнула из-под моих рук,

которые я раскинул в стороны, чтобы защитить ее от мчавшегося на нас «джипа», и они повисли плетьми. Я надеялся, что Такаси, который, свесившись с сиденья, высунул голову, не заметил этого.

— Привет, Нацу-тян, привет, Мицу,— беззаботно поздоровался с нами Такаси, похожий на пожарного в резиновом дождевике с капюшоном, свисающим на плечи.

— Спасибо, Така,— оживленно улыбнулась ему жена.

— Мост, говорят, разрушен?

— Ага. Наш «ситроен» добрался до деревни, но гнать его снова сюда, чтобы встречать вас,— этого бы он не вынес. Одолжил «джип» у лесничего. Он еще помнит меня и в придачу к «джипу» дал резиновый дождевик,— с простодушной гордостью сказал Такаси.— Ты, Мицу, садись сзади. А Нацу-тян удобнее будет впереди.

— Спасибо, Така.

— Вещи переправит Хосио. Главное — перетащить их через мост, а уж на той стороне можно воспользоваться «ситроеном».

Говоря это, Такаси тронул «джип».

— Как Дзин?

— Вид ее потряс меня. Тело ее кажется просто ужасным, но зато жирное лицо выглядит молодым и приятным. Среди деревенских женщин, которым уже за сорок, она скорее привлекательна. Ха-ха. Ведь она была беременна последним ребенком уже после того, как стала толстеть, значит, ее мужу нравилась жена, весившая свыше ста килограммов.

— Жизнь ее, видимо, ужасна?

— Положение, по-моему, не столь трагично, как это описано в газете. В общем, репортер, так же как и я, был введен в заблуждение невообразимо унылым лицом ее мужа. Почему жизнь Дзин не так уж ужасна? Да потому, что соседи приносят ей всевозможные продукты. И я никак не могу понять, почему прижимистые деревенские жители делают это вот уже шесть лет? Встретившись с настоятелем храма, соучеником нашего брата S, я спросил его. Оказывается, жителям деревни это выгодно. Отдавая продукты, они тем самым через несчастную землячку передают свои просьбы к богу. Человек, пораженный загадочной, неизлечимой болезнью, как Дзин, превращается в жертвенную овцу, принявшую на себя все беды и несчастья, уготованные жителям деревни,— вот в чем дело! Так мне объяснил настоятель. У него философский склад ума. Видимо, он действительно стал человеком, который несет духовную ответственность за все, что происходит в деревне. Хорошо бы и тебе, Мицу, встретиться с ним. Самый интеллигентный человек в этих местах,— сказал Такаси.— Объяснение настоятеля произвело на меня большое впечатление. Идея жертвенной овцы — искупительницы грехов всей деревни пробудила глубоко погребенное во мне воспоминание.— Мицу, ты помнишь сумасшедшего, которого звали Ги? — обернулся ко мне Такаси как раз в тот момент, когда я пытался воскресить ускользающее воспоминание.

— Отшельника Ги, который жил в лесу?

— Да. Сумасшедшего, который с наступлением ночи спускался в долину.

— Помню, конечно. Настоящее его имя Гиитиро. И я его прекрасно знаю. Среди деревенских ребят были такие, кто слышал лишь сказку об отшельнике Ги. Многие даже считали Ги оборотнем, который днем спит в лесу и только ночью бродит по деревне. Но наш дом стоит как раз между лесом и долиной, и поэтому мне удавалось видеть, как Ги вечером спускается в долину по мощенной камнем дорожке,— объяснял я жене, которая не участвовала в нашем разговоре.— Ги, с необычным проворством, как одичавшая собака, бегом спускался по склону. Я всегда смотрел ему вслед, и когда он скрывался, наконец, из виду, долина как

раз погружалась в ночь. Он спускался вниз, с удивительной пунктуальностью улавливая крохотный просвет между днем и ночью. Мне помнится, у Ги постоянно было унылое, опущенное вниз лицо, и он всегда спешил, сохраняя мрачный вид.

— Я встретился с отшельником Ги,— сказал Такаси, охлаждая мои ретроспективные восторги.— В надежде добыть чего-нибудь съестного, мы глубокой ночью ехали в «ситроене» по деревне. Купить днем забыли. Но универмаг был уже закрыт, а другие магазины — на пороге разорения, поэтому ни один из них не торговал. Единственное, что нам удалось— это встретиться с Ги.

— Отшельник Ги жив? Ты не шутишь? Он ведь, наверно, очень стар? Странно, чтобы человек, сошедший с ума и поселившийся в лесу, жил так долго.

— И тем не менее Ги не производит впечатления такого уж старика. Я, правда, встретил его в темноте и как следует рассмотреть не мог, но мне показалось, что ему немногим больше пятидесяти. Он совсем не похож на сумасшедшего, и только чересчур маленькие уши выдают его. Ги заинтересовался машиной и вышел к нам из темноты. Момоко поздоровалась с ним, и он с торжественной серьезностью представился: меня зовут отшельник Ги. Когда я сказал, что я сын Нэдокоро, он ответил, что помнит меня и однажды якобы разговаривал со мной. Жаль только, что я ничего не помню об отшельнике Ги.

— Это он говорил обо мне. Когда после демобилизации вернулся брат S, отшельник Ги однажды пришел к нам и разговаривал с братом и со мной. Он пришел спросить, действительно ли окончилась война. Дело в том, что Ги, боясь, что его возьмут в армию, убежал в лес. Он был единственным в деревне, кто уклонился от мобилизации. Брат S объяснил ему, что теперь нет необходимости прятаться, но Ги уже не мог вернуться к нормальной жизни,— сказал я. Всплыли воспоминания далекого, дорогого мне прошлого, я весь точно обмяк,— отшельник Ги до сих пор жив, подумать только! И ему приходится влачить это ужасное существование.

— Да он и сейчас еще полон сил. Лесной супермен, ха-ха! Когда мы, проехав по деревне, возвращались назад, в свете фар, как настоящий заяц, проскакал и скрылся отшельник Ги, и получилось это у него очень ловко.

С детства помню, что деревня всегда имела своего сумасшедшего; неврастеников и идиотов было сколько угодно, но сумасшедший, которого все единодушно считали настоящим сумасшедшим,— только один. Никогда не случалось, чтобы таких законных сумасшедших становилось больше, не бывало также, чтобы деревня оставалась совсем без сумасшедшего. В этом, видимо, особенность деревенских жителей — признанный сумасшедший, как непременный составной элемент их среды, мог быть только один. Мне кажется, я неоднократно наблюдал смену деревенского сумасшедшего, единственного, как император. С конца войны роль этого непременного индивида взял на себя отшельник Ги. Слухи об отшельнике Ги приезжал проверять жандарм из города. Деревенские члены Союза резервистов устроили на Ги в лесу облаву, но потому ли, что никто из них по-настоящему не искал его, или из-за того, что в лесной чаще их подстерегали непроходимые завалы, заросли плюща и болота, поймать Ги, естественно, не удалось.

Отшельник Ги был одним из «получивших образование», как говорят у нас в деревне: он окончил школу и работал помощником учителя. Однажды пьяные солдаты, эти беззаконники в мундирах, устроили засаду, пытаясь поймать Ги, который ночью блуждал по деревне в поисках пищи. Через несколько дней утром на площади, на доске объявлений Группы движения за демократизацию деревни, появились стихи, напи-

санные отшельником Ги. Брат S, правда, сказал, что стихи принадлежат Кэндзи Миядзава[1], но в его собрании сочинений я не нашел этого стихотворения.

Вы собрались и швыряли в меня камнями.
Для вас это просто забава,
А для меня это смерть, я сказал вам,
И вы побледнели, и сжали губы, и изменились в лице.

— Я спросил Ги, ведь в последнее время мощь людей беспрерывно вторгается в лес, не стало ли там хуже для человека, ведущего жизнь отшельника? Но Ги решительно отверг мое предположение. Нет, сказал он, регулярно растет именно мощь леса. Деревня, утверждал он, скоро будет поглощена лесом. Действительно, в последние годы мощь леса все увеличивается, и лес шаг за шагом наступает на деревню. Доказывает это хотя бы то, что река, берущая начало в лесу, каждые пятьдесят лет смывает мост. Если исходить из того, что отшельник Ги сумасшедший, то можно заметить и некоторую странность его метода доказательств.

— Такой метод мне, Така, не кажется странным,— вмешалась вдруг в разговор молчавшая до этого жена.— С тех пор как я села в автобус, я не перестаю ощущать, что мощь леса растет. Подавленная этой мощью, я едва не лишилась чувств. Будь я отшельником Ги, я бы с радостью предпочла армию этому ужасному лесу.

— Нацу-тян симпатизирует, наверно, отшельнику Ги,— сказал Такаси.

— В деревне можно купить виски, Така? — спросил я, побуждаемый инстинктом самосохранения.

— Мицу препятствует моему решению стать трезвенницей.

— Нет, я сам хочу выпить. А ты присоединишься к трезвой «гвардии» Така.

— Меня беспокоит сейчас только одно — смогу ли я заснуть без виски. Я ведь пью по вечерам совсем не для того, чтобы напиться.

Узкая полоска неба, проглядывавшая между верхушками огромных деревьев, склоненных ветром в одну сторону, стала темно-красной, как обожженная кожа. Вырывавшиеся из леса испарения стлались туманом над лесной дорогой и медленно плыли на уровне колес «джипа». Мы должны выехать из леса до того, как туман поднимется до уровня наших глаз. Такаси осторожно прибавляет скорость. «Джип», вырвавшись из леса, выехал на возвышенность, откуда видно далеко вокруг. Мы остановили машину и стали смотреть на расстилавшуюся под багровым небом веретенообразную долину, окруженную, насколько хватал глаз, иссиня-черным мрачным лесом. С возвышенности и крестьянские дома, и поля вокруг них кажутся крохотными. Их подавляет огромный густой лес, обступивший долину. Действительно, кажется, что нашей долине, как говорит сумасшедший отшельник, с трудом удается противостоять поглощающей мощи леса. Создается даже впечатление, что не столько существует долина, сколько не существуют деревья на сравнительно небольшом пространстве в форме веретена. И человеку, подавленному ощущением, что лишь окружающий лес действительно живет реальной жизнью, начинает казаться, что долина как бы прикрыта огромной крышкой. От реки, протекающей посреди долины, поднимается туман, и крестьянские дома кажутся погруженными на дно туманного моря. Наш дом стоит на горе, но все, что вокруг него, выглядит расплывчатым, тусклым, и ярким белым пятном выделяется лишь высокая каменная ограда. Я хотел было показать жене, где наш дом, но

[1] Кэндзи Миядзава (1896—1933) — японский поэт.

вдруг почувствовал острую, нестерпимую боль в глазу и уже не мог больше смотреть в ту сторону.

— Давай все-таки поищем, может, удастся купить виски, Мицу,— робко говорит жена, пытаясь восстановить мир и согласие.

Такаси с интересом посмотрел на нас.

— А не лучше ли попить воды? Здесь есть родник — местные жители говорят, что вода в нем — самая вкусная во всем лесу. Если он еще не пересох,— соблазнял я жену.

Родник не пересох. Склонившись над лужицей, чтобы попить ключевой воды, я вдруг предельно осязаемо ощутил, что вижу сейчас то же самое, что видел двадцать лет назад: мелкие круглые камешки — серые, красные, белые — на дне, таком светлом, будто оно вобрало в себя всю яркость дня, чуть мутящий воду мелкий песок, легкое подрагивание поверхности. С поразительной достоверностью ощутил, хотя это и было немыслимо, что бурлящая, беспрерывно струящаяся вода — та же самая бурлящая, струящаяся вода, что и тогда. И мне показалось, что я, склонившийся сейчас над родником, и я, еще ребенок, в давнюю пору присевший здесь, согнув изодранные колени,— не один и тот же человек, и между двумя этими «я» нет никакой связи, никакой преемственности, и, значит, присевший тут «я» — совсем другой человек, не имеющий ничего общего со мной, настоящим. Нынешний «я» теряю identity[1] настоящего «я». И во мне, и вне меня не за что ухватиться, чтобы восстановить самого себя. Прозрачная мелкая рябь на лужице журчит, и мне слышится обвинение: «Ты — точно крыса». Закрыв глаза, я пью холодную воду. Десны сводит, на языке остается привкус крови. Когда я поднялся, жена, будто я олицетворяю право на ключевую воду, покорно следуя моему примеру, склонилась над родником. Но теперь и я, как и жена, впервые попавшая в лес, абсолютно чужой этому ключу. Я вздрагиваю. Резкий холод пронизывает мое сознание. Жена тоже вздрагивает, поднимается и, пытаясь улыбнуться, чтобы показать, как вкусна была вода, растягивает свои посиневшие губы, но у нее получается оскал, а не улыбка. Касаясь друг друга плечами, дрожа от холода, мы молча возвращаемся к «джипу», и Такаси, чтобы не видеть жалкого зрелища, закрывает глаза.

Потом, в плотном густом тумане, начинается спуск в долину. В тишине, когда наш «джип» с выключенным мотором осторожно двигается вперед, слышно лишь, как колеса разбрасывают мелкие камешки, как тент разрезает воздух, слышно острое шуршание листьев, опадающих с огромных дубов и буков, растущих вперемежку с сосной, в редком лесу на крутом склоне, где лесная дорога переходит в мощеную, проложенную по долине. Кажется, что опадающие с верхушек высоких деревьев листья, скошенные силой ветра, ударившего их сбоку, не падают вниз, а плывут горизонтально и беспрерывно тихо шуршат.

— Нацу-тян, ты умеешь свистеть? — серьезно спрашивает Такаси.

— Умею,— настороженно отвечает жена.

— Когда свистят после наступления темноты, жители деревни по-настоящему сердятся. Мицу, ты помнишь это местное табу? — спросил Такаси с мрачностью, вполне соответствующей моему настроению.

— Помню, конечно. Говорят, что, если ночью свистеть, из лесу приходят черти. Бабушка говорила, что придет Тёсокабэ.

— Смотри-ка. А вот я приехал в деревню и обнаружил, что многое уже забыл. Кажется, будто помню, но твердой уверенности нет. Я часто слышал в Америке слово uprooted[2]. Я и вернулся в деревню, чтобы снова укорениться. Ведь в конце концов я был вырван с корнем и почув-

---

[1] Тождественность *(англ.)*

[2] Вырванный с корнем *(англ.)*.

ствовал себя травой, лишенной корней. В общем-то я и есть uprooted. Я должен пустить здесь новые корни и чувствую, что существует подходящее для этого поле деятельности. Я не знаю еще точно, что оно собой представляет, но во мне крепнет убеждение, что необходима именно деятельность. Конечно, одно то, что я вернулся на родину, еще не означает, что мои корни именно здесь. Ты, Мицу, наверно, думаешь, что это сантименты, но ведь соломенной хижины не осталось,— продолжал Такаси с безмерной усталостью, совсем не соответствующей его возрасту,— я даже почти забыл о существовании Дзин. Если б она и не растолстела так, я бы все равно едва ли узнал ее. Когда Дзин, вспомнив, как она нянчила меня в детстве, заплакала, я испугался, представив себе, что эта огромная незнакомая женщина может протянуть свои жирные шишковатые руки, чтобы погладить меня, и что я тогда буду делать. Я бы, конечно, не хотел, чтобы Дзин почувствовала мою неприязнь и страх.

Когда мы спустились в долину, была уже ночь. Со стороны временного настила, кое-как уложенного вместо моста, покореженного оттого, что железобетонные опоры частично были разрушены, а частично полегли, нам сигналили наши юнцы, отчаянно нажимая на клаксон, но в темноте их «ситроен» различить было невозможно. Такаси, возвративший леснику «джип» и дождевик, теперь был одет в охотничью куртку, привезенную из Америки, но в ней он выглядел каким-то жалким и маленьким. Я попытался представить себе, как брат играл перед американцами раскаявшегося участника студенческого движения. Но не брату, а мне самому следует прислушиваться к мощному голосу совершенно черного, когда смотришь из долины, леса: «Ты — точно крыса». Когда я, весь напрягшись, поддерживал жену, переправляясь по временному настилу, ростки радости во мне, оттого что я вернулся в долину, начали вянуть. Холодные иглы ветра, дувшего снизу, с темной поверхности воды, впивались в лицо, и мне пришлось закрыть мой единственный глаз. Неожидано сзади, снизу, меня догоняет кудахтанье.

— Куры. Это в развалинах корейского поселка их разводит деревенская молодежная группа.

Метрах в ста вниз по течению от моста, у дороги, ведущей к морю, в некотором отдалении от деревни, прилепилось несколько строений. Раньше в них ютились корейцы, которых насильно согнали сюда на лесоразработки.

— Разве в такое время куры кудахчут?

— Говорят, что там их несколько тысяч и они вот-вот перемрут от голода. И кудахчут, наверно, тоже от голода.

Жена, которую я обнимаю за плечи, непрерывно дрожит.

— Деревенская молодежь без настоящего руководителя ничего как следует не может сделать. Если не появится человек, похожий на брата нашего прадеда, ничего у них не получится. Найти выход из сложной ситуации они не в состоянии,— сказал Такаси с откровенным отвращением.— Вернувшись в долину, я, Мицу, сразу же понял, чего стоят здешние жители.

## 4. «ВСЕ СУЩЕЕ, ЯВНОЕ И КАЖУЩЕЕСЯ — ВСЕГО ЛИШЬ СОН СНА»

***Эдгар По***

В первое утро в деревне, когда мы завтракали, сидя вокруг очага на дощатом полу, появились четверо детей с изможденными лицами, похожими на перевернутые треугольники, на которых выделялись лишь огромные глаза, и, стоя в ряд, смотрели на нас. Жена пригласила их поесть с нами, но они вздохнули и в один голос отказались. Потом старший

из них сказал, что Дзин хочет со мной поговорить. Прошлой ночью я уже повидался с Дзин; как и говорил Такаси, она была огромной, но, за исключением некоторых частей тела, совсем не безобразной. На ее необъятном круглом и белом, как луна, лице грустные, неясно очерченные глаза слезились и были вытаращены, точно у рыбы. Лишь по их блеску можно было узнать прежнюю Дзин. От нее пахло, как от животного, и жене очень скоро стало дурно, она вся сжалась, и мы поспешили домой.

После еды Такаси повел жену и своих друзей осматривать амбар, а я в сопровождении детей пошел во флигель, где жила Дзин со своим семейством.

— Ну, Дзин, как спала? — приветствовал я ее из сеней, и она в полутьме, как и вчера вечером, подняла свое грустное лицо. Вокруг нее были наставлены горшки и всякая посуда в таком количестве, будто она торговала гончарными изделиями; водрузив подбородок на жирные складки шеи, она грустно смотрела вверх и задумчиво молчала. Луч утреннего света, проходящий над моим плечом, падает у ее мощных колен, и я, наконец, различаю, что она полулежит на грубо сколоченной огромной скамье. Рядом в неудобной позе, готовый каждую минуту вскочить, сидит на корточках муж и молчит с таким видом, будто его прервали на полуслове. Прошлой ночью исхудавший, задумчивый муж Дзин тоже выжидающе молчал, и стоило ей вялым движением выразить пожелание, как он стремительно вскакивал и начинал кормить ее серыми гречневыми пампушками.

Тоскливо выдохнув огромное количество воздуха, Дзин сказала, враждебно глядя на меня:

— Не спала я! Я видела только дрянной сон, сон, что я осталась без дома!

Я сразу же понял, почему Дзин хотела встретиться со мной, почему ее муж, с грустным лицом сидевший на корточках рядом с ней, неотрывно смотрит на меня.

— Разберут и отправят в Токио только амбар, а главный дом и флигель никто ломать не собирается.

— И землю, наверно, тоже продадите,— не унималась Дзин.

— Дзин, вопрос с твоим жильем решен: и земля, и главный дом, и флигель — все это остается, пойми ты.

В выражении лица Дзин и ее мужа особого успокоения я не заметил, но четверо детей, стоявшие позади родителей и внимательно следившие за мной, разом заулыбались, и я с удовольствием почувствовал, что беспокойство семьи рассеялось.

— А что будет с могилами, Мицусабуро-сан?

— Останутся как были.

— Останки S-сан до сих пор в храме,— тихо сказала Дзин. Даже такой короткий разговор уже утомил ее, под глазами пролегли уродливые тени, голос стал хриплым, точно в горле образовались бесчисленные дырки, сквозь которые просачивается воздух. Отводя от Дзин глаза, я безжалостно подумал, что в конце концов она умрет от разрыва сердца. Действительно, Дзин говорила Такаси, что предчувствует близкую смерть, и беспокоилась, уместится ли ее разжиревшее тело в печи крематория.

— Ну что ж, останки брата S можно перенести из храма. Я еще хочу посмотреть картину ада, которая там висит,— пожалуй, пойду сегодня,— сказал я и вышел из флигеля.

За моей спиной:

— Если бы S-сан был жив, ни за что не продал бы амбар! Мицусабуро-сан — хозяин! Плохо, ой как плохо! — послышался тихий хриплый голос Дзин, но я пропустил ее слова мимо ушей.

Я пошел искать брата и остальных в глубине двора, зажатого меж-

ду главным домом и флигелем. Не только толстая наружная дверь амбара, покрытая лаком, но и внутренние двери — и металлические сетчатые, и деревянные — были распахнуты настежь. Бросается в глаза чернота балок из вяза и белизна стен — помещение наполнено утренним светом, но никого нет. Войдя внутрь, я стал изучать бесчисленные следы от ударов мечей на дверных наличниках. Они сохранили для меня такой же грозный вид, как и в детстве. В дальней комнате на веере, висящем в нише, едва различим алфавит, написанный тушью неумелым детским почерком на коричневом поле. В правом нижнем углу имя John Mang, еле заметное и двадцать лет назад. Прадед, выйдя из леса и тайно направляясь в Наканохаму, в Коти, встретился с человеком, который вернулся из Америки и скрывался от властей. Он и подарил прадеду этот веер, написав на нем алфавит, рассказывал мне брат S.

Со второго этажа доносился звук, похожий на шаги. Начав подниматься по узкой лестнице, я сильно ударился виском о выступающий конец балки и вскрикнул от боли. В темной пустоте слепого глаза фейерверком брызнули горячие искры. Я остановился в растерянности: на ладони, потиравшей щеку,— слезы, смешанные с кровью. Я прижал к виску носовой платок. Сверху показалась голова Такаси.

— Мицу, ты всегда так: приходя туда, где Нацу-тян с чужим мужчиной, стуком предупреждаешь их и спокойно ждешь? Золотой муж для прелюбодеев,— пошутил он.

— А «гвардии» твоей нет?

— Они ремонтируют «ситроен». Для молодежи шестидесятых годов деревянные консоли лишены всякой привлекательности. Их даже не удивило, что этот амбар — единственный и неповторимый в нашем лесном краю,— говорил Такаси, обращаясь к стоявшей сзади невестке, по-детски гордясь принадлежавшей его семье постройкой.

Я поднялся на второй этаж. Жена, закинув голову, смотрела на огромные балки из вяза, покоящиеся на консолях, и не обратила на меня ни малейшего внимания, а у меня из ранки на виске сочилась кровь. Каждый раз, ударяясь головой, я испытываю необъяснимый стыд, поэтому ее невнимание меня даже устраивало. Наконец, она восхищенно вздохнула:

— Какие удивительно огромные вязы, еще хоть сто лет простоят.

Я почувствовал, что и жена и Такаси необычайно взволнованы. Казалось, что от произнесенного братом слова «прелюбодей» где-то между стропилами притаилось чуть заметное эхо. После того что случилось с нашим ребенком, жена вырвала из своего сознания все, даже самые крохотные ростки влечения. Мы оба остро ощущали, что отныне физическая близость означает для нас взаимное отвращение и боль.

— В лесу, наверно, сколько угодно таких огромных вязов и построить такой дом совсем не трудно, правда?

— Не совсем так. Прадеду и его домочадцам пришлось немало потрудиться, чтобы его построить. Да к тому же строение это особое,— тусклым голосом сказал я, стараясь, чтобы жена не заметила, что я с трудом превозмогаю боль. — Вязов было сколько угодно, но ведь дом строился в то время, когда надвигались события. Постройка этого дома, таким образом, приобретала особый смысл — как раз зимой, в тот год, когда дом был завершен, вспыхнуло крестьянское восстание.

— Удивительно.

— И, поскольку возможность восстания заранее предполагалась, прадед понял, что необходимо построить здание, не боящееся огня.

— А мне, Мицу, отвратителен наш консервативный прадед с его предусмотрительностью и дальновидностью. Такое же чувство испытывал к прадеду и его младший брат. Ведь именно он был настоящим борцом

и возглавил крестьянское восстание. Он был противником старого, был впереди века.

— А разве прадед, Така, даже если сравнивать его с братом, не был впереди века? Ведь он отправился в Коти, чтобы познакомиться с передовыми идеями.

— В Коти, я убежден, отправился брат прадеда,— возразил Такаси.— Но прадед не хотел этого признавать и сознательно искажал факты.

— Это неверно. Первым отправился в Коти прадед. А потом, после восстания, его младший брат бежал в Коти и уже не вернулся — вот какая существует версия,— зло разбил я тенденциозные утверждения Такаси.

— Но расчистил учебный плац в лесу и готовил крестьянских детей к восстанию брат прадеда, и методы обучения он мог усвоить именно в Коти,— с некоторым колебанием сказал Такаси.— Вряд ли прадед, примыкавший к тем, кто подавил восстание, стал бы учить брата, как готовить его. Разве так бывает, чтобы одно и то же восстание совместно готовили враги?

— Почему бы и нет,— сказал я намеренно спокойно, но сам почувствовал, что голос мой стал резким. Еще с детства я привык всегда возражать Такаси, который готов был изображать брата прадеда в ореоле героя и борца.

— Мицу, у тебя кровь идет? Опять стукнулся головой? — сказала жена, глянув на мой висок.— Почему тебя так волнуют старые истории, похожие на сон, и ты совершенно равнодушен к тому, что из ранки идет кровь?

— И в старых историях, похожих на сон, есть важные моменты,— сказал Такаси, впервые взглянув на жену с неодобрением.

Жена взяла у меня платок, вытерла кровь и, послюнявив палец, смочила ранку.

Потом мы молча, на некотором расстоянии, стараясь не касаться друг друга, стали спускаться по лестнице. В доме совсем не пыльно, но тем не менее, пробыв в нем некоторое время, я испытываю ощущение, будто в ноздрях налипла пленка пыли.

Под вечер я, Такаси и жена вместе с юнцами пошли в храм за останками брата S. Дети Дзин прибежали туда еще раньше, и я надеялся, что в главном павильоне, как в день рождества Будды, вывесят пожертвованную нашим прадедом картину ада. Мы спустились к «ситроену», оставленному на площади перед сельской управой,— толпившиеся около машины деревенские дети потешались над нашей старой развалюхой, со смехом показывали пальцами на широкую полоску липкого пластыря, наклеенного над моим правым ухом. Мы не обращали на них никакого внимания, и только жена, со вчерашнего вечера не пившая виски и пребывавшая в благодушном настроении, возрождаясь для новой жизни, радовалась даже насмешкам.

Когда мы въехали во двор храма, настоятель, соученик брата S, разговаривал с молодым парнем. Я сразу увидел, что настоятель нисколько не изменился. Голова, сверкающая коротко подстриженными седыми волосами, лицо, пышущее здоровьем, добродушное, улыбающееся, без единой морщинки, гладкое, как яйцо. Он был женат на учительнице начальной школы, но после того как вся деревня открыто заговорила о ее связи с другом детства, ей пришлось бежать в город. Зная, как тяжело пережить подобное несчастье, особенно когда оно случается в деревне, я был поражен, что он, несмотря на все, нашел в себе силы жить, сохраняя беспомощную детскую улыбку. Разговаривавший с настоятелем парень в противоположность ему выглядел властно, внушительно.

— Этот парень — главная фигура молодежной группы, разводящей кур,— сказал нам Такаси.

Когда мы вышли из машины, Такаси подошел к нему и они стали о чем-то тихо разговаривать. Все выглядело так, будто парень специально поджидал Такаси в храме. Во время их беседы, не предназначенной для чужих ушей, и настоятель, и я, и жена вынуждены были терпеливо ждать, обмениваясь улыбками. У парня — большое круглое лицо с огромным крутым лбом, выдающиеся скулы, тупой, выдвинутый вперед подбородок — ну точно морской еж. Близко посаженные глаза, губы под самым носом — кажется, какая-то таинственная непреодолимая сила тянет лицо вперед. Не только выражение лица, но и откровенно надменная поза, которую он без всякой надобности принял, разговаривая с Такаси, наводили на мысль о беде, которую невозможно предугадать. Правда, у меня, человека по натуре замкнутого, всегда возникает подобная реакция, когда я встречаюсь с новыми, необычными людьми.

Продолжая тихо разговаривать, Такаси повлек парня к «ситроену». Наши юнцы по-прежнему оставались в машине — в своем уютном гнездышке. Такаси усадил парня на заднее сиденье и что-то приказал Хосио, который был за рулем. «Ситроен» уехал.

— Грузовичок, перевозящий яйца, сломался, и он пришел попросить Хосио починить мотор,— объяснил нам Такаси, простодушно гордясь тем, что, мол, только ему удалось сблизиться с деревенской молодежью. Конечно же, Такаси должен взять реванш за свое поражение в споре о поездке прадеда в Коти.

— А он не сказал тебе, что куры гибнут от голода? — спросил я.

— Здешние молодые ребята все делают не так как надо. Продажа яиц идет плохо, денег не хватает даже на корм, а тут еще новая забота — испортился грузовичок.

Мы вошли в главный павильон и сразу увидели картину ада. Пламенеющий красный цвет, который я после ста минут, проведенных на рассвете в яме, увидел на нижней стороне кизиловых листьев, точно вобравших в себя солнечные лучи, снова бросился мне в глаза в пылающей реке и пылающем лесу на картине ада. В ярко-красные волны вкраплены темные пятна, и это как раз и связано с воспоминанием о листьях кизила — ярко-красных с редкими темными точками. Я весь ушел в созерцание картины ада. Цвет пылающей реки и тщательно выписанные мягкие волнистые линии действуют успокаивающе. Из пылающей реки в меня вливается покой, масса покоя. В реке множество мертвецов — словно от резких порывов ветра, волосы у них стоят дыбом, воздев руки, они взывают к кому-то. Есть там и мертвецы, почти полностью погруженные в реку — торчат лишь их сухие угловатые зады и ноги. Печальный облик мертвецов обладает чем-то, вселяющим душевный покой. Видимо, потому, что, хотя они и изображены ввергнутыми в пучину страданий, физическое воплощение их мук создает впечатление торжественной игры. Кажется, что они свыклись, сроднились с муками. Такое же впечатление производят и мертвецы-мужчины, совершенно обнаженные, которым на головы, груди, спины обрушиваются горящие скалы. Возникает даже мысль, что мертвецы-женщины, которых черти гонят железными прутьями к пылающему лесу, с удовольствием оберегают связывающие их с чертями цепи, казалось бы, усугубляющие страдания. Я стал объяснять настоятелю, как я воспринимаю эту картину.

— Мертвецы в аду мучаются действительно очень долго, поэтому они уже свыклись с муками и, возможно, лишь для порядка делают вид, что мучаются,— согласился с моей точкой зрения настоятель.— Например, в этом горящем аду мертвецы мучаются шестнадцать тысяч лет, а ведь одни сутки в аду — тысяча шестьсот земных лет — вот какие там

сутки. Бесконечные! И вот мертвецы в этом аду, если продолжительность мук установлена им максимальная, страдают шестнадцать тысяч лет. За это время притерпится какое угодно страдание.

— Этот черт, похожий на обломок скалы, работает изо всех сил, не покладая рук, но в его теле зияет черная дыра — то ли это тень от мускулов, то ли шрам, непонятно — в общем, выглядит он полуживым. А вот мертвец-женщина, которую он избивает, на вид вполне здоровая. Действительно, кажется, что мертвец свыкся, сроднился с чертом, правда, Мицу?

Из этих слов жены я понял, что и она согласилась с моей точкой зрения, но это не означает, что на нее снизошел такой же глубокий покой, как на меня. Наоборот, блеск хорошего настроения, владевший ею с утра, стал постепенно меркнуть. Потом я заметил, что Такаси, отвернувшись от всех, молча стоит лицом к золотому полумраку внутренних покоев главного павильона.

— Что случилось, Така? — окликнул я его, но Такаси, пропустив мимо ушей мой вопрос, бросил через плечо:

— Чем рассуждать о картине, лучше бы, Мицу, взять останки брата S и уйти, тебе не кажется?

Тогда настоятель поручил своему брату, с веранды смотревшему на нас, будто на какое-то чудо, проводить Такаси за урной с прахом.

— Така-тян с детства боялся картины ада,— сказал настоятель. Потом, переведя разговор на парня, пришедшего встретиться с Такаси, начал критиковать теперешнюю жизнь в деревне.— Какую бы проблему ни обсуждали местные жители, они не рассматривают ее в длительной перспективе. Неудача с разведением кур, постигшая молодых ребят, красноречиво свидетельствует, что дело их по существу агонизирует. Вяло, неумело берутся они за что-нибудь первое попавшееся и в результате оказываются в безвыходном положении, но все еще продолжают легкомысленно надеяться, что какие-то внешние силы придут им на помощь. Особенно это нелепо после появления супермаркета — универмага самообслуживания. Сейчас в деревне под нажимом супермаркета разорились все местные лавки, кроме винно-мелочной, да и в ней сохранился лишь винный отдел, а наши торговцы не только не смогли защитить себя, но в той или иной форме стали должниками универмага. Может быть, они надеются на чудо? И этот один-единственный универмаг поставил всех жителей деревни в безвыходное положение.

Такаси, возвратившийся с урной, обернутой в кусок белого холста, несколько оживился.

— В урне вместе с прахом лежит металлическая оправа от очков. И знаешь, Мицу, благодаря оправе я отчетливо вспомнил лицо брата в очках.

Когда мы сели в «ситроен», который вместо Хосио и Момоко пригнал обратно к храму один из членов молодежной группы, Такаси сказал без обиняков:

— Урну с останками брата S пусть возьмет Нацу-тян. Мицу и свою-то голову не может предохранить от ударов.

Мне показалось, что Такаси не просто отдавал дань любви и уважения брату, но и хотел, насколько возможно, отстранить от него меня, похожего на крысу. Усадив жену, обнявшую урну, рядом с собой и тронув «ситроен», Такаси стал вспоминать брата. Я, поджав ноги, улегся на заднем сиденье и начал восстанавливать в памяти цвет пламени в картине ада.

— Ты помнишь зимнюю форму курсантов летной школы, Нацу-тян? В разгар лета брат приехал домой в темно-синей зимней форме, с мечом у пояса, в кожаных сапогах. И каждый раз, встречаясь с местными жителями, он, как нацистский солдат, щелкал каблуками и отдавал честь.

Мне кажется, до сих пор звучат в долине щелканье его каблуков и возбужденные голоса: «S Нэдокоро только что демобилизовался и вернулся домой!»

Такаси говорил, а сохранившийся в моей памяти брат не имел ничего общего с этим блестящим портретом. Брат, вернувшись после демобилизации, до моста действительно шел в зимней форме курсанта летной школы, но, поднявшись на мост, выбросил фуражку, сапоги и меч, снял куртку, взял ее под мышку и стал подниматься по мощенной камнем дорожке. Такой запомнилась мне демобилизация брата.

— Я отчетливо помню день, когда брата избили до смерти, я и сейчас часто вижу его во сне. Ясно помню тот день до мельчайших подробностей,— рассказывал Такаси жене.

Брат лежал на дороге, усыпанной размельченным и растертым ногами гравием, в сухой грязи, превратившейся в белый порошок. В солнечном свете прозрачной осени не только дорога, но и покрытые травой утесы, и склоны в густом бурьяне на другой стороне, и далекое верховье реки — все сверкало белым. И в этой однообразной белизне ярко блестела река. Такаси, сидевший скрючившись в полуметре от головы брата, лежавшего щекой на земле, лицом к реке, и собака, носившаяся вокруг и скулившая тонким, высоким голосом, будто скрипела зубами, тоже были белыми. Убитого брата, Такаси и собаку обволокло белым облаком света. Одинокая слезинка черным пятнышком застыла на вывалянном в пыли кителе. Но и она постепенно высохла.

У меня самого не было желания ворошить воспоминания о смерти брата. Но я почувствовал необходимость доказать, что, несмотря на здоровую психику, память Такаси захвачена фантазиями гораздо глубже, чем он сам это сознает.

— Такаси, то, что ты пытаешься восстановить в своей памяти, веря в это как в действительность, тебе с самого начала явилось как обыкновенный сон,— сказал я и стал опровергать воспоминания Такаси.— Ты, Така, вообще не мог видеть покойного брата. И уж никак не мог видеть его лежащим на дороге. Видели его только я, приехав с тележкой, чтобы забрать труп, и корейцы из поселка, помогавшие мне уложить его на тележку. Корейцы, хотя именно они избили до смерти брата, отнеслись к умершему по-доброму, без зла и обращались с трупом даже с любовью, точно покойный был их родственником. Они дали кусок белого полотна. Им я прикрыл брата, лежавшего на тележке, чтобы полотно не сдуло, наложил сверху много мелких камней, а потом, толкая тележку, пошел назад в деревню. Когда я привез брата в деревню, наступил уже вечер, из домов по обе стороны дороги не вышел ни один взрослый и лишь дети тайком подглядывали за мной. Покойный, опасались они, накличет беду, и старались быть подальше, надеясь избежать ее. Когда, оставив тележку на площади, я прибежал домой, ты, Така, стоял в кухне, рот твой был набит тянучкой. Мать была больна, и рядом с ней лежала сестра, притворявшаяся тоже больной. В общем, никто из семьи помочь мне не мог. Я пошел за Дзин, которая за амбаром пилила дрова. Она была тогда еще худой, крепкой и сильной девушкой. Пока мы спустились на площадь, белое полотно с тачки уже успели украсть, и мертвый брат лежал, ничем не прикрытый. Я помню, что скрюченное тело брата казалось маленьким, как у ребенка. Все оно было в засохшей грязи и пахло кровью. Мы с Дзин, взяв брата за руки и за ноги, попытались тащить его, но это оказалось нам не под силу. Мы только перепачкались в крови. По совету Дзин я вернулся домой за носилками, которые у нас использовались во время учений по противовоздушной обороне. Тело брата мы подняли уже в полной тьме по дорожке, идущей вдоль каменной ограды, и положили в амбаре, а ты так его и не увидел, верно ведь?

Такаси вел машину, неотрывно глядя вперед, и мне удалось лишь

заметить, как покраснела его шея и как подрагивают на ней мускулы, как он иногда покашливает, точно прочищает горло. Ясно, что мой рассказ разбил вдребезги мир его фантастических воспоминаний. Некоторое время мы ехали молча. Наконец, жена, будто пожалев Такаси, сказала:

— Но мне все это кажется неестественным, что Така остался стоять в сенях, набив рот тянучкой, и не выказал никакого интереса к мертвому брату.

— Было так,— сказал я, добираясь до еще более глубокого слоя памяти.— Я приказал Така не выходить из кухни. И чтобы заставить его сдержать обещание, дал еще тянучек, а мы с Дзин несли тело брата по дорожке, идущей вдоль каменной ограды, как раз для того, чтобы оно не попалось на глаза Така, находившемуся в кухне, и матери с сестрой, лежавшим в комнате.

— Тянучку я действительно помню. Ее дал мне брат, отбив рукояткой кортика от огромного куска, добытого во время первого налета на корейский поселок. Я точно помню форму и даже цвет этого морского кортика. Потом брат совершил второй налет, и его избили до смерти. Давая мне тянучку, захваченную в качестве трофея, он был в прекрасном, радостном настроении. Я и сейчас вижу во сне потрясшую меня картину, как курсант школы морских летчиков в белоснежной рубахе и брюках, держась за лезвие кортика, бьет рукояткой по куску тянучки. Брат, которого я вижу во сне, всегда ослепительно улыбается и размахивает сверкающим клинком,— с жаром продолжал Такаси, будто верил, что пораненные моими поправками куски воспоминаний сами собой излечатся.

Я так и ожидал, что мои возражения вызовут новые фантазии Такаси, и заранее предвкушал удовольствие снова разбить их. Я ненавидел себя за это, но в то же время изо всех сил старался уничтожить героический облик брата, который Такаси стремился запечатлеть в сознании жены.

— Така, это воспоминание тоже из области фантазии. Увиденное во сне фиксируется в твоей памяти точно так же, как то, что произошло в действительности. Во время первого налета брат и его приятели добыли в корейском поселке самогон и тянучку — это действительно так. Но с тех пор как, демобилизовавшись, брат заставил мать пройти проверку у психиатра, отношения у них испортились, и ему не хотелось, чтобы узнали, что тянучку он украл для матери. Поэтому он спрятал ее в сарае в солому. Я потихоньку таскал ее оттуда, ел сам и давал тебе, Така. Будем говорить откровенно, ведь после первого налета брат не мог быть в хорошем настроении. Почему? В корейском поселке уже погиб один человек. И брат понимал, что во втором налете тоже погибнет кто-то, но теперь уже японец из деревни. Как ты помнишь, хоронили их вместе, и те и другие решили в полицию не сообщать. Ведь первый налет совершался совсем не с целью убийства, и убийство во втором налете рассматривалось как искупление вины. И нужно было решить, кому погибнуть. Во всяком случае, брат знал, что эту роль придется выполнить ему. У меня в памяти сохранилось, точно нечеткая фотография, воспоминание, как выглядел брат между двумя налетами, и это не выдуманная мной фотография. В то время как приятели пили ворованный самогон, брат, насколько я помню, совершенно трезвый, ушел в дальнюю комнату амбара, лег, скорчившись, в темноте, и застыл в такой позе. Может быть, он смотрел на веер Джона Мандзиро, висевший в нише. Мне, помнится, было стыдно, что брат заметил, как я отправляю в рот кусок спрятанной им тянучки. Но, может быть, так же, как и тебе, Така, это воспоминание привиделось мне во сне после того, как я сумел понять, насколько болез-

ненно переживает брат весь позор, всю глупость воровства в корейском поселке.

Я ведь тоже часто вижу сны о брате — это правда. Смерть брата оказала на нас огромное влияние. Потому-то мы и видели множество снов о нем. Однако, судя по твоим, Така, рассказам, наши сны, по своей атмосфере, что ли, диаметрально противоположны,— сказал я. И тут же, раскаявшись, что загнал Такаси в тупик, протянул ему ниточку компромисса.— Видимо, смерть брата повлияла на нас с тобой совершенно поразному.

Такаси задумался, игнорируя мои ходы к примирению. Он прикидывал, как бы лучше одним ударом уничтожить превосходство моих воспоминаний, и судорожно шарил в уголках своей памяти и снов. Однако наш спор вызвал у жены, которую мы воспринимали просто как стороннего наблюдателя, тревогу и беспокойство.

— Зачем же S-сан, зная, что его убьют, участвовал в налете? Ведь его и в самом деле убили. Почему именно он должен был заплатить смертью во искупление? Мне становится страшно, когда я думаю о том, как он лежал, скорчившись, в темном амбаре. Я особенно ясно представляю себе это, потому что именно сегодня утром осматривала амбар. Я отчетливо рисую в своем воображении вашего брата, его спину,— сказала жена. Теперь она неотвратимо скользит вниз по наклонному ходу психологического муравейника, ведущему к виски. Только начавшаяся вчера вечером и продолжавшаяся до сегодняшнего утра трезвая жизнь столкнулась с первым препятствием.— Почему именно S-сан должен был стать жертвой искупления? Потому, что в первом налете корейца убил он?

— Видимо, нет, а, Мицу? — вмешался Такаси и продолжал мрачно: — Просто он был вожаком. Я сам прекрасно знаю, что это воспоминание из области фантазии, так что, Мицу, можешь не затрудняться, но мне все равно кажется, что я вспоминаю впечатляющую картину, как брат, одетый в зимнюю форму курсанта школы морских летчиков, предводительствуя ребятами из деревни, вызывает на бой самых здоровых и отборных парней из корейского поселка.

— Если проследить за всеми искажениями, которые допускает твоя память, Така, то можно увидеть, что они продиктованы одним горячим желанием. Это совершенно ясно. И нельзя сказать, что я не разделяю его. Но брат вовсе не был вожаком деревенской молодежи. Скорее наоборот. Это понимал даже я, десятилетний ребенок. Из всех парней, возвратившихся после демобилизации в деревню, брат был единственным размазней, не имевшим девушки. Ему, правда, удалось проникнуть в замкнутый деревенский мирок, но из всех отъявленных головорезов, которых в конце концов подбили совершить налет на корейский поселок, он был самый молодой, да к тому же еще низкорослый, хилый, слабовольный. Если же говорить о причинах налета на корейский поселок, то дело было в том, что молодежь подстрекали, и даже вынудили к этому,— прежде всего староста деревни, ну и местные заправилы. Все началось с того, что корейцы-спекулянты, пронюхав, где в деревне припрятан несданный рис, неоднократно крали его и увозили продавать в город. Крестьянам, давшим ложные сведения и укрывшим рис, было невыгодно сообщать в полицию, вот они и обратились к деревенским головорезам, которые могли проучить корейцев. В большинстве своем это были дети тех самых крестьян, у которых корейцы воровали рис,— так что у них были и личные причины совершить налет. Но наше хозяйство еще до аграрной реформы пришло в упадок. И у нас не было риса, чтобы прятать его. Наоборот, Дзин договаривалась с корейцами и покупала у них рис из-под полы. Следовательно, брату просто выпала роль жертвенной овцы. Я, тогда еще ребенок, не мог постичь всего этого. А боль-

ная мать, которую брат насильно возил в психиатрическую больницу, утверждала, что он сам обезумел, и даже не пожелала попрощаться с покойным. Мать злилась на брата за его глупую отчаянную авантюру и по-настоящему возненавидела его. Отказалась она и от похорон. Соседи, по просьбе Дзин, просто кремировали брата; вот потому-то прах его до сих пор находился в храме. Если будут настоящие похороны, наверно, лучше всего захоронить урну в семейной могиле Нэдокоро, где покоится и прах сестры.

— Его принудили? — переспросила жена, обращаясь главным образом к Такаси, но тот не ответил. Он сидел, плотно сжав губы, видимо, из-за того, что я упомянул о смерти сестры.

— Не думаю, чтобы принудили. Брат, наверно, сам согласился принести себя в жертву. Потому-то труп избитого до смерти брата и был брошен приятелями и мне одному пришлось везти его на тележке.

— Почему же, почему? — продолжала в страхе спрашивать жена.

— Выяснить подробности задним числом не было возможности. Приятели брата, убедившись, что он мертв, разбежались, не желая, естественно, встречаться с членами семьи погибшего, поэтому расспросить их я не мог. Теперь почти никого из них уже нет в деревне. Некоторые в городе уехали, некоторые стали профессиональными бандитами. Когда я учился в школе, в местной газете много об этом писали. Меня все время не покидала мысль, что кто-то из них убил корейца во время налета, и если бы их фотографии были помещены в газете, можно было бы сразу догадаться, кто убийца. Ведь убийство превращается в привычку, верно?

Я хотел свести разговор к общим проблемам, но жена, разволновавшись, не попалась на мою уловку. Она упорно выспрашивала Такаси, но он замолчал и, казалось, совсем потерял желание разговаривать.

— Така, а в твоих фантастических воспоминаниях, почему?.. Почему же?..— без конца спрашивала жена, буквально вынуждая его к ответу.

— В фантастических воспоминаниях? — заговорил Такаси, выказывая уступчивость и терпимость, которыми он не отличался никогда, даже в детстве.— В своих снах я нисколько не сомневался, почему брату выпала такая доля. В моем воображении он всегда живет как жертвующий собой герой. И в снах и наяву я не могу, как Мицу, смотреть на брата критическим взглядом.

— Почему? Почему же? — повторяла, не обращаясь уже ни к Такаси, ни ко мне, жена. Почему, почему, почему-почему-почему? — звучало как эхо в разверзшейся в ней пустоте.— Почему, как все это случилось? Страшно, мне страшно, когда представляю себе круглую, неподвижную спину юноши, тихо лежащего во тьме амбара. Нынешней ночью я обязательно увижу это во сне, и оно врежется в мою память, как у Така...

Я попросил брата проехать к винно-мелочной лавке, о которой говорил настоятель. Мы вернулись на площадь перед сельской управой и, остановив машину, все продолжали разговаривать. Потом, раздобыв бутылку дешевого виски, вернулись домой.

Дома жена сразу начала пить. Она сидела молча, повернувшись к очагу, и, не обращая на нас с Такаси никакого внимания, медленно, но неуклонно погружалась в волны опьянения. Она воскресила в моей памяти тот день, когда я впервые увидел ее пьяной.

Она отрешилась от всего, и ужин приготовила Момоко, вернувшаяся вместе с Хосио. Хосио принес разобранный мотор, который, будто прозрачным дымом, наполнил всю кухню запахом бензина, и чинил его, окруженный внимательно наблюдавшими за ним четырьмя исхудавшими детьми. Во всяком случае, одному лишь Хосио удалось враждебность детей превратить в уважение. Раньше я никогда не видел усердных

юнцов и поэтому отбросил предубеждение против него. Мы с Такаси расположились возле жены, молча пившей виски, и поставили на старинный патефон старую пластинку из тех, что собирала покойная сестра. Это был вальс Шопена, записанный на последнем концерте Липатти.

— У сестры была своеобразная манера слушать игру на рояле. Она воспринимала звук за звуком, каждый, не пропуская ни одного. Как бы быстро ни играл Липатти, она улавливала каждый звук в отдельности. Казалось даже, что она расчленяла аккорды. Однажды сестра сказала мне, сколько звуков в этом мажорном вальсе Шопена. Я записал цифру, но по небрежности потерял блокнот. Действительно, у сестры были по-особому устроены уши,— сказал тихо, хриплым голосом Такаси. Я подумал, не первые ли это слова о сестре, которые я слышу от Такаси после ее смерти.

— Неужели сестра могла так быстро считать?

— Не могла. И поэтому на большом листе бумаги ставила карандашом маленькие точки. В конце концов, лист бумаги становился похожим на фотографию звездного неба. Я долго считал точки на этом листе. Как жаль, что я потерял записанный итог. Думаю, что количество точек, нанесенных сестрой, совершенно точно соответствовало количеству звуков,— сказал Такаси и неожиданно стал утешать меня: — В определенном смысле, Мицу, и твоя жена человек своеобразный.

Я вспомнил, как Такаси сказал, что мой товарищ, который повесился, выкрасив голову в красный цвет, человек своеобразный, и теперь то же самое определение — это потрясло меня. Брат S тоже был своеобразным человеком, и когда Такаси заявляет это, мне даже нет необходимости пытаться опровергать его фантастические воспоминания. Это слова человека, действительно проникшего во внутренний мир умерших людей, людей, охваченных тревогой, которой они не могли поделиться с другими.

## 5. КОРОЛЬ СУПЕРМАРКЕТА

Ясное морозное утро, ручной насос в кухне замерз, и мы тяжелым ведром набрали воды из колодца на узком и длинном заднем дворе, когда-то еще прозванном нами кишкой. Первым ведром монопольно завладевает Такаси: он бесконечно долго трет лицо, шею, за ушами, подавшись вперед, усердно трет грудь и плечи. Стоя рядом с ним и дожидаясь, пока он опорожнит ведро, я признаю, что брат, в детстве боявшийся холода, сумел себя перебороть. Он, может быть, сознательно демонстрирует мне голую спину, на которой виден темноватый шрам от удара тупым предметом. Я впервые вижу этот шрам, и он вызывает у меня неприятное ощущение под ложечкой, напомнив физическое страдание, испытанное мною.

Я еще не получил ведра, когда вышла из кухни и появилась перед нами Момоко со вчерашним парнем, похожим на морского ежа. Здоровый на вид, он даже в это морозное утро был одет лишь в защитного цвета брюки и рубаху с такими длинными рукавами, что они закрывали руки до кончиков пальцев. Он стоял, опустив большую круглую голову, и беспрерывно дрожал; ему, наверно, не хотелось начинать при мне разговор с Такаси. Парень весь посинел. В конце концов я отказался от мысли умыться и вернулся к очагу, давая им возможность поговорить о своих делах. Правда, я отнесся совершенно равнодушно к тому, что мне не удалось умыться. Я и зубы не чистил уже несколько месяцев, и они

стали желтыми, как у животного. Эта перемена во мне произошла постепенно, сама собой, я не менял себя сознательно. Меня изменили покойный товарищ и ребенок, помещенный в клинику.

— Неужели ему не холодно, Мицу? И тогда, в храме, на нем была одежда, пригодная для ранней осени,— тихо сказала жена, обратив внимание на парня, стоявшего с Такаси.

— Холодно, наверно. Дрожит он ужасно. Он ходит зимой без пальто и куртки, чтобы привлечь к себе, стойку-оригиналу, внимание приятелей. Правда, в деревне одним этим добиться уважения, пожалуй, трудно, но его внешний вид и наигранное пренебрежение к окружающим весьма необычны.

— Но наивно же думать, что именно это сделало его вожаком молодежи?

Наконец Такаси, дружески обнявшись с парнем, пошел к дому, потом крепко, это было видно даже издали, пожал ему руку. Парень все время молчал. В тот момент, когда он переступал порог, в свете, падавшем с улицы, застывшая на его широком лице мрачность была настолько отталкивающей, что я невольно содрогнулся.

— Что случилось, Така? — робко спросила жена, потрясенная не меньше меня.

По лицу Такаси, который, ничего не отвечая, подошел к очагу с полотенцем на шее, как боксер после тренировки, видно, что его буквально раздирают самые противоречивые чувства: с трудом сдерживаемая насмешка и непреодолимая печаль. Смерив нас с женой оценивающим взглядом, в котором были и жестокость и решимость, он, рассмеявшись, громко сказал:

— То ли от голода, то ли от мороза все куры, а их несколько тысяч, подохли, ха-ха!

Подавленный горестной судьбой нескольких тысяч кур, я замолчал, раздваиваясь между насмешкой и печалью, только что подмеченными мной в выражении лица Такаси. Когда я представил себе этого беспрерывно дрожащего оригинала, устраивающего спектакль, что мороз, мол, ему неведом, и его приятелей, застывших перед горой трупов истощенных до предела кур, то эта огромная беда вызвала во мне жалость, смешанную с отвращением.

— Он просил меня посоветоваться с королем супермаркета насчет тысяч подохших кур. Я не могу бросить этих ребят на произвол судьбы. Поеду в город.

— С королем супермаркета? Сколько ни советуйся с ним, пустить дохлых кур в продажу все равно не удастся.

— Король супермаркета взял на себя половину расходов по разведению кур. Ребята мечтали о независимости, но стоило им коснуться закупки кормов или сбыта яиц, и они поняли, что без могущественного короля не обойтись. Таким образом, ущерб, понесенный молодежной группой от гибели кур,— это также и ущерб для короля, вложившего деньги в их предприятие. Вот они и надеются, что, вступив в переговоры с королем супермаркета, я несколько умерю его желание возбудить иск против молодежной группы. Есть среди молодежи и идеалисты, уверенные, что король придумает какую-то выгодную комбинацию с дохлыми курами. Скопище тупиц!

— А если местные жители съедят эти тысячи дохлых кур и отравятся — спасти их будет трудно,— уныло вздохнул я.

— Заледеневшие куры, видимо, так же безвредны, как замороженные стерилизованные овощи. В качестве вознаграждения за труды, за то, что я поеду в город, он принес несколько не очень тощих кур — пусть

Дзин поест белковой пищи, как ты считаешь? — сказал Такаси, но жена ехидно возразила:

— Дзин страдает обжорством, а животный белок вреден для печени, и она, кажется, почти не ест мяса.

Во время торопливого завтрака Такаси расспрашивал Хосио, сколько времени займет дорога до города и обратно, и о расстоянии между бензозаправочными станциями. Все, что касалось автомобиля, Хосио знал назубок, и разговор шел очень энергично: стоило Такаси задать вопрос, как он немедленно получал короткий, точный ответ.

— Хосио — специалист по ремонту автомашин, поэтому, если ты возьмешь его с собой, на любой машине сколько угодно проедешь, и все будет в порядке! Чем хуже машина, тем Хоси лучше в ней разбирается. Возьми Хоси — он тебе пригодится,— жалобным голосом, в котором звучала и зависть к товарищу, просила Момоко.

— Интересно, какие фильмы показывают сейчас в цивилизованном обществе? Брижжит Бардо еще жива?

— Давай возьмем с собой и Момоко. Молодых девушек обижать не следует,— сказал Такаси, и Момоко простодушно заулыбалась, всем своим видом выражая радость.

— Така, веди машину осторожно. Дорога в лесу, наверно, обледенела.

— О'кэй, особенно внимательным буду на обратном пути. Я ведь привезу тебе, Нацу-тян, полдюжины виски, получше, чем то, которое удалось раздобыть здесь. А у тебя, Мицу, будут какие-нибудь поручения?

— Нет.

— Мицу не надеется теперь ни на других, ни на себя,— подшучивал Такаси над моей неприветливостью.

Такаси, кажется, точно определил происшедшую во мне утрату чувства н а д е ж д ы. А может быть, симптомы, говорящие о том, что я потерял н а д е ж д у, видны каждому, кто со мной общается?

— Хорошо бы еще кофе, Така.

— Я приеду, нагруженный товарами. Получу же я задаток от короля супермаркета за амбар? Мицу с женой тоже имеют право наслаждаться этими деньгами.

— Если можно, Така, мне бы еще хотелось кофеварку с ситечком и молотого кофе,— сказала жена, не скрывая, что и она сама не прочь совершить небольшую поездку в город.

Мы с женой, прервав завтрак, с трудом удерживая равновесие, стояли на покрытом ледяной коркой дворе у обрыва и провожали Такаси и его «гвардию», которые побежали на площадь перед сельской управой к своему «ситроену».

— Така постепенно сживается с местной молодежью. А вот ты, Мицу, хоть и приехал сюда, ничего не изменилось, ты точно остался замурованным в своей токийской квартире.

— Это потому, что Така хочет снова пустить корни, а у меня, кажется, и корней-то никаких нет,— ответил я с горечью, испытывая отвращение даже к собственному голосу.

— Хоси критически относится к стремлению Така сдружиться с местной молодежью.

— А разве он вместе с Така не помогает молодежной группе?

— Хоси всегда, всей душой вместе с Така, что бы тот ни делал. Поэтому и сейчас, хоть он и недоволен, но виду не показывает. Уж не ревнует ли он его к новым приятелям?

— Все дело в том, что Хоси, еще совсем недавно живший в деревне, питает к местной молодежи и любовь и ненависть. Он прекрасно сознает, что представляют собой крестьяне, и поэтому не может верить

им с таким же прямодушием, как Така, уже почти позабывший деревенскую жизнь.

— У тебя, Мицу, такое же чувство? — спросила жена, но я не ответил.

До нас долетали угрожающе громкие выхлопы «ситроена», голоса Такаси и его приятелей; наконец, оставив после себя разнесшееся по всей долине эхо, они растаяли в очерченном высоким лесом прямоугольнике неба. А после того как растаял внезапно, точно эхо, и сам «ситроен», над замершей в неподвижности утренней долиной взвился удивительно яркий желтый треугольный флаг. Это был великолепный флаг, развевавшийся на флагштоке винного склада, принадлежавшего семье Дзёдзо, роду такому же древнему, как и наш: во время восстания 1860 года только две усадьбы — их и наша — подверглись нападению. Теперь Дзёдзо уехали из деревни, и склад, который они продали, превращен в универмаг самообслуживания.

— На флаге вышито три S и два D,— сказал я, заинтересовавшись,— что это за сокращение, хотел бы я знать.

— Self service discount dynamic store, вот это что. Прочла вчера в рекламе, вложенной в местную газету. Метод торговли, заимствованный, видимо, в Америке ездившим туда владельцем универмагов самообслуживания. А если даже эта английская фраза изобретена самими японцами, все равно это прекрасные слова, обладающие огромной притягательной силой,— сказала жена каким-то странным тоном.

— Ты действительно поражена? — спросил я, роясь в уголках своей памяти, слабо запечатлевшей все происходящее в деревне, силясь вспомнить, поднимают ли этот флаг каждое утро.— Мне кажется, этот флаг я вижу впервые.

— Сегодня распродажа — потому, наверно, и вывесили. Дзин говорит, что в дни распродажи сюда стекаются покупатели не только из горных деревушек, но даже приезжают на автобусе из дальних деревень.

— Во всяком случае, король супермаркета человек, видимо, весьма оборотистый,— сказал я, вдруг устрашившись развевающегося на ветру треугольного флага.

— Безусловно,— согласилась жена, но я чувствовал, что она поглощена какой-то другой мыслью.— Если все деревья в лесу, пораженные морозом, будут гнить на корню, смогут ли жители деревни вечно противостоять этому запаху?

Заинтересованный ее словами, я стал оглядывать подступающий со всех сторон лес и, сраженный предчувствием, что вот-вот на меня нахлынет страшное воспоминание, поспешно перевел взгляд на землю, где начали крошиться кристаллики льда. Мое замерзшее дыхание устремлялось вниз и потом, замерев, еще долго, не тая, растекалось в стороны. И я почувствовал, как воскресает воспоминание об отвратительном удушливом запахе от груды мясистых деревьев и декоративных растений, гниющих оттого, что их побил мороз. Дрожа всем телом, я стал торопить жену:

— Ну ладно, пойдем спокойно позавтракаем.

Но не успела жена, повернувшись, сделать и шага, как ледяная корка под ее ногами хрустнула и, потеряв равновесие, она упала, выпачкав руки и колени. После долгого ночного пьянства ей, видимо, было трудно сохранить равновесие — ей изменили силы не только физические, но и духовные. Может быть, жена тоже вспомнила отвратительный запах, и это еще больше притупило чувство равновесия. Ее повалило на землю привидение, принявшее вид пожухших листьев декоративных растений у нас дома, в Токио.

Выйдя замуж, жена устроила в кухне,—у окна, смотревшего на юг,—

служившей нам и столовой, застекленную теплицу, площадью в три с половиной метра, и разводила там пальмы, разные виды папоротника, орхидеи. Когда зимой предсказывали похолодание, она на всю ночь зажигала газовую плиту и каждый час вставала, чтобы впустить согретый воздух в свою крохотную теплицу. Я предлагал ей компромиссное решение: либо оставлять щель в стеклянной раме, отгораживающей теплицу, либо ставить туда жаровню, но жена, с детских лет запуганная ворами и пожарами, и слушать об этом не хотела. Благодаря стараниям жены теплица с пола до потолка была буквально погребена в пышной густой зелени. Но этой зимой жена, засыпавшая лишь после обильной выпивки, не могла всю ночь следить за теплицей, да я и сам боялся подпускать ее, пьяную, к газовой плите. И вот однажды радио сообщило о надвигающихся массах холодного воздуха. Мы ждали этого с ужасом, как маленькое слабое племя ждет приближения могучей армии врага. Рано утром после невыносимо холодной ночи я заглянул через стекло в теплицу и увидел, что все листья на растениях покрыты черными пятнами. Они совсем не выглядели уродливыми. Листья были поражены, но еще не увяли. Отодвинув дверь, я вошел внутрь и был потрясен, только там осознав истинные размеры бедствия, постигшего растения. Я был потрясен резким запахом, похожим на запах мокрой псины, распространившимся по всей теплице. В моем сознании, угнетенном этим запахом, пальмы справа и слева от меня с расплывчатыми темно-зелеными пятнами на листьях были похожи на умирающих стоя могучих исполинов, а склонившиеся к моим ногам темные груды орхидей казались больными пушистыми животными. Собравшись с духом, я вернулся в спальню и снова заснул, но и во сне меня преследовал запах псины, точно облепивший всего меня. Когда я снова встал около полудня, от жены, молча евшей свой поздний завтрак, тоже исходил уже знакомый мне запах псины, и я подумал, что она, видимо, провела немало горьких минут в теплице. С тех пор как жена стала все глубже погружаться в пьянство, симптомов запустения в нашем доме появлялось все больше, но такого угнетающего, убийственного запустения еще не было. Преодолев отвращение, я заглянул через стеклянную дверь теплицы — в лучах разгоревшегося солнца черные пятна уже поглотили листья целиком, и они поникли на ветвях, как ладонь на сломанном запястье,— растения на глазах умирали.

Действительно, если все деревья в лесу, окружающем долину, будут поражены морозом, то жителям деревни покажется, что их обволакивает запах псины, исходящий от десятков миллионов собак, и тогда люди, привыкнув к этому запаху, ставшему для них обыденным, будут не в силах освободиться от него.

Задумавшись, я тоже чуть было не потерял равновесия на корке разламывающегося льда. Погрузившись в свои горестные мысли, мы молча возвратились в дом и в атмосфере совсем иной, чем когда с нами был Такаси, закончили свой унылый завтрак.

После полудня почтальон принес письмо для Момоко и сказал, что на почте есть для нас посылка. В ней находилось «удобное приспособление для уборной», которое жена увидела в журнальной рекламе и попросила отца прислать. Судя по каталогу, оно представляло собой стул без сиденья. Жена предназначала его для Дзин (которую непомерный вес вынуждал в определенные моменты к колоссальному напряжению), надеясь облегчить жизнь «самой большой женщине в Японии». Правда, неизвестно, выдержит ли сделанное из тонких металлических трубок «удобное приспособление для уборной» стотридцатидвухкилограммовую тушу; вопрос также, удастся ли уговорить консервативную Дзин воспользоваться этим приспособлением. Но прибытие «удобного приспособления для уборной» подстегнуло наше любопыт-

ство, и мы, уже не в силах выносить тоску в опустевшем доме, сразу же стали спускаться по выложенной камнем дорожке.

Необычайное оживление возле универмага заставило нас остановиться. В моих воспоминаниях о деревне такое оживление всегда ассоциировалось с праздничной суетой. Несколько поодаль от толпы, запрудившей вход и выход в магазин, нарядные дети увлечены старинной игрой — в классы, и это тоже вызывает воспоминания о празднике. Одна из девочек — в праздничном кимоно с вытканной по пурпурной основе золотом и зеленью птицей феникс и подпоясанная серебряным оби (наряд этот, несомненно, попал к ее родителям в период трудностей с продовольствием в обмен на рис), на спине у нее прикреплен серебряный колокольчик, а короткую шею прикрывает меховой воротник под лисицу. Каждый раз, когда девочка подбивает ногой камень, колокольчик пронзительно звенит, пугая остальных детей. На ярко-красном полотнище, свисающем с бывшего винного склада, в котором сняты внутренние перегородки и стены облицованы пластиком, зеленой краской написаны зазывные фразы:

АССОРТИМЕНТ ИЗУМИТЕЛЕН
ПОДОБНО ВЗРЫВУ ВСКИПАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ
ВСЕ ОТВЕЧАЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ ТРИ S, ДВА D
НЕБЫВАЛАЯ РАСПРОДАЖА, ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА В ЭТОМ ГОДУ!
ВЕСЬ УНИВЕРМАГ ОТАПЛИВАЕТСЯ.

— Весь универмаг отапливается — это здорово, верно?

— Здесь много печей — это специально для бедняков, Мицу,— сказала жена, несколько раз вместе с Момоко ходившая за покупками.

Женщины, сделавшие покупки, толпятся у окна между входом и выходом (на нем белой краской написаны цены поступивших в распродажу многочисленных товаров, и оттуда, где мы стоим, увидеть, что делается в магазине, невозможно) и не собираются уходить. Несколько женщин, прильнув лбом к стеклу, смотрят на улицу сквозь лабиринт белых цифр. Наконец, одна из крестьянок, неся бумажный пакет, наполненный покупками, с ярким одеялом, накинутым на голову, как у индеанки, выходит из магазина, взметнув среди толпящихся женщин вихрь завистливых вздохов. Они со всех сторон тянутся к ней, ощупывают одеяло, а крестьянка, скорчившись, возбужденно смеется тонким голоском, точно ее щекочут... Я давно не был в деревне, и эти женщины представляются мне пришельцами из других миров.

Не сговариваясь, мы с женой собрались уже было уходить, но вдруг сквозь толпу женщин заметили, как из магазина выходит настоятель, прижимая к груди пакет. Его добродушное лицо, когда он, увидев нас, направился в нашу сторону, краснеет, он смущенно улыбается. Рано поседевшие короткие волосы тщательно вымыты и отливают серебром, красноватые веки и розовые щечки — точь-в-точь новорожденный зайчонок.

— Пришел купить рисовых лепешек на Новый год,— смущаясь, объяснил настоятель.

— Рисовых лепешек? Разве уже исчез здешний обычай и их не приносят прихожане?

— Видите ли, теперь здесь никто не готовит дома рисовых лепешек. Все, либо в обмен на рис, либо за деньги, покупают их в универмаге. Так что основные жизненные стереотипы в деревне один за другим теряют свой первоначальный вид. Разрушаются, видимо, клетки листьев и травинок. Вам приходилось, Нацуко-сан, рассматривать в микроскоп листья и травинки?

— Да.

— Каждая клетка в листе имеет определенную форму, верно? И когда, разрушаясь, она теряет свою форму, значит, одно из двух: либо клетка повреждена, либо погибла. Если преобладают бесформенные клетки, лист или травинка начинает гнить. Я бы не смог заставить жителей деревни до седьмого пота толочь рис для лепешек в каменной ступе древним пестиком, перешедшим в наследство от предков. Любой заподозрил бы меня в желании получать рисовые лепешки! Ха-ха!

Его аллегория нам очень понравилась. Присоединяясь к смеху настоятеля, весело заулыбалась и жена. Из магазина выходят еще несколько женщин, которых дожидаются снаружи приятельницы, а одна из них кричит нарочито грубым, хриплым голосом: «Мура́!» Это средних лет женщина с бронзово-красным лицом, она размахивает игрушечной клюшкой для гольфа, сделанной из голубой пластмассы. Хмурит брови и смеется, точно кудахчет.

— Мура́ — это значит ерундовая, ненужная вещь,— объясняю я жене, переведя «муру» на понятный ей язык.

— Клюшка для гольфа здесь, в деревне, даже как игрушка действительно совершенно не нужна,— говорит жена.— Но зачем же тогда она ее купила?

— Она ее не покупала: вещи, которые эти женщины несут, не пряча в сумки — и одеяло, и игрушечная клюшка,— премии. Рядом с выходом лотерея, и в ней разыгрываются всякие, правда никому не нужные, вещи — там и толпятся женщины, уже сделавшие покупки, и наблюдают за скудным счастьем других,— сказал, не глядя на нас, настоятель.

По дороге на почту мы с настоятелем, жена шла между нами, говорили о бедствии, постигшем молодежную группу. Настоятель уже слышал о гибели кур, но, узнав, что Такаси уехал в город, чтобы вместе с королем супермаркета найти какой-нибудь выход после проигранного сражения, начал возмущаться:

— Вот теперь они обратились к Такаси, а что бы им раньше связаться с королем супермаркета, до того, как все куры подохли. Все-то у них идет вкривь и вкось, всегда и во всем они опаздывают.

— Но ведь молодежная группа старалась, насколько это возможно, оставаться независимой от короля супермаркета? Хотя тот своими универмагами и поставил их в безвыходное положение, вынудив к капитуляции,— высказал я мнение человека нейтрального.

— Они все время тянули с соглашением о сбыте яиц непосредственно через универмаги, стремясь самостоятельно продавать их на рынках и в мелких лавках, и в результате сами, своими руками подготовили сегодняшнее поражение. С самого начала это была пустая затея. Пойми, Мицу-тян, и земля, на которой разводят кур, и все постройки принадлежат королю супермаркета. После войны эту землю деревня продала корейцам, согнанным сюда на лесоразработки, и один из них постепенно скупил ее у своих односельчан, монопольно завладел всей землей корейского поселка и, умножая свои богатства, в конце концов превратился в нынешнего короля супермаркета.

Я был глубоко потрясен. Ни Дзин и ее домочадцы, ни старые деревенские знакомые, зная, что мы с Такаси собираемся продавать один из принадлежащих нам домов владельцу универмагов самообслуживания, ни слова не сказали нам о прошлом этого самого короля.

— Така рассказывал, что начал переговоры с королем супермаркета, лишь вникнув во все обстоятельства дела. Я, правда, не знаю, насколько подробно информировала его молодежная группа,— как обычно, тихим голосом, безразлично сказала жена, откровенно сомневаясь в том парне, который разговаривал с Такаси.

Но по зрелом размышлении я все же пришел к выводу, что Такаси

интересовало только одно — сблизиться с молодежью и разговор между ними шел лишь о поломке грузовика.

— Даже если этот человек натурализовался в Японии, назвать его, корейца, королем — в этом поступке жителей деревни скрыто глубокое пренебрежение к нему. Но почему все-таки никто мне не рассказал, что он собой представляет?

— Очень просто, Мицу-тян. Местные жители не хотят даже себе признаваться в том, что до сих пор находятся в экономической зависимости от корейца, которого двадцать лет назад пригнали сюда на лесозаготовки. Это подсознательное чувство, но именно оно послужило причиной, почему этого человека назвали королем. Болезнь деревни вступила в критическую фазу!

— Видимо, это так,— согласился я мрачно. В этом действительно чувствуется проявление того, что глубоко укоренившаяся болезнь вступила в критическую фазу. Чувствуется, что нечто странное, мрачное и злое прокралось в отношения между жителями деревни и королем супермаркета.— И тем не менее все, что я слышал, все, что видел, возвратившись в деревню, не указывало на то, что положение столь уж критическое.

— Жители деревни уже давно привыкли к такому положению. Но они научились искусно скрывать это от посторонних,— сказал настоятель таким тоном, будто разглашал тайну.

— Но все-таки что за человек этот король супермаркета?

— Плохой он или хороший — это тебя интересует? Ничего плохого сказать о нем не могу, Мицу-тян. Если же говорить о его торговых делах, то скорее плох не он, а как раз деревенские. И уж если кто и достоин порицания, так именно они. Хотя бы тот же случай с курами.

— Тем не менее он вызывает у вас неприязнь. И я все-таки думаю, что в его действиях есть что-то плохое для деревни в целом.

— Мы испытываем нечто большее, чем просто неприязнь,— грустно сказал настоятель, строго взглянув на меня.— Это трудно объяснить, Мицу-тян. Ясно одно — болезнь вступила в критическую фазу!

И настоятель, чтобы избежать следующего вопроса, перехватил пакет с рисовыми лепешками и ушел.

Получив на почте «удобное приспособление для уборной», мы направились домой. По дороге жена зашла в универмаг и купила рисовых лепешек для нас и для семейства Дзин. Хотя жена, для которой деревня была чужой, и не могла оставаться равнодушной к неприязни, даже чувству протеста, испытываемого мною к превращению винного склада в универмаг самообслуживания, тем не менее для нее это не могло послужить препятствием, чтобы войти в него. Выйдя из универмага с покупками и полученной в качестве премии зеленой виниловой лягушкой, жена недовольно сказала:

— Это первый мой выигрыш после замужества.

Я поручил жене объяснить Дзин, как пользоваться «удобным приспособлением для уборной», а сам позвал во двор ее детей и, уничтожая один за другим ростки беспокойных мыслей о короле супермаркета, собрал целую охапку обрывков веревки и рифленого картона и развел небольшой костер. Дети уже знали о гибели кур. По их словам, молодежь, чтобы не воровали сдохших кур, охраняет птицеферму. Бывший корейский поселок, застроенный многоярусными курятниками, похожими на грязные ульи, разгороженными сетчатыми перекрытиями, чтобы просыхал куриный помет, окутан сейчас густым облаком вони. Сегодня утром последние куры подохли в своих тесных курятниках. Дети Дзин с приятелями побежали туда, но сторожа прогнали их.

— Молодые ребята, а злые-презлые! Мы-то чем виноваты! — рассказывал старший мальчик, спокойно и в то же время с хитринкой, мол,

не поймешь, чего они привязываются.— Кто станет воровать их дохлых кур? Разве только они сами, эти злые ребята!

Отощавшие дети Дзин дружно рассмеялись. Их смех явно свидетельствовал о высокомерии и отчужденности старших по отношению к молодежной группе, потерпевшей провал с разведением кур. И тогда я впервые ощутил жалость и к королю супермаркета, которого воспринимают как оборотня, и к молодежной группе, которую старшие атакуют со всех сторон. Позиция, занятая по отношению к молодежи этими людьми, как раз теми, кто использовал в своих целях демобилизованных и заставил их сыграть определенную роль — кульминацией этих хулиганских действий явилась гибель брата S,— строилась на глубоко укоренившихся недоверии и пренебрежении. Я смог осознать это лишь теперь, став старше покойного брата, когда вырвался из деревни и получил возможность объективно взглянуть на ее повседневную жизнь. Раньше деревенские дети, не в пример взрослым, как идолам, поклонялись бунтующей молодежи, а теперешние — так же равнодушны к молодежной группе. как и взрослые. Костер погас, и на земле остался черно-грязный купол сгоревшей бумаги. Дети стали затаптывать его, хотя это было и ни к чему.

Жена, вернувшись из флигеля, сказала детям:

— Бегите скорее домой, там есть рисовые лепешки.

Но они пропустили ее слова мимо ушей и продолжали затаптывать остатки костра. Разговоры о еде задевали их не по-детски развитые щепетильность и самолюбие. А может быть, они так отощали потому, что, глядя на мать, проклинающую свой непомерный аппетит — причину всех ее горестей,— возненавидели саму еду.

— Дзин довольна, Мицу,— сказала жена.

— Она не удивилась?

— Сначала, взглянув на приспособление, она сказала: «Мицу, видно, решил подурачить меня», но я ей объяснила, что сама его заказывала. Дзин так и сказала — «подурачить».

— Вот оно что. Когда я был маленьким, здесь, в деревне слово это было самым распространенным. Мать, стоило нам пошутить, всегда сердилась и говорила: «Мать хотите подурачить?» Ну, а как ты думаешь, пригодится Дзин наша новинка?

— Думаю, пригодится. Нужно, правда, следить, чтобы она не свалилась с этого сооружения,— сказала жена, не вдаваясь в подробности при детях, которые замерли, прислушиваясь к нашему разговору, и неожиданно: — Дзин спросила, и я рассказала ей о нашем ребенке.

— Ну что ж. Когда приносишь такую вещь, естественно, хочется, поделившись сокровенным, сгладить испытываемую собеседником неловкость.

— Но если бы ты, Мицу, услышал, что сказала об этом Дзин, твоя доброта к ней моментально бы испарилась. Я, правда, не согласна с ее мнением, но все же...— произнесла жена, преодолевая внутреннее сопротивление.— Дзин сказала, что ненормальность ребенка, возможно, результат твоей наследственности.

Я вздрогнул, точно обжегшись. Такое способно было вмиг вымести из моего мозга засевшего там короля супермаркета. Покраснев от тревоги, нависшей черной тучей, тревоги, будто на меня обрушился неведомый враг, я постарался собрать силы для самозащиты.

— Оснований для такого умозаключения фактически нет почти никаких. Когда я учился еще в начальной школе, однажды тело мое свело судорогой — вот и все.— Жена, тоже покрасневшая после того, как лицо мое залила краска, тут же меня раскусила.— Тело мое свело судорогой, и я потерял сознание на школьном вечере,— продолжал я, погружаясь в глубокий покой, вернувшийся ко мне после первого потрясения, и в то

же время ощущая буквально на вкус непереносимый жар злобы, разлившийся по всему телу.

Дети Дзин пронзительно расхохотались. Своим смехом они обливали презрением меня и жену, восстановив в свою пользу психологический баланс, когда же я сердито глянул на них, они, продолжая смеяться, убежали к своей разжиревшей матери и рисовым лепешкам.

А мы с женой вернулись к очагу. Опасаясь, что в ее душе — она ведь будет пить и сегодня вечером — разрастется подозрение, я почувствовал необходимость подробно рассказать ей правду о злом духе, внезапно вселившемся в меня тогда, в детстве, на школьном вечере.

В то же время мои воспоминания не должны были явиться толчком, который сбросит жену под еще более крутой откос пьянства. И я стал осторожно рассказывать, внимательно следя за тем, чтобы этого не произошло.

— Случилось это на вечере, скорее всего осенью в тот год, когда началась война, потому что после войны, пока вечера не возобновились, о нем часто вспоминали, как о последнем школьном вечере. В то время отец был на северо-востоке Китая и выполнял там какую-то работу, загадочную, непостижимую не только для нас, детей, но и для еще жившей тогда бабушки, и даже для матери. Ради этого он продал землю, на вырученные деньги переправился через пролив и с тех пор по полгода проводил в Китае. Самый старший брат и брат S учились, один в университете в Токио, другой — в средней школе в городе, а дома оставались только бабушка с матерью и Дзин, ну, и мы, дети — я, Такаси и еще совсем маленькая сестра. Вот почему по пригласительному билету, присланному на имя отца, пошли Дзин и трое детей. Я могу сейчас совершенно явственно, будто у меня был третий глаз, сверху наблюдавший за происходящим, восстановить картину, как в самом большом классе школы, посредине первого ряда с двух сторон от Дзин, державшей на руках сестру, сидим мы с братом на деревянных стульях, задрав ноги вверх.

В метре от нас была сооружена сцена, на которой выступали старшеклассники. Вначале, повязав головы скрученными платками (судя по количеству старшеклассников в нашей школе, их должно было быть не больше четырнадцати-пятнадцати, но для меня, ребенка, это была огромная толпа), они обрабатывали поле, изображая крестьян в старину. Потом, отбросив мотыги и вооружившись топорами и серпами, начали военную игру. Появляется их предводитель. Это — юноша из деревни, красавец даже в глазах ребенка. Под его руководством вооруженные крестьяне обучаются бою, чтобы суметь обезглавить правителя княжества. Его голову заматывают черным покрывалом, а крестьяне, разделившись на два лагеря, начинают игру. Во втором акте появляется богато одетый человек и начинает уговаривать крестьян отказаться от своего намерения, но разъяренные крестьяне не слушают его. Тогда человек заявляет, что он сам обезглавит правителя. В наступившей тьме перед замершими в ожидании крестьянами проходит кто-то в маске, на него бросается богато одетый человек и отрубает ему голову. Роль человека в маске исполнял, видимо, ученик в черном балахоне, к балахону был прикреплен черный шар, и поэтому он казался немного выше остальных детей. Когда его отрубленная «настоящая» голова с тяжелым стуком упала и покатилась по сцене, человек, обезглавивший правителя, провозгласил, обращаясь к попрятавшимся крестьянам: «Это голова моего брата!» Крестьяне сняли с отрубленной головы маску и, узнав своего молодого предводителя, навзрыд заплакали...

Содержание пьесы нам заранее рассказала Дзин, кроме того, я не раз видел этот спектакль на репетициях, поэтому все уловки были мне прекрасно известны, но тем не менее, в тот ли момент, когда скатилась

«настоящая» голова — набитая камнями бамбуковая корзина,— в тот ли момент, когда меня напугал вопль: «Это голова моего брата!» — а может быть, в тот критический момент, когда в моем воображении и то и другое слилось воедино, меня охватил безумный страх, с плачем и криками я упал на пол, у меня начались судороги, и я потерял сознание. Очнулся я уже дома, около меня была бабушка, я услышал ее слова: «Как это ужасно — дурная кровь доходит даже до правнуков», и от страха снова закрыл глаза и замер, сделав вид, что все еще нахожусь в беспамятстве.

Помнишь, после выхода моего первого перевода я получил письмо от учителя нашей деревенской школы, ушедшего на пенсию? Когда был тот школьный вечер, он еще работал старшим преподавателем,— его специальностью была математика, но он самостоятельно изучал историю родного края и даже написал этот самый сценарий для спектакля. Но в ту зиму началась война, в следующем году была изменена система народных школ, сценарий его подвергся критике, и учителя понизили в младшие преподаватели. Обо всем этом он рассказал в своем письме. Я ему тоже написал и спросил, действительно ли мой прадед убил своего младшего брата. Он мне ответил, что эти сведения, видимо, ошибочны. «Я теперь присоединяюсь к тем,— писал он,— кто считает исторически достоверным тот факт, что твой прадед отправил своего младшего брата — руководителя восстания — в Коти». Я спросил его также, известны ли ему подробности смерти отца, и он ответил, что только моей матери кое-что было, безусловно, известно, но она не хотела, чтобы узнали правду, и поэтому сейчас в деревне нет уже никого, кто мог бы слышать хоть что-либо достоверное о его смерти.

— А не кажется ли тебе, что Така следует встретиться с этим пенсионером-учителем? — спросила жена.

— Така действительно интересуется различными таинственными фактами об умерших членах нашей семьи, но я сомневаюсь, удовлетворит ли этот историк героические бредни Така,— сказал я, прекращая разговор.

Когда началась война на Тихом океане, отец сообщил, что бросил все свои дела в Китае и скоро возвратится домой, но так и не приехал, а через три месяца симоносекская полиция выдала матери его тело. Отец умер загадочной смертью, и это вызвало самые разные толки: то ли от разрыва сердца на пароходе, то ли покончил с собой, бросившись в море до того, как пароход вошел в порт, то ли, наконец, умер в полиции во время допроса, но мать, ездившая за телом, по возвращении в деревню ни словом не обмолвилась о причине его смерти. После войны брат S пытался выспросить у матери подробности смерти отца и, натолкнувшись на ее категорический отказ, рассердился — это, собственно, и побудило его отвезти мать для освидетельствования в психиатрическую больницу.

Вечером со стороны въезда в долину неожиданно подул ветер. Он принес с собой странный запах паленого мяса, вызывающий физическую боль, чуть ли не рвоту. Прикрыв платком нос и рот, мы с женой вышли во двор и стали смотреть в ту сторону, откуда доносился запах, но увидели лишь вьющийся вверх белый дымок; смешиваясь с клубящимся туманом, он был едва различим. И лишь высоко в багряном небе было видно, как, оторвавшись от тяжелого тумана, расплывающиеся остатки дыма поднимаются все выше и выше, сверкая серебром на фоне черного леса.

Из флигеля вышел муж Дзин с детьми, остановился в нескольких шагах от нас, они тоже стали смотреть вниз, в долину. Дети старательно принюхивались, пытаясь определить, что это за странный запах. На

площади перед сельской управой тоже появилось несколько темных фигур, смотревших в небо.

Уже почти наступила ночь, когда вернулся Такаси со своей «гвардией». Они приехали усталые и грязные, Такаси и Момоко были возбуждены, а Хосио — молчалив. Такаси, как и обещал, привез жене полдюжины виски, она даже опешила, увидев батарею бутылок, Хосио он купил кожаную куртку, Момоко — свитер. В своей новой одежде они, точно плотной защитной пленкой, были окутаны странным запахом, пропитавшим вечернюю долину.

— Почему у вас такие удивленные лица — и у тебя, Мицу, и у тебя, Нацу-тян? — забежал вперед Такаси, предвидя наше недоумение из-за исходившего от них запаха.— Мы не привидения, восставшие после дорожной катастрофы в лесу. По обледеневшей дороге, да еще в тумане, мы мчались на готовой каждую минуту развалиться машине и не сломали себе шею только благодаря Хосио, виртуозному водителю. Хосио мчится в машине по темному лесу, точно собака, которая свободно бежит по льду, постукивая когтями. В век машинной цивилизации появляется племя, способное заставить машину вести себя подобно животному.

Такаси явно старался польстить Хосио, поднять его настроение, но юный механик никак не реагировал на его слова. Измотал ли он свои нервы, мчась по лесной дороге, где на каждом шагу их подстерегали опасности, или растратил свою молодую энергию еще на какое-то горькое испытание?

— Ты, Така, действительно не привидение, но очень уж от тебя пахнет,— сказал я напрямик.

— Это потому, что мы сожгли несколько тысяч дохлых кур, ха-ха! Растащили на доски курятники и сожгли все — и закоченевших кур, и мягкий помет. Запах и в самом деле ужасный! Он, мне кажется, проник даже в кровеносные сосуды.

— А жители деревни протестовать не могли?

— Могли, конечно! Но не хотели связываться. В конце концов пришел полицейский, да и то потому лишь, что пламя было слишком уж велико. Но у моста дорогу ему преградили ребята, и он молча повернул обратно. Молодежь нашла в себе силы воспротивиться полиции. Все были до крайности возбуждены. Тысячи кур погибли и были уничтожены без всякой пользы — это ребят кое-чему научило. Так что какой-то урожай есть.

— Не было никакой нужды связываться с полицейским. Это было просто бессмысленно — подумаешь, одержали победу над одним полицейским, да и победа вся пошла бы прахом, если б ему прислали подмогу,— вмешался в разговор Хосио, видимо все время думавший об этом. Он был из тех людей, которые отстаивают собственное мнение не только во имя своего ангела-хранителя, но и вопреки ему.

— Конечно, Хоси, иметь дело с полицейским очень просто, когда начинаются снегопады и связь с окрестными городами прерывается. Ты принадлежишь к типу людей, которые с детства усвоили мораль: будешь себя плохо вести — позову полицейского.

— Я совсем не говорю, что с полицией не нужно драться. Тогда, в июне, разве я не помогал тебе, Така, во всем? — упорно защищался Хосио.— Просто я не понимаю, зачем тебе распинаться ради этих куроводов и даже ссориться с полицией. Вот о чем я говорю.

Момоко, до этого в сторонке читавшая письмо из дому, подняла голову и насмешливо, покровительственно, точно обращаясь с ребенком, заявила:

— Ты, Хоси, говоришь так потому, что хочешь безраздельно владеть

Такаси. И, пожалуйста, не спорь. Ты все время ворчишь, как старуха. Давайте ужинать — и спать. Нацуко-сан приготовила нам угощение.

Хосио сердито посмотрел на Момоко и даже побледнел, но, видимо от волнения, не нашелся, что ответить.

— Ну, а как переговоры с королем супермаркета? — спросил я, уверенный в неблагоприятном исходе, поскольку Такаси всячески избегал разговора о главной цели своей поездки.

— Хуже некуда. Молодежной группе предстоит трудная борьба, чтоб заставить короля супермаркета пойти на серьезные уступки. Он выдвинул одно-единственное конкретное требование — сжечь всех кур до единой. Видимо, опасается, что, если в деревне начнут есть дохлых кур, он потеряет покупателей. Когда я, вернувшись, сказал, что нужно сжигать кур, и увидел голодные глаза ребят, их досаду, я понял, что опасения короля не беспочвенны. Но мне хочется верить, что удручающая работа — обливать тысячи кур бензином и сжигать их — принесет свои плоды, и ребята, которые были до этого просто избалованными, капризными детьми, почувствуют горечь настоящей злобы.

— Представляешь, какой хэппи-энд предвкушала молодежная группа, когда посылала тебя в город? — сказал я неодобрительно.

— Ничего они не предвкушали. Они ведь начисто лишены воображения и, видимо, надеялись, что я пущу в ход свое. Только я поехал в город совсем не для того, чтобы привезти им сладкие плоды моего воображения, а лишь с одной целью — сбросить пелену с их затуманенного взора, показать, что их ждет самый настоящий голод, ха-ха!

— Ты знал, что король супермаркета — выходец из корейского поселка?

— Он сегодня сам об этом рассказал. Рассказал даже, что был в поселке в тот день, когда убили нашего брата. Так что у меня есть и личные мотивы выступать против него вместе с молодежной группой.

— Однако, Така, мотивов, чтобы издеваться над молодежной группой и бедным полицейским, у тебя нет ни личных, ни общественных — ты их придумал сам. Разве нет? Мне кажется, позиция Хоси гораздо справедливее,— перевел я снова разговор на спор с Хосио, уловив в словах Такаси стремление подавить растущую тревогу, вызванную поведением короля супермаркета.

— Справедливее? И ты, Мицу, еще употребляешь такое слово? — Произнеся это с мрачным видом, Такаси неожиданно умолк и больше не обращал на меня внимания, будто я вообще не существую.

Через некоторое время раздалось:

— Ужин подан, ужин подан.— Это Момоко приглашала нас приступить к еде и, улучив момент, заговорила с Такаси: — Мы дома все вместе читали книгу о гориллах в переводе Мицу, и вот теперь сознание, что я живу под одной крышей с этим уважаемым Мицу, вселяет в меня гордость, Така. Ведь Мицу — человек, уважаемый в обществе! — говорила она, явно притворяясь, что почитает меня.

— Мицу совершенно отошел от общества, и тем не менее общество уважает его,— заявила жена, допивая первый стакан виски.— Така — полная ему противоположность, это ясно?

— Да, конечно. Совершенно ясно,— ответил жене Такаси, стараясь не смотреть на меня.— И прадед, и дед, и их жены принадлежали к тому же типу людей, что и Мицу. В нашем роду почти все, кто отличался от них, умирали насильственной смертью, а сами они спокойно наслаждались долгой жизнью. Нацу-тян, в девяносто лет Мицу заболеет раком, причем раком не очень страшным.

— Пытаясь выявить характерные типы, существовавшие в нашем роду, ты, Така, делаешь чересчур поспешные выводы,— возразил я нерешительно, но никто, кроме Хосио, на мои слова не обратил никакого вни-

мания.— Если сам не причислишь себя к тому или иному типу, все старания бесцельны, верно?

После ужина Такаси отдал нам с женой половину задатка, полученного у короля супермаркета, но уже опьяневшая жена не проявила к деньгам никакого интереса, и я стал засовывать их в карман, но тут услышал:

— Мицу, ты мне не дашь пятьдесят тысяч иен, чтобы организовать футбольную команду и тренировать ребят из молодежной группы? В машине лежат десять мячей, которые я привез из города, расходов — масса.

— Мячи такие дорогие? — робко спросил я у Такаси, игравшего в футбольной команде университета.

— Мячи я купил на свои деньги. Но среди кандидатов в команду есть ребята, которые каждый день ходят на земляные работы в соседний город,— они не коснутся мяча, пока мы не возместим им дневной заработок, хотя бы в первое время.

## 6. ФУТБОЛ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

В кромешной тьме, поглотившей мое темное тело, еще во сне я услышал звук потрескивающего на морозе бамбука. Звук, словно острыми стальными когтями, впивался в мою сонную горячую голову. Я вижу сон, сон о восстании крестьян — он восходит к воспоминаниям о том дне, когда в конце войны от каждого дома в деревне брали на рубку бамбука одного взрослого,— потом сон возвращает меня к событиям 1860 года. Снова погружаясь в глубокий сон, я ощутил всю свою беспомощность и нерешительность — отвратительный, но уже привычный, ставший мне близким сон я предпочитал тревожной встрече наяву с пышущим здоровьем, неприятным на вид корейцем — королем супермаркета, которая несла мне новые волнения и заботы...

В новом сне крестьяне, живущие в обобщенном времени, в котором слились 1860 год и период конца войны, в полувоенной, защитного цвета одежде, с болтающимися за плечами стальными шлемами, подвязав на макушке волосы, старательно работают, заготовляя огромное количество бамбуковых пик. Это те люди, кто, вооружившись бамбуковыми пиками, умело ведет сражения в 1860 году, те люди, кто самоотверженно бросается в атаку на самолеты и бронированные десантные суда. Моя мать, размахивая топором, тоже рубит бамбук, но она боится острых предметов и от одного лишь сознания, что в руках у нее топор, побледнела, безжизненное лицо покрылось капельками пота, глаза плотно закрыты, и она, не глядя, ударяет по бамбуку. Бамбук растет очень густо, и беды не избежать. Размахнувшись, мать заносит топор над головой, и топорище, стукнувшись о росший сзади бамбук, ломается. Сорвавшийся топор с треском ударяет ее по голове. Мать вяло опускает топорище в густые заросли глициний, медленно прикладывает ладонь к затылку, показывает ее мне, и я вижу, что ладонь испачкана кровью и напоминает ярко-красное печенье для панихиды. Я холодею от пронизывающего меня страха и отвращения. А мать, наоборот, воспрянув духом, победоносно восклицает: «Ушиблась! Теперь меня освободят от учений!» Потом она оставляет топор и нарубленный бамбук и скользит вниз по склону, заросшему глициниями.

Как только мы запираемся с матерью в амбаре, по мощенной камнем дорожке поднимается к нам отряд местных жителей, вооруженных бамбуковыми пиками. Их ведет Такаси, возраст которого невозможно

определить. Он единственный здесь, в деревне, кто по-настоящему видел Америку и американцев, и потому в глазах местных жителей, встретивших с бамбуковыми пиками в руках высадившуюся в прибрежном городе и пришедшую сюда американскую армию, больше кого-либо достоин быть предводителем. И вот, вооруженный пиками отряд приближается к амбару, где укрылись мы с матерью.

«Если они и сожгут главный дом, амбар устоит, он не сгорел и в 1860 году! — говорит мать. На ее выпачканном кровью, широкоскулом с выпуклым лбом лице застыла враждебность.— Твой прадед стрелял из бойниц этого дома и обратил в бегство бандитов!»

Потом мать начинает меня торопить, но я понятия не имею, как обращаться со старинным ружьем, которое держу в руках. В мгновение ока сгорел главный дом, огонь охватывает и флигель, и в свете пламени видно, как растолстевшая, совершенно обессилевшая, но все же пытающаяся спастись Дзин, истекая потом, бежит вперевалку, как жук. Такаси, предводительствующий нападающими, точно слившись с братом прадеда, гневно обличает меня и мать, спрятавшихся в амбаре, обличает дух наших предков. Его окружают плотным кольцом члены молодежной группы, которых он обучил на футбольных тренировках. Молодежь одета в старомодные пижамы в поперечную полоску, черные волосы собраны на макушке в большие пучки. Бандиты вопят:

«Ты — точно крыса!»

Во сне мое сознание, будто стремясь охватить всю картину, витает высоко над долиной, оно туго наматывает нервы на крохотную катушку, какая бывает в телефонной трубке. Но, сидя в амбаре, со старинным ружьем на коленях, я пришиблен доносящейся снаружи руганью. Застонав, я просыпаюсь. Испытанное во сне волнение не исчезает и наяву, напротив, оттого что сон уже улетучился, меня еще сильнее охватывают тревога и уныние. Непреодолимо захотелось снова укрыться где-то, и я с признательностью вспоминаю четырехугольную выгребную яму. Рядом со мной спит жена, разогретая алкоголем и сном, теплая, как ребенок, а я проснулся, и мне холодно.

Если подняться на одну из возвышенностей, окружающих долину, оттого, что река скрывается в лесу, подступающем к ней с двух сторон, она кажется замкнутой. Дно реки каменистое, берега покрыты густыми зарослями бамбука, а дорога отдаляется от берега и резко идет вверх. Людей, селяшихся вдоль этой горной дороги, жители долины называют «окрестными». Веретенообразная долина вдается в лес, и заросли бамбука под прямым углом перерезают этот клин, образуя широкий пояс, отделяющий жителей низины от окрестных. Однажды жители нашей деревни вооружились пиками, срезанными в зарослях бамбука, собрались во дворе школы и чиновник из префектуры, приехавший проверить, как идет обучение владению пиками, заявил: «Мы решили провести учения потому, что жители деревни Окубо привыкли обращаться с пиками!» — чем привел в негодование старосту деревни и всю деревенскую знать. В результате староста отправился в город, заявил протест и мелкий чиновник был уволен. Неожиданное возмущение тихих деревенских жителей, выступивших против властей префектуры, удивительно обернувшееся их победой,— для нас, детей, было непостижимой загадкой. И каждый раз, когда вместе со взрослыми я по утрам углублялся в бамбуковую чащу, сопровождая мать, которая, как и в моем сне, боялась топора и вообще острых предметов, раздававшееся вокруг потрескивание бамбука воскрешало в моей памяти негодование, охватившее деревню. Я, тогда еще ребенок, ощущал неизъяснимую робость. После войны, на лекциях по социологии, я впервые услышал о восстании крестьян в 1860 году, и лектор подчеркивал, что оружием крестьянам служили пики, нарубленные в бамбуковых зарослях. Тогда только я осмыслил причину

возмущения старосты. Ведь в годы войны о восстании деревня вспоминала как о позоре, а бамбуковые заросли были самым явным свидетельством восстания 1860 года. Туда снова загоняли крестьян, и они должны были рубить все тот же бамбук и так же затачивать его. Поэтому и не могли они безразлично отнестись к словам чиновника, разбередившим воспоминания о позоре. Староста, деревенская знать и их прихлебатели, стыдившиеся своих предков, рубивших бамбук, чтобы выступить против властей, страстно желали смыть позор 1860 года с себя и с тех, кто сегодня затачивал пики, чтобы служить государству.

И слова матери в моем сне — это то, что я давным-давно слышал на самом деле и что всплыло вновь более чем через двадцать лет. После смерти отца, когда старший брат, окончив университет, был призван в армию, а брат S добровольно пошел в военную школу морских летчиков, мать, которая от постигшего ее горя начала страдать манией преследования, часто повторяла, что жители деревни обязательно нападут на нас, разрушат и сожгут наш дом. Она уговаривала нас, как только заметим нападающих, сразу же бежать в амбар и там запереться, и настаивала, чтобы уже сейчас мы готовились к этому, а когда я противился, она, чтобы вселить в малолетнего сына часть своих страхов, начинала рассказывать о жестоких насилиях, которые совершались над нашей семьей в 1860 году.

Мать все время твердила, что восстание 1860 года произошло из-за жадности крестьян, из-за чрезмерного желания поживиться за чужой счет. Все началось с того, что крестьяне обратились с просьбой о «денежном займе» к князю, владения которого находились в пойменных землях, там, где протекавшая по долине река впадала во Внутреннее японское море, и давали 70 тысяч коку[1] риса, но получили отказ. Тогда требуемую сумму одолжил им владелец крупного поместья — Нэдокоро, но крестьяне, заявив, что проценты и в деньгах и в рисе, под которые они получили ссуду, слишком высоки, нарубили в бамбуковых зарослях пики и, напав на поместье Нэдокоро, разрушили и сожгли главный дом. Потом они разгромили винный склад, принадлежавший Дзёдзо, перепились, начали нападать на дома зажиточных людей и, обрастая все новыми мятежниками, докатились до замка князя на побережье. Такова была версия матери. По ее мнению, если бы прадед, в одиночестве запершись в амбаре, не оказал им решительного сопротивления, стреляя из ружья, привезенного из Коти, мятежники захватили бы и амбар тоже. А брат прадеда — как главарь молодежи, подстрекаемый хитрыми и коварными крестьянами, узурпировал титул «предводителя» и не только отправился на переговоры о «денежном займе», но и стал вожаком мятежников, когда переговоры провалились,— с точки зрения семьи Нэдокоро, к которой он принадлежал, был опасным безумцем, разрушившим и спалившим свой собственный дом, и мой отец, потерявший состояние и жизнь, занимаясь какими-то таинственными делами в Китае, безусловно, унаследовал эту кровь безумца.

«Не могу ничего сказать о твоем старшем брате,— говорила мать,— он окончил юридический факультет и уже поступил на службу — сам, по своей воле он бы в армию ни за что не пошел, а вот у брата S, добровольно поступившего в военную школу, в жилах уж точно текла передавшаяся ему через отца кровь брата прадеда, он совсем не мой сын.

Но твой прадед все-таки был выдающимся человеком! Бандиты имели только пики, а прадед запасся ружьем! Кто же из вас вырастет похожим на прадеда, ты, Мицусабуро, или Такаси?»

Если я не отвечал на этот вопрос, задававшийся в воспитательных целях, мать упорно не отставала от меня, если же, чтобы отделаться, от-

---

[1] Один коку — около 150 кг.

вечал, что на прадеда буду похож я, мать, наградив меня недоверчивой улыбкой, замолкала.

Переписывавшийся со мной старый школьный учитель — историк родного края — не отрицал, но и не особенно поддерживал версию матери о причине восстания. Он стоял на научных позициях и серьезно рассматривал тот факт, что в шестидесятые годы не только в нашей деревне, но и во всем районе Эхиме вспыхивали восстания, и вектор этих разрозненных сил указывал на революцию. Специфику обстановки в нашем княжестве он видел лишь в том, что примерно за десять лет до событий 1860 года глава княжества, временно назначенный управляющим храмами, произвел серьезные реформы. Горожан он обложил денежным налогом, назвав его народной данью, а крестьян обязал выплачивать, кроме того, предварительный налог рисом, названный позже «дополнительным предварительным налогом». В конце письма учитель приводил отрывок из одного документа: «Когда они в темноте и нищете — они тянутся к свету, когда они в свете и достатке, темнота исчезает. В жизни все взаимосвязано — то, что уходит, возвращается. Человек — господин всего, но достижимо ли благосостояние народа при плохом правлении?!.» Это революционное просветительство обладает силой, способной поднять дух не столько у меня, сколько у Такаси. Как говорит жена, если этот историк-пенсионер не умер от рака или инфаркта, Такаси стоило бы встретиться с ним. Ни во сне, ни наяву я не был способен примкнуть к толпам бунтовщиков и еще менее способен к тому, чтобы, укрывшись в амбаре, стрелять в них из ружья. Человек с моим психическим складом далек от всего, связанного с восстанием. А Такаси стремится к тому, что свойственно человеку противоположного характера, во всяком случае, в моих снах он достигал своей цели...

Со стороны флигеля слышны какие-то звуки — наверно, это женщина, страдающая обжорством, пробудившись от страшного сна, в темноте набивает желудок.

Еще глубокая ночь. Я протягиваю руку и начинаю шарить в поисках бутылки, в которой после жены должно было остаться виски. Неожиданно рука натыкается на что-то холодное, как панцирь краба. Зажигаю карманный фонарик, лежащий у изголовья,— пустая банка из-под сардин. Боясь осветить лицо спящей жены, я нахожу, наконец, бутылку и при свете фонарика пью виски. Жидкость, раскалившая горло, раскалила желудок, раскалила тьму в голове — я заснул. И больше не видел ни одного сна...

Когда Такаси и его «гвардия» отправились на школьную спортивную площадку, чтобы собрать там молодежь и провести с нею первую тренировку, мы с женой почувствовали непереносимую пустоту, почувствовали, что нам необходимо чем-то заняться. Это чувство все росло, и я, воспользовавшись помощью детей Дзин, отнес из главного дома в амбар циновки и переносную печку и снова взялся за перевод, который мы начали еще с покойным товарищем. Это была книга воспоминаний английского зверолова о счастливых детских годах, проведенных на Эгейском море; ее нашел и с наслаждением прочел покойный товарищ.

Когда я приступил к работе, жена, вместе со мной искавшая в кладовке переносную печь, достала оттуда старое издание собрания сочинений Сосэки [1] и решила перечитать его — так что мы оба нашли, как убить время.

Жена молчала, углубившись в чтение Сосэки, но временами я замечал, что какие-то места ее волнуют. Потом она взяла у меня словарь и, посмотрев в нем английские слова, употребленные Сосэки, сказала:

— В дневнике Сосэки, который он вел в монастыре Сюдзэндзи, когда лежал там с язвой желудка, есть несколько английских слов, ты знал

[1] Нацумэ Сосэки (1867—1916) — классик японской литературы.

об этом? Мне кажется, они очень подходят к тебе, Мицу, каким ты стал сейчас. Например: languing, stilness, weak state, painless, passivity, goddness, peace, calmness.[1]

— Что, painless? Ты считаешь, что я совсем не чувствителен к боли? Я так выбился из сил, что не способен совершить зло, я превратился в добрячка — может быть, это и так. Но неужели ты и впрямь считаешь, что я пребываю в peace?

— Во всяком случае, мои глаза, Мицу, видят именно это. С тех пор как мы поженились, ты никогда не был таким мирным, как эти несколько месяцев,— упорствовала жена с подчеркнутым спокойствием трезвого алкоголика.

Я с трудом подавлял в себе желание погрузиться в нирвану, стать мирным, совсем мирным, как животное, превратиться в нечто абсолютно мирное, подобное овощу. Я читал об одном старом монахе периода Муромати [2], который, решив превратить себя в мумию, поучал, что, если до предела сократить питание, а перед тем как сойти в могилу, перестать и дышать, тело, безусловно, начнет ссыхаться. В своей стоминутной жизни в яме осенним рассветом я, изображая античеловека, человека-животное, пытался, насколько это было в моих силах, накликать на себя смерть. Испытав отчаянный страх, я в то же время верил, что, выбравшись из ямы, смогу снова начать нормальную жизнь, но в глазах жены я, видно, по-прежнему тихо сижу в луже, на дне выгребной ямы, обняв горячую собаку. Стыд проникает в мельчайшие капилляры моего тела, тела крысы, и вызывает жар. Если это ясно даже жене, замкнувшейся в пьянстве, то насколько же трудно будет мне вернуть себе чувство н а д е ж д ы. Новая жизнь, соломенная хижина? Для меня это недостижимо.

— Ты чувствуешь, что начала новую жизнь?

— Новая жизнь. Ты ведь знаешь, что я по-прежнему пью? А достать здесь можно только дешевое и вонючее виски, поэтому выпить тайком не удается,— жена вызывающе бросает мне эти колючие слова, поняв мой вопрос как издевку, рассчитанную на то, чтобы причинить ей боль.— Собственно, когда Така говорил о новой жизни, он имел в виду тебя, Мицу, а совсем не меня.

— Это верно. Но дело-то ведь во мне самом,— подтвердил я, весь сжавшись.— И единственное, что я хотел,— это уточнить, испытываешь ли ты и сейчас пристрастие к алкоголю.

По тому, как жена реагировала на мои слова, я понял, что ее собственное стремление противиться падению в пропасть, возникшее в ней самой, еще не уничтожено окончательно разрушительной силой алкоголя. Но сам я, обязанный протянуть ей руку помощи, сам я начинаю катиться в страшную пропасть, разверзшуюся у моих ног.

«Ты — точно крыса!» Чтобы не слышать, как кричат это населяющие амбар духи, я погружаюсь в перевод. Мне кажется, даже сюда доносятся далекие удары по мячу и крики, но, может быть, у меня просто звенит в ушах.

После полудня пришел младший сын Дзин и сказал, что меня хочет видеть настоятель. Кухня главного дома полна густого пара, пахнущего бамбуком. Жена только что вынула из котла, стоявшего на очаге, старую бамбуковую корзину, и двое детей Дзин, окутанные паром с головой и настоятель, которому пар доходил до груди, наблюдали за ее действиями. Мальчик, бегавший за мной, тяжело дыша, присоединился к братьям и тоже скрылся в пару.

Жена с пылающим лицом попыталась достать содержимое корзины, но дети в один голос предостерегающе закричали:

---

[1] Вялый покой, слабость, нечувствительность, пассивность, великодушие, мир, покой.

[2] Период в истории Японии, охватывающий 1336—1573 годы.

— Горячо, горячо! — А потом добродушно посмеялись над женой, поспешно схватившейся пальцами за мочку красного уха.

— Что ты приготовила? — спросил я, втискиваясь в теплую компанию, окружившую жену, которая спокойно стояла в облаке пара.

— Рисовые клецки в бамбуковых листьях. Дзин научила. Ребята принесли из лесу листьев молодого бамбука,— ответила жена звонким, веселым голосом, совсем не похожим на тот, каким она разговаривала со мной в амбаре.— Кажется, клецки удались, а? Ты помнишь, Мицу, рисовые клецки в бамбуковых листьях?

— Эти клецки здесь всегда, с давних времен брали с собой, когда шли в лес валить деревья. А отец Дзин был лесорубом, так что, если ты приготовила по рецепту Дзин, значит все правильно.

Жена дала нам по огромной клецке. Мы с настоятелем, не зная куда деваться с горячей массой бамбуковых листьев, с которых капала вода, положили клецки на тарелку и, разломив, стали есть. Дети Дзин, перекатывая клецки на ладонях, стараясь не нарушить форму, обкусывали их с краев. Клецки приготовляются из клейкой рисовой массы, сдобренной соей, и начиняются фаршем из свинины и грибов. Листья молодого бамбука, в которые завернуты сегодняшние клецки,— суховатые, белесые на концах, но все равно, чтобы собрать их в такое время года, ребятам, конечно же, пришлось здорово потрудиться, да, наверно, и страху они натерпелись. Я смотрю, как ловко они управляются с клецками, и думаю, что и сейчас не изменились привычки деревенских ребят, хоть они не любят ходить зимой в лес.

— Клецки очень вкусные, но пахнут чесноком. Когда я жил в деревне, чеснок в пищу вообще не клали, о клецках и говорить нечего,— высказал я свое мнение жене, перекладывавшей клецки из бамбуковой корзины в длинную деревянную коробку, которую я помню еще с детства. И бамбуковая корзина, и деревянная коробка были, видимо по указанию Дзин, извлечены из кладовки.

— Что? — с сомнением спросила жена.— Дзин сказала, что нужно положить чеснок, и я специально ходила в магазин за мясом и чесноком.

— Вот, Мицу, классический пример того, как обычаи в деревне меняются! — сказал настоятель, держа в руке кусок клецки.— До войны деревня не знала чеснока. Но когда началась война и корейцы, которых пригнали на лесоразработки, обосновались в долине, чеснок вошел в сознание жителей деревни как атрибут презрения,— вот, мол, корейцы едят какие-то вонючие корешки, называемые чесноком. Ты, конечно, это знаешь, Мицу? Жители деревни, когда корейцев пригнали сюда, желая доказать свое превосходство, язвили по их адресу: как можно идти в лес, не запасшись клецками. И корейцы постепенно тоже начали готовить клецки, но, сообразуясь со своим вкусом, внесли новшество — стали добавлять в них чеснок. Это, в свою очередь, повлияло на способ изготовления клецек, принятый в деревне,— так проникла в деревню чесночная приправа. Вот как пустое бахвальство и беспринципность жителей деревни привели к изменению обычая. И хотя раньше никому бы в голову не пришло использовать как приправу чеснок, сейчас это самый ходкий товар в универмаге и король теперь имеет все основания смеяться над нами.

— Если эта беспринципность принесла успех моим клецкам, тогда все в порядке,— сердито возразила жена.— Даже если это и нарушение традиции!

— Успех полный. Отбросив сантименты, я должен сказать: твои клецки вкуснее тех, что готовила мать.

— Правда, правда! — присоединил настоятель свой голос к моим похвалам, но жена с недоверием мельком взглянула на нас, сохраняя суровый вид.

Настоятель с озабоченным видом повернул ко мне свое маленькое круглое лицо, которое могло бы служить наглядным пособием добродушия, и сказал:

— Ну что ж, спасибо за угощение, перейдем теперь к делу. Я нашел записки вашего старшего брата, которые незадолго до смерти передал мне S-сан. Я их принес, но, может быть, не вовремя...

— Пойдемте в амбар и там, на втором этаже, немного поговорим. Футболом я не интересуюсь, и делать мне нечего,— предложил я настоятелю не только чтобы подбодрить его, но действительно из желания поговорить с ним.— Вы никогда не интересовались восстанием 1860 года?

— Почему же, я изучал восстание и даже кое-что написал о нем. Дело в том, что в восстании, так же как и твои, Мицу, предки, важную роль играл основатель нашего храма. хотя он и не был с ними в кровном родстве! — с энтузиазмом воскликнул настоятель.

Жена, энергично командуя детьми Дзин, распорядилась отнести клецки матери, а потом передать Хосио, который был на спортивной площадке, чтобы приехал за клецками на своем «ситроене».

— Во второй половине дня я, Мицу, тоже пойду посмотреть на тренировку. Хочу услышать мнение о клецках,— бросила она вслед.

Настоятель и я направились в амбар. Принесенные настоятелем записки старшего брата представляли собой небольшую тетрадь в светло-зеленом переплете. Для меня старший брат был кровным, но далеким родственником, который жил либо в общежитии в нашем городке, либо снимал комнату в Токио и даже на каникулы почти никогда не приезжал домой. У меня осталось лишь одно четкое воспоминание об испытанной горечи, когда меньше чем через два года после окончания университета он погиб на фронте, и я услыхал однажды рассуждения взрослых: не напрасное ли помещение капитала — давать сыновьям образование. Взяв записки, я положил их на книгу издания «Пингвин», оставшуюся от покойного товарища. Настоятель ожидал, что я тут же, при нем начну читать записки, я это почувствовал, но, честно говоря, вместо того чтобы испытать живой интерес к написанному старшим братом, я ощутил, как похолодело сердце от тревожного дурного предчувствия, пока еще смутного. И, сделав вид, будто я совершенно равнодушен к запискам, начал расспрашивать настоятеля.

— Мать рассказывала, что прадед стрелял из окна второго этажа и не подпустил к дому бандитов. Если посмотреть на эти окна, похожие скорее на бойницы, рассказ вполне правдоподобный, но у меня тем не менее возникли сомнения. Как вы считаете? Мать говорила, что прадед ездил в Коти и ружье привез оттуда. Чтобы крестьянин из Эхиме в 1860 году имел ружье — это, конечно, возможно, но все же...

— Твой прадед, Мицу, был владельцем одного из самых крупных поместий, и назвать его «крестьянином» никак нельзя, следовательно, нет ничего удивительного в том, что у него оказалось ружье. Но, я думаю, он не сам ездил покупать его в Коти — оружием снабдил его посланец из Коти, приехавший в деревню перед самым восстанием,— сказал настоятель.— Человек из Коти, рассказывал мне отец, остановился в монастыре и не без участия тогдашнего настоятеля столковался с твоим прадедом и его младшим братом и уговорил их поднять восстание. Сказать с уверенностью, что он был самураем из княжества Тоса, нельзя, но то, что он пришел из-за леса,— это точно. С помощью настоятеля он встретился с твоим прадедом и его младшим братом, может быть, ради этого он и пришел, переодевшись бродячим монахом. И настоятеля, и твоего прадеда, видимо, объединяла идея необходимости восстания для спасения крестьян. Настоятель, я думаю, придерживался нейтралитета, а уж владелец крупного поместья, конечно же, был на стороне правителей, но разорение крестьян означало и их гибель. Видимо, центральный вопрос,

который они обсуждали, был срок начала восстания и его масштабы. Они считали, что до того, как обстановка ухудшится и восстание обратится против прадеда, владельца крупного поместья, самое разумное — дать выход растущей взрывной энергии крестьян, но при этом свести к минимуму число восставших в деревне, направив основную их массу в город, где стоял замок князя. Чтобы поднять народ на восстание, требовались руководители, но каким бы успешным ни было восстание, этих людей непременно потом арестовывали и подвергали наказаниям — так бывало всегда, судьба их была предрешена. Но где найти людей, в руках которых в период восстания сосредоточилось бы руководство крестьянами всего княжества?

Тут-то и обратили внимание на молодежь, которую обучал брат твоего прадеда. Хотя в их числе были и старшие сыновья — наследники имущества, но большинство все-таки составляли вторые и третьи сыновья — лишние рты, которым никогда не видать собственной земли. И если пожертвовать этими «лишними ртами», этими юношами, деревня не только не пострадает, но даже, наоборот, выгадает, избавившись от дополнительных хлопот. Предусмотрительно, не правда ли?

— Значит, и человек, пришедший из-за леса, и настоятель, и сам прадед заранее решили принести в жертву брата прадеда и вообще всех руководителей восстания?

— Наверно. Только брат прадеда получил тайное обещание, что после восстания он сможет бежать в Коти, а оттуда переправиться в Осаку или Токио. Человек, пришедший из-за леса, гарантировал ему безопасность. Ты, Мицу, может быть, слышал, будто брат прадеда бежал через лес, а потом, переменив имя, стал крупным правительственным чиновником после революции Мэйдзи?

— Значит, брат прадеда с самого начала перешел на сторону предателей? Собственно, в любом случае я — потомок предателей.

— Нет, Мицу-тян, разве можно так говорить? Видишь ли, тот факт, что на твоего прадеда напали крестьяне, предводительствуемые его собственным братом, и он вынужден был обороняться, даже стрелять из ружья, заставил его задуматься над тем, собирается ли брат действительно соблюдать их договор — не сжигать амбара. Он понимал, что усадьба Нэдокоро должна была подвергнуться нападению, иначе власти княжества начали бы преследовать и его самого, и поэтому он считал, что главный дом действительно следовало сжечь. Подобное сомнение, видимо, имело место, поэтому твой прадед и оставил у себя полученное оружие, а не передал его молодежи. Действительно, в результате восстания, длившегося пять дней и пять ночей, не только было удовлетворено требование крестьян и ликвидирована система предварительного налога, но и казнен ученый-конфуцианец, посоветовавший князю ввести такую систему, но после этого брат твоего прадеда и его молодежь отказались выбрать из своей среды жертву, чтобы смирить гнев князя, заперлись в амбаре и стали сопротивляться — вот как было дело. В ходе восстания среди руководителей, объединившихся вокруг брата твоего прадеда, несомненно, родилось чувство солидарности.

После того как восстание закончилось, брат прадеда и его товарищи, запершись в амбаре, оказали сопротивление людям князя. Бесчисленные зарубки на плинтусах и наличниках, которые оставили эти вооруженные люди, сидевшие взаперти, волновали в детстве мое воображение. Оказывается, крестьяне не приносили своим вчерашним предводителям ни пищи, ни воды, и в конце концов, оставшись без поддержки, те вынуждены были капитулировать; их выманили из амбара и на взгорке, где теперь площадь перед сельской управой, отрубили головы. Именно прадед придумал, как обманом выманить юношей, погибавших от голода и жажды. Он предложил нарядить девушек и послать их к амбару с угощением для

молодежи, а когда те захмелеют и заснут, неожиданно напасть на них. Об этом эпизоде самодовольно рассказывала бабка, гордившаяся тем, что предок рода Нэдокоро оказался таким сообразительным. Я помню и рассказ, что к тому времени, когда мать, выйдя замуж, приехала в деревню, в живых еще оставалась одна из тех, кто участвовал в хитроумном плане прадеда. Лишь брат прадеда избежал казни и скрылся в лесу. Хотя он, по словам настоятеля, и был солидарен со своими товарищами по восстанию, в конце концов, видно, изменил им, и поэтому я, связанный с этим родом кровными узами, не мог спокойно утешаться тем, что сказал мне настоятель. Не пережил ли брат прадеда такой минуты, когда он, единственный, кому удалось бежать в лес, поднявшись на гору, глянул назад и увидел, как на взгорке рубят головы его бедным товарищам? А прадед? Присутствовал ли он на казни или смотрел на нее издали, упершись ногой в каменную ограду?

— Вопрос еще вот какой: зачем брат прадеда занимался обучением молодежи? Поводом, наверно, послужило отплытие в Америку «Канрин-мару» [1]? — перевел разговор настоятель, чутко уловив мое настроение.— Брат твоего прадеда прослышал, что Джон Мандзиро, с которым прадед встретился однажды в Коти, снова отправляется в Америку на «Канрин-мару». И, конечно же, он подумал с болью: как же так, в век, когда сын простого рыбака живет полной приключений жизнью в новом, безбрежном мире, я заперт в крохотном горном мирке. И в начале лета того же года, получив сообщение, что правительство разрешает выходцам из их княжества поступать в школу матросов военных судов, он через настоятеля храма стал добиваться, чтобы его послали туда учиться. Мне отец говорил, что читал копию прошения; если поискать в храме, можно, наверно, и сейчас найти ее. Тогда уже не существовало препятствий к тому, чтобы второй сын местного самурая, владельца крупного поместья, стал простым воином самого низкого звания. Ведь это был век, когда дети местных самураев активно участвовали в движении за почитание императора и изгнание варваров![2]

И тем не менее попытка брата прадеда окончилась ничем — князь не решился послать сына самурая в школу матросов военных судов. Горя негодованием, брат прадеда стал действовать против князя, как вожак деревенской молодежи, занялся ее обучением и от имени крестьян обратился к князю с просьбой о займе. Этого-то опасного молодого человека, за которым стояла реальная сила, заметили и использовали посланец из Коти, настоятель и прадед. Таковы результаты моего исследования.

— Во всяком случае, это самая привлекательная версия о причинах восстания 1860 года из всех слышанных мною до сих пор,— признал я.— Если еще рассмотреть все это в связи с убийством в корейском поселке брата S, то удастся понять в общей цепи событий роль деревенской молодежи, а это многое могло бы объяснить.

— Да, если говорить честно,— согласился настоятель.— Действительно, оценив происшедшее в корейском поселке, я и истолковывал события 1860 года. В поступках S-сан нашло, конечно, отражение его понимание событий 1860 года. Связь между 1860 и 1945 годом нельзя считать случайной или, того хуже, притянутой за уши.

— Брату S не давала покоя мысль, что из всех зачинщиков восстания лишь брат прадеда избежал казни, и он сам, как один из участников налета на корейский поселок, решил заплатить своей жизнью —

---

[1] Военный корабль, купленный Японией у Голландии. В 1860 году совершил первое для японцев плавание через Тихий океан.

[2] Движение за восстановление изоляции страны, получившее особый размах в 1860 и 1863 годах.

это грустное, но, пожалуй, единственно верное объяснение его поступка.

— Все это из-за товарищей,— робко заметил настоятель, и его лицо покраснело.— Из-за никуда не годных товарищей.

— Такаси так же, как брат S, находится под влиянием событий 1860 года. Тренировки футбольной команды, которые он стал проводить с сегодняшнего дня, собрав деревенскую молодежь,— тоже результат его увлечения рассказами о том, как брат прадеда на учебном плацу — участке, расчищенном от леса,— обучал молодежь военному делу.

— Но сейчас не поднимешь восстания, как в 1860 году, да и не такое время, чтобы совершить убийство, избежав вмешательства полиции, как это было сразу же после войны, когда произошла драка между корейским поселком и деревней,— снова лучезарно заулыбался настоятель.

— Кстати, в этих записках не содержится чего-нибудь неподходящего для нашего времени, когда наблюдается стремление к миру? — забросил я удочку, воспользовавшись улыбкой настоятеля.— А то, может быть, лучше отдать их Такаси. Среди представителей рода Нэдоко я унаследовал кровь тех, кто не ищет в событиях 1860 года признаков героизма. Вместо того чтобы хоть в мечтах отождествить себя с героем — братом прадеда, мне снятся лишь отвратительные сны, будто я, дрожа от страха, запираюсь в амбаре и трусливо выглядываю оттуда, даже не пытаясь, как прадед, стрелять из ружья.

— Пожалуй, ты прав, отдай записки Такаси,— сказал настоятель, на лице которого застыла неуверенная улыбка.

Я взял зеленоватую тетрадь, положил ее в карман пальто, и мы с настоятелем пошли на школьную спортивную площадку, где Такаси тренировал свою футбольную команду.

Над деревней — безоблачное небо, дует сильный ветер, беспрерывно меняя направление; ребята молча, сосредоточенно гоняют мяч. Особенно отчаянно носится парень, похожий на морского ежа, с коротким туловищем и непомерно большой головой, повязанной скрученным платком; он беспрерывно падает, и странно, что никто не смеется. Замершие вокруг площадки деревенские ребятишки стоят молча, с мрачной серьезностью, совсем не похожей на веселое оживление городских детей на спортивных соревнованиях.

Такаси и Хосио, стоящие посреди бегающих ребят, сделали нам с настоятелем знак подождать. Только Момоко и жена в «ситроене», далеко объезжая гоняющих мяч, подъехали к нам.

— Ужасное зрелище, а? Казалось бы, никто из них не получает удовольствия, почему же они так увлечены?

— Эти ребята, чем бы ни занимались, все делают с увлечением. Нам с Момо такое серьезное отношение к футболу нравится. Мы собираемся каждый день приходить сюда смотреть,— сказала жена, отказываясь поддержать мое мнение о тренировке.

Я хотел ударить по мячу, вырвавшемуся из круга ребят и катившемуся ко мне, но нога пнула воздух, едва задев мяч, и он, завертевшись волчком, остановился, взметнув пыль. Женщины в машине, бесстрастно наблюдавшие за моими упражнениями с мячом, даже не улыбнулись. Чтобы вывести меня из замешательства, настоятель изобразил на лице свою неизменную улыбку, но мое подавленное настроение от этого лишь усилилось.

Вечером после ужина, когда я лежал возле очага, ко мне подошел Такаси.

— Мицу, в записках есть потрясающие вещи,— мрачно сказал он тихим, невыразительным голосом, чтобы не услышала пьяная жена.

Я смотрел во тьму, стараясь не встречаться с ним глазами. И прежде, чем я услышал его следующие слова, во мне уже вскипело отвращение.

— Наш старший брат в университете изучал немецкий язык. Употребляя слово zusammengeschaft [1], он пишет, что армия — сборище отвратительных типов! Ударят такого, выбывшего из строя на ротных учениях, и он, оставив письмо командиру роты, кончает с собой. А командир роты — брат. «Какова ты, сегодняшняя Япония? Ты в хаосе, ты антинаучна, неподготовлена. К тому же и нерешительна. Сейчас в Германии существует карточная система, а печатать карточки начали еще с того дня, как Гитлер пришел к власти в 1933 году. Прошу, Советский Союз, полей нас дождем бомб. Японцы отравлены мирными снами и, дойдя до нынешней критической точки, как обезумевшие, бросаются то вправо, то влево»,— вот что он пишет. И, как о достижении, которого он добился в армии, говорит: «Хоть немного закалил свою волю. Окреп физически». «В *** отряде на острове Кайнандзима сам командир говорит, что можно замарать virgin Fräulein,[2] но потом сделай все, как полагается. Конечно, «сделать все, как полагается» означает to kill,[3] пишет он и тут же приводит моральную заповедь: «Чтобы достичь вершины горы Фудзи, нужно сделать первый шаг». Он подробно описывает и свои чувства, когда рассказывает о шпионе, местном жителе острова Лейте: «Командир отряда сказал, чтобы задержанного заколол кто-нибудь из солдат-первогодков, но я перехватил его и впервые в жизни, размахнувшись японским мечом, отрубил голову туземцу». Ты будешь их читать, Мицу?

— Меня эти записки не интересуют, и я не собираюсь их читать,— наотрез отказался я.— Я предполагал, что там написано что-то в этом роде, и поэтому отдал их тебе, Така. Надеюсь, этим все и ограничивается? Обычная милитаристская песня?

— Нет, для меня этим не ограничивается. Я нашел родного себе человека, Мицу, который на бой смотрел как на свою обычную жизнь, был активным творцом Зла. Живи я во времена старшего брата, этот дневник мог бы оказаться моим собственным, верно? А если так, то, мне кажется, облик моего мира обретает новые черты,— резко заявил Такаси, игнорируя мое возмущение. Голос его на мгновение пробудил сознание у пьяной жены. Когда я отвернулся от него, то увидел, как жена, подняв голову, вся подалась в сторону брата, напоминавшего преступника, полного скрытой, необузданной силы.

*(Окончание следует)*

---

[1] Собранные вместе *(нем.)*.
[2] Непорочная девушка *(нем.)*.
[3] Убивать *(англ.)*.

# Литературное наследие

# ТАО ЮАНЬ-МИН

*Вступление и перевод с китайского Л. ЭЙДЛИНА*

Тао Юань-мин (365—427) — один из первых по времени в ряду великих китайских поэтов. Творчество Тао Юань-мина, гениально синтезировавшее поэтические достижения по крайней мере одного предшествовавшего тысячелетия, указало путь и послужило образцом танским и сунским поэтам VII—XIII веков. Трудно найти в огромной истории китайской литературы стихотворца подобного влияния: Тао Юань-мин оказался на подступах к новому подъему поэзии в роли необходимого ей вдохновителя.

Непрерывная многовековая преемственность китайской культуры выразилась и в развитии определенных тем, присущих поэзии этого народа, содержание которой вместило в себя идеи жизненной философии, образованной конфуцианством, даосизмом и буддизмом. Темы эти особую силу, да и новизну приобрели в стихотворениях Тао Юань-мина. В них природа китайского юга — не сырая зима и не изнуряюще-жаркое лето, а искони близкие сердцу китайца, предмет его поэтического восприятия — весна и осень: «Теплотою и влагой три весенние срока славны. Но чиста и прохладна та, что белой зовется, осень». Осень, которая кончается с наступлением «доброго», десятого месяца, первого зимнего месяца по лунному календарю, когда оголяются сады, замолкают цикады и в прозрачном воздухе слышен последний крик улетающих к теплу гусей. Без насильственных наблюдений и без лишних образов словами, как линиями, обозначена четкая картина из вещей и существ, пленяющих глаз поэта, картина, в глубине своей прячущая беспокойство тревожного времени притеснений, войн и опасностей («От скорбных цикад ни звука не сберeглось...»; «Глушью безлюдной прошел, никого не увидев, Только все время пустые встречая жилища...»).

Излишне утверждать, что природа в китайской поэзии не существует просто для любования ею. Есть и более возвышенная цель — размышления о жизни, которые возникают при взгляде на мир живой и мертвой природы, окружающий нас и неотделимый от нас. «И за винною чарой об отшельнике древнем думы...» Об отшельнике и о незадачливости поэта, не умеющего стать вровень с теми, кто обрел независимость духа и приводит труд жизни («В тьме тем превращений, в чередованье вещей И жизнь человека разве сама не труд?») в какое-то соответствие с ужасом смерти.

Жизнь и смерть... «С древнейших времен для всех неизбежна смерть, Но вспомню о ней, и сердце бедою жжет». Та же природа, которая заставляет вспомнить о праведном человеке древности, склоняет поэта и к мысли о неизбежности смерти. Каков же взгляд его на смерть? У даосского мыслителя Чжуан-цзы идеальный человек древности «не знал, что значит радоваться жизни, и не знал, что значит ненавидеть смерть»: для него жизнь и смерть были равновелики. Позднейшие даосы спасались верой в су-

Рисунок художника Шангуань Чжоу (XVII—XVIII вв.).

ществование обители бессмертных и поисками волшебного снадобья бессмертия. Прививший на китайской почве чужеземный буддизм смог утвердить себя лишь в измененном виде, приняв неприсущую ему идею неистребимости души, то есть предоставив человеку веру в вечно живую душу и тем избавляя его от страха смерти. Современнику и знакомцу Тао Юань-мина, буддийскому настоятелю Хой-юаню принадлежит известное «Суждение о бренности тела и бессмертии души».

Ни бесстрастие, проповедуемое Чжуан-цзы, ни даосский волшебный мир вечности, ни буддийское бессмертие души не соблазнили поэта, ограничившего себя традиционно конфуцианским почитанием предков, представляющим собою прежде всего моральное обязательство, в общем далекое от мистической веры в загробную жизнь. «Время промчится, и через одно столетье Тело и имя — в тени сокроются оба!» Что противопоставить смерти? Достойное существование, чуждое корысти, свободное от служебных интриг, исполненное необходимых трудов для прокормления себя, жизнь, в которой есть музыка, есть стихи, есть беседы с друзьями и есть мутное молодое вино, способное отвлечь от печальных мыслей о смерти: «Что будет в веках, о том не дано нам знать, И пусть хоть оно продлит это утро дня!» Самостоятельность мышленья Тао Юань-мина, чрезвычайная независимость его мировоззрения особенно сказались в бескомпромиссном этом реалистическом взгляде на смерть как на обязательное и непреоборимое окончание человеческого существования. Остается верным сделанное полвека тому назад наблюдение В. М. Алексеева: «Служа прекрасному вдали от конфуцианского проповедничества, Тао остался чужд враждующим флангам даосов и конфуцианцев, не говоря уже, конечно, о буддистах, и первый освободил поэзию от придворных связей и общественно-исповедных кастовых обязательств, наложенных веками на китайского ученого поэта».

Пример украшающей жизнь нравственной чистоты — «бедные ученые». Им поэт воздает хвалу, им, беспомощным в житейской суете, но сильным убежденностью в безусловной правильности избранного ими пути и готовым ради этого пожертвовать даже высшим жизненным даром — дружбой, хочет поэт следовать и в своей жизни. Такой «бедный ученый», сравниваемый и с сиротливым облаком, и с одинокой птицей, не отгораживается нарочито от людей, не рвется к благам, но и не ждет мучительного наслаждения от нищеты. Он часто бывает один, и всегда он беден, потому что на это обрекает его несовершенный мир, в котором человек живет. Так подальше же от этого мира, где сталкиваются низменные страсти в борьбе за власть, богатство и карьеру: «Ах, неспокойны дела в суетливом мире. Годы и луны меня от них отдаляют». И поближе к тем, кто знает лишь труд на земле, единственно полезный: «На пахоте труд мой меня не введет в обман!» Чиновник Тао Юань-мин порвал с благополучием того круга, к которому он предназначен был по рождению, и ушел к людям «с простыми сердцами». Вся великая его поэзия об этом.

«Вторю стихам чжубу Го», «Вторю стихам чайсанского Лю», «Отвечаю цаньцзюню Пану» — названия стихов Тао Юань-мина, обращенных к друзьям, к тем, сведения о которых дошли до нас, и к другим, от которых остались лишь должность и имя в заглавиях к сочинениям поэта. Друзьям отдает поэт свою нежность, им поверяет он свои мысли, об их благополучии печется. Друг — это, конечно, тот современник поэта, кто близок и дорог ему по строю мыслей. Но круг друзей может быть и расширен во времени: друг давнего поэта становится учителем нынешнего. Друг древнего Лю Гуна, «бедный ученый» начала нашей эры Чжан Чжун-вэй для Тао Юань-мина — учитель жизни, и поэт готов «всегда подражать ему», а друг Тао Юань-мина чайсанский Лю, в свою очередь, приблизительно через четыре столетия превратится в объект преклонения и подражания танского Бо Цзюй-и: «К сожалению, мне не равняться никак с тем чайсанским начальником Лю: Ночь одну лишь в Силине я в храме провел и уже возвращаюсь домой».

Тема дружбы настолько главенствует в старой китайской поэзии, что непроизвольно хочется противопоставить ей тему всепоглощающей любви, вдохновившей поэтов на чудесные строки ближневосточной и европейской лирики. При этом подчас забывается и то, что далеко не единой любовью сильна привычная нам мировая поэзия, по образу которой пожелаем мы судить о китайской, а также и то, что любовь в китайской литературе не могла быть предана забвению. Так в чем же дело?

Конфуцианские ревнители чистоты нравов возвели вокруг древних народных песен канонической книги «Шицзин» частокол примечаний, целью которых было отвлечение читателя от любовной лирики, придание ей некоего аллегорического смысла, согласующегося с государственной и семейной моралью. Но сочинено-то это было все-таки про любовь, сочинено бесхитростно, с наивной беззастенчивостью. А впоследствии, почти до самого танского времени, то есть до начала VII века, в народе создавались песни юэфу (а поэтами — подражания им)— о счастье и горестях в любви, о разлуках и возвращениях. И в знаменитых «Девятнадцати древних стихотворениях», да и в стихах поэтов дотанской поры тоже тоска по любимому или по любимой, печаль расставаний и радость встреч. Составленная Сюй Лином (507—583) антология «Юй тай синь юн», новых напевов Яшмовой башни, донесла до нас большое число подобных стихотворений — безымянных или принадлежащих Сюй Ганю (171-218), Пань Юэ (247—300), Шэнь Юэ (441—513) и многим другим поэтам вплоть до VI столе-

тия — о нежности в любви, о воспоминаниях любви, о плаче по умершей жене. И разве не Тао Юань-мином написана поэма «Запрет на любовь», в которой соединились целомудренность и страстность,— «маленькое пятнышко» в «драгоценной белой яшме» его поэзии, по суровой оценке Сяо Туна, первым в VI веке собравшего сочинения поэта. А в «Вечной печали» Бо Цзюй-и — трагедия любви, грубо и безжалостно прерванной в этом мире и обретшей свое продолжение в вечности. Здесь легко найдутся еще примеры из поэзии разных жанров в разные времена.

И все-таки могущественнейшая эта тема уступает по виду как будто иной, а на самом деле духовно и интеллектуально развивающей первую — теме дружбы (что, заметим попутно, не воспрепятствовало, например, творчеству Ли Шан-иня, в танское время отразившему любовь к женщине).

Не покажется ли банальным справедливое утверждение о родственности таких чувств, как любовь и дружба? Есть ли нужда в лишнем напоминании о том, что любовь и в самой высокой страсти своей выдерживает длительность испытания лишь тогда, когда она скрепляется все усиливающейся духовной близостью, в чем и есть основа дружбы? «И если мы с кем-то не равных стремлений, Способны ли с ним быть мы родственно-близки?»

Китайская лирическая поэзия есть прежде всего поэзия мысли, поэзия раздумий о существе человеческой жизни. В истории Китая обстоятельства не допускали женщину к деятельному участию в больших и малых делах страны и не позволяли ей развиться до уровня тех, кто создавал насыщенную идейную атмосферу китайского общества. Этим в значительной мере объясняется место мужской дружбы в китайской лирике на протяжении веков. В беседе с другом, в письме к другу, в ответе ему и посвящениях поэт полнее всего высказывает свой взгляд на мир. Так, в стихах Тао Юань-мина «Отвечаю цаньцзюню Пану» — целая программа собственной жизни и моральных требований, предъявляемых к себе и к другу среди превратностей уединения и службы, всегда переплетающихся в старину в судьбе китайского поэта.

По форме стихотворения Тао Юань-мина разделяются на пятисловные, то есть содержащие пять иероглифов в строке, и четырехсловные. К четырехсловным относятся стихи «Отвечаю цаньцзюню Пану». В IV—V столетиях, когда творил Тао Юаньмин, четырехсловные стихи — наследие глубокой древности «Шицзина» — отживали уже свой век, и поэт нечасто обращался к ним.

Таковы несколько замечаний, которые могут быть полезными при чтении публикуемых стихотворений.

## *Вторю стихам чжубу Го*

Теплотою и влагой
    три весенние срока славны.
Но чиста и прохладна
    та, что белой зовется, осень.

Когда росы застынут
    и кочующих туч не станет,
Когда небо высоко
    и бодрящий воздух прозрачен,

Как причудливо-странны
    воздымаются ввысь вершины,
Стоит только вглядеться —
    удивительно, неповторимо!

Хризантемой душистой
    просветляется темень леса.
Хвоей сосен зеленой
    словно шапкой накрыты горы.

Размышляю об этом
    целомудренном и прекрасном,
Чья открытая доблесть
    и под инеем нерушима,

И за винною чарой
об отшельнике древнем думы:
Будет тысячелетье,
как твоих мы держимся правил.

Но пока в моей жизни
неразвернутые стремленья...
Чувства — чувства такие
в «добрый месяц» меня тревожат.

## *В год цзию, девятый день девятого месяца*

Так исподволь-тихо
осень пришла к концу —
И зябкая дрожь
от ветра и от росы.

У вьющихся трав
той яркости прежней нет.
Деревья в саду
пусты — облетела листва.

А в воздухе чистом
смыта последняя грязь.
Во весь их простор
пределы небес высоки.

От скорбных цикад
ни звука не сберeглось.
Лишь стаи гусей
кричат среди облаков...

В тьме тем превращений,
в чередованье вещей
И жизнь человека
разве сама не труд?

С древнейших времен
для всех неизбежна смерть,
Но вспомню о ней,
и сердце бедою жжет.

Удастся ли чем
умерить мою печаль?
Я мутным вином
сумею себя отвлечь:

Что будет в веках,
о том не дано нам знать,
И пусть хоть оно
продлит это утро дня!

## *Вторю стихам чайсанского Лю*

Горы и воды
давно меня призывали.
Но почему же
я долго так колебался?

В этом виною
друзья мои и родные:
Жалко мне было
сказать о разлуке с ними...

Светлое утро
сошлось с необычным чувством.
Взял я мой посох —
и к западной хижине снова.

Глушью безлюдной
прошел, никого не увидев,
Только все время
пустые встречая жилища...

Ветхую кровлю
уже я настлал травою.
Новое поле
опять пора обработать.

Ветер ущелий
приносит с востока свежесть.
Чарка весенняя
снимет усталость и голод.

(Слабенькой девочке
рад хоть не так, как сыну,
Все же утешит —
совсем без детей ведь хуже)...

Ах, неспокойны
дела в суетливом мире.
Годы и луны
меня от них отдаляют.

Пашни и прялки
мне хватит для нужд насущных.
Большего в жизни
по мне ничего не надо:

Время промчится,
и через одно столетье
Тело и имя —
в тени сокроются оба!

# *Переселяюсь*

И прежде хотел я
жить в этой Южной деревне,
И не потому что
гаданьем ей выпал знак:

Здесь, слышал я, много
людей с простыми сердцами.
В их обществе радость
считать вечера и дни.

В мечтах о деревне
прождал я все-таки годы,
Покамест сегодня
я не поселился в ней...

А хижине бедной
к чему большие пространства?
Достаточно, если
прикроет она постель.

Важней, чтоб соседи
почаще ко мне ходили,
И мы в разговорах
судили б о старине,

И чудным твореньем
мы вместе бы восторгались,
Неясные мысли
друг другу толкуя в нем.

■

Весною и осенью
много погожих дней.
На гору мы всходим
и там слагаем стихи.

Минуем ворота —
хозяин к себе зовет.
Вино поспевает —
и тут же его мы пьем.

В полях поработав,
расходимся по домам.
Домой воротившись,
мы думаем о друзьях.

А вспомнив о друге,
спешим накинуть халат:
В беседах и в смехе
мы не замечаем часов.

Жизнь в этих занятьях
не лучше ль всякой иной?
Не вспыхнет желанье,
покинув ее, уйти.

Одежда и пища
к тому же требуют средств.
На пахоте труд мой
меня не введет в обман!

## *Воспеваю бедных ученых*

Во вселенной все сущее
обретает свою опору.
Сиротливому облаку
одному приютиться негде.

В дали-дали безвестные
в пустоте небес исчезает,
Не дождавшись до времени,
чтоб увидеть последний отблеск...

Чуть рассветное зарево
распахнет ночные туманы,
Как пернатые стаями
друг за дружкой уже летают.

Позже всех, очень медленно
вылетает из леса птица
И задолго до вечера
возвращается в лес обратно...

В меру сил и старания
не сходя с колеи стариннои,
Разве тем не обрек себя
на лишения и на голод?

А вдобавок и дружества
если более не узнаешь,
Что случится от этого
и какая нужда в печали?..

■

Ученый Чжун-вэй
любил свой нищенский дом.
Вокруг его стен
разросся густой бурьян.

Укрывшись от глаз,
знакомство с людьми прервал.
Стихи сочинять
с искусством редким умел.

И в мире затем
никто не общался с ним,
А только один
Лю Гун навещал его...

Такой человек
и вдруг — совсем одинок?
Да лишь потому,
что мало таких, как он:

Жил сам по себе,
спокойно, без перемен —
И радость искал
не в благах, не в нищете!

В житейских делах
беспомощный был простак...
Не прочь бы и я
всегда подражать ему!

## *Отвечаю цаньцзюню Пану*

*Когда Пан служил цаньцзюнем у Вэйского цзюня и был послан из Цзянлина в столицу, он, проезжая через Сюньян, подарил мне стихи.*

### I

За дверью из грубо
сколоченных досок
И цинь у меня,
и для чтения книги.

Стихи я пою,
я играю на цине,
Что главною стало
моею утехой.

А разве лишен
я других наслаждений?
Еще моя радость
и в уединенье:

Я утром с зарей
огород поливаю,
А к ночи ложусь
под соломенной кровлей.

### II

Что мнится иному
сокровищем дивным,
Порою для нас
вовсе не драгоценность.

И если мы с кем-то
не равных стремлений,
Способны ли с ним
быть мы родственно-близки?

Я в жизни искал
задушевного друга
И вправду же встретил
того, кто мне дорог.

И сердце приветно
сливается с сердцем,
Уже и домами
соседствуем тоже.

### III

Теперь я скажу
о тебе, кто мне дорог,
Кто любит добро
и усердия полон.

Вино у меня
превосходное было,
Но только с тобою
в нем радость вкушал я.

За ним говорились
приятные речи,
За ним сочинялись
и новые строки.

Бывало, лишь день
я тебя не увижу —
Как мог в этот день
о тебе я не думать!

### IV

Хоть истинный друг
никогда не наскучит,
А все ж наступило
нам время расстаться.

Тебя проводив
от ворот на дорогу,
Я чарку пригубил
без всякой охоты.

О, нас разлучившая
служба в Цзянлине!
О, скрытые далью
на западе тучи!
И вот человек
уезжает далёко...
Разумную речь
от кого я услышу?

## V

В тот раз, когда я
распростился с тобою,
Весенние иволги
только запели.

Сегодня, когда
мы встречаемся снова,
Снег мокрыми хлопьями
падает с неба.

Всесильный дафань
дал тебе повеленье
На должность сановную
ехать в столицу.
Ты разве забыл
тишины безмятежность?
Да нет, это служба
не знает покоя!

## VI

Печально-печально
холодное утро.
Шумит и шумит
нескончаемый ветер...

Вперед понеслась
государева лодка,
И где-то качает
ее над пучиной.

Да будет удача
в делах твоих, странник!
В начале пути
о конце позаботься.

Воспользуйся всеми
удобными днями
И побереги
себя в дальней дороге.

С. ИЛЬИНСКАЯ

# «ФЕРМОПИЛЫ» СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Один из поэтических циклов Янниса Рицоса, увидевший свет в 60-х годах, носит название, характерное не только для творчества Рицоса, но и для всей прогрессивной поэзии Греции. «Свидетельства» — слово точное и емкое. Чтобы раскрыть значительность этой формулы для послевоенной греческой поэзии, уместно процитировать отрывок из статьи поэта и критика Вирона Леонтариса (она была опубликована в том же 1963 году, когда вышла в свет первая книга «Свидетельств» Рицоса): «Именно в нашей послевоенной поэзии современник может увидеть свое подлинное лицо, только она проливает свет на его раны, так как по сей день она остается единственным свидетельством о нашей послевоенной драме».

Ценность этих свидетельств — не только в реалиях, воссоздающих атмосферу послевоенной Греции, но и — главным образом — в осмыслении нравственного опыта, вынесенного прогрессивной греческой поэзией из двух тяжелейших поражений демократического движения (в декабре 1944 года, во время военной интервенции Англии, и в гражданской войне 1946—1949 годов). Теперь, когда мы знакомимся с доходящими до нас новыми «свидетельствами» греческой поэзии после военного переворота 1967 года, их непосредственная связь с нравственными уроками предшествующего периода представляется весьма ощутимой. Суровый вопрос Манолиса Анагностакиса:

Вы «за» или «против»?
Ответьте хотя бы одним только «да»
или «нет» [1],

обращенный к современникам поэта в 1970 году, возник в греческой поэзии как одна из основных этических проблем около пятнадцати лет назад.

Для Греции это было время, когда крупные национальные потрясения — трагический финал Сопротивления, кровопролитная гражданская война — остались позади. Героический взлет антифашистской борьбы, с которой греческий народ связывал надежды на лучшее будущее, стал уже достаточно отдаленным прошлым. В настоящем же была жизнь, которая, по выражению Тасоса Ливадитиса, обретала «первоначальное злое спокойствие», покрывая губительным пеплом забвения «улицы, годы, воспоминания», «города, небеса, угрызения совести». Террор, засилие хищной обывательской стихии, суета повседневности, осаждающая вчерашних бойцов,— такова атмосфера, вызывавшая очень распространенное состояние болезненного внутреннего разлада. Написанное в конце 50-х годов стихотворение Тасоса Ливадитиса «Выжившие» раскрывает это состояние в столкновении двух коротких сцен.

Первая сцена переносит нас в прошлое. Ночь. Две тени — он и она. Где-то рядом — выстрелы. «Ты же видишь, все кончено, беги»,— говорит она. Но юноша молчит. «Ты погибнешь. Беги. Я люблю тебя». Но юноша уходит туда, откуда доносятся выстрелы. «Мы сражались»,— говорит в заключение Ливадитис. Следующая сцена происходит несколько лет спустя у входа в тир. Юноша приходит сюда, чтобы в деревянных подобиях человека «расстрелять то,

[1] Здесь и далее, где переводчик не указан, стихи даются в переводе автора статьи

что осталось от его прежнего «я». Теперь в его жизни нет ни героизма, ни самоотверженности, ни любви.

И я вспомнил надломленный голос
под холодной луной.
Ты погибнешь. Беги. Я люблю тебя.
А рядом гремели выстрелы,
но
пули нас миновали.

Драматическое противопоставление двух сцен придает этой концовке особый смысл, и читателю как будто слышатся другие горькие слова: «Было бы лучше, если бы пули нас не миновали». Если бы ничто уже не могло принизить романтику героической жертвенности, которой овеяна юность поэта и его поколения.

Обращение к прошлому служило для поэтов моральной опорой, прикосновением к целительному «первоисточнику». Идея свободы, героизм, самопожертвование по-прежнему сохраняли свою притягательную силу, и только действенная вера в них могла удержать человека от духовной смерти. Прошлое выступало как критерий оценки современности. Верность или измена прошлому — такова неумолимая дилемма, перед которой поставила современников греческая поэзия второй половины 50-х годов.

И когда примерно десять лет спустя апрельский переворот 1967 года оборвал новый подъем демократических сил Греции, эта дилемма встала с прежней остротой и непримиримостью. Верность или измена прошлому — хорошо освоенный греческой поэзией критерий в изображении человеческих характеров и судеб — определяет сюжетную коллизию стихотворения М. Анагностакиса «Сентиментальный рассказ». Оно посвящено поэту Костасу Кулуфакосу, участнику Сопротивления, прошедшему в 1949—1952 годах через концлагеря Макронисос и Ай-Стратис, редактировавшему прогрессивный литературный журнал «Эпитеориси технис» и вновь арестованному сразу же после переворота.

И у автора, и у Кулуфакоса, и у другого героя стихотворения, Макиса,— общее «прошлое»: юность, связанная с романтикой Сопротивления и мечтами о том, чтобы «переделать мир». На смену этой поре приходит другая, более трезвая и суровая, когда становится очевидным, что во имя торжества справедливой жизни придется принести еще немало жертв, и когда, взвесив все «за» и «против», Макис решает вовремя «образумиться». Такое отступление бывшего борца — иногда из холодного расчета, иногда от усталости, иногда из-за крушения веры — уже было зафиксировано и детально исследовано греческой поэзией. В 1970 году Анагностакис вводит новый, продиктованный последними событиями финал:

Ты снова живешь за решеткой,—

обращается он к Кулуфакосу,—

А Макис опять в сторонке —
Господин сегодняшней ситуации,—
Таким, пожалуй, он оставался всегда,
при всех ситуациях...
*(Перевод Юнны Мориц)*

Поэт прямо указывает на преемственность своей темы:

Я говорю в лоб, ничего не смягчая,
О вещах, которые всем известны,
И я говорил об этом не раз, а другие,
до меня, говорили еще лучше...—
*(Перевод Юнны Мориц)*

и читатель понимает, что вместе с темой в сегодняшний день переносится по-прежнему неумолимая взыскательность, требование верности гражданскому долгу и благородным идеям, которые человек обязан отстаивать, требование открытого, честного, «ничего не смягчающего» разговора, в котором

Как гвозди, должны забиваться слова.
Чтоб ветром не уносило.
*(М. Анагностакис. «Поэтика»)*

Суровые и твердые принципы, сложившиеся в прогрессивной греческой поэзии в трудные годы поражения, в условиях, аналогичных с нынешними, оказались сейчас необычайно актуальными и жизненно важными. И обращение к сложному, часто болезненному опыту того периода знакомит с рождением и становлением некоторых традиций, на которые опирается греческая поэзия наших дней.

Во второй половине 50-х годов «непрощающая» память, сознание того, что «никакой ветер не сотрет уже этих следов на снегу... и беспощадный упрек на лицах убитых» (Т. Ливадитис. «Симфония № 1») побуждали поэтов восстановить трагический ход событий, закончившихся поражением, прийти к желанной ясности и цельности духа, без которой дальнейшее движение вперед было для них невозможным. Путешествие по следам прошлого вызывало чрезвычайно острое чувство личной ответственности за все свершившееся, непримиримую этическую требовательность, стремление не обойти молчанием животрепещущие вопросы времени, не подходить к ним упрощенно, «с легкостью», которая, как говорил в 1963 году Яннис Рицос, «проистекает от сверхоптимизма, от нетерпеливого желания увидеть осуществленными свои надежды, от жажды передышки после тяжелых испытаний».

Мучительный в своей предельной откровенности разговор о безвозвратных потерях, упущениях, слабостях передавал нестерпимое давление мятущейся, ищущей мысли, тревогу, боль, скорбь, иногда уступавшую место порывам отчаяния. Аналогией брехтовской мысли о «мрачных временах», когда «лоб без морщин говорит о бесчувствии», звучали в это время строки Титоса Патрикиоса:

Если в тебе после всего, что мы пережили,
ничто не содрогнулось, не надломилось,
не торопись возгордиться.
Быть может,
тебе просто нечего было отстаивать.
*(«Испытание»)*

---

С. ИЛЬИНСКАЯ

## «ФЕРМОПИЛЫ» СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Все увидеть, все осмыслить, все сказать — так можно было бы выразить стремление поэтов к строжайшей достоверности и максимальной правдивости. Это требование времени запечатлено Ливадитисом в эпиграфе к циклу произведений, созданных им в 1956—1964 годах: «Люди нуждаются в тебе в той степени, в какой ты открываешь им свое подлинное лицо. Ею определяется и ценность того, что ты им даешь, и твое собственное лицо». При этом тезис «открывать свое собственное лицо» распространялся не только на лирические исповеди, но и на каждую поэтическую строку вообще, так как в каждой поэтической строке поэт обязан раскрывать правду.

С таких нравственных позиций поэты подходили к анализу духовных и психологических последствий поражения. Их суд над своим временем был суров и приговор — беспощаден. Категорически отвергая возможность примирения с уродливой и отталкивающей социальной реальностью, они осуждали попытки современников заглушить голос совести и человеческого долга. На фоне сверкающих белизной новых кварталов (этажи, «громоздясь, попирают друг друга, как чесголюбцы или как трупы солдат вечером после битвы», громады бетона отбрасывают холодную тень на мечты людей, на все, что в них есть человеческого), на фоне сияющих витрин («Витрины моргают глазами, удивляясь грусти прохожих... Столько вещей дарит цивилизация для нашего счастья, а мы упорно остаемся несчастными». Т. Ливадитис. «Симфония № 1») зоркий глаз поэзии с особой, неумолимой отчетливостью видел людское горе и одиночество. Стихотворением «Пишущая машинка» Титос Патрикиос вводит читателя в одну из многочисленных афинских контор, он как бы включает магнитофонную запись, и мы слышим стук машинки, фразы начальника и клиентов, но вот на эту запись наслаиваются мысли женщины, сидящей за машинкой, усталые мысли о делах, заботах, недомогании, и где-то между ними всплывает воспоминание о погибшем друге, тогда она и сама хотела погибнуть, но все-таки осталась жива и живет теперь с измученными работой руками и еще более измученной душой.

Анализируя духовные и нравственные болезни, рожденные климатом поражения, греческая поэзия нередко отдавала дань внимания аналогичному опыту экзистенциалистской литературы. Иногда некоторые экзистенциалистские мотивы оказывались созвучными внутреннему состоянию поэтов, иногда модели экзистенциализма представлялись им подходящими для изображения духовной драмы своего современника. В экзистенциалистском ракурсе решалась многими поэтами тема любви, которая трактовалась как тщетная попытка спасения от «неумолимого безразличия пустоты», от иррационального страха и мук одиночества.

Однако близкие к экзистенциализму темы рождались в греческой поэзии конкретными обстоятельствами греческой действительности и получали особую интерпретацию. Именно реальные обстоятельства, обусловленные трагическими событиями послевоенной греческой истории, калечат судьбы людей и накладывают на них печать отчуждения. Отчуждение — не извечное проклятие человеческой доли, а тяжелая болезнь трудного времени, такая же, как глубокая апатия, неуверенность в себе, подточенная унижениями и компромиссами вера в осуществимость надежд. Знакомясь со стихотворением Я. Рицоса «Будни», за фразой «Прошли годы» читатель угадывает долгую вынужденную разлуку любящих — годы тюрьмы, ссылки или подполья, разрушившие их духовную близость.

Особую интерпретацию приобретала и традиционная для экзистенциалистской литературы тема «вины», решавшаяся в греческой поэзии главным образом как проблема ответственности человека перед народом, перед Сопротивлением, перед погибшими товарищами:

Единственно осязаемое, что осталось
от него,— пиджак;
его повесили там, в большом шкафу,
и позабыли,
задвинули подальше и завешивали
одеждой, летней и зимней,
каждый год новой — по новой моде.
Пока однажды он не бросился в глаза —
может быть, цвет был странный,
может, покрой был старый. На его
пуговицах
застыли три круглых бледных
одинаковых пейзажа:
стена расстрела с четырьмя пробоинами
и вокруг — угрызения нашей совести.

*(Я. Рицос. «Забвение»)*

В стихотворении «Маленькое экзистенциалистское отступление» Т. Ливадитис как бы принимает экзистенциалистскую модель для раскрытия запутанного механизма мыслей и поступков человека «трудного времени». «Кто ты, скрывающийся за этим лицом, которое меняется с каждым днем?» — спрашивает поэт своего современника. Какое из его лиц подлинное? Какие рожденные ночью мысли и намерения стоят за его поступками, совершаемыми днем? Возникавшее в поэзии смещение действительных контуров реального мира было продиктовано стремлением проникнуть в глубины потрясенного горем человеческого сознания, передать его болезненное мироощущение. Характерным примером может послужить небольшое стихотворение Мильтоса Сахтуриса «Безумный заяц».

Брел по дорогам безумный заяц
брел по дорогам
бежал от проволоки безумный заяц
и падал в грязь.

Рассветы занимались безумный заяц
зияла ночь
сочилась кровь из сердца безумный заяц
рождался мир.

Кипели слезы безумный заяц
опух язык
стонали мошки безумный заяц
и смерть в зубах.

Стремительная смена картин, как бы мелькающих в меркнущем от боли и ужаса сознании несчастного существа, отражает

судорожные поиски выхода, тревогу, панический страх, из которых, по мнению поэта, складывается жизнь современного человека.

Такие искаженные болью картины мира мы видим вновь у некоторых греческих поэтов в стихах, написанных после апрельского переворота, под непосредственным впечатлением нового национального бедствия. В стихотворении Лины Каздагли «Сигналы перехода» желанная цель манит пешехода с противоположной стороны, однако зеленый глаз светофора мгновенно гаснет, красный свет преграждает путь и пригвождает человека к миру, не знающему праведного сна, лишенному свежести живительного дождя, к лесу, где нет листьев, где можно собирать лишь цветы из пластика. В поэтическом цикле Такиса Синопулоса «Ночи» прошлое наплывает на настоящее и, в свою очередь, оттесняется настоящим, на эпизоды времен оккупации и гражданской войны наслаиваются сцены новых допросов, новых пыток, новых страданий. Лихорадочно пульсирующие строки, стихийное развитие повествования под влиянием мимолетных ассоциаций выдают потрясенное душевное состояние поэта, однако в заостренных, гиперболизированных контурах его эскизов вполне различимы больные стороны реальной действительности. Различима и нравственная позиция поэта, не приемлющего «проклятого времени», когда «кругом только ложь», «камеры, оковы, колючая проволока», когда «не дают дышать». Еще в конце 50-х годов это стремление не разоружиться нравственно, стремление сохранить свое достоинство человека и поэта афористически выразил Мильтос Сахтурис:

Я
являющийся наследником птиц
обязан лететь
хотя крылья мои надломлены.

Значительная часть греческих поэтов, отношение которых к социальной действительности периода «поражения» выражалось не только в нравственном неприятии, но и в активном Сопротивлении, определила свою позицию более радикально:

На баррикады революции
никто меня не посылал,
и отлучить от них меня никто не может,—

писал в стихотворении «Отчет» Титос Патрикиос. Предостерегая своих современников от компромиссов с совестью и гражданским долгом, Тасос Ливадитис верит, что люди не могут удовлетвориться таким подтверждением своего существования, как удостоверение с фотографией и официальной печатью, «потому что люди существуют лишь с той минуты, как находят себе место в жизни других. Или в смерти во имя жизни других». Только так можно избежать обезличивания, опустошенности, выносимого самому себе смертного приговора. «Другой дороги... Другого знамени... Другой справедливости» для людей, связавших свою судьбу с Сопротивлением, нет. Такая аргументация, выраставшая наряду с открытым признанием ошибок и слабостей, рождавшаяся в процессе внутреннего борения и трудных раздумий, была выстраданным нравственным выводом и для Ливадитиса, и для большинства прогрессивных поэтов Греции.

В первой половине 60-х годов, в период новой активизации демократического движения, требование достоверности и правдивости, воспринятое греческой поэзией как одна из главных творческих заповедей, направляло внимание поэтов не только на скорбные, но и на героические грани жизни, не только на страдания современников, но и на их победы. Щедрость и широта социального и психологического материала соединялась с обобщением, философски осмысливавшим сегодняшний день как момент неотвратимого движения жизни по руслу борьбы за справедливость. Образ человека, который, не примиряясь со злом, превозмогая усталость и соблазн отступления под натиском изнурительных жизненных тягот, упорно строит «материк Братства», вносит в греческую поэзию могучий заряд оптимизма:

Так что же, друзья мои, может быть
непобедимей,
чем эта бессмертная жажда?
Быть столь преходящим — и предаваться
мечтам
столь вечным!

*(Т. Ливадитис. «Кантата для трех миллиардов голосов». Перевод Г. Семенова)*

«Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна». Этими словами Александра Блока из статьи «Интеллигенция и революция» можно было бы передать главное настроение, явственно ощутимое в творчестве многих прогрессивных греческих поэтов первой половины 60-х годов: «то, что должно быть на свете», возможно, еще очень «долго не будет», но обязательно придет, и, поскольку они готовят это будущее, оно им принадлежит. Невольно перекликаясь с Блоком, Ливадитис писал: «То, что не прожито нами,— наше». Эта строка из поэмы «25-я песня «Одиссеи» (1963) выделена им как важный вывод долгих лет тяжелой, полной лишений и утрат борьбы.

Такое мироощущение вселяло в поэтов готовность мужественно встретить новые возможные испытания. И когда вскоре час этих испытаний настал, заключенный в концлагере на острове Лерос Яннис Рицос написал (5 мая 1968 года) стихотворение «Золотое руно», где драгоценная добыча аргонавтов символизирует идеи, которые нужно защищать на протяжении всей жизни, которые не позволяют скрыться в тени, забиться в угол и «существовать», которые «освещают» человека, нередко подвергая его опас-

---

С. ИЛЬИНСКАЯ

## «ФЕРМОПИЛЫ» СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

ности. Но чем была бы без них жизнь человека? — спрашивает Рицос.

Эта заключительная строка Рицоса вызывает в памяти очень сходную и по смыслу, и по лексике, и по интонации заключительную строку «Сатрапии» К. Кавафиса:

...А что за жизнь без этого на свете? —

а само «золотое руно» наводит на параллель с другим аналогичным символом новогреческой поэзии — «Фермопилами» Кавафиса.

Параллель с Константиносом Кавафисом (1863—1933) неслучайна. С конца 50-х годов его творчество привлекает к себе особое, пристальное, пристрастное внимание, вызывая в современной греческой поэзии и прямые отклики, и подражания. Чем же притягивает Кавафис современных греческих поэтов? Какие пласты его поэзии берутся на вооружение нового времени?

«В то время когда большинство его современников служило своим пером общественной лжи,— писал о Кавафисе лауреат Ленинской премии мира поэт Костас Варналис,— Кавафис решительно отверг ее и стал отрицателем». В образе Города, парализованного неизлечимой внутренней болезнью, он изобразил обреченный на гибель безнравственный мир, в котором царят насилие и надругательство над человеческой личностью. Если у младшего современника Кавафиса К. Кариотакиса (1896—1928) аналогичный пафос отрицания сочетался с безраздельным отчаянием и всепоглощающим пессимизмом, у Кавафиса он сдержан, трезв и строг. Констатируя торжество несправедливости и беззакония, Кавафис не утрачивает мужества и веры, что в конце концов зло не останется безнаказанным. Каким безоблачным ни казалось бы Нерону будущее, кары ему не избежать, и уже готовится в Испании войско Гальбы, которое принесет возмездие («Срок Нерона»).

Мужественный, трезвый, прямой, как у Кавафиса, взгляд на вещи («И главное — чтоб никаких иллюзий»,— пишет после переворота 1967 года Манолис Анагностакис) близок многим греческим поэтам. Такими глазами смотрят они на «произвол тридцати тиранов», на «книги в огне», на попранную честь родины (Я. Рицос. «После поражения», 21 марта 1968 года), и когда они говорят об этом, их голос не срывается от боли. Почти полтора века назад выдающийся греческий поэт Дионисиос Соломос писал, что в годину рабства уделом Свободы было — предаваться воспоминаниям о былом величии «и, повествуя, слезы лить». В 1968 году одно из стихотворений о новом лихолетье Рицос называет «И, повествуя...»; сознательно опуская ожидаемую концовку, поэт подчеркивает, что память о героическом прошлом должна быть действенной, динамичной.

Объективное и на первый взгляд бесстрастное кавафисовское видение своего времени словно со стороны, создающее впечатление документальной достоверности, ощущалось и в поэтических «Свидетельствах» Рицоса первой половины 60-х годов. (По справедливому наблюдению критика Хрисы Ламбрину, одна из миниатюр «Свидетельств» — «Пророчество»—как бы приоткрывает для нас творческую лабораторию поэта, рассматривающего изображаемые явления и со стороны, и изнутри, одновременно выступая в двух очень разных ролях — и объективного судьи, и участника.) Спокойная, неторопливая интонация «Свидетельств», настойчивое введение прозаизмов, некричащая, почти маскируемая драматичность коллизии и предельная смысловая насыщенность говорили и о стилевой близости к Кавафису. Она становится особенно ощутимой в последних циклах Рицоса, где поэт использует исторические аллегории, связанные в представлении современников с именем Кавафиса.

Исторические аллегории уводили Кавафиса в те периоды прошлого — канун падения эллинизма, Римской империи, Византии,— в которых он видел аналогии с настоящим. Сходный путь проделывает Рицос в цикле «Повторения» (1968—1969), где, повторяя античные сюжеты, оставляет «свидетельства» о сегодняшнем дне Греции. Историческая аллегория привлекает его (как и Кавафиса) не возможностями эзопова языка (параллели с настоящим слишком прозрачны), а способностью приподняться над фактами, философски осмысляя их. При этом гораздо более интенсивное, чем у Кавафиса, стремление запечатлеть многие существенные черты времени побуждает его не заботиться об историческом «алиби». Дыхание второй половины XX века часто выдает себя в «Повторениях» Рицоса сугубо современными психологическими штрихами.

Пожалуй, наибольшую ценность в творческом завещании Кавафиса, воспринятом современной греческой поэзией, представляет найденный им аспект изображения драмы человека, живущего в условиях безнадежно больного, разлагающегося общества. Нравственный идеал — Фермопилы, которые нужно защищать несмотря ни на что даже тогда, когда победа зла неминуема,— возвышается в поэзии Кавафиса как символ высокой гражданской морали, не допускающей скидок на какие бы то ни было трудности. Как непростительно насилие ни в большом, ни в малом («Теодот»), непростительно и поддаваться насилию, изменять «высоким помыслам и благородным чувствам».

Честь вечная и память тем, кто в жизни
воздвиг и охраняет Фермопилы,
кто, долга никогда не забывая,
во всех своих поступках справедлив,
однако милосердию не чужд,
кто щедр в богатстве,
но и в бедности не скуп
и руку помощи всегда протянет,
кто, ненавидя ложь, лишь правду говорит,
но на солгавших зла в душе не держит.
Тем большая им честь, когда предвидят
(а многие предвидят), что в конце
появится коварный Эфиальт
и что мидийцы все-таки прорвутся.

*(К. Кавафис. «Фермопилы»)*

Есть свои Фермопилы и у поэта. Пусть его путь труден, пусть стеною встают не-

ред ним «привычек мелочность и равнодушье», он не имеет права быть сломленным («Сатрапия»). Высокое человеческое достоинство и мужество этой стоической и героической позиции выделили, оценили в поэзии Кавафиса современники Рицоса.

Как и Кавафис, Рицос может понять, но не оправдывает тех, кто сломлен, тех, которые «некогда верили в свой долг и гражданский долг вообще», а сейчас живут — «безразличные, чужеземцы в своей стране и в себе» («Отсутствующие», 9 марта 1968 г.). Без кавафисовской аллегории, но с кавафисовской лаконичностью, сжатостью, четкостью каждой фразы скорбную эволюцию сломленного борца рисует Манолис Анагностакис в стихотворении «Если бы...». Если бы испытаний не было так много: исключение из гимназии, двадцать лет заточения в тюрьмах и концлагерях, сумасшедший дом, где его вынудили подписать отречение,— финал был бы иным, а сейчас он — бухгалтер в какой-то лавке, никому не нужный, давно забывший о своих идеях, «выжатый лимон». Если бы волей случая все сложилось немножко иначе, как у стольких одноклассников, друзей, товарищей... Однако читатель понимает, что для другого финала этой драмы недостаточно было лишь воли случая, нужна была незаурядная сила воли и более стойкая верность своим Фермопилам.

В условиях «трудного времени» верность Фермопилам приходится подтверждать каждым поступком. Это жесткое требование — «Важно, что говоришь сейчас»,— выносится Анагностакисом в эпиграф к поэтическому циклу «Цель» (1970), к которому принадлежат все его цитировавшиеся ранее стихи. Подходя с таким критерием к греческой поэзии наших дней, мы, пользуясь аллегорией Рицоса из стихотворения «Конец Додоны» (7 октября 1968 года), отнесем большинство греческих поэтов не к тем, кто сломлен и «отказался даже от мыслей», не к тем, кто ловко приспособился, «наскоро сменил названия улиц и храмов» и «взял на себя защиту захватчика», а к тем «лучшим», которые «не образумились», которые «негодуют, протестуют, мечтают, надеются».

Их негодование и протест изливаются и в чисто гражданских акциях (подписи под антихунтовскими декларациями и манифестами), и в творческих выступлениях столь же отчетливой антидиктаторской направленности. Не все эти выступления доходят сейчас до широкой читательской аудитории. (В частности, последние циклы Рицоса были опубликованы во Франции.) Однако те голоса, которым удается прозвучать открыто, тотчас находят самый живой отклик. Уже известный нашему читателю сборник «Восемнадцать текстов» (1970) — коллективная публикация восемнадцати поэтов, прозаиков и критиков, бесспорно носящая характер сознательной оппозиционности афинскому режиму,— переиздавался уже трижды.

Объединение в одном издании авторов, принадлежащих к разным поколениям и разделяющих весьма разные взгляды, свидетельствует об их единодушии в том, что кажется им главным,— в неприятии диктатуры, в стремлении отстоять идеалы, за которые, как сказал в своем антихунтовском заявлении лауреат Нобелевской премии поэт Георгос Сеферис, «наш народ столь доблестно сражался в годы войны», идеалы, которые «с помощью стольких болезненных усилий удалось до сих пор сохранить». Кроме Манолиса Анагностакиса, Такиса Синопулоса и Лины Каздагли, на стихи которых мы ссылались выше, в сборнике «Восемнадцать текстов» принял участие и Сеферис.

Мораль его баллады «Кошки святого Николая» (5 февраля 1969 года) сродни «Фермопилам» Кавафиса. Монастырские кошки, которые, согласно кипрской легенде, некогда спасли остров от нашествия змей, борются «с упорством диким, несмотря на раны» и в конце концов побеждают, однако умирают «и сами, не выдержав смертельной дозы яда». Их жертве остров обязан своей жизнью. И звучащий в концовке стихотворения приказ капитана «Так держать!» воспринимается как моральная установка автора, как стоический наказ не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Аналогичную — не без стоического оттенка — мысль высказывает Рицос в стихотворении «Элементарное» (4 марта 1970 г.):

Если смерть неизбежна и вечна — она
все же не первая,
первой во веки веков остается свобода.

Что может сделать поэзия во имя свободы? «Главное — чтоб никаких иллюзий,— напоминает Анагностакис.— ...Потому что,— как справедливо заметил когда-то мой друг Титос (поэт Титос Патрикиос.— *С. И.*)— сейчас не такое время, когда стихи приводят в движение массы, сейчас не такое время, когда стихи свергают режимы». Однако поэзия может подобно прожектору прорезать сгустившийся над страной «туман» «трудного времени», предостерегающе освещать умело расставленные западни, разоблачать прикрывающую насилие хитроумную демагогию, неустанно «воздвигать и охранять Фермопилы» человечности и справедливости. Она призвана «судить» современность, подходя к ней с самыми высокими нравственными критериями.

Современная греческая поэзия создается, как пишет Рицос в стихотворении «Геракл и мы» (23 марта 1968 г.), «под носом у стражи», «всегда с приставленным к груди штыком». В марте 1968 года для Рицоса, находившегося в концлагере на острове Лерос, оба эти образа не содержали метафоры, однако подчеркнутое поэтом «всегда» подводит нас к более широкому пониманию послевоенного пути греческой поэзии, как пути боевого и многострадального, отмеченного, по словам Рицоса, тремя концлагерными этапами: Макронисос, Юра, Лерос. Стихам, рожденным в таких испытаниях,

---

С. ИЛЬИНСКАЯ

«ФЕРМОПИЛЫ» СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

чужда какая бы то ни было декоративность, изысканность, гладкость.

Примите их голыми, как они есть,—

продолжает Рицос,—

больше вам скажет сухой Фукидид,
чем искуснейший Ксенофонт.

Последнее противопоставление подтверждает неугасающее стремление греческой поэзии к предельной достоверности «свидетельств». Однако ее стилевой характер определяется не только этим. Поэт — не только свидетель и летописец, он — собеседник своих читателей. И безыскусная, максимально естественная интонация откровенной беседы или же захватывающей своим волнением исповеди в условиях «трудного времени» способна внушить людям доверие и уважение, вызвать их на внутренний диалог, побудить к самоанализу. Выполняя эту роль, поэзия служит говорящей совестью современников.

Я знаю, ты скажешь: риторика,
проповедь,—

предугадывает Анагностакис упрек критика-эстета,—

Не спорю: риторика, проповедь.
*(«Поэтика»)*

Принимая этот упрек, под полемически заостренной формулой «риторика, проповедь» Анагностакис подразумевает такие понятия, как прямота и недвусмысленность авторской позиции, готовность не уклоняться от ответа на сложные и тревожные вопросы эпохи, отношение к поэзии как к средству убеждения и «роду оружия».

Движимая этими принципами, оправдывая определение Янниса Рицоса, современная греческая поэзия создает «благородную и ясную картину борьбы человека за высшую человечность и подлинную свободу».

## АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

# РОМАН НЕ УМЕР

Есть вопрос, который бродит по всему свету вот уже более двадцати лет. Я сталкивался с этим вопросом в Венесуэле, где провел не один год, во Франции, где живу с недавнего времени, и во многих других странах, я встречался с ним на страницах журналов и газет. Кстати, этот самый вопрос настиг меня и в Москве. «Существует ли кризис романа?», «Являемся ли мы свидетелями упадка романа?», «Теряет ли роман свою жизнеспособность?»

Разговор о кризисе романа в принципе допустим, но лишь в той плоскости, в какой он возможен во все периоды истории романа. Можно говорить о кризисе, имея в виду технику романа, воплощение, реализацию творческого замысла, но отнюдь не самый литературный жанр. Я утверждаю, что нет кризиса романа как литературного жанра. И позвольте мне привести ряд весьма интересных и конкретных фактов, которые покажут, насколько несостоятельны и сама мысль о кризисе, и все рассуждения о скорой кончине романа, отягощающие умы определенной части интеллигенции.

Кризис романа... Нужно ли напоминать о том, какие фантастические тиражи имеют романы в Советском Союзе? Ведь в этой стране, насчитывающей огромное количество читателей, тираж в пятьдесят тысяч и даже в сто тысяч стал обычным явлением. Возьмем Латинскую Америку. Еще в двадцатые годы латиноамериканские издатели (там, где они существовали) не шли на такой риск, как публикация романов. Я подчеркиваю, что речь идет о тех странах, где уже были издательства, как, скажем, в Мексике. Даже такие романы, как «Те, кто внизу» Мариано Асуэлы и «Орел и змея» Луиса Мартина Гусмана — а они пользовались колоссальным успехом в Мексике и на всем континенте,— даже они вышли тиражом всего в две тысячи экземпляров. Иными словами, спрос на каждую из этих книг ограничился двумя тысячами экземпляров. А сегодня в Мексике произведения Фернандо Бенитеса и Карлоса Фуэнтеса печатаются тиражом в двадцать тысяч. Вспомним, что и во Франции в двадцатые годы тиражи не превышали двух тысяч, а теперь французские издательства могут последовательно увеличивать тираж одного и того же романа с двенадцати тысяч до двадцати пяти и до тридцати тысяч экземпляров.

Ну а Куба? Как не сказать о Кубе, где до революции вообще не было ни издателей, ни издательств, которые выпускали бы в свет художественную литературу? Конечно, на Кубе печатались книги, но это были учебные тексты, издававшиеся в соответствии с университетской программой. Лишь в исключительных случаях писатель, пользуясь дружбой или личным расположением издателя, мог добиться публикации своей книги. На Кубе в годы моего отрочества у писателей было только два выхода: или идти на поклон к мадридским издателям, которые обычно соглашались печатать кубинских авторов (моя первая книга, кстати, вышла в Мадриде в 1933 году), или искать счастья в Аргентине. Впоследствии, в сороковых годах, можно было рассчитывать на успех и в Мексике. В 1925—1926 годах один кубинский издатель по своей доброй воле взял на себя смелость выпустить в свет книгу Агустино Акосты [1] «Сафра» — произведение весьма значительное для своей эпохи,

Из беседы А. Карпентьера с советскими читателями.

[1] Агустино Акоста (род. в 1886 г.) — известный кубинский поэт и публицист.

классическое для кубинской литературы. По тем временам это был из ряда вон выходящий случай, поскольку ни один писатель не смел и надеяться, что на Кубе могут издать его роман, а тем более поэтический сборник. Писатель, словно жалкий пария, жил во враждебной ему буржуазной среде, в окружении публики, которая не читала его произведений и не только презирала писательский труд, но считала его абсолютно бесполезным для общества. Любой автор относил рукопись к издателю, получал аванс в 200 — 300 песо, а в дальнейшем — тысячу или полторы тысячи экземпляров своей книги. Поскольку никто не занимался распространением и размещением книг, сам автор и развозил весь тираж по книжным лавкам — из одной в другую,— где у него покупали десяток экземпляров, засовывали их в дальний угол, так как никто ими не интересовался. В конечном счете у автора, оплатившего издание тысячи экземпляров книги, оставалось на руках 750 экземпляров, которые покрывались пылью на чердаке или в подвале его дома, и лишь изредка автор мог послать несколько своих книжек в качестве подарка латиноамериканским коллегам и друзьям.

Сегодня кубинские государственные издательства (а Фидель Кастро и наше правительство считали, что создание таких издательств — первоочередная задача революции) выпускают в свет романы тиражом в двадцать, сорок, даже сто тысяч экземпляров, и это уже вполне обычное явление. Возьмем в качестве примера мой роман «Погоня». Он был опубликован и в Аргентине, и на Кубе, и в Мексике, а теперь снова издан на Кубе тиражом девяносто тысяч экземпляров.

Коль скоро романы издаются большими тиражами, коль скоро издатели тратят на них бумагу, значит, нет кризиса романа как литературного жанра. Очевидно, любой автор может испытывать кризис мироощущения в силу самых различных причин внешнего порядка, которых мы еще коснемся. Но никогда у романа не было такой наполненной жизни, не было такого количества читателей, как в наши дни.

■

В Латинской Америке роман появился с огромным опозданием, и если мы проследим его историю, то в ней будет много общего с историей романа в странах Европы. Можно назвать немало романов, которые принадлежали писателям различных стран латиноамериканского континента. Это по сей день актуальная и злободневная «Амалия» аргентинца Хосе Мармоля, разоблачившего сущность тирании Росаса. Это «Мария» колумбийца Хорхе Исаакса — идиллия об обитателях долины Каука; это «Сесилия Вальдес» кубинского классика Сирило Вильяверде — всеобъемлющая картина жизни колониальной Латинской Америки. Но все эти романы еще не определяли процесса развития романного жанра, не создали романистики.

Можно вспомнить также романы Альфонсо Рейеса, Федерико Гамбоа, можно упомянуть два романа, испытавшие влияние французского натурализма XIX века, пересаженного на кубинскую почву,— «Нечистые» и «Честные» Мигеля де Карриона; кстати, они вышли недавно в русском переводе. Но и это — отдельные примеры, не составляющие единого целого.

Если мы присмотримся к роману XIX века, то без труда увидим, что в нем обойдено все, что зовется миром техники. А ведь XIX век дал человечеству ученых, которые достигли колоссальных успехов в технике и науке. XIX век — это Клод Бернар, это Мечников в России, это Пастер, совершивший революцию в медицине. Но достижения ученых не получили никакого отражения в литературе той эпохи. Должно быть, романист вообще был чужд миру техники или, скорее, не был знаком с таким явлением, как технический прогресс.

И все же бурный скачок в развитии техники заставил писателей задуматься над тем, как долго они могут оставаться в стороне от новых проблем. В частности, технические достижения, с которыми мы ежедневно знакомимся на страницах газет и журналов, даже чисто литературных, а не специальных, поставили перед литераторами проблему нового языка. Космонавт, астроном, хирург, кибернетик, врач, специалист по счетно-решающим устройствам говорят на профессиональном языке, отличном от обычного языка романиста. Они создали совершенно новый язык, и это факт, не подлежащий сомнению. Недавно я беседовал с директором Астрономической обсерватории в мексиканском штате Пуэбла, доктором Гильермо Аро. И когда мы в разговоре затронули эту проблему, он сказал: «Я говорю на таком языке, который вам непонятен, а между тем ваш язык не представляет для меня никаких трудностей».

Словом, перед писателем встает серьезная проблема, вызванная тем обстоятельством, что люди ведущих профессий XX века создали замкнутые, непонятные для непосвященных языки. Нелегкая это задача — перенести язык современной науки в художественную литературу, в роман. Те, кто решается на подобный шаг, неизбежно сталкиваются с трудностями перевода специфической лексики и фразеологии на общедоступный литературный язык. Мне это обстоятельство кажется, может быть, одним из самых серьезных, самых критических моментов в писательском творчестве нашего времени.

Надо сказать, что у тех, кто пишет на испанском языке, возникают в этом плане особые трудности. Испанский язык — бесспорно язык литературы. Мне кажется, что ни один из известных мне языков не может соперничать с испанским языком ни в его гибкости и податливости, ни в способности переставлять прилагательные и в случае необходимости употреблять существительные в качестве прилагательных... И тем не менее я должен сказать, что испанский язык в настоящее время переживает кризис, пусть не

столь глубокий, но все же самый настоящий кризис, который пытаются преодолеть латиноамериканские романисты, прокладывающие новые пути в латиноамериканской прозе. Совершенно ясно, что сегодня нельзя писать на языке Хуана Валеры [1] или на языке Рикардо Леона [2].

Итак, перед писателями испанского языка встали серьезные проблемы, обусловленные быстрыми темпами технического прогресса, и Карлос Фуэнтес, касаясь этой проблемы в одном из своих очерков, сказал, что всякие попытки приблизить испанский язык к новому языку техники — это нечто похожее «на немыслимый бег к недосягаемому миражу... и коль скоро наш язык не является языком прогресса, он делается непригодным к употреблению. В сравнении с языком прогресса наш язык громоздится огромной свалкой... рядом с суперскоростями он не более чем кладбище вышедших из строя автомобилей». Разумеется, Карлос Фуэнтес здесь преувеличивает, да и сам его очерк, по существу, написан в защиту того испанского языка, который сегодня создают писатели Латинской Америки.

Но мне все же хочется рассказать вам одну историю из моей собственной жизни. В тридцатых годах я, будучи политическим эмигрантом, зарабатывал на жизнь переводами для испанского туристического журнала. «Спешите в Марокко! Путешествуйте по Средиземному морю! Путешествуйте по Греции!» и т. д. и т. п. Словом, все шло прекрасно до того момента, пока редакция журнала не решила подготовить специальный номер с информацией для промышленников и деловых людей, номер, где бы говорилось о последних достижениях Франции в строительстве доменных печей, в плавке металлов, в электролизном методе и т. д. Я купил технический словарь и с превеликой грустью обнаружил, что там нет доброй половины технических терминов, которыми наполнены статьи, предназначенные для перевода, нет для них эквивалентов на испанском языке В подобном случае дон Мигель де Унамуно сказал бы: «Остальное придумаете сами».

■

Я уже упоминал выше, что роман в латиноамериканской литературе появился очень поздно. В то время как в США романный жанр уже сформировался, в Латинской Америке он находился в начальной стадии развития. Я имею в виду двадцатые и тридцатые годы, когда появились замечательные произведения Рикардо Гуиральдеса, Хосе Эустасио Риверы, Хорхе Икасы и многих других, которые стремились зарисовать типичные сцены сельской жизни, вернее — показать ее в фольклорном плане, описать народные праздники, природу, общую обстановку и т. д.

Можно ли считать оригинальным это направление в латиноамериканском романе? Можно ли отнести к разряду литературных открытий все эти книги, появившиеся как дружные всходы в пяти, семи, восьми странах Латинской Америки? Кстати, мой первый роман примыкает именно к этому направлению... Нет! Все эти романы не представляют собой ничего оригинального — это лишь отклик на те тенденции, которые проявились в литературе и искусстве многих стран мира

В то время повсюду появлялись произведения, отмеченные некоторой общей устремленностью, я имею в виду такие книги, как «Мужики» С. Реймонта, лауреата Нобелевской премии,— трилогия, рассказывающая о польских крестьянах; произведения Кнута Гамсуна, посвященные людям фиордов и северных земель; работы Флаэрти, американского кинематографиста, автора первых документальных фильмов о жителях Арана, о повседневных буднях рыбаков и крестьян и т. д. Это испанский композитор Мануэль де Фалья, написавший балет «Треуголка» целиком на материале испанского музыкального фольклора. Можно назвать и другие имена.

Как вы видите, это было общее направление, захватившее и литературу, и искусство. И подобно тому как французский натурализм оказал влияние на мексиканского писателя Федерико Гамбоа, на португальского художника Карлоса Рейса, на кубинца Мигеля де Карриона, это увлечение бытописательством повлияло на латиноамериканских писателей того времени. Я отнюдь не отрицаю заслуг этого направления — оно сделало свое дело. Эти произведения познакомили нас с жизнью крестьян, со средой и бытом тех, кто живет и трудится в льяносах и пампе, на островах Карибского моря, в Андах и т. д. Словом, писатели выполнили свою миссию и как бы предварили становление современного латиноамериканского романа.

Однако в большинстве случаев эти произведения страдали одним существенным недостатком: они были лишены глубины и ограничивались чисто внешней красочностью. Многие писатели — это доподлинно известно,— пробыв недели две в Андах, полагали, что они вправе написать роман страниц в триста, повествующий о жизни индейцев среди андских хребтов.

Писатель бывал в чужих краях в качестве стороннего наблюдателя, он как бы рядился в костюм крестьянина, но не мог вникнуть в его мир, не мог осмыслить всех его жизненных связей. Находились и такие авторы, которые, заглянув на несколько дней в сельву, приступали тут же к роману, в то время как надо понять сельву, надо жить в ее условиях, надо, если хотите, на себе испытать, что такое москиты и все ее бесчисленные опасности.

Пожалуй, уместно будет привести пример из моей собственной жизни и рассказать о моем первом романе «Экуе-Ямбо-О»,

---

[1] **Хуан Валера (1824—1905) — испанский писатель.**

[2] **Рикардо Леон (1877—1943) — испанский романист.**

который был опубликован в Мадриде в 1933 году. Это роман, который я сам подверг серьезной критике. Почему? Потому что в нем нет настоящего, глубокого осмысления вещей. Нельзя сказать, чтобы я не знал жизни негров, но многие существенные ее стороны оказались вне поля моего зрения, ибо я не мог уловить всех тонкостей восприятия неграми реального и вымышленного мира.

Итак, романы писателей того поколения нередко грешили чисто внешним, поверхностным показом действительности. Однако мы не можем принять это за общее правило. Есть книги, которые служат примером глубокого проникновения в тему, как, скажем, «Пучина» Хосе Эустасио Риверы или «Дон Сегундо Сомбра» Рикардо Гуиральдеса.

Тогда же возникает и так называемый обличительный, социальный роман, бичующий язвы капиталистического строя. И вместе с обличительным романом появляется новая проблема... Кому адресовались подобные романы в странах с ужасающими показателями неграмотности? По существу, буржуазии, то есть тем, кто пользовался всеми плодами тяжкого труда пеонов, тем, кто платил совершенно мизерную плату шахтерам, и т. д.

В этой связи я расскажу вам об одном любопытном случае. Однажды боливийский писатель опубликовал очень суровый и правдивый роман, направленный против эксплуатации горняков на оловянных рудниках. И вот в той самой Боливии, где едва-едва удавалось распродать полторы тысячи экземпляров, в два-три дня, к великому изумлению автора, разошлось все первое издание. Спешно выпустили второе издание, которое также было распродано в два-три дня. Та же самая история повторилась и с третьим изданием. Только спустя какое-то время автор узнал, что все его книги скупили владельцы оловянных шахт, дабы этот роман не получил распространения. Разумеется, автор мечтал о другой судьбе для своего романа.

■

С течением времени на земле Латинской Америки начинают быстро, словно уродливые грибы, разрастаться города. Там, где в двадцатые годы насчитывалось не более двухсот тысяч жителей, в сороковых — пятидесятых годах население увеличилось до миллиона, до трех и даже четырех миллионов людей, как, например, в Мехико или в городах Бразилии. Бурное разрастание городов было вызвано наплывом людей, соблазненных видимостью процветания в условиях городской жизни.

Латиноамериканские романисты медлили и все еще не обращались к теме города, а между тем это уже был город стачек, первых манифестаций протеста, это уже был город, где разыгрывались классовые конфликты. Именно жизнь города свидетельствовала об остроте проблемы обнищания масс, о все более беспросветной жизни пролетариата, о все более быстром обогащении крепнущей день ото дня буржуазии. Даже архитектурный облик города менялся под знаком полной анархии. Рядом с церковью XVI или XVII века неожиданно вырастал небоскреб, и подобное соседство приводило к возникновению стиля, лишенного стиля. В конечном итоге латиноамериканские романисты почувствовали необходимость проникнуть в мир этих городов, в их жизнь, используя для этой цели новый язык, обогащенный теми элементами, которые ему может дать городская атмосфера — новой бытовой лексикой, техническими терминами, американизмами и т. д. Все это, вместе взятое, способствовало приходу того литературного поколения, которое сегодня мы связываем с именами наиболее ярких и самобытных писателей Латинской Америки.

Это Марио Варгас Льоса, который в романе «Город и псы» обращается к столице Перу — Лиме; это Карлос Фуэнтес, который в романе «Область наипрозрачного воздуха» обращается к городу Мехико; это, наконец, Хулио Кортасар, который во второй части своего романа «Игра в классы» обращается к Буэнос-Айресу. Правда, Кортасар показывает этот город в метафорическом плане, окружает его поэтической дымкой, но разве это не путь к достижению большей выразительности? Можно назвать и других писателей, в чьем творчестве значительное место занимает тема современного города, но суть не в полном списке. Что касается Хуана Рульфо, то он среди группы этих писателей — явное исключение. Хуан Рульфо по-прежнему интересуется темами, не затрагивающими город. Мигель Анхель Астуриас — явление иного плана. Источником творчества Астуриаса служат древние легенды индейцев киче, тексты древнего эпоса «Пополь-Вух», тексты книг «Чилам-Балам», летописи какчикелей... Но при всем этом в трилогии Астуриаса и в его романе «Сеньор Президент» присутствует город Гватемала. Я, разумеется, назвал далеко не всех писателей. В одной только Мексике есть немало молодых (им двадцать четыре — двадцать пять лет) писателей, которые опубликовали прекрасные романы о мексиканской городской молодежи, о буднях Мехико и т. д.

Мне думается, что латиноамериканские писатели должны видеть свою основную, главенствующую задачу в том, чтобы освободить литературу от провинциализма, избавить ее от примет экзотического явления, каким были, например, романы Гальегоса. Современные писатели стремятся сделать латиноамериканский роман достоянием общемировой литературы, сообщить ему универсальный характер. На мой взгляд, творчество наших писателей, поднявших проблемы города, для которых еще не было найдено слов в истории литературы, должно вызвать в памяти замечательную гравюру Уильяма Блэйка, изображающую первого человека — Адама, который находит имя вещам. Он говорит: «Это ворон, и имя ему будет ворон... это лошадь, и имя ей будет лошадь... это орел, и имя ему будет орел». Я бы сказал, что наши писатели, по-

добно Адаму, тоже впервые находят имя вещам... И вот в силу того, что нашим писателям, столь разным по темпераменту и творческой манере, пришлось впервые называть вещи, их произведениям присуща одна общая черта: они несут на себе печать барочного стиля. Почти все мы, латиноамериканские писатели, за самым малым исключением, принадлежим барокко. А для того чтобы вы получили представление о том, что такое барокко, наглядное представление, я вам посоветую посетить Андреевскую церковь в Киеве, сделанную по проекту Растрелли. Приглядитесь к ее витым колоннам, опутанным гирляндами цветов, к замысловатым решеткам, к пышным лепным украшениям — и вот вам законченный образец барокко, который вполне подходит для сравнения со стилем, общим для латиноамериканских писателей. Варгас Льоса — это барокко, Карлос Фуэнтес — это барокко. Хулио Кортасар в конечном итоге по своим концепциям — тоже барокко. Габриэль Гарсиа Маркес, создавший роман «Сто лет одиночества» (который я считаю самым значительным в современной латиноамериканской литературе),— это тоже барокко. Габриэль Гарсиа Маркес не рисует нам жизнь какого-то конкретного города. Его воображение создает целое царство, край, несуществующий город, названный Макондо, и это Макондо есть не что иное, как барочный синтез латиноамериканской страны.

Почему же мы принадлежим барокко? Причина очень простая. Один известный французский поэт указывает в своей пьесе, относящейся к XVI веку: «Декорация представляет собой кухню с картины Брейгеля». Все! Больше нам ничего не нужно! Мы же знаем, что такое кухня на полотнах Брейгеля. Мы ее видели. А у вещей, которые впервые названы в литературе Латинской Америки, нет предшественников ни в пластическом искусстве, ни в литературе. Читатель должен получить представление о весомости, о фактуре, консистенции, цвете, полезности предмета. Только оттого, что писателю понадобилось с предельной точностью рассказать о предмете, который должен закрепиться в сознании читателя, возникла необходимость в обязательном использовании прилагательных, особых конструкций и других изобразительных средств, которые всегда ведут к избыточности, к перенасыщенности. А барокко — это, в конечном счете, и есть избыток.

Следует отметить и еще одну существенную сторону латиноамериканской литературы, осваивающей тематику, которая требует создания нового литературного языка, необходимого для описания незнакомых вещей, необходимого для того, чтобы новый предметный мир предстал в присущих ему красках... Латиноамериканские романисты за небольшим исключением (назовем хотя бы Хуана Карлоса Онетти, не выходящего из сферы психологизма) в большинстве своем тяготеют к эпическим жанрам, к тому, что я бы назвал «необходимой эпикой».

В наше время самые полноценные в художественном отношении, самые полнокровные романы несут на себе черты эпического жанра, черты эпопеи. В советской литературе, рожденной Октябрьской революцией, есть немало примеров: это Всеволод Иванов, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Александр Фадеев, Константин Федин и многие другие. Латиноамериканские писатели тоже стремятся к созданию эпических романов, в которых получили бы отражение конфликты и движение социальных групп, движение масс, в которых отразились бы преобразования общества в процессе революции. Иными словами, латиноамериканские авторы стремятся к созданию эпического произведения, где в качестве героя может фигурировать и отдельная личность, и целый коллектив.

Что касается Кубы, то тут я должен сказать, что сама победа кубинской революции обусловила развитие литературы эпического жанра. Разумеется, некоторые авторы, верные своему темпераменту, по-прежнему публиковали произведения интимного плана. Но можно привести множество примеров, где творческие поиски сопряжены с тематикой революции. Это Роберто Фернандес Ретамар. Это Файяд Хамис. Это также Луис Суардиас, которого мы относим к числу лучших современных поэтов Кубы. Среди прозаиков нужно назвать Хесуса Диаса, чьи короткие, на пять-шесть страниц рассказы, ясные, дерзкие, откровенные, в чем-то перекликаются с рассказами Бабеля, хотя они и далеки от последних по колориту и по воссозданной в них среде. Среди романистов — а я уже говорил, что романный жанр никогда еще не опережал ни поэзии, ни драматургии,— я назову Эдмундо Десноэса, чей роман «Записки о человеке в развивающейся стране» рожден кубинской революцией. Нельзя увлекаться именами, но как не отметить в этом ряду роман Лисандро Отеро «Так было». Следует назвать также и поэтов старшего поколения из тех, кто входил в так называемую группу журнала «Орхинес». Это Синтио Витьер и Элисео Диего, опубликовавшие сравнительно недавно новые яркие стихи, в которых чувствуется биение революции.

■

В заключение хочу повторить, что нам, латиноамериканским литераторам, пока еще недоступен язык техники, ибо освоение этого языка требует глубоких технических знаний.

Я часто приводил один и тот же пример... Гражданская авиация — это одно из самых ярких технических достижений XX века. Те, кто, как и я, видел собственными глазами первые в мире автомобили, те, кому довелось еще проехаться на конке, те, кто видел, как в воздух поднимались первые хрупкие летательные аппараты, те, кто в восемь лет слышал столько разговоров о мертвой петле и о фантастических пируэтах, которые по-

---

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР
РОМАН НЕ УМЕР

казывал отважный летчик,— словом, те, кто был свидетелем зарождения гражданской авиации, свидетелем зарождения чудесного мира, который все увереннее входил в повседневную жизнь, не могут не сожалеть, что этот новый мир не получал никакого отражения в литературе.

Правда, к начальному этапу гражданской авиации относится прекрасный роман «Ночной полет» известного писателя Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери был не только замечательным писателем, он был первооткрывателем воздушной дороги через Андский хребет. По тому времени это был настоящий подвиг, так как самолеты еще не могли подниматься на большую высоту. «Ночной полет» — бесспорно замечательное произведение, но нельзя забывать о том, что оно принадлежит перу профессионального пилота.

Прошло сорок лет, прежде чем появился новый роман о гражданской авиации. Этот роман, под названием «Аэропорт», написан в США Артуром Хейли. Но и Артур Хейли, прежде чем написать «Аэропорт», работал на крупнейших аэровокзалах, изучая жизнь воздушного мира, распростертого над нашей планетой, который в любую секунду дня и ночи заполнен тысячами и тысячами самолетов. Это наводит меня на мысль, что роман о космонавтах будет написан совсем не скоро. Он появится, может быть, только тогда, когда кто-то из космонавтов станет писателем и сумеет передать нам подлинные чувства, которые испытывает человек в космосе. Посудите сами — романист, задумавший изучить мир космонавтов, должен приобрести соответствующие знания в области физики, химии, в стольких отраслях механики, а это требует невероятного количества времени и долгих усилий...

Возвращаясь к латиноамериканской литературе, я снова подчеркиваю две основные задачи, которые должны решить наши писатели: совершенствование эпических форм и создание нового языка, обогащенного теми элементами, которых он был лишен в XIX веке и которые им все более и более необходимы для описания мира в процессе его трансформации.

Писатели не могут быть в стороне от этого процесса, и мы видим, какой прекрасный жизненный материал для писателей дали преобразования кубинского общества, совершенные в ходе революции.

Ю. КАГРАМАНОВ

# ВОЗВРАЩЕННЫЙ РАЙ МАРШАЛЛА МАКЛЮЭНА

Бомба взорвалась в Торонто.

Так как бомба была интеллектуальная, ее радиус действия оказался значительно больше, чем у самой мощной водородной бомбы, а вот ее убойная сила... впрочем, по порядку.

«Интеллектуальной бомбой Запада» называют канадского профессора Маршалла Маклюэна. Профессор преподает филологию в университете Торонто и, кроме того, возглавляет так называемый Центр по изучению культуры и технологии. Исследователь английской литературы, он считает себя «специалистом по общему знанию». Автор книг «Гутенбергова галактика», «Постигая средства коммуникаций»[1] и ряда других работ, вышедших в основном в 60-е годы, касающихся вопроса о роли средств массовых коммуникаций в жизни человеческого общества.

Еще несколько лет назад имя Маклюэна было известно только узкому кругу специалистов. Сегодня шумной популярности его в США и ряде других стран[2] может позавидовать любая западная знаменитость. Его именуют «пророком электронной эры», «герольдом телевидения», «Архимедом, нашедшим точку опоры». Последователи приравнивают его учение к коперниковской гелиоцентрической теории, дарвиновской теории естественного отбора, марксову диалектическому материализму, а также фрейдовскому психоанализу.

Каждое его высказывание становится сенсацией. И когда он предвещает, например, скорое обезлюдение больших городов или конец автомобильного транспорта, футурологи в мозговых центрах начинают лихорадочно калькулировать, сверяясь со своими собственными прогнозами. Подчас его парадоксы скандализируют «общество», и, однако же, оно не лишает его своего расположения — журнал «Нью-йоркер» назвал его недавно «самым желанным гостем в нью-йоркских гостиных».

Профессор из Торонто сделался кумиром телевизионных предпринимателей и лохматых хиппи, рекламных дел мастеров с Мэдисон-авеню и авангардистов из Гринвич-виллидж, и даже академические круги Америки и Англии, поначалу очень сдержанно отнесшиеся к откровениям торонтского оракула, в конце концов дрогнули и разделились: кто «pro», а кто «contra». Сам Маклюэн обычно не снисходит до участия в академических ристалищах, он предоставляет это своим многочисленным толкователям. Как и подобает оракулу, он только изрекает. На вопрос, заданный ему однажды в телевизионном интервью, как он относится к критике, высказываемой в его адрес, Маклюэн ответил лаконично:

— Однажды Геркулесу пришлось сразу очистить авгиевы конюшни.

Что же это за новоявленный пророк, наделенный к тому же геркулесовой мускулатурой, кому и что он пророчит?

Бородатые пророки древности, попиравшие босыми ступнями берега Иордана, были людьми довольно-таки примитивными. Они «искусственно возбуждали себя громкой музыкой, песнями и дикими плясками и, приходя в состояние полного исступления, выкрикивали короткие изречения или произносили длинные речи, воспринимавшиеся верующими как «голос божества» (Большая Советская Энциклопедия).

Не таковы современные пророки. Книги Маклюэна снабжены внушительным научным аппаратом. Им использованы сотни работ специалистов самых различных областей знания. Как будто наличествует фундаментальность, необходимая для научного исследования. «Дикие пляски» тут ни при чем.

---

[1] «Understanding Media». На русский язык это название можно перевести по-разному. Учитывая, что Маклюэн упирает на самый процесс познания, а не на его конечные результаты, нам представляется наиболее правильным предлагаемый перевод. *(Здесь и далее — примечания автора.)*

[2] «Маклюэнизм» возник в основном на американском «материале». В тех же США он получил и наибольшее распространение. Поэтому в настоящей статье он рассматривается преимущественно как явление в идеологической жизни США.

Но вот «переварена» вся эта литература весьма своеобразно. Книги Маклюэна, и прежде всего главная из них — «Постигая средства коммуникаций», по форме больше напоминают откровения «вдохновенных» пророков древности, чем современные научные или даже публицистические работы. Написанные нарочито «затемненным» языком, «загадочно» афористичные, полные утомительных повторов (по мнению одного из американских критиков, все содержание книги «Постигая средства коммуникаций» можно вместить в одно небольшое эссе), они, в сущности, не имеют ни начала, ни конца. Сам Маклюэн объясняет это обстоятельство своей склонностью «мыслить эллиптически, а не линейно». Как стилист, он считает себя обязанным Эдгару По («изобретатель детективного жанра приглашал читателя к додумыванию читаемого»), Джойсу, которого он особенно охотно цитирует, и французским поэтам-символистам («они не говорили прямо, а только намеками»).

Если все-таки представить идеи Маклюэна Темного в последовательном, логически связном виде, то фундамент его «коммуникационной» теории будет выглядеть примерно так.

Изобретение Иоганном Гутенбергом печатного станка около 1450 года явилось поворотным пунктом во всей европейской истории. Развитие книгопечатания, повлекшее распространение чтения, «взорвало» существовавший прежде у европейца «баланс ощущений», вызвало гипертрофированное развитие глаза в ущерб другим органам чувств.

Впрочем, в чистом виде этот «баланс ощущений» существовал лишь у первобытнообщинного человека. Уже изобретение фонетического алфавита и линейного письма нарушило его. Но оно, говорит Маклюэн, лишь в слабой степени предвосхитило «гутенберговскую революцию». Слишком узок был в древности и особенно в средние века круг читающих, да и само чтение носило несколько отличный от нынешнего характер: рукописные строки воспринимались иначе, чем «обезличенный» типографский шрифт, читать было принято вслух, а то и нараспев.

Печатный станок произвел коренную революцию в психологии «западного человека». Самый процесс чтения, расшифровка текста обладает, по Маклюэну, способностью особым образом организовывать ум читающего человека. С одной стороны, чтение делает возможным «униформизм»[1], осуществляя коммуникацию людей, отделенных в пространстве и во времени. С другой стороны, оно порождает индивидуализм, обособляя читающего человека от окружающих, делая его «себе на уме», развивая в нем инициативность и целеустремленность. Линейный характер письма, последовательное слежение за ходом мысли порождают представление о причинно-следственной связи явлений, их «фрагментарности» и «распределенности» в пространстве и во времени, создают аппарат формально-логического, абстрактного мышления (нашедший законченное выражение в картезианстве). Этот сложный аппарат становится средством подавления в человеке чувственной, эмоциональной жизни, отделяет «акцию от реакции», побуждает людей действовать, не реагируя, и реагировать, бездействуя. Фрейдовская «возрастающая репрессивность», толкует Маклюэн психоанализ, есть не что иное, как следствие «возрастающей визуальности».

«Электронные и электрические» средства массовой коммуникации, получившие развитие в XX веке, знаменуют вторую «коммуникационную» революцию в истории человечества. «Электронные и электрические» средства — телевидение, кино, радио, телефон и др.— «расширяют» те из наших органов чувств, которые прежде искусственно подавлялись, и тем самым вновь изменяют «баланс ощущений». Важнейшую роль из всех этих новых средств играет телевидение.

Уже радио развило дотоле «репрессируемое» ухо, а кино соединило звуковые ощущения с визуальными (все еще визуальными!). Но подлинно революционным изобретением оказалось телевидение, вызывающее у зрителя комплекс акустических и «тактильных» ощущений. Под «тактильными» ощущениями Маклюэн понимает не кожные ощущения, а некую «ощупывательную» способность глаза. В другом месте он определяет их как «игру перекрещивающихся ощущений». «Тактильная» способность глаза будто бы активна в отличие от визуальной— пассивно созерцательной. Такая реакция зрителя, говорит он, определяется спецификой телевизионного изображения. Из миллиона точек в секунду зритель воспринимает лишь несколько сот. Это побуждает его самого «конфигурировать» образ. Телевидение смотрят не так, как смотрят кино или фотографию, а так, как смотрят скульптуру, икону, пуантилистскую живопись, карикатуру. Оно втягивает, «вовлекает» зрителя в происходящее на экране.

Телевидение вместе с другими новыми средствами коммуникации возвращает человеку первобытный «баланс ощущений», а с ним вместе — «бесшовное», нерасчлененное восприятие мира. Оно требует одновременности (all-at-onceness) и всеобщности, «включения» в окружающее. Оно делает осуществимой «давнюю мечту поэтов и художников» — «синестезию», то есть совмещение воображения с реальностями переживаемого. Оно не приемлет беспристрастной обособленности, но требует «тотального вовлечения». Это — «вовлечение в процесс», а отнюдь не «поиски результатов». «Интроспективная жизнь долгих, долгих мыслей и отдаленных целей, которые преследуют с настойчивостью поезда, движущегося по транссибирской магистрали, не может сосуществовать с мозаичной формой телевизионного образа, требующего немедленного вовлечения».

Как точка над «i» эту маклюэновскую концепцию венчает ее парадоксальный ос-

[1] Здесь и далее мы, по необходимости, пользуемся терминологией самого Маклюэна.

новной тезис, который наиболее рьяные из его последователей поспешили объявить «формулой века», «столь же замечательной, как и $E = mc^2$»: Media is the message — средство есть сообщение, то есть сущность сообщения не в его содержании, а в самом средстве коммуникации. Неважно, *что* сообщается, важно *как*. Маклюэн цитирует Шекспира — слова Джульетты, обращенные к Ромео:

Взгляни: то свет зари.
Он ни о чем не говорит и говорит
о многом.

Таково же, утверждает Маклюэн, и телевидение. Содержание передач не имеет значения, самый способ коммуникации есть информация. Абсурдность этого тезиса, критика, которой он подвергся даже в среде самих маклюэнистов, в конце концов вынудили Маклюэна пойти на попятный: теперь он говорит, что содержание сообщения все же имеет некоторое значение, но второстепенное по отношению к средству. Уступка, как видим, довольно несущественная.

Важное место в маклюэнизме занимает теория «горячих» и «холодных» коммуникаторов. Терминология («hot» и «cool») позаимствована из джаза. «Горячие» и «холодные» коммуникаторы различаются соответственно «высокой и низкой дефиницией», то есть большим и меньшим объемом предоставляемой информации. На «горячие» коммуникаторы люди реагируют логически, независимо и «отчужденно», тогда как на «холодные» — «причастно», «мифически и коммунально». Типично «горячие» — это, конечно, книга, а «холодные» — телевидение. Впрочем, таковы, считает Маклюэн, лишь принципиальные свойства этих коммуникаторов. Вообще же и книга может быть «холодной» (как, например, некоторые из современных антироманов), а по телевидению сплошь и рядом передают «горячую» информацию, не соответствующую его специфике.

Надо сказать, что Маклюэн неоправданно расширяет объем понятия «коммуникатор» в ущерб его содержанию. Под это понятие у него подпадают не только коммуникационные средства и отдельные люди, но и самые разнородные предметы, явления и качества. И все они делятся на «горячие» и «холодные». Примеры «горячих»:

фонетический алфавит, фотография, кино, одежда, вальс, Отелло, очки, лекция, Ф. Рузвельт, развитые страны, деньги.

«Холодные» коммуникаторы:

иероглифы, идеограммы, телевидение, карикатуры, нагота, твист, Яго, темные очки, семинар, Дж. Кеннеди, развивающиеся страны, фермерские дочки и т. д.

Весьма произвольное деление превратилось в своего рода «интеллектуальную» игру. Так само понятие «коммуникатор» оказывается у Маклюэна «с низкой дефиницией».

Таковы вкратце первоэлементы маклюэновской теории средств коммуникаций.

Торонтский профессор, конечно, затронул чрезвычайно актуальную тему. «Коммуникационный взрыв» XX века, вторжение в быт телевидения, радио и других средств массовых коммуникаций, их роль в общественной и культурной жизни — все это влечет трудноисчислимые последствия, еще требующие теоретического осмысления.

Если отбросить основной тезис Маклюэна («Средство есть сообщение»), нелепость которого смущает, как мы уже говорили, даже его поклонников, то ту часть его концепции, которая касается особенностей реакции реципиента (получателя информации) на различные средства коммуникации, следует признать гипотетичной. Процесс усвоения информации человеческим мозгом — дело сложнейшее, деликатнейшее. Современная наука пока еще не располагает сколько-нибудь точными сведениями на этот счет. Это обстоятельство создает простор как для гипотез, так и для спекуляций.

Было бы неосторожным игнорировать все сказанное Маклюэном по этому поводу. Многое из того, что он пишет о специфике различных видов коммуникаций, несомненно представляет интерес. Маклюэн зондирует, нащупывает обнаруженные «коммуникационным взрывом» новые измерения человеческой психики. Если бы он ограничился трезвым (и связным) анализом предмета, то, вероятно, наука будущего, не тревожа сопоставлением тени Коперника и Дарвина, помянула бы его «добрым тихим словом».

Но Маклюэну «пределы не поставлены». Своим выводам относительно средств коммуникации он придает чудовищно гипертрофированное значение. Оседлав «коммуникационного» конька, он карьером пересекает целые континенты человеческой мысли, со сказочной легкостью совершая чудесные «открытия», пытаясь средствами коммуникации объяснить все и вся, подвергая переоценке все историческое и культурное наследие человечества. Историк А. Шлезингер как-то назвал его «умным человеком, которому почему-то нравится быть шарлатаном». Шарлатанствующий пророк перебивает в нем трезвого наблюдателя. Он по-своему перекраивает прошлое человечества, по-своему проектирует его будущее.

Изобретение книгопечатания имело, по Маклюэну, далеко идущие последствия для европейского общества. Культивируемые чтением униформизм и индивидуализм вызвали к жизни и национальные государства с их бюрократиями и постоянными армиями, и протестантизм с религиозными войнами, и «специализированного человека» с его культурным индивидуализмом и коммерческой предприимчивостью, и еще многое другое. Весь комплекс культурно-исторических явлений, выводимых им из гутенберговского изобретения, Маклюэн назвал «галактикой Гутенберга».

Нет нужды подвергать эту маклюэновскую концепцию детализированному разбору. Надуманность ее бросается в глаза. И

---

Ю. КАГРАМАНОВ
ВОЗВРАЩЕННЫЙ РАЙ
МАРШАЛЛА МАКЛЮЭНА

процесс образования национальных государств, и другие социальные и культурные явления периода разложения феодализма достаточно изучены, рассмотрение влияния средств коммуникации могло бы, вероятно, внести тут какие-то дополнительные штрихи, но отнюдь не изменило бы картины в целом. Маклюэн совершенно игнорирует историческую обусловленность самого гутенберговского изобретения. Как известно, аналогичное изобретение, сделанное в Китае еще в XI веке, не получило там развития именно в силу исторической неподготовленности «поднебесной».

Обратим лишь внимание, что Маклюэну даже не удается как следует натянуть искусственную ткань своей концепции на хронологический каркас. Так, например, он утверждает, что присущий ренессансному человеку индивидуализм, культ человеческой личности, противопоставляемый явно им предпочитаемой феодальной «корпоративности», явился прямым следствием книгопечатания.

Индивидуализм Возрождения был культурным достижением, Мишле назвал его «открытием человека». Но вернемся к хронологии. Последствия книгопечатания, о которых говорит Маклюэн, если бы они вообще имели место, могли сказаться не ранее конца пятнадцатого столетия. Если говорить о Возрождении вне Италии, то тут действительно имеет место хронологическое совпадение. Но если обратиться к самому центру распространения ренессансной культуры, то придется констатировать, что расцвет Возрождения в Италии начался задолго до этого времени. Петрарка, Боккаччо, Валла, воплотившие в себе все характерные черты ренессансного человека, жили до изобретения книгопечатания.

Другой пример, на этот раз из римской истории, которую тоже не обошел вниманием Маклюэн. Римская империя, которая, у Маклюэна, конечно же, только и держалась что на средствах коммуникации — папирусном письме и «хороших дорогах»,—погибла тогда, когда магометане захватили Египет, «прекратив доставку папируса в Рим». Но магометане захватили Египет в VII веке н. э., тогда как Римская империя пала уже в V. Если же имеется в виду восточно-римская, Византийская, империя, то арабские завоевания, как известно, отнюдь не привели ее к гибели. Таких несуразностей у Маклюэна немало.

После пяти веков безраздельного господства, развивает свою концепцию Маклюэн, «галактика Гутенберга» встретилась с «вызовом» электронных и электрических средств коммуникации. Эти последние и прежде всего телевидение, требуя «немедленного вовлечения», формируют новый тип «западного человека», «гармоничного и статичного». Место читателя, склоненного над книгой, обособленного, задумчивого, вынашивающего свою «точку зрения», что-то планирующего, о чем-то мечтающего, занимает телезритель, «с открытым ртом и горящими глазами» следящий за экраном, погруженный в «здесь» и «сейчас», ощущающий тем самым свою «причастность» к человечеству, свое с ним «родство». «Телевидение разрушает всю нашу политическую, образовательную, социальную жизнь... является восточной формой опыта, сообщая людям темный, глубокий смысл вовлечения».

И Маклюэн делает еще одно необыкновенное «открытие»: «Электронная галактика» влечет... ретрибализацию современных обществ, возвращение на новой основе к племенным, первобытнообщинным отношениям. Современные средства коммуникации сужают мир, делают планету «всемирной деревней». Радио — это современный «племенной рожок». Телевидение — «древние агора и форум».

Все кризисные явления, присущие нынешнему капиталистическому обществу, оказывается, проистекают от происходящего «вокруг нас», но никем из смертных не замеченного, грандиозного столкновения двух «галактик» — «гутенберговой» и «электронной». «Мы живем сейчас мифически и интегрально, как и некогда, но продолжаем мыслить категориями прежнего, разделенного пространства и времени доэлектрической эпохи». «Холодная революция» уже расколола современное общество. Молодежь, выросшая в условиях «электронного окружения», уже стоит одной ногой в будущем, в царстве сиюминутного, бездумного счастья, где нет забот и специализации, где вся «черная работа» мыслей и дел будет возложена на компьютеры (которые у Маклюэна тоже являются средством коммуникации). Взрослые, связанные «ценностями визуальной эпохи», не в состоянии понять «племенное» мироощущение «телевизионного поколения», откуда и проистекает «разрыв поколений».

Итак, Золотой век у ворот или даже уже по сю сторону ворот. Новейшие средства коммуникаций возвращают человеку его первобытную гармонию. Круговорот истории завершен. Библейский Эдем, после веков «визуального» грехопадения, обретен вновь, теперь уже на электронном уровне. Таковы те выводы, которые напрашиваются при чтении Маклюэна.

Будь автором этой гротескной картины какой-нибудь дилетант-фантаст, комментарии к ней были бы, вероятно, уместней на шестнадцатой странице «Литературной газеты». Но Маклюэн, несмотря на сумбурно-алогичный, «пророческий» характер письма, оперирует как-никак научной терминологией, да и концепция его, как это можно заметить, скроена по традиционной в идеалистической философии, гегелевской, «линейной» схеме: тезис — антитезис — синтез. Наконец, в академических кругах, как мы уже заметили, теперь со всей серьезностью комментируются маклюэновские пророчества. В научных терминах историческая концепция Маклюэна представляется одним из наиболее вульгарных построений «технологического детерминизма». Фетишизация техники доведена у него до крайности: если прочие техницисты роль перводвигателей истории отводят техническим нововведениям в целом, то Маклюэн считает таковыми только те из них, которые имеют отношение к сфе-

ре коммуникаций. Изобретениями в этой области Маклюэн «объясняет» не только характер целых исторических эпох, но и конкретные исторические явления. Пример? Гитлера привело к власти... радио. «Племенной барабан» радио собрал под фашистские знамена «тевтонское племя». Если бы в его время распространилось телевидение, говорит Маклюэн, фюрер не смог бы удержаться у власти — на телеэкране он был бы смешон, хотя нетрудно догадаться, что в условиях телевидения фюрер выработал бы другие, специфически телевизионные методы фашистской пропаганды либо те, кто привел его к власти, нашли бы другого фюрера.

Маклюэн вынужден признать, что в соответствии с его теорией одно лишь простое увеличение четкости телевизионного изображения лишило бы телевидение приписываемой ему специфики (сделало бы его таким же «горячим» коммуникатором, как кино или фотография) и тем самым аннулировало бы большую часть тех невообразимых последствий, которые оно якобы вызвало. Впрочем, Маклюэн говорит об этом вскользь и нехотя. Такое допущение не вяжется с выпестованной им теорией грядущего тысячелетнего царствия TV.

Трудно представить больший нонсенс, чем главный тезис Маклюэна «Средство есть сообщение». Он целиком и полностью игнорирует содержание передаваемой информации. Между тем ясно, что именно содержание информации имеет первостепенное значение, специфика же ее передачи, конечно, существенна, но все же в большинстве случаев второстепенна. К примеру, информация о вторжении американо-сайгонских войск в Лаос, напечатанная в газете, переданная по радио и телевидению, при условии идентичности ее содержания вызовет у рядового американца в каждом случае в чем-то, конечно, различную, но в основном сходную реакцию (какую именно — это уж зависит от его политических взглядов). Другая информация — о бегстве американо-сайгонских войск из Лаоса, переданная по тем же трем каналам, вызовет и в этом случае сходную реакцию, которая, однако, будет, вероятно, резко отличаться от предыдущей. Конечно, тот или иной реципиент может безразлично отнестись и к первому и ко второму сообщению. Но в этом случае и средство передачи информации не имеет никакого значения. «Сообщение» тут просто не воспринимается. Для тех же, кто интересуется положением в Индокитае, важно — вторгаются американцы в Лаос или их гонят оттуда, а не то, по каким каналам передаются сообщения об этом. Все лукавые мудрствования Маклюэна на этот счет разбиваются о здравый смысл, которым, право же, не следует пренебрегать.

Маклюэн, так сказать, деинформатизирует информацию, лишает ее содержания, акцентирует второстепенное — подсознательное воздействие коммуникатора, которое он толкует весьма произвольно и эффект которого он непомерно, фантастически раздувает. Лишенные содержания, коммуникации оказываются у него «по ту сторону» добра и зла, истинного и ложного.

Канадский профессор незаметно для себя уподобился тем флюсообразным специалистам, которых он сам третирует как порождение отживающей «фрагментирующей цивилизации глаза». Везде и во всем он видит одни «коммуникации» и ничего не видит, кроме «коммуникаций». Такого рода оптическую выборочность он «обосновывает» философски, в релятивистском духе — «объекты ненаблюдаемы, наблюдаемы лишь их отношения». Но и отношения — «коммуникации» — Маклюэн понимает превратно.

Прежде всего, он неправомерно смешивает межличностные отношения со средствами массовой коммуникации. Ясно, что вторые никоим образом не могут заменить первых. Сидение перед телевизором, например, не заменяет непосредственного общения с людьми.

Далее, Маклюэн выхолащивает само представление о межличностных отношениях. Он отрывает их от социальной среды и сводит к некоему мистическому «вовлечению». Это магическое слово заменяет у него все громадное разнообразие человеческих отношений, складывающихся в процессе активного взаимодействия людей — в боренье ли, в труде, в игре,— развивающих и совершенствующих таким способом и свою чувствительность.

Что касается средств массовых коммуникаций, то их главная характерная черта — классовая «завербованность». Особенно это относится к новейшим средствам массовых коммуникаций — телевидению, радио. Эффект их воздействия на массовую аудиторию определяется прежде всего содержанием передаваемой ими информации, а это содержание определяют — к вящей для себя и своего класса выгоде — те, кто этими средствами владеет. «Неосведомленность» в этих элементарных вещах была бы простительна, пожалуй, лишь инопланетному пришельцу.

Американский культурсоциолог Д. Бурстин в своей книге «Образ» попытался объяснить роль средств массовых коммуникаций в сегодняшней Америке. Они, решил Бурстин, помещают американца в иллюзорный, фиктивный мир, отгораживая его от реальной действительности завесой из «псевдособытий» и «псевдофактов». Маклюэн возражает Бурстину: содержание информации всегда было фиктивным, сами средства массовых коммуникаций суть не что иное, как «макромифы» — они побуждают людей бездумно им доверяться.

Разумеется, Маклюэн ставит тут все с ног на голову. Если современный «западный человек» кормится мифами, то сами по себе средства коммуникации в своем технологическом естестве в этом неповинны и мифы эти по своему происхождению не технистические («мгновенное видение комплекс-

---

ного процесса»—так определяет миф Маклюэн), а социальные, как, например, потребительский миф Но для Маклюэна не существует «социальной среды», она у него подменена «электронным окружением» (environment). Этот искусственный садок, создаваемый средствами массовой коммуникации, как бы говорит Маклюэн, и есть подлинный, реальный мир современного «западного человека». Только в этом суженном, ограниченном мирке он и может обрести счастье, которое вовсе не прямо, а скорее обратно пропорционально информированности. Как было при «племенном» строе, так будет (или уже есть) и теперь.

Фантастические, антиисторичные попытки реконструировать первобытное сознание как «гармоничное» или «праздничное» не новы. «Счастливые дикари» вот уже несколько столетий как стали своего рода полемическим приемом под перьями разного рода утопистов и памфлетистов, чаще всего реакционных. Жан-Жак Руссо, который придумал наиболее известную версию этих «счастливых дикарей» (которых, в свою очередь, осмеял Вольтер), не был титаном антропологии (как не был им, впрочем, и «фернейский мудрец»). Но патриархальная идиллия Руссо была составной частью вызова, брошенного великим женевцем отживающему абсолютизму. Парадоксы Руссо в конце концов привели будущих санкюлотов под стены Бастилии. Парадоксы же Маклюэна никого никуда не ведут, разве что усаживают обывателя у телевизора.

Маклюэновский «телевизионный дикарь» предельно пассивен. «Активная тактильность» глаза заменяет ему всякую реальную активность. Статичный, «как древний египтянин», он фактически существует вне отсчета времени (Маклюэн многажды повторяет, что современная эпоха будто бы «требует процесса, а не продукта» — перифраз бернштейновского «движение — все, конечная цель — ничто»; в действительности же в моделируемом им обществе, по существу, нет никакого процесса, нет вообще движения). Ему незачем спешить на «агору и форум», телевизор ему их заменит, освободив от всех гражданских прав и обязанностей. У него нет даже работы, как нет и специальности, вместо них «электронный век» сулит ему «роль».

Современная социология широко пользуется понятием «роль», но отнюдь не смешивает ее с работой, не противопоставляет специализации. Употребленная в расширительном смысле «роль» Маклюэна — извращенное выражение давнишней мечты человечества о всесторонне развитой личности. Именно эту мечту выразил Маркс, когда противопоставил «частичному человеку» «всесторонне развитого индивида». Но путь к высвобождению от уродств специализации Маркс усматривал в освобождении самого общества. В обществе частной собственности специализация означает отчуждение. Но сама по себе специализация — не зло, едва ли ведь будет какой-нибудь толк от человеческой деятельности, если она не сосредоточится в определенном направлении. В свободном обществе и специализация становится благом. В обществе несвободы и «роль» навязывается извне. Маклюэн, в сущности, пародирует этот гуманистический идеал, как и многие другие. Homo televisionis, бездеятельный, бездумный и безгласный — вот какая «роль» уготована им грядущему человеку.

И еще об одной черте этого телевизионного гомункулуса. О том, что Маркс называл «лакмусовой бумажкой человечности». О любви Ей нет места в маклюэновском будущем. Вместе с «теоретиком сексуальной революции» Норманом Брауном Маклюэн считает, что сексуальность будущих людей уподобится «рассеянному либидональному удовольствию ребенка». Она не будет «фокусироваться на личностях». Такого рода «сосредоточенность» тоже, оказывается, порождена печатным станком и отживает в условиях «электронного окружения». Так, духовность любви, вызванную к жизни еще канцонами провансальских трубадуров (между прочим, лет за триста до Гутенберга), новая «племенная» «синестезия» вновь загоняет в сферу телесности.

Маклюэновский неодикарь, конечно, химеричен, но нетрудно в нем увидеть и некоторые реальные черты современного западного потребителя массовой культуры (иначе «поп-культуры»), обезличенного и нейтрализованного, каким его моделируют искушенные эксперты — манипуляторы «паблик рилейшнз», бомбардируемого по всем возможным коммуникационным каналам стереотипной информацией, закодированной идеологически, низкопробной эстетически, которую Маклюэн разом «реабилитирует», фокуснически подменив прежний общественный суровый вердикт «ниже всякой критики» новым — «выше всякой критики».

Это его, рядового американца, удерживают 37 часов в неделю у телевизора, попеременно взвинчивая, успокаивая и ободряя. Это его, бесцеремонно тестируемого при поступлении на работу, испытывают коварным вопросом: «А не предпочитаете ли вы чтение книг хорошей компании?» Маклюэн фактически освящает этот модернизированный «электронный» обскурантизм высокопросвещенной страны. Зачем читать книги? «Электрическая скорость объединяет необразованных с образованными и сверхобразованными». Критик Бенджамин де Мотт в журнале «Эсквайр» разглядел эту характерную черту у Маклюэна и нарек его «первым поп-философом».

«Поп-философский» характер маклюэнизма особенно сказывается в маклюэновском толковании рекламы, этой, пожалуй, важнейшей отрасли массовой культуры. Засилье рекламы в капиталистических странах давно уже вызывает нескончаемые протесты. Многие работники прессы и телевидения рассматривают ее как неизбежное зло.

Маклюэн отвечает «высоколобым» критикам: реклама — лучшая часть любого журнала, любой газеты, а телевизионная реклама наиболее полно отражает специфику телевидения. Реклама — «самое новаторское и образовательное искусство XX века». Будущие археологи, копаясь в руинах нашего века, обнаружат, что «современная реклама

является богатейшим повседневным отражением жизни, какого никогда прежде не давало какое-либо другое общество».

Ход рассуждений Маклюэна тут примерно таков. Рекламное дело начинается с изучения психологии потребителя. На это затрачиваются многие миллионы долларов, к этому привлекаются высококвалифицированные психологи, психосоциологи и т. д. Поэтому мастера рекламы лучше кого бы то ни было знакомы с психологией масс, поэтому в своей работе они стремятся «воплотить коллективное». Реклама выражает не «частные точки зрения», а «корпоративные образы», функция ее та же, что и у пещерного искусства,— она воздействует на подсознательное как «гипнотическое заклинание».

Трудно было бы отрицать, что рекламный бизнес хорошо знаком с некоторыми сторонами общественной психологии, дело это поставлено на научную основу, особенно в США, в этом Маклюэн прав. Но совершенно нелепо выводить из этого, будто современный рекламных дел мастер, подобно пещерному художнику и средневековому иконописцу, тем лишь и озабочен, чтобы в своей работе «воплотить коллективное». Капиталист-рекламодатель и те, кто ему служит, стремятся познать психологию потребителя так, как обычно познают врага своего: с одной лишь целью — нащупать его слабости и воспользоваться ими. Воздействуя на подсознательное, реклама «заклинает» потребителя купить то, что ему не нужно. Ее «воспитательное» значение сводится к воспитанию самого потребительства, разбухшего до размеров идеологии.

Что же касается эстетической стороны рекламы, то тут было бы уместно вспомнить высказывание В. И. Ленина, предупреждавшего, что художник должен не опускаться до уровня масс, а, наоборот, подымать массы до уровня большого искусства. Маклюэн же яростно противится самой идее эстетического совершенствования жизни. Находит ее «абсурдной». Призывает «убить гангренозное чудовище — Хороший Вкус».

То искусство, которое, в противоположность массовому, зовут «элитарным» и которое обычно можно назвать просто искусством в точном смысле слова,— это искусство существует для Маклюэна лишь постольку, поскольку оно «участвует в осмысливании структур, создаваемых новой технологией». Хоть он и называет людей искусства «людьми границы» (в старом американском, «землепроходческом» смысле), исследователями неведомого, но само это неведомое для него — не безбрежная человеческая духовность, а всего лишь «предстоящие изменения в балансе ощущений». Искусство, предвосхищая эти изменения, служит в этом смысле «системой раннего предупреждения». Так, кубизм, например, представлял раннюю реакцию на «электронную технологию», он «покончил с иллюзией перспективы в пользу тотальной осведомленности». В том же упрощенческом ключе Маклюэн комментирует (в «Гутенберговой галактике») Шекспира и Сервантеса, сводя трагедийность Гамлета и Дон Кихота к «последствиям гутенберговой технологии».

Отвергая вообще «элитарное» искусство, Маклюэн в то же время поощряет некоторые виды авангардизма, такие, как делитературизованный хэппенинг и «конкретную» музыку. Впрочем, особого противоречия здесь нет, если учесть, что грань между «элитарным» и массовым искусством не абсолютна. Последнее ведь охотно банализирует как классическое наследие, так и сомнительные изыски авангардистов.

Кстати сказать, сам маклюэнизм уже становится субкультурой. В США и Канаде вошли в обычай «маклюэновские» фестивали — нечто вроде хэппенингов с «примитивной» музыкой и танцами. Гвоздь таких хэппенингов — демонстрация «скульптурной стены»: скрытые полупрозрачной тканью извивающиеся девицы — урок «тактильных ощущений» и немного клубнички. Буржуазная публика смешивается с хиппи в попытках причаститься Великому Опрощению.

Если поставить маклюэнизм в немилый ему «линейный» порядок — порядок исторической закономерности,— то место ему будет где-то в конце затухающей кривой. Той кривой, которая графически выразила бы эволюцию буржуазного сознания. При ее начале просветители, объективно отражавшие интересы буржуазии, упивались новооткрытой тогда мощью разума. В ее конце Маклюэн предпринимает развернутую, с новыми средствами, атаку на рационализм (в широком смысле миропонимания, опирающегося на разумное познание).

Правда, Маклюэну очень не нравится слово «иррационализм», он тоже за «разум», но требует «не смешивать его с грамотностью, литературной образованностью (literacy)». Такого рода словесная эквилибристика не нова. Разного толка мистики и теософы не раз уже пытались выдать за «разум» нечто ему противоположное, наполняя это понятие своим темным, мистическим, теософским смыслом.

Уже первый из известных нам богов мудрости — древнеегипетский Тот — почитался одновременно и как изобретатель письма. Это маленькое божество с головой ибиса, увенчанной луной, давно уже обрело место в музее, но связь учености с письменностью, считавшаяся несомненной еще в незапамятные эпохи, со временем только крепла. Лишь благодаря ей было выковано удивительное орудие логического мышления. Пусть не всегда, не везде применимое, именно оно сделало возможным все достижения современной цивилизации, именно оно вознесло современного человека бесконечно высоко над первобытным.

Гегель в «Науке логики» заметил, а В. И. Ленин особо выделил гегелевское замечание в своем конспекте этой книги, что развитость мышления прямо зависит от развитости зафиксированного в письменно-

---

сти языка. Маклюэн же «раскручивает» историю в обратном направлении: фонетическому письму он предпочитает идеографическое, идеографическому — отсутствие какой бы то ни было письменности, отсутствию письменности — вообще отсутствие языка, полное безъязычие, которое-де только и сделает достижимым лелеемое им бергсоновское «коллективное бессознательное».

Приписываемое им влиянию телевидения «возвращение от абстрактного к конкретному», погружение в сиюминутность — это призыв к отказу от ценнейших человеческих качеств, сформировавшихся в ходе длительного и трудного исторического развития. Своим «расширением чувств» Маклюэн отвергает полет ума и воображения. Его «синестезия» заземляет Мечту — одно из редких нарицательных, которые допустимо писать с большой буквы.

Не удивительно, что Маклюэн не одобряет полетов в космос — этот один из величайших триумфов дерзновенного разума. Он считает их «данью визуальному пространству Ньютона». Он повторяет где-то им услышанные слова — реакцию маленькой девочки на запуск первого спутника:

Звезды такие большие,
Земля такая маленькая,
Оставайся там, где ты есть.

«Племенному» человеку незачем куда-то «рыпаться» и уж тем более пытаться преодолеть силу земного притяжения!

Английский журнал «Комонуил» отметил как-то, что Маклюэн «зафиксировал смерть литературного логического духа в западном человеке». И впрямь, разгул иррационального в западной культуре примечателен. Явление это не случайное, а исторически обусловленное. Давно ушли в прошлое времена, когда подымающаяся буржуазия требовала разумно объяснять окружающий мир, устроить общество на основе велений разума, в интересах человечества, за которые она тогда принимала свои собственные интересы. Сегодня идея рациональной организации общества явно противоречит интересам буржуазии как класса. Поэтому сегодняшняя буржуазия уже и музыку заказывает иную. Не гимн разуму, а величальную подкорке. Поэтому и Маклюэн зовет «назад, в глубь племенной темноты, в глубь того, что Джозеф Конрад называл «Африкой внутри нас». Поэтому он нигилистически отвергает все гуманитарное наследие человечества. (Заметим в скобках, что лично себя Маклюэн объявляет как раз приверженным гуманитарному наследию, «книжной цивилизации». Но это дела не меняет. Даже хуже, придает видимость объективности его предсказаниям конца этой цивилизации, сообщает им характер «вынужденного признания», исходящего из среды самих гуманитариев.)

Конечно, и думающие машины сегодня не простаивают, до этого пока еще дело не дошло. Прогнозисты, например, широко используют их аналитические способности в своих попытках очертить контуры будущего — интерес к нему нынче обостренный, как никогда прежде. Но в сложных рисунках, отбитых на перфокартах, таится дух непредвиденного — буржуазной прогностике неподвластный. Дух немотствует, зато слышны голоса тех, коим издревле предначертано «глаголом жечь».

Двадцатый век породил немало кассандр. Кризис капитализма вызвал кризис буржуазного сознания: «пророки» всматривались в будущее с дрожью отвращения. И апокалипсическое видение О. Шпенглера («Закат Европы»), и тонкая сатира О. Хаксли («Прекрасный новый мир»), и мрачная фантазия Д. Оруэлла («1984») сходились в неприятии завтрашнего дня. И вот является еще один «пророк», который вдруг объявляет, что все в мире капитализма, оказывается, к лучшему. Чтобы стать оптимистом, достаточно «обратить интеллектуальное внимание на новые средства коммуникаций». Благодаря им «мы», западный мир, вступаем в счастливейшую эпоху, гармоничную и безмятежную.

Вернее даже, уже вступили. При этом пальцем о палец не ударив. Маклюэн небрежно отмахивается от всех социальных проблем «больного общества», они для него лишены смысла. Вот образчики его специфического «подхода» к такого рода проблемам.

Расовый вопрос? Его попросту не существует. «Столкнувшись с новым, электрическим окружением радио, американский негр создал джаз — форму искусства, которая интегрировала все культуры мира. Истэблишмент этого не заметил и пытается «интегрировать» негра».

Проблема бедняков, обитателей трущоб? Но, оказывается, «трущобы — самое авангардное пространство нашего времени». Они, видите ли, рождают «богатство ощущений в отличие от новых многоквартирных домов, основанных на визуальной технологии».

Преступность? Но в ней тоже повинен Гутенберг. «Племенное общество не знало преступности». «Ретрибализованное» забудет про нее.

И трех острейших проблем Америки как не бывало. Волшебством коммуникационной палочки-выручалочки «исчезает» мир несправедливости и угнетения, остается своего рода «электронная» нирвана.

Нынешний спрос на маклюэнизм на капиталистическом «рынке идей» не случаен. Торонтскому профессору нельзя отказать в чуткости. Он сумел уловить «болезни века», осложнившиеся нынешним обострением общего кризиса капитализма и, как его производным, кризисом буржуазного индивидуализма, распадом личности. Усиление бюрократизации всей общественной и хозяйственной жизни в США, дегуманизация труда, бездушие и «функциональность» отношений, которые не может скрыть никакая хитроумная инженерия «человеческих отношений», рост авторитаризма, разрушающий традиционные «ценности» буржуазного индивидуализма, бессилие буржуазного же стихийного бунтарства, приверженного все тем же «ценностям», отчуждение, одиночество и беспомощность «маленького человека», плюс к этому духовное голодание «изобильного», перенасыщенного техникой об-

щества, поиски новых нравственных норм взамен разрушенных, протест против «отчужденно-абстрактного» официальной идеологии — вот симптомы этого кризиса, которые Маклюэн, несомненно, подметил.

И от всех этих бед он предлагает свой коммуникационный эликсир. Магический телевизионный ящик призван излечить «больное общество». Не важно, что ящик, по признанию самих же американских критиков, наполнен «вредной чепухой». Важно, что, сидя перед ним, американец чудесным образом «приобщается» к человечеству, «братски сливается» с ним, подымаясь «выше» «тривиальности» обыденной жизни, «выше» реальных забот и «проклятых вопросов».

Маклюэновский «ответ» на поставленные временем вопросы своеобразен. Своеобразие это объясняется нынешней радикализацией политической и идеологической атмосферы в Америке. В обстановке всеобщего «брожения умов» имеют мало шансов на успех вылазки с позиции идеологического традиционализма. «Учение» Маклюэна причудливо, полно противоречий и парадоксов, изобилует элементами эпатажа. Так, Маклюэн объявляет устаревшим «американский образ жизни», «основанный на визуальной технологии Гутенберга». На деле его наскоки на этот «образ жизни» касаются лишь некоторых его бытовых и культурных аспектов, таких, например, как культ автомобиля и конкурсы красоты. И не касаются его социальной сути.

Эпатаж, как известно, не вызов. Поверхностный «радикализм» скрывает фактическую апологию существующих порядков. А чтобы не возникло никаких сомнений насчет его отношения к капитализму, Маклюэн поясняет, что новый «корпоративный, племенной дух» воплощают... современные капиталистические корпорации. Этимологическое родство здесь увенчивается полной смысловой общностью.

Ж. Жорес заметил однажды, что утопии бывают полезными и вредными, но всегда они немного печальны. Своеобразная утопия Маклюэна — из числа очень печальных и очень вредных. Само слово «утопия», как известно, переводится двояко: «земля, которой нет», и «благословенная земля». Утопия Маклюэна — это «благословенная земля, которая есть». Она — «вокруг нас». Стоит только отказаться от «ценностей визуальной технологии», и мир всеобщей гармонии незамедлительно восторжествует.

Не раз уже было замечено западными критиками, что Маклюэн, в сущности, печется о возрождении религиозности (сам он — ревностный католик). Вера, утверждает он, «рождается от слышания». Злосчастный Гутенберг «убил» литургию. «Визуальное обезбожило мир и породило современного нерелигиозного человека». С телевидением и радио наступает «литургическое возрождение», «становится реальностью» «христианская концепция мистического тела», создаются условия для объединения церквей.

Не удивительно, что книги Маклюэна были одобрительно встречены в католических кругах. Автора упрекали лишь в том, что он не придал своим произведениям форму богословских трактатов. Но Маклюэн и так весьма близок неотомизму — официальной идеологии католической церкви. Он, например, вполне в неотомистском духе, пытается сочетать анализ с откровением. Он не единожды прибегает к абсурду — есть, конечно, в этом элемент эпатажа, но слышится здесь и сознательный, тертуллиановский («верую, ибо это абсурдно») вызов. Его «вовлечение» сродни и неотомистскому «солидаризму», и «соборности» русских дореволюционных богоискателей: все это разные ярлычки для обозначения одного и того же — призыва к классовому примирению.

Итак, уход от реальности в религиозное выливается в форму «электронного» богостроительства. Новейшая техника привлекается в помощь теургии. Низвергнутый с эмпирея, боженька загоняется теперь в телевизионный ящик.

Но реальность, как всегда, берет свое. История делается совсем не по Маклюэну. Увидеть современный мир «ретрибализованным» можно разве что в наркотическом трансе. Не наигрыши «племенных рожков» оглашают сегодня планету — звуки боевых труб и стук мечей. Классовые столкновения, борьба идеологий, очаги военного пожара — все это темы, мало подходящие для пасторали в духе Буше.

Развитие событий в самих США никак не вяжется с прокламированной Маклюэном «холодной революцией». Вместо обещанной им «деполитизации» — небывалый для этой страны рост политической активности различных слоев населения, беспрецедентная поляризация общественных сил. Нейтрализующий, «охлаждающий» эффект средств массовых коммуникаций (определяемый содержанием передаваемой ими информации), конечно, нешуточен, но не следует его и абсолютизировать. Американец, оторвавшись от телевизора, все-таки непочтительно зовет его «дурацким ящиком».

Политический водораздел сегодня проходит отнюдь не между «визуально ориентированным» старшим поколением и «воспитанной телевидением» молодежью. Ведь не считать же авангардом этой молодежи «дикарствующих» хиппи, никчемных и беспомощных в обществе, где власть имущие вынашивают «долгие», и корыстные, и подчас зловещие мысли и обладают необходимыми средствами для их осуществления.

В действительности общественная мысль в ее различных тенденциях сегодня больше, чем когда-либо, владеет умами молодых американцев. Об этом свидетельствуют все те, кто занимается проблемой «конфликта поколений», независимо от их отношения к этой проблеме. В бурлящих кампусах жадно поглощают всевозможную политическую информацию. Предпочтительно «горячую», печатную. Читают «Капитал». Читают «с открытым ртом и горящими глазами».

НОРТКОТ ПАРКИНСОН

# Зятья и прочие

## АВТОРСКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Книги, объясняющие, как добиться успеха (из коих эта — самая последняя и самая лучшая), редко расходятся в истолковании термина «успех». Возможно, это слово в его обиходном употреблении не слишком импонирует философу или моралисту, но во всяком случае оно понятно всем. Преуспевающим мы считаем человека, который занимает высокий пост, может не опасаться за свое будущее, обладает незапятнанной репутацией и упоминается в прессе только самым лестным образом. Наше воображение рисует нам дом над озером, пышный сад, дочку в костюме для верховой езды и старинное столовое серебро. Чуть-чуть повернем объектив, и мы увидим обшитый дубовыми панелями служебный кабинет, с великолепным письменным столом, костюм от самого дорогого портного и бесшумный автомобиль.

Нельзя отрицать, что существуют и другие виды успеха, начиная от причисления к лику святых и далее через всю шкалу. Кто-то дарит свое имя экзотическому растению, кто-то строчит бессмертные стихи. Одни доживают до неправдоподобного возраста, другие уже в восемь лет выступают с концертами. Успех принимает различные формы, а потому читатель должен сразу же твердо решить для себя, что ему, собственно, нужно. Если его интересует тот успех, о котором говорилось выше — сверкающий лимузин, собственный пляж,— то в этой книге он найдет все необходимое. Если же успех рисуется ему как награда в ином мире или посмертная слава в этом, то пусть он обратится к другим руководствам. На этих страницах он не найдет указаний, как стать мучеником. Слово «успех» здесь употребляется в чисто материальном его значении. Но не надо понимать его и в лоб. Одно богатство без престижа и популярности, да еще вдобавок омраченное скаредным благочестием,— это всего лишь разновидность паралича. Искусство преуспеть, возможно, и требует денег, но кроме того, оно требует уменья проскользнуть в высшие круги так, чтобы создалось впечатление, будто вы всегда там обретались. Недостаточно просто войти, надо еще и стать своим.

Итак, изложенные здесь советы подразумевают лишь одну специфическую форму успеха. К тому же они подразумевают, что читатель — заурядный человек со способностями ниже среднего уровня. Человек способный и сам преуспеет. В советах нуждается человек глупый, ленивый, небрежный, сварливый, на которого ни в чем нельзя положиться. Ему и следует адресовать книги, рассказывающие, как преуспеть в жизни. Ведь в конце-то концов он живет в демократической Англии. Так разве он не имеет права преуспеть не хуже всех остальных? Он имеет такое право, и далее мы расскажем, как можно это право осуществить. Мы будем исходить из предпосылки, что искомый успех венчает ту область деятельности, в которой подвизается большинство людей и для которой совершенно очевидно предназначены все прочие: область управления, как общественными учреждениями, так и деловыми предприятиями. Люди в мечтах занимаются сельским хозяйством, научными исследованиями, разведением племенного скота, литературой или прикладной антропологией. Кто не видел себя летчиком-испытателем, тайным агентом, прославленным журналистом

---

Из сатирических сборников последних лет.

**или ковбоем? Однако в случае успеха все кончают письменным столом, а то, где находится этот стол — в университете, на ракетном полигоне, на ферме или в министерстве,— практического значения не имеет. Будь что будет, но всех нас ждет письменный стол. Поэтому следует сразу же зарубить это себе на носу и начинать так, как мы намерены продолжать. А раз усевшись за письменный стол, мы должны каким-то образом обеспечить себе передвижение от стола к столу, пока не доберемся до самого верхнего.**

## Биография

Поставив ногу на нижнюю ступеньку лестницы, вы сразу же столкнетесь с необходимостью примирить две противоположные линии поведения. С одной стороны, вам следует внушить окружающим, что ваши биографические данные более чем респектабельны, а с другой — вы не можете позволять себе никаких лишних трат. Для начала не женитесь и не заводите себе квартиры. Каждый вечер, уходя со службы, ваши коллеги будут замечать, что окно вашего кабинета все еще освещено. Каждое утро, являясь на службу, они будут заставать вас уже на месте.

«Как он работает! — будут они говорить друг другу.— Он прямо-таки живет в конторе!»

И они будут правы: именно там вы ночуете. Вступите в клуб, чтобы было где проводить субботу и воскресенье, а праздничные ночи коротайте в турецких банях. Питайтесь в закусочной. Экономьте и выгодно помещайте каждый шиллинг. Биографию же свою создавайте во время отпуска. Первые пять лет ежегодного двухнедельного отпуска проводите следующим образом: первые два года отдыхайте где-нибудь вблизи Итона, Винчестера или Регби, остальные три — под Оксфордом или Кембриджем. Изучайте наличный преподавательский состав и списки студентов, читайте отчеты о дебатах в студенческих клубах и о матчах студенческих футбольных команд. Собирайте экземпляры студенческой газеты. Знакомьтесь со швейцарами и ночными сторожами. Раз-другой пригласите с собой в отпуск честолюбивого приятеля, сменившего фамилию на, скажем, Астор. После этого начинайте осторожно ретушировать свою биографию с помощью любительских снимков и косвенных намеков. На самом деле и школу и университет вы кончали в Провинсвилле и гордитесь этим, однако на данном этапе подобное обстоятельство подчеркивать никак не следует. Но ни в коем случае не лгите! Лгать грешно, а к тому же и глупо. Старайтесь просто создать атмосферу. Заявив: «Я не занимался греблей в Кембридже, пожалуй, я был чересчур усидчив», вы скажете чистейшую правду. Упомянув своего друга Арчи Астора и добавив: «Мы вместе были в Итоне», вы ни на йоту не отклонитесь от истины. Однако избегайте чрезмерной конкретности. Если при вас заговорят о таком светском развлечении, как стрельба из лука, вы можете спокойно сознаться в своем невежестве: «Насколько мне известно, в Оксфорде этим никто не занимается». Или с какой стати вам быть знакомым со знаменитым киноактером? «Он ведь не учился в нашей альма-матер!» Приступая к косвенным намекам, нерушимо придерживайтесь главного правила: сразу выберите себе школу и уже не меняйте ее. Малейшая путаница приведет к самым роковым результатам. Вы можете возразить, что в каком-то шкафу у вас на службе хранится перфорированная карточка, вся в дырках, в которой точно зафиксировано ваше пребывание в учебных заведениях Провинсвилла и последовательно посредственная успеваемость, восходящая еще к детскому саду. Пусть это вас не тревожит. Такая картотека необходима вашему учреждению для престижа, но в карточки никто не заглядывает, их только подшивают. И вот, не сказав ни единого слова лжи, скромно оставаясь самим собой, вы за пять лет станете старым итонцем рекламного отдела и самым усердным служащим своей фирмы.

Для биографии достаточно легких штрихов, но деньги, хотя бы отчасти, должны быть реальными. Человек, сберегающий часть жалованья, уже способен покупать акции — хоть и на самую ничтожную сумму, но зато с пользой для разговоров. На бирже играйте осторожно, следуя только самым здравым советам, но время от времени мимоходом упоминайте свои крупные финансовые операции, попеременно намекая то на колоссальную прибыль, то на катастрофические потери. Результаты должны быть истинными и отражать реальный исход ваших спекуляций, но суммы смело преувеличивайте. Примерно раз в год обязательно отпразднуйте свои финансовые успехи, пригласив пять-шесть наиболее разговорчивых своих коллег на немыслимо роскошный обед. Но помните, что потери производят не менее внушительное впечатление. Для завоевания престижа важен масштаб, а стоит ли перед итогом плюс или минус, значения не имеет. Ваша непосредственная цель заключается не в том, чтобы казаться богачом, но в том, чтобы встать на одну доску с Асторами и Ротшильдами: они играют на бирже, и вы играете на бирже. Тут выясняется, что у вас есть акции «Цветных пластмасс». «Неужто контрольный пакет?» — благоговейно спросит кто-нибудь. «Ну, я бы не сказал!» — ответите вы со смехом, и он придет к выводу, что даже, скажем, 43% обычных акций представляют недурную сумму.

После пяти лет экономии и благоразумного помещения сэкономленного вы получаете в свое распоряжение кругленькую сумму. Распорядиться этими деньгами можно по-

---

НОРТКОТ ПАРКИНСОН
ЗЯТЬЯ И ПРОЧИЕ

разному, но вам лучше всего израсходовать их на путешествия. Имеет смысл на шесть месяцев оставить службу и вернуться с репутацией человека, повидавшего свет. Европу можете сразу же отвергнуть, как слишком известную его часть. Рассказами о Кальяри никого не удивишь. Это пустая трата времени. Современный путешественник способен произвести впечатление, только упомянув небрежно что-нибудь вроде Фейзабада или Банджармасина. Вам нужно иметь возможность сказать при случае: «Когда я был в Аютии, я тоже...» Наверное, вы уже готовы возразить, что образцовому служащему, как его понимают теперь, знание света не нужно, да и вообще любое знание скорее может оказаться для него помехой. В целом это, пожалуй, верно, но времена меняются, и вам следует предвосхитить их перемену. Нынешняя мода на безликость пройдет, и возникнет временный спрос на индивидуальность. Обзавестись выдающимися способностями не так-то просто, но иметь в своем активе путешествие по Индонезии — дело самое несложное. Совершите такую поездку — и навсегда утвердите себя в качестве личности, человека, побывавшего в Тасмании, человека, который знает свет. Вступив на этот путь, вы должны будете выбрать одну из трех возможностей. Вы можете посетить какие-нибудь земли, слывущие неисследованными. Вы можете изучить какой-нибудь язык, практически никому, кроме вас, не известный. И наконец, вы можете побывать где-нибудь, где происходят небольшие вооруженные стычки, и вернуться с репутацией военного специалиста или снискать себе славу бесстрашного искателя приключений. Основным результатом ваших странствий явится книга, а потому вам следует заранее решить, какой она будет. Сначала путешествовать, а потом разбираться в своих впечатлениях — это ненаучный подход, который приводит только к накоплению бесполезных сведений и к напрасной трате времени. Займитесь текущей литературой и выясните, что именно сейчас печатается. Вы обнаружите, что на приключения есть спрос, но что рынок явно перенасыщен. Теперь уже никто не решится предложить издательству повесть о ребенке, выросшем в стае человекообразных обезьян. Мы вспоминаем, что это однажды уже было. И точно так же нынче ничего не добьешься, переплыв Тихий океан на бальсовом плоту.

Поскольку некоторые варианты заведомо отметаются, вам следует сначала испытать свой литературный стиль, а потом уже заказывать билет.

*Гибель пироги означала, что мы лишились всех наших припасов, а ближайшие магазины находились в Бери-Бери — последнем звене, связывающем нас с цивилизацией. Обратное путешествие должно было занять не менее шестнадцати дней по реке и даже больше, если бы мы выбрали другой путь. А до начала сезона дождей, не забудьте, оставалось три недели... Я решил пробиваться вперед.*

Тут главное — ввести многоточие в нужном месте. Если это дается вам с трудом, откажитесь от исследования неведомых дебрей и подчеркните свое близкое знакомство с никому не ведомыми языками и обычаями.

*Самой загадочной личностью в этих местах был Ширинг Вениьян, разносчик из Абрахадаврисса. Поглядев на складки его тюрбана, я сразу увидел, что он явился сюда из-за гор, а потому заговорил с ним, как я надеялся, на его родном диалекте.*

*— Вудьянхо? — начал я, но он только покачал головой.-- Комонгсаарва? — попробовал я еще раз с тем же успехом.*

*Но затем он сам рассеял мое недоумение, пробормотав:*

*— Хусъерсен?*

*Тут я понял, что он родом с севера, хотя, возможно, ушел оттуда уже давно.*

При условии, что вы способны написать что-то в этом роде, репутация полиглота вам обеспечена. Однако если вас, как и некоторых других писателей, терзают опасения, что рано или поздно вы встретитесь с человеком, который действительно говорит на будто бы вам известных наречиях, вам лучше будет избрать третий, военизированный аспект.

*Кругом стояла тишина, которую нарушал лишь треск пулеметных очередей с противоположного склона Сьерры. Мы с Мигелем на цыпочках приблизились к разрушенной асьенде, внимательно глядя направо и налево. Внезапно Мигель остановился как вкопанный и начал пристально рассматривать землю. Пока он этим занимался, я стоял на страже. Медленно распрямившись, он прошептал:*

*— Сеньор, за последние полчаса здесь прошло одиннадцать человек. Я думаю, что асьенда занята.— И тут я услышал легкий щелчок — Мигель спустил предохранитель. На мгновение наши взгляды встретились — быть может, подумал каждый из нас, в последний раз. Их одиннадцать, а нас двое: стрелять придется без промаха.*

*— Вамос! — шепнул я, и мы двинулись вперед...*

Предположим, вы решили стать исследователем неведомых земель. Начать вы должны с выбора суперобложки для своей будущей книги. Суперобложки книг о географических исследованиях бывают двух видов: то есть с обнаженной грудью и без таковой. Они предназначены для разных рынков сбыта, и второй тип иногда украшается картой или силуэтом горной цепи. Первый тип расходится лучше при условии, что девица достаточно привлекательна. Остановившись на такой суперобложке, вы облегчите себе возможный выбор местностей, еще не освещенных в печати.

Покончив с этой предварительной подготовкой, вы затем должны определить характерные признаки того края, который намерены исследовать. Опять-таки было бы ошибкой подпасть под влияние его географических особенностей. Следует сначала набросать тезисы своего будущего повествования, а затем уж подбирать ландшафт, который может послужить подходящим фоном. Наиболее практичен приток какой-нибудь большой реки с быстринами, водопадами и ми-

нимум одним крокодилом. Для заднего плана хороши горы, а для переднего — туземная деревушка. Заранее решите, будут там тигры или нет. Поскольку вы не охотник за крупной дичью, вы прекрасно можете обойтись и без них. Однако если вам обязательно понадобится тигр, купите в зоопарке несколько снимков этого животного, а потом смонтируйте их с фотографиями, снятыми на месте. Некоторые географы-первооткрыватели берут с собой лапу от тигриного чучела, чтобы испещрять следами влажную землю. Это отличный прием, так как только опытный зоолог способен заметить, что все эти следы оставлены левой задней лапой, а опытные зоологи вашу книгу читать заведомо не будут.

Работая над книгой о путешествии, необходимо избегать однообразия, а для этого вам требуется кульминация. В рассказе о покорении горных вершин критический момент наступает, когда пик Какевотам взят, каменная пирамида сложена, флаг водружен на вершине, шерпы похоронены и все покидают пик. Это происходит во второй трети книги, и последние главы отдаются под несколько пристрастные рассуждения о том, какое значение имеет ваш подвиг. По крайней мере одну главу необходимо посвятить объяснениям, почему потерпели неудачу предыдущие экспедиции, взявшие не тех альпинистов, не то снаряжение, не те карты и не те пищевые концентраты, не говоря уж об их роковой ошибке, когда они подошли к пику не с той стороны и не в то время года. Но в книге, которую имеем в виду мы, горам следует отвести второстепенную роль. Альпинистские подвиги не стоит особенно подчеркивать, если только — а мы исходим именно из этой предпосылки — вы не выдающийся альпинист. Ограничьтесь косвенным намеком, смонтированным кинокадром и скромным отрицанием своих заслуг, после чего сразу же переходите к другой теме. Итак, вы не можете поместить кульминацию своей книги на девственную горную вершину или хотя бы на дно коварной пропасти. Какой же критический момент доступен вам?

Среди множества кульминаций «Пожар в Длинном Доме» — пожалуй, самая лучшая. Немало сценаристов прибегало к пламени в минуту растерянности, и огонь еще верно послужит множеству будущих сценаристов. В этой кульминации мало оригинального, но зато она драматична, бесповоротна и недвусмысленна. Она открывает возможность для незабываемо ярких описаний. Она позволяет избавиться от лишних персонажей, включая Дочь Старейшины (если уж эта Дочь вам понадобится). Она по вашему желанию может уничтожить целое племя, сделав ваши антропологические заметки неопровержимыми. Она помогает вам спасти кого-нибудь — например, верного проводника, который в минуты опасности не отходит от вас ни на шаг,— и позволяет закруглить рассказ так, что всем и без объяснений становится ясно, почему вы уже больше никогда не отправитесь путешествовать.

*Я смотрел с перевала туда, где над вершинами деревьев еще поднимались редкие струйки дыма, думая о том, что больше никогда сюда не вернусь. Зачем? Прошлое невозвратимо. Счастливая община, которую я знал, погибла. А колдун Хоккус-Поккус? Да, я никогда уже не узнаю, что скрывалось*

*за этой легендой! Действительно ли он умел воскрешать мертвецов? Кто знает! Ясно одно: себя он воскресить не сумел. Но в том, что он обладал особыми способностями, я убежден твердо. Каковы бы ни были его тайны, они умерли вместе с ним. Хоть я не верю в оккультные явления, все же должен сознаться, что многое, чему я был свидетелем, не поддается привычным объяснениям. Больше мне нечего добавить. И, вновь повернув на север, я начал долгий спуск... и т. п.*

Если для книги о путешествиях кульминация полезна, то для книги, цель которой — утвердить за автором репутацию полиглота, она абсолютно необходима. А потому предусмотрительный автор строит книгу такого рода вокруг центрального и предсказуемого события. Идеальна для подобных случаев коронация какого-нибудь еще не освещавшегося в печати короля. На эту церемонию вам лучше всего будет отправиться в качестве журналиста. Необязательно представлять «Таймс» или «Дейли телеграф». Поезжайте корреспондентом «Дрянборо кроникл» или еженедельника «Любитель куроводства». Такого рода периодические издания охотно принимают услуги человека, желающего поехать в Эфиопию или в Непал за свой счет. Возьмите у растерявшегося редактора письмо, подтверждающее, что вы действительно специальный корреспондент «Девичьих тайн», которому поручено освещать коронацию в Лхасе или в Бангкоке. Такое письмо обеспечит вам все привилегии журналиста, которые сведутся к номеру в гостинице, где вас поселят с тремя другими репортерами: двумя с Огненной Земли и одним с островов Фиджи.

---

НОРТКОТ ПАРКИНСОН
ЗЯТЬЯ И ПРОЧИЕ

Событие, носящее международный характер, вам необходимо для того, чтобы продемонстрировать ваши познания в языках. Лучше всего это достигается с помощью скромных отрицаний. «По правде говоря, я почти не владею сербскохорватским...» «Я понимаю арабский, но объясняться на нем способен только в ограниченных пределах. Однако слова шейха не оставляли ни малейших сомнений в том, что он принадлежит к одной из самых суровых сект...» и т. д. «Мои познания в урду подверглись в этот день тяжелому испытанию». Тут основное — подкрепить откровенное признание в своем невежестве сценой, которая неизбежно наводит на мысль, что вы разговариваете на этом языке с удивительной беглостью. Однако в книге вам ни к чему упоминать, что вы были представителем «Настольного тенниса» и что редактор послал вас туда, находясь под созданным вами впечатлением, будто далай-лама — большой любитель пинг-понга. Достаточно сослаться на «прославленный журнал, корреспондентом которого я в то время был», и добавить два-три упоминания о телеграммах в тысячу-полторы слов, которые вы отсылали до глубокой ночи, так как меньший объем не удовлетворял заведующего отделом новостей. Не забудьте упомянуть, как трудно вам было точно передавать смысл ритуальных фраз. «Эта молитва,— укажете вы,— в буквальном переводе звучит так: «Приветствуем тебя, драгоценный камень в цветке с яркими лепестками»; однако все тончайшие оттенки ее смысла, в сущности, непереводимы». Этого будет вполне достаточно, чтобы закрепить за вами репутацию знатока Востока. Ограничьтесь этим, а сами быстренько перейдите к рассуждениям о хрустальных люстрах, которые непальцы ввозят с Запада и которые стали у них эмблемой высокого общественного положения. К своей учености всегда относитесь с некоторой небрежностью, как к чудачеству, которого вы слегка стыдитесь.

Теперь перейдем к третьему, военному варианту. Обычно в мире всегда где-то происходят военные столкновения, а иногда и в нескольких местах сразу, что дает вам возможность выбрать кампанию по вашему вкусу. И тут в своем выборе тоже руководствуйтесь общим планом книги, которую вы намерены написать. На первый взгляд в предприятии такого рода присутствует нежелательный элемент опасности, но помните, что хорошему стратегу нет нужды приближаться к врагу на расстояние выстрела или даже так, чтобы слышать отголоски его залпов. Он вполне может обойтись картой, справочником, железнодорожным расписанием, циркулем и бутылкой коньяку. Вы должны забраться достаточно далеко, чтобы собрать материал для описания обстановки, будь то пустыня или джунгли. Но обеспечьте себе фон, а остальное просто: не пропускайте ни одного сообщения и редактируйте их так, чтобы оказаться главным действующим лицом. Что бы ни произошло, пусть это происходит с вами. Тут книгу тоже бывает полезно набросать заранее. Для кульминации подойдет засада, в результате которой командир вражеского патруля падает, изрешеченный пулями, но не сдается. Вы будете присутствовать при этом в качестве военного корреспондента (представляя «Обозрение воскресных школ» или, может быть, «Плимутского брата»), и у читателя должно сложиться впечатление, что, в сущности, патрулем командовали вы, а не его номинальный начальник. «Нет, Брайан,— такие гипотетические слова припишут вам,— повернуть следует на юго-восток, с тем чтобы выйти на тропу вот тут, у высоты 237. По моим расчетам, в соприкосновение с противником вы войдете в пятнадцать ноль-ноль, но огня не открывайте, пока не покажется третий патрульный». Все это должно с очевидностью вытекать из той скромности, с какой вы будете подчеркивать, что вся заслуга принадлежит юному лейтенанту.

Пятьдесят процентов ценности вашей репутации будет заключаться в решительном отказе обсуждать былые приключения. Вы должны стать образцом сдержанности. «Говорю ли я на суахили? — повторите вы.— Ну, конечно нет! Я давно позабыл все, что знал. Испанский — вот язык, на котором я мечтаю говорить, как на родном. То есть я имею в виду кастильский диалект. Вы, сэр, несомненно, его знаете?» Или кто-нибудь представит вас приятелю как «нашего отважного путешественника». «Не слушайте его! — скажете вы умоляющим тоном.— Не то вы еще подумаете, будто я побывал в Антарктике! А вы читали книгу Пингуинна о Южном полюсе? Вот это настоящее путешествие!» Или, наконец, хозяйка салона попросит вас рассказать гостям о ваших приключениях. «Но право же, я в жизни своей не слышал ни единого выстрела! Все, что я понаписал там,— это чистейшие небылицы!» И вы скажете правду. Но будьте спокойны — вам никто не поверит.

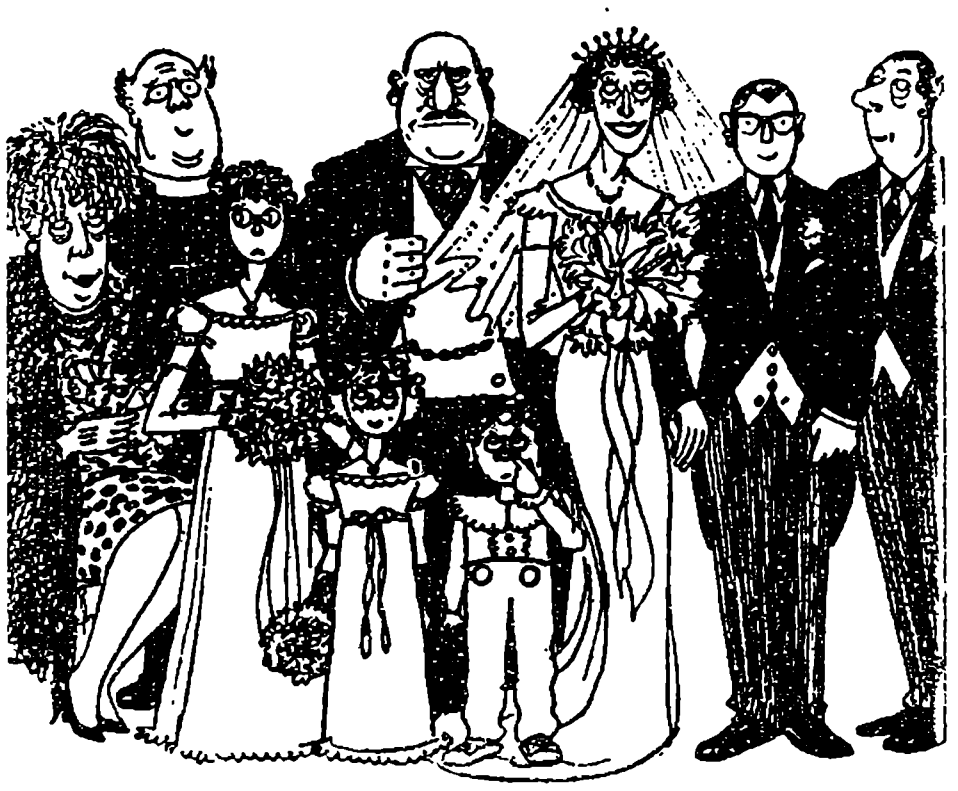
## Зятья и прочие

Солидная биография, пусть ограниченная лишь голосом молвы, а также репутация путешественника, полиглота и бесстрашного искателя приключений — это два весьма полезных преимущества для начала карьеры. Ваши потенциальные соперники рядом с вами кажутся бесцветными, неотличимыми друг от друга, как две капли воды. Однако следующий шаг несравненно более важен. Как вы уже успеете к этому времени убедиться, главная трудность заключается не в том, чтобы принимать правильные решения, но в том, чтобы занять исходный пост, на котором от вас будут ожидать принятия решений. Достичь этого можно несколькими способами — например, подражать тем, кто преуспел, или кончить заочно курсы административного руководства; однако наиболее надежный метод оказывается и наиболее простым. Женитесь на правильной девушке.

Как это делается? Планировать свое путешествие вы начинали с суперобложки книги, которая должна была появиться в итоге.

Планы будущей помолвки стройте по тому же принципу. Изучайте фотографии великосветских свадеб и самую большую из них приспособьте для своих целей. Можете смело исходить из предположения, что почетное место будет отведено жениху, который считается подающим надежды молодым человеком. А так как именно им вы и рассчитываете стать, то и планируйте свои действия по данному образцу. Если фотография, помещенная на странице 17, представляет сцену перед Гвардейской часовней — между двумя рядами офицеров в блестящих мундирах под скрещенными саблями проходят счастливые новобрачные, капитан лейб-гвардии лорд Мотт с юной супругой (в девичестве мисс Пенни Чекк),— вы тотчас сообразите, что ваше венчание таким никогда не будет. Иначе вы не читали бы эту книгу — да и вообще никаких книг не читали бы. Нет, интерес для вас представляют фотографии с пояснениями вроде нижеследующего:

*Невилл Карьеринг с юной супругой, высокородной Шейлой Чванн, после венчания,*



*состоявшегося 14 мая в церкви св. Маргариты, Вестминстер. Невесту, одетую... вел к алтарю ее отец лорд Кассер-Банк. Подружками невесты были ее кузины мисс Пруденс Ассиз и мисс Мэрион Девидент. Шафером жениха был виконт Деббит, среди гостей присутствовали...*

Внимательно изучив эту фотографию, вы придете к правильному выводу, что центральной фигурой венчания был отец новобрачной, а мистер Карьеринг присутствовал там всего лишь в качестве его зятя. Еще немного поразмыслив, вы обнаружите, что высшее общество в значительной мере состоит из зятьев: факт, установленный совсем недавно и известный пока лишь немногим. Человеку, делающему карьеру, следует сразу же уяснить, что отца вам дарит природа, но тестя вы можете выбрать себе сами. Кроме того, от выбора тестя в большой степени зависит ваше будущее. Если вы уже благополучно превратили себя последовательно в старого итонца, путешественника, выпускника Оксфорда и биржевика, вам предстоит принять решение, имеющее критическую важность. Вы должны выбрать себе тестя, предварительно со всей тщательностью изучив вопрос о том, какие тести вам доступны. В предуведомлении к этой книге указывалось, что некоторые примеры жизненного успеха, несмотря на всю свою заманчивость, в какой-то мере бесполезны. Встречая в списке министров такие имена, как маркиз Солсбери, граф Селкирк, граф Хьюм или маркиз Ридинг, читатель может испытать прилив безнадежного отчаяния. Ему может прийти в голову, что планирование его карьеры следовало бы начать пораньше, предпочтительно века четыре назад. Совет «родитесь сыном пятого маркиза Солсбери», несомненно, здрав, но имеет ли он практическую ценность? Какой-то читатель, возможно, и занимает эту выгодную позицию, но данная книга предназначена не для него. Вообще книги, наставляющие, как преуспеть в жизни, пишутся не для сыновей тринадцатого герцога Гамильтона. Эти сыновья, вероятно, сами сумеют о себе позаботиться, а к тому же их процент среди потенциальных покупателей книг абсолютно ничтожен. Советы, изложенные здесь, предназначаются для людей совершенно иного типа — для честолюбивых людей, чей выбор тестя может иметь далеко идущие последствия. Их шанс жениться на богатой наследнице родовых поместий весьма невелик. Зато они могут (читатель этой книги может, если он холост, мужского пола и относительно молод) войти через брак в семью, пользующуюся известным влиянием.

Читатель, возможно, усомнится, реально ли это. Да, это реально, и каждый день приносит тому новые доказательства. Полистайте страницы иллюстрированного журнала, пока не найдете групповой снимок гостей, прибывших на охоту в замок Макплед. Не обращайте внимания на главных персонажей. Нас интересует не граф и не графиня Макплед, не Макинтош лорд Макинтош, не лорд Волынкасл и даже не высокородная Джин Тартан. Нет, вглядитесь в двух молодых людей, завершающих эту группу. Это мистер Найгел Смит и мистер Кристофер Браун. Во-первых, не совсем ясно, что они тут делают. Почему пригласили именно Смита и Брауна, а не Робинсона, Бейкера и Джонса? Что у них есть такого, чего нет у других? Ситуация не лишена таинственности, но факт их присутствия неоспорим. Вот они стоят — оба в охотничьих костюмах, оба с двустволками и как будто совсем не робея от столь близкого соседства с аристократией. Наоборот, они выглядят так, словно фазаний заповедник принадлежит им, чего ни в коем случае не может быть. Эти Смиты и Брауны — будущие зятья, многообещающие молодые люди. Вопрос заключается в том, как попасть в их число. Полезно было бы научиться ездить верхом и стрелять. Можно не сомневаться, что тот мистер Смит, который разрядит оба ствола своего ружья в юбочку лорда Ма-

кинтоша, больше уже никогда не будет приглашен в замок. С другой стороны, следует помнить, что уменье стрелять еще не исчерпывает секрета успеха. Если в замок Макплед будут приглашать в августе всех метких стрелков страны, в заповеднике образуется чрезмерная теснота, и граф с графиней, конечно, это понимают. Таким образом, умелое обращение с огнестрельным оружием может быть очень важным условием, но одного его, безусловно, мало.

Берясь за разрешение столь трудной проблемы, вы с самого начала должны запомнить следующую аксиому: вам вовсе не нужно стараться произвести приятное впечатление на всю аристократию в целом. Нет, изберите себе тестя и начинайте кампанию с него. Кем же он будет? Если бы все подходящие фамилии были собраны в одном каком-нибудь справочнике, ваша задача значительно облегчилась бы, но такого справочника не существует. И без подсказки вы, наверное, уже сообразили, что список тех, кого вы желали бы видеть своим тестем, должен ограничиваться людьми, у которых есть дочери. Сколько молодых людей добивалось расположения богатого пивовара или газетного издателя только для того, чтобы затем обнаружить, что он бездетен или стал отцом лишь бесчисленных сыновей! Такое фиаско — результат глупого легкомыслия и ни малейшего сочувствия не заслуживает. Человек, благосклонность которого вам следует приобрести, должен быть влиятелен, богат и иметь как минимум одну дочь. Из двух возможных кандидатов следует предпочесть отца нескольких дочерей, ибо это увеличит ваши шансы.

Предположим, вы составили короткий список из шести кандидатов. Он включает, скажем, шотландского пэра, недавно ставшего генерал-почтмейстером, баронета из древнего рода с местом в парламенте и очень богатой женой, владельца футбольного тотализатора, султана Гушинг-Аравии, греческого судовладельца и издателя «Воскресных новостей». Предположим, что по каким-то причинам наиболее подходящим кандидатом вам представляется генерал-почтмейстер. Предположим далее, что у него имеются три незамужние дочери, Анджела, Барбара и Вероника, рожденные в алфавитном порядке и достигшие соответственно двадцати шести, двадцати трех и девятнадцати лет. Их отец, четвертый граф Боннибенкс, владеет родовым поместьем Кланвиски в Эллисдисайде и обладает пакетами акций аргентинских, панамских, канадских и никарагуасских компаний. Семья эта кажется подходящей во всех отношениях. Какую же дочь избрать? Идеальный возраст жены равен половине возраста мужа плюс семь лет. Если вам двадцать четыре года, попробуйте заручиться Вероникой, если тридцать один — Барбарой, если тридцать шесть — Анджелой. Если вы планируете свою карьеру с большим тщанием, намечайте Веронику, держа Барбару в резерве. Когда выбор сделан, остается только познакомиться с графом и графиней; для человека малопредприимчивого это — основное препятствие. Однако читателю нашей книги оно вовсе не должно казаться непреодолимым. А потому изучите все нижеследующее с пристальным вниманием. Один из наиболее видных специалистов по современным методам ведения войны часто пишет о стратегии опосредствованного наступления. Насколько такая идея полезна для ведения войны — вопрос спорный, но принцип этот, несомненно, приложим к рассматриваемой нами проблеме. Подлететь к графу и сказать: «Я хочу жениться на одной из ваших дочерей», было бы тактической ошибкой. Тут требуется планирование, тонкость и изящество. Главное — заранее собрать как можно больше сведений об интересующей вас семье.

Начните розыски с составления подробного списка ближайших родственников графа и графини с указанием их фамилий, местопребывания, особых интересов и истинных отношений, в которых они находятся с данным семейством. Предположим, вы составили следующую таблицу:

| Фамилия | Родственные отношения | Истинные отношения | Особые интересы |
|---|---|---|---|
| 1. Виконт Кланвиски | первый брат графа | взаимное глубочайшее отвращение | разводит ангорских кроликов |
| 2. Лорд Эллисдисайд | второй брат графа | нейтральные | держит охоту |
| 3. Высокородный Филип Макрюмкин | третий брат графа | дружен с графом | коллекционирует старинные дуэльные пистолеты |
| 4. Леди Баккара Макрюмкин | единственная сестра графа, незамужняя | нейтральные | вице-председательница общества Предупреждения Практически Чего Угодно |
| 5. Миссис Верреск Тартан | старшая сестра графини; замужем за № 6 | дружна с графиней | горячая сторонница реставрации Стюартов |
| 6. Генерал Дуглас Тартан | шурин графини; женат на № 5 | близок с графом | выслеживание оленей, ужение лосося, рассказы о том, как он выиграл первую мировую войну |
| 7. Мисс Эйлса Макгэлик | незамужняя сестра графини | ожесточенная вражда со всеми; граф ее не выносит | занимается йогой; много времени проводит в Тибете |
| 8. Мисс Тартан | сестра № 6 | близка с графиней | директриса пансиона св. Агаты для благородных девиц |

На самом деле восемью родственниками такая таблица не исчерпывается, но и этих достаточно, чтобы проиллюстрировать принцип, которым вы должны руководствоваться. Для начала решите, кто внушительнее — граф или графиня. Предположим, что обворожить вам следует графа. В этом случае у вас есть выбор из следующих возможностей:

1. Вы можете написать статью, доказывающую, что разведение ангорских кроликов — это порок, перед которым бледнеют злодеяния Нерона.

2. Вы можете разыскать пару редких дуэльных пистолетов и попросить № 3 определить их эпоху.

3. Вы можете вступить в Общество сторонников Стюартов и заслужить расположение № 5.

4. Вы можете написать № 6 и осведомиться, как, по его мнению, была выиграна первая мировая война.

5. Вы можете объявить, что № 7 никогда не бывала в Тибете, или

6. Вы можете прочесть лекцию в пансионе для благородных девиц, который возглавляет № 8.

Не возбраняется испытать все эти подходы одновременно. Внеся истинно художественный штрих, вы могли бы прочесть лекцию в пансионе для благородных девиц о применении старинного огнестрельного оружия, обеспечив присутствие на ней №№ 2, 5, 6 и 7. Для иллюстрации используйте пару дуэльных пистолетов и ангорского кролика в качестве мишени. Убейте кролика первым выстрелом, а вторым нечаянно пораньте тетушку Эйлсу. Закончите лекцию утверждением, что короли династии Стюартов никогда не разводили ангорских кроликов и что первая мировая война едва не была проиграна людьми, которые их разводили, но в последнюю минуту ее все-таки выиграли люди, умеющие выслеживать оленей. Если после этого вас не пригласят в замок Кланвиски, значит, подобная семья не стоит ваших хлопот. Но вероятнее всего, вы через неделю-другую окажетесь там в качестве почетного гостя и Веронике будет приказано выйти за вас замуж, хочет она того или нет. Если с ее стороны воспоследует упрямое нежелание принять участие в этой купле-продаже, вы почти наверное сможете обеспечить себе Анджелу, начав ухаживать за Барбарой. Последует официальная помолвка, и вскоре вы уже вступите в избранный круг всемирных зятьев. Два восхитительных момента ознаменуют это событие. Во-первых, в иллюстрированном журнале появится групповая фотография с подписью:

«В охотничьих угодьях Эллисдисайда. Граф и графиня Боннибенкс, леди Баккара Макрюмкин, миссис Верреск Тартан, высокородный Филип Макрюмкин и генерал Д. Тартан, кавалер ордена «За заслуги» (сидят), леди Анджела и леди Барбара Макрюмкин с мистером Кристофером Брауном и мистером Обри Читаттелем».

Во-вторых, на первой странице более позднего номера того же журнала появится фотография:

«Леди Анджела Макрюмкин, недавно помолвленная с мистером Обри Читаттелем, предполагаемым кандидатом от Норт-Тори».

Леди Анджела будет выглядеть на снимке очаровательной, так как он был сделан шесть лет назад.

И со дня вашего венчания в фешенебельной церкви вы становитесь своим. А почему? А потому, что родственники вашей жены ни в коем случае не могут допустить, чтобы в их семье появился неудачник. Их любовь к вам может быть весьма прохладной, их любовь к ней может резко пойти на убыль, но ваш успех в какой-то мере является делом их чести. Ведь если вы небрежно упоминаете их в разговоре как своих родственников, то и им (хотя и реже) неизбежно приходится упоминать вас. «Сверхнациональная банковская корпорация? — скажете вы.— А как же! Ее председатель — дядя моей жены». «Дорсет? Нет, я там никогда не бывал, но мой дядя по жене держит там охоту, и я с удовольствием предвкушаю наш первый визит туда». «Ловля лососей? У меня до прошлого года никогда не хватало времени ею заняться, но генерал Тартан пригласил меня в свое шотландское имение, и...» Такие упоминания, возможно, не принесут вам ничего существеннее престижа. Но как будет чувствовать себя лорд Боннибенкс, когда деловые знакомые начнут задавать ему вопросы об Анджеле? «Увидим ли мы вашу замужнюю дочь на скачках в Аскоте?», «Что поделывает ваш зять?», «Я слышал, лорд Боннибенкс, что вы стали дедушкой. Поздравляю!» Ради собственного положения ваш тесть будет вынужден сделать вас по меньшей мере директором. Какие бы мрачные предчувствия его ни терзали, ему придется позаботиться о вашем повышении.

# Закон отсрочки

## Мастерство паса

В любой большой фирме и в любом государственном учреждении пасовка происходит в трех направлениях: 1) вниз; 2) вбок; 3) вверх. Отпасовывающий чин сопровождает свое действие телефонным звонком, выбирая слова соответственно:

1) «Это вы, Подчинерс? Говорит Пасмастер. Я отсылаю вам папку с Гибельным предложением, поступившим от Моргана Мерлина. Я считаю, что этим должны заниматься вы. Я не хочу сказать, что вам во-

обще не следовало бы посылать эту папку мне. но я хорошо знаю, что шеф любит, когда инициативу проявляют на всех уровнях. Поэтому примите решение самостоятельно, а потом сообщите мне, к чему вы пришли. Я вполне полагаюсь на ваше суждение».

2) «Это вы, Склепне? Говорит Брайан Пасмастер. Я посылаю вам папку с предложением Моргана Мерлина, которую мне прислали по ошибке. Вы сразу увидите, что наш отдел тут ни при чем. Проблемы могут возникнуть технические и юридические, но никак не административные. Мы всегда с большим тщанием избегаем вторжения в вашу сферу, а подобным вопросом, без сомнения, должны заниматься специалисты. Тем более когда есть человек с такими знаниями и опытом, как вы... Сам я ничего в этом не понимаю. Так ждите. Желаю удачи».

3) «Это вы, мисс Буффер? Говорит помощник заместителя секретаря. Я посылаю сэру Артуру папку с документами, относящимися к предложению Мерлина. Моя сопроводительная записка объяснит ему, почему я не могу взять на себя подобное решение. Его политические и финансовые последствия далеко превышают мои полномочия, и к тому же мой шкаф вряд ли подходит для хранения столь секретных документов. Я знаю, что сэр Артур знает, как ими распорядиться».

Почти каждая присылаемая Пасмастеру папка аккуратно отпасовывается одним из этих способов кому-нибудь еще, поскольку вопрос всегда слишком велик (или слишком мелок), чтобы им мог заняться он сам. Когда папка будет отвергнута всеми остальными отделами и когда его непосредственный начальник прямо потребует, чтобы он сам ею занялся, Пасмастер в конце концов пишет докладную примерно в таком духе:

«Этот крайне важный вопрос, судя по всему, допускает два возможных решения— А и Б. В пользу А говоряг следующие веские моменты:

1) .... 2) .... 3) .... и 4) ....

Имеются, однако, следующие причины, по которым возможно предпочесть Б:

1) .... 2) .... 3) .... и 4) ....

По моему мнению, решение должно принадлежать министру».

Получив подобную докладную, некий государственный деятель написал на полях «Согласен», а после объяснил, что альтернативы, бесспорно, были такими, как в ней указывалось, а потому он ничего не мог возразить.

Применение паса, хотели бы мы подчеркнуть, отнюдь не ограничивается пределами государственной службы, это искусство культивируется в любой большой организации. Однако наибольшее развитие оно получает в пирамидообразных иерархиях, где входящие бумаги рассматриваются сначала на наиболее низком уровне. Подобным иерархиям, кроме того, свойственна тенденция ратифицировать решения нижних уровней с помощью начальственных подписей. Этот процесс начинается с Нижли, к которому папка попадает в первую очередь. Как бы ни был он молод и неопытен, ему скоро становится ясно, что ответом на предложение должно быть либо «да», либо «нет». «Да», прикидывает он, может повлечь за собой дополнительную работу для него лично, а потому он указывает, что ответить следует «нет». Делает он это с легким сердцем, так как знает, что окончательное решение все равно будет принято на более высоком уровне. Скорее всего Подчинерс отклонит его рекомендацию — из чистого принципа, просто чтобы поставить его на место, а затем кто-то еще в свой черед перечеркнет решение Подчинерса. Нижли всего лишь (так он, по крайней мере, считает) придал бумаге начальное движение. Однако оказывается, что Подчинерс в этот день занят чем-то еще и не успевает составить своего мнения. Он рассеянно подписывается под отказом и пересылает папку Среднеру, разумеется, зная, что его решение — не окончательное. Среднер, поглощенный другими делами, машинально подтверждает «нет», а затем пересылает папку Верхмену. Однако Верхмен давно привык полагаться на Среднера, чьи способности выдержали длительную проверку временем, и он передает официальный отрицательный ответ на подпись Главингтону. Беда же пирамидальной структуры заключается в том, что практически все рано или поздно попадает на письменный стол Главингтона, и тот успевает только бросить быстрый взгляд на бумаги, которые он подписывает, рассчитывая, что Верхмен проследил за правильностью каждого решения. И вот посылается ответ на заявление, и ответ этот — «нет». На него потребовалось шесть недель, а потому наивный автор проекта, возможно, вообразит, что его предложение все это время досконально изучалось собраниями специалистов. Но как ни грустно, его вообще никто не рассматривал.

Теневая сторона подобного процесса передачи бумаг по инстанциям заключается в том, что каждый полагается на кого-то другого. Человек, находящийся в самом низу, считает, что те, кто наверху, разберутся лучше. Люди наверху, всегда отчаянно загруженные делами, считают, что вопрос был исчерпывающим образом рассмотрен теми, кто внизу, так как только у них есть время им заниматься. В рассмотренном воображаемом случае каждый из них в отдельности сделал бы несравненно больше, чем все они впятером, поскольку он хотя бы твердо знал, что решение должен принять он сам и один. А так каждый из них думал, что работа будет сделана — или уже была сделана — на другом уровне, хотя в действительности никто абсолютно ничего не сделал. Такова, хотите верьте, хотите нет, совершенно точная картина того, что происходит ежедневно, особенно когда ответ бывает отрицательным. С положительным ответом дело обстоит сложнее, так как возникает вопрос, кто и какие действия должен предпринять в этом случае, ибо одного «да» обычно оказывается еще мало.

Разумеется, было бы неверно заключить, что у семейного очага пасовка — явление неизвестное. День может начаться с того,

что мать попросит отца включить электрокамин, и закончиться тем, что отец спросит мать, выпустила ли она погулять кота. А в промежутке малыш Бобби уговорил старшую сестру Маргарет сделать за него уроки, Маргарет же упросила Джонни накачать заднюю шину ее велосипеда. Таким образом, мы все сходимся на желании децентрализовать ответственность и возложить ее на кого-нибудь еще. Однако, в отличие от общественной жизни, дома лень скрыть не удается. Если кто-то не выполнит своей доли работы, это сразу же становится явным и вызывает соответствующую реакцию. Небольшие организации стоят ближе к семье в том отношении, что ответственных лиц в них мало и они не безлики. Однако переходя ко все более крупным административным учреждениям, мы убеждаемся, что масштаб пересылки бумаг и увертывания от ответственности за решения пропорционально возрастает: это — одна из многих причин, объясняющих, почему небольшие организации оказываются более эффективными.

## Бородатость

Вернулась ли мода на бороды? По-видимому, да. В самых разных странах молодые люди разучиваются пользоваться бритвой. Глядя по сторонам, мы не можем отрицать наметившейся тенденции к оволосению. Если она будет развиваться и дальше, то бородатость, пока еще составляющая исключение, вполне может превратиться в правило. Что будет знаменовать эта мода? Следствие ли это безразличия или доказательство мужественности?

На первый взгляд изменения в том, какой волосяной покров оставляют мужчины на лице и оставляют ли они его вообще, могут показаться незакономерными, хаотичными и столь же, казалось бы, бессмысленно-капризными, как удлинение и укорочение юбок. Однако даже беглого знакомства с историей костюма будет достаточно, чтобы убедить нас, что мода может быть — и часто бывает — исполнена глубочайшего смысла. Турнюр имел свою психологию, а не просто был криком моды. То же самое мы имеем право сказать о бороде. Бороду носили первобытные люди, и она была обязательной принадлежностью многих древних монархий. Почти всюду она считалась символом зрелости, мудрости, старшинства, отличая старейшину племени от безбородого юнца. Первыми взбунтовались против этой традиции греки, которые постепенно начали придавать большое значение юности, здоровью, атлетическому сложению. И то, что возникло как мода, в конце концов превратилось в правило: Александр Великий приказал своим македонцам бриться в порядке военной дисциплины. Он ссылался на то, что во время битвы противник может ухватить воина за бороду. На самом же деле он, несомненно, желал подчеркнуть новизну и свежесть той цивилизации, знаменем которой стал. Пусть на Востоке носят бороду, если хотят,— европейцам она не положена. Именно эту традицию воспринял республиканский Рим, сообщив особый характер этой эпохе величайшей экспансии.

Но что это означало? Почему этому придавалось такое значение? А потому, что за этим стояло отношение к власти. В древних монархиях бородатый, облаченный в длинные одежды патриарх был живым воплощением величия, хотя одежда, возможно, скрывала хилое тело, а борода прятала безвольный подбородок. Каким контрастом служат бюсты римских сенаторов, чьи волевые черты открыты всем взглядам! Еще большим контрастом представляются статуи, изображающие Александра совершенно нагим. Авторитет власти, который восточная традиция связывала с недоступностью и тайной, в эллинистическом мире был доверен открыто демонстрируемым воле и мужественности. О характере человека мы судим в основном по его глазам, рту и рукам. Бородатый пророк с кустистыми бровями, который прячет руки в широких рукавах, может быть (насколько нам дано судить) совершенно лишен ума, юмора, физической силы. И наоборот, избиратели желают не только слушать, но и видеть кандидата на ту или иную должность, подмечая и раздвоенный энергичный подбородок, и злые или упрямые складки у рта, и дряблость, говорящую о порочности или слабости.

С мраком средневековья явились бородатые варвары, а за ними — не менее бородатые последователи ислама. Именно когда Европа пала особенно низко (VI и VII века), франки выбросили бритвы, предоставив все, что осталось от цивилизации, духовенству, и знаменательно, что духовенство тогда же отказалось от бороды. А когда после 1000 года цивилизация вновь начала оживать, ее внешним символом стало бритое лицо. К 1200 году все подбородки были выбриты и не обросли бы вновь, если бы не крестовые походы. Подражая своим мусульманским противникам, многие крестоносцы возвращались на родину, вооруженные, одетые и бородатые, как кочевники пустыни. В Европе XIII и XIV веков было много бород, но к эпохе Чосера мода на бритье взяла верх — настолько, что в 1447 году был издан закон, обязывавший англичан в Ирландии бриться, дабы они отличались от ирландцев.

Прогресс редко протекает ровно, и тут тоже наблюдались отдельные рецидивы, худший из которых связан с Генрихом VIII, отрастившим в 1534 году бороду. Эта французская мода завоевала много сторонников, хотя юристы и духовенство оказали ей стойкое сопротивление. И по сей день судьи и адвокаты почти всегда бывают бритыми, и кто когда-нибудь видел усатого священника? При Иакове I бороды у знати пошли на убыль, при Карле I приняли подстриженную вандейковскую форму и вовсе исчезли при Карле II, носившем только тоненькие уси-

---

НОРТКОТ ПАРКИНСОН
ЗАКОН ОТСРОЧКИ

ки. Для Англии, а может быть и для Европы в целом, столетия, протекшие с 1650 по 1850 год, представляют период высочайшего взлета. И на протяжении почти всего этого периода бритый подбородок наблюдался на Западе повсеместно. Если писатель XVI века еще мог указать, что «пировать все были рады и весело тряслись их брады», то не нашлось бы ни одной бороды, чтобы размазать чернила на Декларации независимости. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство равно были созданы бритыми и для бритых. Усы начали появляться в британской армии с 1798 года, и при Ватерлоо их можно было бы насчитать в немалом количестве, что только доказывает правило. Бакенбарды же в конце концов превратились в символ лакейства, и их некоторое время носили только дворецкие, кучера, лакеи, жокеи и грумы.

Первый значительный регресс современная западная цивилизация испытала в 1845—1850 годах. Трудно понять, почему, собственно, это произошло, но сам факт неоспорим. Со всей очевидностью это проявилось, например, в архитектуре. Мгновение назад (1845 год) люди строили удобные, хотя и пресноватые дома классического образца, а мгновенье спустя (1847 год) они принялись воздвигать романтические нелепости. За этим немедленно последовала мода на острые бородки, утвержденная Наполеоном III и Третьей империей. Был период, когда театрального француза сразу узнавали среди остальных действующих лиц по этому волосяному придатку, но затем крымская война сблизила англичан и французов. Французские генералы — Сент-Арну, Канробер, Боске, Пелисье — все были бородаты до начала кампании. Англичане — Раглан, Кардиган, Эванс, Браун, Бургойн и Кэмпбелл — щеголяли бритыми подбородками. Когда в 1856 году кампания закончилась, в Англию вернулись бородатые курильщики сигар. Выходя в отставку, они селились в ужасающих виллах и сентиментально давали им названия сражений, в которых им довелось участвовать. Затем возникло волонтерское движение и превратило всех мужчин Британии в солдат, давая им право — а одно время и вынуждая — отращивать усы. Вот так бороды и усы распространились повсюду — наиболее густым этот лес был в 80-х и 90-х годах. Мужское лицо начало выбираться из зарослей к 1900 году, к 1910 году оно было уже довольно ясно различимо, а затем вплоть до наших дней последовательно оставалось бритым — в британском флоте разрешалась борода (но не усы), а в британской армии разрешались усы (но не борода).

Этот краткий исторический очерк позволяет сделать следующий четкий вывод: бритое лицо на Западе всегда ассоциировалось с периодами расцвета. Борода характеризовала периоды упадка и неуверенности. Борода явно была маской, позволявшей скрыть колебания и сомнения, которых в период между 1650 и 1850 годами не было и в помине. Как это можно доказать? Оглянемся еще раз на последние бородатые полвека — с 1858 по 1908 год. Архитектура была на пределе падения и несколько оправилась только к 1890 году. Живопись практически умерла и воскресла только на исходе столетия. Костюмы никогда — ни раньше, ни позже — не были столь чопорно-непрактичными. Мебель достигла предела безобразности, неудобства и тяжеловесности. Театр был бездыханен, а великая музыка оставалась наследством, полученным от прошлого. По всем меркам этот период оказывается на редкость непривлекательным.

Но почему же борода стала необходимой принадлежностью этого расстройства всего и вся? А потому, что она была чащей, в которой люди постарше могли прятать свое смятение. Пожилой проповедник, от которого требовали научных доказательств истинности Книги Бытия, мог отступить за баррикаду, как бы воплощавшую мудрость веков. Главнокомандующий, которому указывали на скверную организацию армии, мог скрыться за своей бородой, а дымовая завеса его сигары укрывала этот отход от посторонних глаз. Викторианский учитель, которому задавали скользкие вопросы о взаимоотношениях полов, уклончиво отгораживался от них все той же бородой. А викторианский распутник, подвергнутый допросу супругой, мог безопасно пылать румянцем стыда, не видимого миру. Борода заменяла мудрость, опыт, доказательства и искренность. Она давала старику престиж, не опиравшийся ни на полезно прожитую жизнь, ни на ум. Она могла служить и служила ширмой чванству, напыщенности, мошенничеству и глупости.

И вот теперь наблюдаются признаки грядущего возвращения бороды. Если она вернется, можно не сомневаться, что назначение ее останется прежним. Молодые люди, бородатые сегодня, могут еще гуще обрасти волосами, когда достигнут средних лет.

А если они сейчас не в состоянии решить, во что они верят и чего пытаются достичь, то в зрелые годы их растерянность только усугубится. Сомкнем же ряды искренности против будущих бородачей! Долой таинственность и игру в прятки! Покажемся друг другу такими, какие мы есть!

## Зловредные неттеры

Недавно проведенные исследования показали, что административный аппарат, как государственный, так и частных компаний, характеризуется наличием двух вертикальных каналов. С одной стороны имеется канал, по которому решения, принятые на верхнем уровне, спускаются к основанию пирамиды, а с другой—пролегает канал, по которому заявления, предложения и просьбы продвигаются от основания к вершине. По административному каналу движение идет от Главы к Тому, Кто Знает Все, далее к ободрителям (старшему и младшему) и, наконец, к кивальщикам. Согласно этой теории входящие предложения поступают в созерцательный канал и рассматриваются последовательно качателями, неттерами (младшим и старшим), Теми, Кто Ничего не Знает, и в конце концов — Главой. Эта теория вызывает два возражения: во-первых, она не соответствует тому, что нам удалось обнаружить опытным путем, а во-вторых, не объясняет, каким образом некоторые идеи все-таки достигают Главы. На самом же деле созерцательная сторона административной пирамиды редко бывает только негативной. В реальности, как мы убедились на опыте, противоположные типы администраторов на разных уровнях чередуются. То есть зловредные неттеры смешаны с обаятельными ободрителями, и кивальщики разбавлены качальщиками.

В результате посторонний человек, желающий предложить какую-то свежую идею, бьется в перемежающейся лихорадке надежды и отчаяния. Для пояснения прибегнем к наглядному примеру. Представьте себе главную контору или министерство. Под левой мышкой посетителя зажат проект, план, чертеж или блистательная мысль. С легким трепетом он входит в кабинет мистера Паннибратта, одетого в полуспортивный костюм и сияющего неофициальной улыбкой.

— Входите, входите, мистер Прожектер. Садитесь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло. Извините, я только пошлю за вашей папкой. Валери, будьте добры, папку с предложением мистера Прожектера. Я ее брал вчера... А, вот она! Спасибо, Моника, вы сегодня ослепительны... Приглашены на завтрак? Ну, так мы не будем ждать вас раньше четырех... Ну, вот ваша папка, со всеми документами. Я с большим тщанием изучил ваш план и не нахожу никаких возражений. Я считаю его весьма интересным. Вас остается только поздравить — с каким остроумием и блеском вы обошли главный технический камень преткновения! Блестящий выход, и изложен он с абсолютной ясностью! Я полностью поддерживаю ваше предложение.

— Так мы можем уже приступать? — спрашивает мистер Прожектер, не веря своим ушам.

— Да-да, разумеется.

— Как? Прямо сейчас?

— Да, прямо сейчас. То есть почти. Как только мы получим подпись Главы. Но я не предвижу никаких затруднений.

— А сами вы дать окончательное одобрение не можете?

— Собственно говоря, нет. Но я могу представить соответствующее заключение помощнику заместителя. А уж он уполномочен дать окончательное одобрение и, несомненно, даст его.

— Вы крайне любезны.

— Ну что вы! Это же наша обязанность — помогать полезным начинаниям, а не препятствовать им только из любви чинить помехи. Мы же здесь для того, чтобы всеми силами служить полезному делу. Это наша работа... Видите, я вписал в сопровождающий лист мое безоговорочное одобрение. Теперь нужно только поставить подпись — вот так. И можно несколько ускорить процедуру. Валери, будьте умницей, найдите мне наклейку «срочно»... да, да, красную. Она самая, благодарю вас. Приглядите, чтобы эта папка была отправлена прямо помощнику заместителя. Приходите завтра в это же время, мистер Прожектер, и на следующий день вы сможете уже приступить. Если у вас возникнут какие-нибудь затруднения, звоните прямо мне по внутреннему телефону — номер триста семьдесят четыре. Был очень рад познакомиться с вами, мистер Прожектер. До свидания, и желаю вам всяческих успехов с вашим планом. И больше ни о чем не беспокойтесь.

На следующий день Прожектеру объявляют, что помощник заместителя может принять его только в 12.30. После некоторого ожидания в приемной в 13.45 его впускают в маленькую скудно обставленную клетушку, где обитает мистер Айвор Барьер, которого отличает траурный костюм, очки без оправы и бегающие глазки.

— А, мистер Прожектер, я ознакомился с вашим планом...

— Надеюсь, пояснительная записка достаточно ясна. Но если надо что-то добавить, я сделаю это с большим удовольствием.

— Не нужно. Предложение сформулировано вполне ясно. Беда в том... Мисс Шнурр, закройте, пожалуйста, окно. Сквозит... Так что я говорил? А, да! Беда в том, что этот план непрактичен, неприемлем и, возможно, противозаконен. На мой взгляд, ни о каком его обсуждении не может быть и речи.

— Но почему же?

— Абсолютно и совершенно невозможно. Я полагаю, что даже Паннибратт должен

---

НОРТКОТ ПАРКИНСОН
ЗАКОН ОТСРОЧКИ

был понять это. Хотя бы из финансовых соображений.

— Но ведь...

— Не может быть и речи, мистер Манжет. Возражения против этого проекта столь же многочисленны, как и непреодолимы. (Мисс Шнурр, заткните бумаги под раму. Я *все еще* чувствую сквозняк...) Нет, мистер Манжет, это неосуществимо.

— Вы уверены, что у вас моя папка? Моя фамилия — Прожектер, а не Манжет.

— Значит, по-вашему, я занялся бы подобным делом, не потрудившись заглянуть в правильную папку?

— Но ведь фамилию вы назвали неправильно?

— И это доказывает, что работа здесь ведется небрежно, бестолково и халатно?

— Я этого не говорил.

— А я считаю, что говорили.

— Следовательно, вы предубеждены против меня и должны передать дело на рассмотрение какого-нибудь вышестоящего лица.

— Именно это я и намерен сделать. А вас я попрошу покинуть этот кабинет, не дожидаясь, чтобы я вызвал полицию. И пожалуйста, без рукоприкладства! Ваше предложение отвергнуто. Это окончательный ответ, и несдержанные выражения вам не помогут. Всего хорошего, сэр.

Десять дней спустя мистер Прожектер робко вступает в кабинет помощника директора, не зная, чего ожидать на этот раз. Однако он напрасно тревожится, ибо мистер О. Такрад и любезен и исполнен желания всячески ему содействовать.

— У меня тут докладная записка Барьера, но не будем принимать ее слишком всерьез. Вероятно, вы были у него в обеденное время. Чрезвычайно добросовестный работник, но несколько раздражителен в определенные часы. Ну так о вашем плане: не вижу особых возражений. В принципе его вполне можно принять. И я с большим удовольствием сейчас же сделал бы это. Однако ввиду возражений Барьера ваш план необходимо передать на рассмотрение заместителю директора. Я буду всячески рекомендовать, чтобы он одобрил ваше предложение как имеющее первостепенную важность.

Неделю спустя мистер Прожектер уверенной походкой входит в кабинет заместителя директора и видит перед собой высокого исхудалого человека с измученным лицом, который безнадежно устремляет взгляд в неведомое, но ужасное будущее. Это мистер Склеппе. Держа папку в одной вялой руке, другой он указывает посетителю на стул. Следует молчание, длящееся одну-две минуты, затем мистер Склеппе вздыхает:

— Нет...

Спустя еще минуту он бормочет:

— Невозможно...

Затем, наконец, осведомляется:

— Взвесили ли вы все трудности? Финансовые? Политические? Экономические? Оценили ли возможную реакцию за границей? Составили ли прогноз того, как отнесется к этому Организация Объединенных Наций? Мне очень жаль, мистер Прожектер, но у меня нет выбора. То, что вы предлагаете, явно неосуществимо.

В заключение он передаст дело на рассмотрение более высокой инстанции. Но нам нет нужды следовать за этой папкой вплоть до логического завершения ее странствований. Читателю уже должно быть ясно, что обаятельные ободрители строго чередуются со зловредными неттерами. А потому окончательное решение вопроса зависит от числа уровней в каждой данной организации или, точнее говоря, от четности уровня, на котором будет принято решение.

Изучение этой системы административного поведения позволило вывести некоторые правила, которые полезно соблюдать тому, кто намерен за чем-либо обратиться в государственное учреждение или частную контору. Нетрудно понять, что первое правило гласит: не отступайте. Посетитель, навеки покинувший пределы здания после беседы с Барьером или Склеппе, так и не познакомился бы с мистером Такрадом и не был бы принят начальником Склеппе мистером О'Кеем. А потому следует упрямо продолжать, пока вы не доберетесь до ободрителя.

С подобной ситуацией мы постоянно сталкиваемся, отправляясь за покупками. Продавщица немедленно заявляет:

— Нет, у нас нет крема для бритья «Сопвит». Он не пользуется спросом.

Опытный покупатель тотчас замечает, что продавщице просто лень посмотреть, есть у нее требуемый товар или нет. Поэтому он решает ждать. Находит табурет и садится, всем своим видом выражая бесконечное терпение. Через десять минут продавщица, которой противно на него смотреть, достает «Сопвит», бормоча, что вот случайно завалялся тюбик. На самом деле ей пришлось вскрыть новый ящик, но упоминать об этом не стоит. Соль в том, что настойчивость привела к победе. В вышеприведенных гипотетических примерах очередной представитель администрации каждый раз механически пересылает дело в следующую инстанцию. В реальной жизни он может не сделать и этого А потому следует сидеть и терпеливо ждать. Говорить что-либо особого смысла не имеет. Просто сидите и смотрите на него пристальным взглядом, пока раздражение не понудит его к действиям. Личный вкус, равно как и привычка, побудят его отпасовать дело кому-нибудь еще. А это — очко в вашу пользу, так как оказать вам меньше содействия следующий представитель администрации физически не может, зато у вас появляется шанс, что он будет более любезен.

Второе правило гласит: максимально используйте ободрителя, когда вы до него доберетесь. На этот раз ваша цель — добиться решения на месте и воспрепятствовать передаче дела дальше по инстанциям. Вы уже успеете на опыте убедиться, что непосредственным начальником ободрителя обычно бывает неттер. Поэтому любой ценой убедите ободрителя, что право последнего голоса принадлежит ему Для этого всячески сожалейте, что подчиненные позво-

ляют себе отнимать время у человека, занимающего столь высокий пост, подобными пустяками.

— Поверьте, мне очень стыдно,— повторите вы несколько раз,— отнимать у вас столько времени. Конечно, я только рад возможности обсудить этот вопрос со столь ответственным лицом. Убеждать подчиненных — занятие весьма утомительное. Однако подобная проблема никак не заслуживает вашего внимания...

Согретый жаром вашего восхищения ободритель способен тут же поставить на документе свою подпись и слово «одобряю», тем самым обязав свое начальство придерживаться определенной линии поведения, о которой тому ничего не известно,— что вам, собственно, и требовалось.

Третье правило гласит: не тратьте времени на неттера, как только убедитесь, что он — это он. Существует распространенное заблуждение, будто неттера можно убедить логическими доводами и что в конце концов он все-таки способен сказать «да». Это свидетельствует лишь о полном непонимании его натуры. Автоматический отказ неттера рожден не какими-то конкретными возражениями против вашего предложения. Он говорит «нет» потому, что так ему проще, и потому, что никогда ничего другого не говорит. Скажи он «да», его могли бы спросить, чем вызвано его согласие. Одобри он что-нибудь, и проведение одобренного плана в жизнь потребует от него лишней работы. А если новшество окажется неудачным, ответственность за принятие несовершенного проекта могут возложить на него. Ответ же «нет» относительно безопасен. Он не требует объяснений, так как вышестоящих можно вообще не ставить в известность о полученном предложении. «Нет» не требует дополнительной работы, так как не влечет за собой никаких действий. А план, который не испытают, не может потерпеть неудачи. Единственная опасность заключается в том, что посетитель сумеет все-таки добиться своего обходным путем; но даже последующее принятие отвергнутого им проекта не особенно тревожит неттера. Если дело кончится неудачей, он не понесет ответственности, а в случае успеха мало кто вспомнит об его отказе. А тем, кто вспомнит, можно сказать, что план этот в его первоначальной форме был непрактичен и что его успех после доработки во многом объясняется конструктивной критикой, которой он был подвергнут на ранней стадии. Позиция неттера почти неуязвима.

Успешное применение изложенных здесь принципов зависит не от полезности проекта, а от предварительного обзора организации, куда вы его несете. Сосчитайте уровни и определите местонахождение неттеров. Составьте диаграмму и обозначьте неттеров черными квадратиками, точно в кроссворде. Затем спланируйте свою кампанию так, чтобы, избегая черных квадратиков, зигзагом переходить от одного одобрителя к другому вплоть до уровня, на котором уже может быть принято окончательное решение. Лоцман не убеждает рифы, он их огибает.

Однако было бы ошибкой полагать, будто эти три элементарных правила исчерпывают проблему. Наши исследования находятся еще в начальной стадии.

## Закон отсрочки

В нашем непрерывно меняющемся мире нет ничего постоянного, и, судя по последним исследованиям, зловредные неттеры вытесняются заградительными волокитчиками. Вместо того чтобы сказать «нет», ЗВ говорит «в надлежащее время» (по-научному — ВНВ), каковые слова знаменуют отказ через отсрочку (по-научному — ОО). Теория ОО опирается на примерное установление того, какая отсрочка окажется равной отказу. Если утопающий зовет на помощь и слышит в ответ «в надлежащее время», то промедление, скажем, в пять минут с практической точки зрения представит собой отрицательный ответ. А почему? А потому, что отсрочка превышает предполагаемую продолжительность жизни неумелого пловца. Тот же принцип сохраняет силу и в судебных процессах. А, разведясь с Б, требует контроля над воспитанием их семнадцатилетней дочери и слышит от своего адвоката, что она достигнет совершеннолетия еще до конца судебного разбирательства. В сфере купли-продажи А получает извещение от владельца магазина, что заказанная им машина для стрижки газона может быть доставлена ему только через шесть месяцев (то есть в декабре). Все это — простейшие случаи ОО.

НОРТКОТ ПАРКИНСОН
ЗАКОН ОТСРОЧКИ

Там, где неотложный вопрос требует нового законодательного разрешения, отсрочка приобретает иное качество. Тем не менее обдуманная пауза и тут будет соответствовать предполагаемой продолжительности жизни человека, ратующего за реформу. Если дело касается закона о разводе, который явно нуждается в пересмотре, заградительный волокитчик сначала наведет справки о возрасте и здоровье ретивого реформатора. Взяв возраст в 70 лет за основу своих расчетов и внеся поправку в соответствии с конкретными и частными данными, он приходит к выводу, что реформатор А. имеет для активного возмущения тихих вод еще восемь лет. И отказ через отсрочку (ОО) подразумевает тут разработку процесса, благодаря которому «в надлежащее время» (ВНВ) будет в этом случае означать «спустя девять лет». Осознания, что ОО превышает предполагаемую продолжительность активной жизни (ППАЖ) реформатора, нередко оказывается достаточным, чтобы убить идею еще в зародыше. Ведь бескорыстный борец за идею, узнав, что она не может быть осуществлена при его жизни, обычно приходит к выводу, что она вообще неосуществима. Если полезная реформа, как иногда случается, все-таки бывает проведена, это происходит потому, что реформатор продолжает жить и работать, намного превысив положенный ему разумный предел. Реформатор, например, может пережить ЗВ, который поэтому особенно ненавидит реформаторов намного моложе себя. Таким образом, не исключены случаи, когда фактор ВНВ уступает в длительности ППАЖ, и вот в результате появляется какая-нибудь половинчатая реформа. Однако средний реформатор или новатор обычно предпочитает махнуть рукой, и ЗВ со свежими силами готовится тем же приемом покончить с очередным предложением. Итак, мы видим, что отсрочки сознательно придуманы как особая форма отказа и растягиваются, с тем чтобы превысить предполагаемую продолжительность жизни лица, чье предложение кладется под сукно. ОТСРОЧКА — ЭТО САМАЯ СМЕРТОНОСНАЯ ФОРМА ОТКАЗА. Таков Закон отсрочки. В математической форме его можно представить как уравнение, где:

P — ППАЖ, или предполагаемая продолжительность активной жизни лица, от которого исходит предложение о реформе;

m — ВНВ, или время, проходящее между первым предложением и окончательным решением;

n — количество не относящихся к делу моментов, которыми осложняется обсуждение, и

p — возраст заградительного волокитчика.

$$x = \frac{(P + n)^m}{3p}.$$

Икс здесь дает протяженность отсрочки, равную отказу.

На этом этапе наших рассуждений необходимо подчеркнуть, что ЗВ редко говорит прямо:

— На протяжении вашей жизни это осуществить невозможно.

Он позволяет указанному факту выявиться потихоньку, в процессе обсуждения.

— В первую очередь нам следует,— провозглашает он, словно желая всеми силами содействовать этому замечательному начинанию,— создать проектную комиссию. Она составит общий проект, различные разделы которого будут переданы на заключение в подкомиссии, образованные для рассмотрения юридических, экономических, цинических, технических, политических, истерических, статистических, исторических, хронических и статических аспектов проблемы. Подкомиссии составят доклады для проектной комиссии, которая затем подготовит общий предварительный доклад, каковой будет предложен для рассмотрения процедурной комиссии, которая соберется не позже 1975 года. Задача этой комиссии — разработка процедуры, которой мы должны будем следовать для принятия решения о том, имеются ли основания для дальнейших шагов.

Переведя дух, ЗВ закончит рассчитывать на обороте конверта, какая отсрочка будет равна отказу. Предложив было процедуру, которая протянется до, скажем, 1977 года, он затем установит, что искомая дата — 1980 год, и тогда продолжит свою речь следующим образом:

— Предположим — а я подчеркиваю, что это отнюдь, отнюдь не пустая формальность,— предположим, что заключение потребует дальнейших действий. В этом случае заключительный доклад комиссии будет передан в межминистерскую рабочую группу, которая предложит состав планирующего комитета. Обязанностью планирующего комитета будет установление контакта с постоянным заместителем министра внутренних дел, который доложит рассматриваемый вопрос министру. Если министр одобрит проект, о нем будет доложено на конференции его партии в Скегнессе. А уж конференция решит, насколько благоприятен момент, учитывая, что до всеобщих выборов остается так мало времени (или что после всеобщих выборов прошло так мало времени). В зависимости от решения конференции министр даст те или иные инструкции Однако на этом этапе он может лишь признать необходимость дальнейшего изучения вопроса.

Обычно этого уже бывает достаточно, чтобы покончить с предложенной реформой, хотя против нее не было сказано ни слова.

Обойти паркинсоновский Закон отсрочки так же невозможно, как и закон тяготения. Но если благодаря своей изобретательности человек все-таки научился летать, то, быть может, ему удастся когда-нибудь найти способ снабжать крыльями и идеи.

*Перевод с английского И. ГУРОВОЙ*
*Рисунки художника О. ЛАНКАСТЕРА*

*(Окончание следует)*

Заметки на полях

# ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР

**Еще в начале века в странах Западной и Центральной Тропической Африки почти не существовало ни профессионального искусства, ни письменной литературы.**

**Вышедшая в 1967 году в Париже антология негро-африканской литературы уже содержит десятки имен африканских поэтов, прозаиков, драматургов, пользующихся в настоящее время всемирной известностью. Творчество Л. С. Сенгора, Ч. Ачебе, А. Тутуолы, М. Бети, Б. Диопа, С. Усмана, Г. Окары, В. Шойинки и многих других является заметным вкладом в мировую литературу и измеряется в том же масштабе ценностей, что и творчество любого талантливого писателя, независимо от его национальной принадлежности.**

**Однако перед африканскими писателями и художниками стоит немало проблем. Их сложность и острота обусловлены противоречивым характером и многообразием тех факторов, под влиянием которых складывается профессиональное художественное творчество в независимых странах Африки. В процессе борьбы за равноправие с другими народами, за признание своей самобытной культуры африканское искусство и литература приобрели определенные специфические черты.**

«Негритянская литература несет на себе явные стигматы этой борьбы»,— замечает составитель «Негро-африканской антологии» Л. Кестело.

**Концепция «негритюда» с ее крайностями, спровоцированными в свое время крайностями белого расизма, продолжает оказывать заметное влияние на взгляды некоторой части африканской интеллигенции даже в тех случаях, когда они сами не считают себя ее приверженцами. Довольно распространен, например, такой подход к произведениям литературы и искусства, когда они рассматриваются в первую очередь не в плане их содержательности и художественной полноценности, а с точки зрения того, в какой мере они являются «африканскими». Причем далеко не всегда ясно, какое содержание вкладывается в понятие «африканские традиции».**

**В то же время существует и другая, прямо противоположная тенденция. Отдельные писатели, художники, а иногда и целые художественные школы попадают под влияние «новейших» европейских течений. Это не может не встречать резкой критики со стороны африканской интеллигенции, озабоченной сохранением своего культурного наследия.**

**В этом смысле заслуживает особого внимания статья нигерийского писателя и критика Джозефа Окпаку в одном из последних номеров журнала «Лотос», где он справедливо критикует тех африканских писателей, которые «сознательно лишили себя африканской аудитории в угоду западному[1] читателю». Вместе с тем нельзя обойти молчанием содержащиеся в этой статье отдельные положения, ведущие к самоизоляции и узкому национализму.**

«Когда Шекспир писал, он не преследовал цель быть понятным африканцам,— говорит Окпаку.— Он сознательно писал для Англии и для остального цивилизованного Запада. Поэтому, чтобы полностью понять его, мы должны изучить английскую культуру, особенно состояние ее во времена Шекспира.

[1] Слово «западный» африканские авторы употребляют в самом широком смысле применительно ко всему неафриканскому, неазиатскому.

Точно так же и африканскому писателю следует заботиться о создании прекрасного и значимого искусства для своей африканской аудитории. Тогда неафриканец, заинтересованный в понимании этого искусства, вынужден будет приложить необходимые усилия для изучения африканской культуры».

**Указание на то, что «африканским писателям следует заботиться о создании прекрасного и значимого искусства для своей африканской аудитории», безусловно справедливо, особенно учитывая существующую в настоящее время в литературе и искусстве тенденцию к созданию африканской экзотики на экспорт. Но выбранный пример не столько подтверждает мысль автора, сколько предостерегает от крайностей, которые ведут к превращению средств в цели. Если Шекспир и не думал специально об африканцах, то это, конечно, не значит, что он сознательно стремился ограничить круг своих читателей. Его творчество понятно без всякой специальной подготовки образованным африканцам, так же как всему остальному цивилизованному миру.**

**Последовательно развивая свою программу «тотальной африканизации», Окпаку особые требования предъявляет критике:**

«Критика африканских произведений искусства должна в первую очередь исходить от африканцев и основываться на африканских критериях... Западные критерии разрабатываются в западных традициях и применяются западными критиками для анализа и критики произведений западной литературы для западного читателя... Западный критик, глубоко изучивший культуру Африки, философские и эстетические аспекты данного произведения, может говорить о нем только своим западным читателям. Для африканской аудитории это должен делать африканец».

**Нам кажется неправомерным само понятие «западные критерии». В лоне западноевропейской культуры существуют принципиально различные взгляды на искусство, основывающиеся на разной идеологической платформе. К тому же и в эстетическом плане нельзя говорить о неких единых критериях: в русле тех или иных художественных традиций развиваются десятки школ и течений.**

**Оставляя в стороне вопросы о том, почему обращение к африканской аудитории должно непременно исходить от африканца и кого следует считать африканцем (вопрос, который, кстати, оказался весьма сложным при ближайшем ознакомлении), посмотрим, в чем должно состоять, по мнению Дж. Окпаку, отличие «африканских критериев критики» от «западных».**

«Все его (западного критика.— **В. М.**) сопоставления,— говорит Окпаку,— берутся из фондов западной литературы и всей западной культуры. По тем же законам африканский критик, пытаясь донести произведения африканской или какой-либо другой литературы до африканцев, должен использовать все богатство африканской культуры. Он должен заимствовать образы из африканской эстетики. Иными словами, он должен использовать африканские критерии критики».

**Трудно согласиться с утверждением автора о том, что все «сопоставления западного критика берутся из фондов... западной культуры». Принципы современного литературоведения, искусствоведения и т. д. требуют от исследователя (будь то западный или африканский) опоры на всю сумму знаний, накопленной в данной области и не ограниченной какими-либо территориальными рамками. Так, например, для изучения древнейших памятников африканского искусства — наскальной живописи Сахары — большое значение имеет их сравнение с аналогичными памятниками, существующими на других континентах, а для анализа некоторых направлений европейского искусства первой четверти XIX века оказывается весьма плодотворным сопоставление их с традиционным искусством Африки и Океании.**

**Вернемся, однако, к «африканским критериям критики». Окпаку считает:**

«Логичнее всего искать их в африканской эстетике. В частности, следует рассмотреть традиционные формы нашего творчества, а также самобытные (еще неизученные) вкусы современной Африки и наше отношение к различным формам искусства. То, что вкусы африканцев часто отличаются от западных, сомнению не подлежит. За исключением страдающих отчуждением, африканцы в большинстве своем требуют от музыки прежде всего ритма. Вот почему многие воспринимают классические музыкальные произведения как набор «шумов». Изучение фольклора выявляет африканскую концепцию литературы как нечто большее, нежели печатное слово. Нередко непременным элементом народного творчества служит музыкальное сопровождение, голос и инструмент (интонация и мимика также очень важны для поддержания интереса аудитории). Отсюда подчеркнутое внимание в африканском романе к красоте голоса как естественный переход от традиций устного творчества».

**Суть этого рассуждения заключается в том, что критический анализ современного профессионального художественного творчества должен целиком базироваться на**

# *Художники Танзании*

**Сэм Т. Нтиро. Мсасани Мукэт**

**Вильям Мача. Деревня Уджамаа**

**Луис Мбугуни. За водой**

А. Х. Табир. Выпрямление волос

Вильям Мача. Паника

Сэм Т. Нтиро. Уборка кукурузы

сопоставлении его с традиционными формами африканского искусства, так как, в частности,

«изучение фольклора выявляет,— по мнению Окпаку,— африканскую концепцию литературы».

О том, что существует некая «африканская» концепция искусства, не имеющая ничего общего с «западной», или «европейской», говорится уже давно. При этом обычны ссылки на традиционное африканское искусство, которое якобы не имеет ничего общего с художественным творчеством других народов. Одной из отличительных, собственно «африканских» особенностей традиционного художественного творчества считают его синкретический, недифференцированный характер.

Нигерийский скульптор Бен Энвонву, выступая на коллоквиуме по негритянскому искусству в Даккаре в 1967 г., говорил:

«Прежде африканская концепция искусства сливалась воедино со всеми другими концепциями жизни. Она не была ни объективированной, ни аналитичной... Африканская концепция искусства вытекает не из самого искусства, но из социально-религиозного идеологического комплекса... То, что мы называем искусством в западном смысле этого слова, не имеет ничего общего с тем, что является искусством в африканском смысле этого слова... В конечном итоге африканское искусство не следует европейской концепции, оно есть призыв духов предков, для которых созидается форма, конкретное тело, чтобы они могли войти в человеческий мир».

Действительно, в родо-племенном обществе не существовало сложившейся системы взглядов на искусство: маски, статуэтки и другие художественные изделия рассматривались не как производное от действительности, не как ее отображение, а как ее продолжение, как сама действительность, что подтверждается и отсутствием в африканских языках обобщающего понятия «искусство». Но эта особенность является не этнической или континентальной, а стадиальной особенностью, присущей определенному периоду развития всякой культуры.

Суть старого, традиционного искусства — в его глубокой органической связи с мировоззрением, со всем родо-племенным укладом жизни. Его притягательная сила, неотразимая подлинность — в абсолютной необходимости, точном, функциональном, а не в декоративном, товарном или каком бы то ни было другом назначении.

«Искусство не статично,— говорил в том же выступлении Б. Энвонву.— Так же как культура, оно развивается, и было бы реакционно считать, что современное искусство Африки будет похоже на старое; тогда оно не дало бы полного представления об Африке. Африканское искусство всегда, задолго до вторжения западных влияний, развивалось, применяясь к новым условиям. Короче говоря, африканское искусство до настоящего времени развивалось, следуя общей тенденции культурной эволюции.

Но теперь молодые африканские живописцы и скульпторы порой умышленно деформируют изобразительные элементы, чтобы придать им «типично африканский стиль...»

Отказ от национальных художественных традиций был бы так же пагубен, как и искусственное культивирование и консервация старых форм. Преемственность — основа основ всякого культурного развития. Но не создание микроклимата — когда в условиях искусственной изоляции ведется своеобразная борьба со временем, вырабатываются псевдонациональные стили и т. д.,— а глубокое осмысление ведущих тенденций современного культурного развития в сочетании с пониманием закономерностей эволюции местных художественных форм позволит современным деятелям искусства, как справедливо заметил Б. Энвонву,

«найти направление и точные цели, чтобы отразить не искаженный образ типичных качеств старого искусства, а устремления новой Африки, преображенной соприкосновением с западной культурой».

Современная африканская литература и профессиональное искусство отличаются от традиционных видов художественного творчества не меньше, чем европейские, потому что они уже созданы как самостоятельные виды духовной деятельности, стали индивидуальным делом, профессией — то есть базируются на той основе, на которой возникает концепция искусства. Не «другая» концепция, но концепция вообще, так как самостоятельная система взглядов на искусство появляется не раньше, чем само искусство вычленяется в самостоятельную категорию. В этом смысле концепция искусства (не как конкретная, определенная система взглядов, а как осознанное соотношение между искусством и другими видами человеческой деятельности) не является ни европейской, ни африканской. Это основа всякого профессионального художественного творчества, и она существенно отличается от той, на которой в свое время возникли фольклор и традиционное искусство, и не только африканское, так как точно такое же положение существует или существовало во всех традиционных обществах — от Аляски до Океании и Австралии.

**Директор родезийской национальной галереи, известный деятель африканского искусства Франк Макевен, анализируя положение в современном искусстве Африки, писал:**

«История искусства знает периоды перемен, во время которых новые направления мысли приводили искусство к новым открытиям, к созданию неизвестных ранее форм. Часто происходили такие крутые повороты или даже полные разрывы с прошлым, что, казалось, не оставалось никакой связи между концепциями и формами, отличающими один период от другого. Именно такого рода полный разрыв произошел теперь в Африке.

Традиционное африканское искусство пришло к концу потому, что исчезли или постепенно рассеялись причины его существования в контакте с технологическим мышлением XX века, путь которому был расчищен в XIX веке. Сегодня разрыв между прошлым и настоящим гораздо ощутимей, чем те перемены, которые произошли в Европе, когда средневековый религиозный мистицизм эволюционировал к картезианской логике и концепциям Возрождения».

**Модернизация экономики, техники, социальных укладов неизбежно ведет к изменениям в области культуры. Уже один только процесс урбанизации дал почву, питающую все те виды современного искусства, которые известны жителям городов во всех частях света. Это новое для Африки искусство проникает во все слои общества не только непосредственно — через литературу, произведения живописи, скульптуры и т. д., но также через современную архитектуру, кино, телевидение, художественное оформление.**

Разрыв между старым и новым в современной Африке гораздо глубже, чем это сейчас иногда представляется. И суть происходящего заключается не в трансформации системы взглядов на искусство под давлением извне, а в расщеплении синкретического традиционного культурного комплекса на отдельные элементы, одним из которых становится искусство. Процесс этот необратим, и реставрация традиционных взглядов представляет для современных профессиональных деятелей искусства главным образом исторический интерес, так как своеобразные формы традиционного искусства точно соответствуют его функциональной структуре, тому сложному комплексу социальных функций, который на определенном этапе присущ всякому искусству и поэтому не только не может служить показателем национальных этнических особенностей, но, наоборот, является дополнительным указанием на то, что расовые, национальные различия не влияют на самый общий характер основных элементов духовной культуры.

Вместе с тем революционные преобразования в области культуры, помимо решения местных задач, предполагают также осознанное стремление сделать вклад данной страны в мировую сокровищницу культуры более весомым. Это означает всемерное развитие всего ценного, прогрессивного, имеющегося в каждой национальной культуре.

Взаимообогащение, взаимовлияние различных культур и цивилизаций на протяжении всей истории было и остается верным залогом их полного и глубокого взаимодействия в уже обозримом будущем, а в настоящем — важным фактором всеобщего культурного развития.

Взаимодействие разнородных элементов дает иногда качественно новое содержание и направление отдельным видам искусства или культурной эволюции в целом. Таким мощным внешним притоком для европейского искусства в XX веке явилось открытие африканского традиционного искусства, оказавшее значительное влияние на дальнейшее развитие мирового искусства. Трудно переоценить ту роль, которую сыграло (и продолжает играть) африканское искусство во всеобщей художественной эволюции — создание мировых течений в музыке, хореографии, скульптуре, живописи. Этот процесс не был и не мог быть односторонним. В результате установившихся контактов Африка открыла для себя немало нового как в разных областях науки, так и в области литературы и искусства.

**В. МИРИМАНОВ**

# АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ НА МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ

Сто восемьдесят лет назад, декабрьской ночью 1791 года, безвременно ушел из жизни Вольфганг Амадей Моцарт — лучезарный гений музыки.

Кончина Моцарта — одна из самых волнующих страниц мировой истории. С ней связаны легенды, поэтические и музыкальные творения, ей посвящены исследования музыковедов, литературоведов и историков медицины. Тема эта привлекла внимание современных научных форумов (Национального урологического конгресса в Неаполе 1957 года, научной сессии Центрального института моцартоведения в Зальцбурге

1964 года, годичного собрания Немецкого общества истории медицины, естествознания и техники в Нюрнберге 1967 года) и не сходит со страниц самых различных изданий.

У нас известна главным образом одна версия «убийства» Моцарта — отравление его другом-соперником Сальери. Популярности этой давней версии, основанной на противоречащих историческим фактам слухах, способствовала поэтическая интерпретация ее в знаменитой трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». Как справедливо отмечено в коллективной монографии Пушкинского дома Академии наук СССР «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» (1966), легенда о злодеянии Сальери решительно отвергнута исторической критикой.

Но существует еще другая версия «насильственной гибели композитора», и именно эта версия, также довольно давняя, воскрешена в последнее время на Западе. В зарубежной, преимущественно западногерманской, печати вновь стали появляться статьи, утверждающие, что автор «Дон Жуана» и «Волшебной флейты» пал жертвой тайного заговора масонов. Эта версия выводит тему смерти Моцарта за пределы исторического музыкознания, медицины и юриспруденции. Она приобрела своеобразную идеологическую окраску. За доводами и домыслами, за рассуждениями и полемикой вокруг болезни, смерти и похорон Моцарта кроются весьма характерные общественно-политические тенденции, выступающие то в эзоповском облачении, то с открытым забралом.

Подавляющее большинство этих статей опубликовано в медицинских журналах и принадлежит одному автору — Дитеру Кернеру, терапевту из Майнца. Надо сказать, что в музыкальной среде, как, впрочем, и в наиболее представительных кругах медицинской науки, все эти публикации встретили решительную отповедь.

Биографы Моцарта всегда отвергали версию о преступлении. Они твердо стоят на этой точке зрения и ныне. После упомянутой научной сессии в Зальцбурге, где был заслушан доклад выдающегося знатока жизни Моцарта Отто Эриха Дойча «Легенда об отравлении Моцарта» и состоялась дискуссия на эту тему, журнал «Эстеррайхише музикцайтшрифт» писал:

> «...зальцбургское мероприятие выполнило чрезвычайно важную работу: оно опровергло все сомнительные утверждения о якобы насильственной смерти Моцарта. Это было достигнуто, во-первых, благодаря тому, что все опровержения опирались на документальные данные; во-вторых, благодаря выяснению исторической родословной распространяемых слухов и не в последнюю очередь благодаря признанию всеми участниками того факта, что медицинские теории новейших приверженцев легенды об отравлении стóят не больше, чем их дилетантские исторические упражнения».

На «исторической родословной» необходимо задержаться.

Сто с лишним лет назад, в 1861 году, теолог Фридрих Даумер в своем издании «Из мансарды» оповестил, что Моцарта, как и Лессинга, отравили масоны. Доказательствами статья Даумера не была обременена, зато она била в далекую цель. Версию о масонах — организаторах заговора против цвета немецкой нации — подхватил столп тевтонского шовинизма Герман Альвардт. Дальше эту версию развил генерал Эрих Людендорф, военный идеолог империализма, один из вдохновителей и организаторов национал-социалистского движения, выпустивший в 1927 году книгу «Уничтожение масонства путем разоблачения его тайн», где среди разнообразных преступлений широко трактуемого масонства (сюда причислялись вольнодумцы, революционеры, демократы) особое место занимает умерщвление Моцарта.

Подробнее версия была разработана Матильдой Людендорф, второй женой генерала и сотрудником его по организации боевого союза «Танненбергбунд». Невропатолог по профессии, специалист по «культурным проблемам» националистического движения, Матильда Людендорф опубликовала в 1928 году книгу «Неискупленное злодеяние против Лютера, Лессинга, Моцарта и Шиллера» (переиздана в 1936 году). Все перечисленные в заглавии лица предстали в этом «труде» жертвами масонских лож (шиллеровским Иудой оказался... Гёте!). Но и этого супруге генерала показалось мало. Страницы ее «исследования» заполнены измышлениями по поводу «странной кончины» Дюрера, Фихте, Лейбница, Ницше и Шуберта. Таким образом, Моцарт — лишь одно звено в длинной цепи преступлений заговорщиков, но звено чрезвычайно важное для обличителей. Преждевременная смерть, убогие похороны, потерянная могила, слухи об отравлении, таинственная история реквиема, вся трагическая судьба гениального музыканта и всевозможные россказни, анекдоты, легенды — все это представило благодарный материал для агитационного детектива. И Матильда посвящает специальную книгу колоритной жертве заговора: «Жизнь и насильственная смерть Моцарта» (1936).

Книга эта стала библией современных западногерманских обновителей мифа. Единомышленник Дитера Кернера доктор медицины из Дахау Гунтер Дуда, о котором в «Моцартовском ежегоднике 1964 года» сказано, что он одержим «Людендорф-комплексом», свою монографию о Моцарте «Конечно, мне дали яду» предваряет обширной цитатой из опуса Матильды Людендорф, а «труд» генерала называет «основополагающим». Книга Дуды вышла в Верхней Баварии (г. Пэль), ее издала фирма «Хоэ варте», выпустившая за год до этого новое издание «основополагающего» труда генерала-шовиниста. В 1961 году деятельность фирмы «Хоэ варте» — преемника мюнхенского

семейного издательства «Людендорфс ферлаг» — была запрещена земельными властями. Это, однако, не помешало бывшему владельцу фирмы, зятю Матильды, Францу фон Бебенбургу издать в том же городе Пэле в 1966 году книгу, посвященную памяти Матильды Людендорф и безапелляционно озаглавленную «В. А. Моцарт. Документация его смерти. К 175-летней годовщине его насильственной кончины, исполнившейся 5 декабря 1956 года». Авторы книги — три врача: Иоганнес Дальхов и знакомые уже нам Гунтер Дуда и Дитер Кернер. Однако никаких медицинских откровений книга не содержит, все уже было сказано доктором Кернером в его прежних статьях — то есть, что Моцарт умер от хронического отравления ртутью (сулемой). Эту версию майнцский терапевт настойчиво утверждает и во всех своих последующих выступлениях, по-прежнему не приводя никаких веских доказательств. А между тем профессор кёльнского Института истории медицины Вильгельм Катнер в своем докладе в Нюрнберге и в статье «Отчего умер Моцарт?» («Сообщения Международного учреждения Моцартеум») заявил, что достоверно известные нам симптомы у Моцарта не дают ни малейшего указания на хроническое отравление сулемой и что это давно доказано гейдельбергским дерматологом Алоизом Грайтером и брненским токсикологом Иозефом Стайнером.

«Опираясь на оба эти исследования,— писал В. Катнер,— я в своем докладе обратил особенное внимание на то, что все приведенные д-ром Кернером медицинские аргументы относительно отравления ровно ничего не стоят, поскольку в последних рукописях Моцарта нельзя обнаружить мелкого дрожания рук, которое появляется при каждом хроническом отравлении сулемой, вызывает дрожащий почерк и тем самым распознается вполне объективно. Что подобное точное свидетельство все еще отсутствует, должен был признать в дискуссии и сам д-р Кернер. Однако он заявил, что таковое будет еще им представлено. Мы дожидаемся этого еще и сегодня».

Мы дожидаемся сегодня еще и того, что нам скажут, наконец, кем, когда и при каких обстоятельствах подсыпали (систематически!) яд настороженному Моцарту. В книге трех медиков ничего этого нет. Нам говорят, что еще за шесть месяцев до смерти Моцарт заявил: «Конечно, мне дали яду!»; называют (разумеется, без доказательств) место и дату, когда он принял решающую дозу яду — масонская ложа, 18 ноября 1791 года, в день исполнения в ложе масонской кантаты Моцарта. Наше внимание обращают на то, что кантата занимала 18 листов рукописи и смерть наступила через 18 дней после концерта в ложе... Мы могли бы подсказать, что Моцарт умер в XVIII веке и что сумма цифр, входящих в число 1791, составляет опять-таки 18! Но для авторов это все не шутка. Они совершенно серьезно утверждают, что 18 — число магическое. Заключительный раздел главы «Документация одного убийства» так и называется: «Число 18». Здесь приведены «данные» из еврейской торы (18 просьб-молитв), вавилонского талмуда, северных рун, из халдейской, буддийской, индусской, ацтекской и масонской символики, из астрономии (солнцеворот в 180 дней) и геометрии (сумма углов треугольника равна 180°), а далее излагаются результаты «математического» анализа оперы «Волшебная флейта»: 18 жрецов, 18 выступлений Зарастро, 18 партий духовых инструментов и т. п.

Вы спросите: что общего имеет все это с кончиной Моцарта? Этот вопрос ставят сами авторы. И разъясняют:

«Ответ на этот вопрос столь же ясен, сколь и лапидарен: потому что это число 18, как было сказано, занимает ключевое положение в «Волшебной флейте», потому что это число имеет направляющее значение для событий смерти в рамках последних дней Моцарта и потому что это число, согласно представлениям старой алхимии, содержит яд Моцарта...»

Символ яда, символ Меркурия — цифра 8. Эта цифра выступает то изолированно, то в сочетании с другими цифрами — 18, 28, 180.

«И так проходит вся земная жизнь Моцарта с самого начала под господством этого необычайного числа 8 — вплоть до гробовой доски: рождение около 8 часов вечера, накануне среды — дня Меркурия, под 28-й день года, гомеровский «Гимн Меркурию» под детским портретом, господство числа 18 в «Волшебной флейте» и в событиях смерти, 8 аллегорий Меркурия на титульной гравюре первого либретто «Волшебной флейты», так же как на австрийской моцартовской марке 1956 года рядом с четырьмя солнечными колесами, «серый посланец» как олицетворение ртути, как символ числа 8! Наконец, сумма цифр числа его жизненного возраста — 35 лет — дает опять-таки круглое 8... Мы твердо стоим на том: жизнь Моцарта с самого начала находилась под роковым числом, даже солнцестояние в день рождения составляло 8° зодиака Вассермана... и его смерть, вне всякого сомнения, благодаря этому числу — «сманипулированная судьба».

**Читатель может спросить, какое же место во всей этой поразительной смеси мистики и криминалистики занимает легендарный Сальери. Авторы отводят ему малозаметное место:**

«Сальери в лучшем случае был только орудием лож»,— заявляет Гунтер Дуда.

«Убийцей в буквальном смысле слова он, конечно, не был... Он был, пожалуй, подручным, следовательно — исполнительным органом»,— вторит Дитер Кернер.

**Оба автора противопоставляют свою позицию тем, кто думает, что Моцарт был умерщвлен соперником «по личным побуждениям». Дуда объявляет обоснования такой точки зрения «совершенно неудовлетворительными». Кернер полагает, что «для убийства из личных побуждений или из чистой зависти» рамки преступления были «чересчур пышными»...**

**И все же слишком популярно в истории имя Сальери, чтобы авторы медико-астрологического детектива могли позволить себе отказаться от него. Мало того, они отважились поставить на службу своей антимасонской концепции авторитет А. С. Пушкина. Дитер Кернер написал даже специальную статью «Смерть Моцарта у Александра Пушкина», напечатанную в «органе для усовершенствования врачей», издаваемом в Западном Берлине под названием «Дойчес медицинишес журналь», и одновременно в барселонском журнале «Фолиа уманистика». Вот истолкование пушкинского выражения «осьмнадцать лет» (18!), вложенного в уста соперника Моцарта:**

«Слово «Зарастро» происходит от халдейского понятия «Зарос», при этом речь идет об отрезке времени в 18 лет и несколько дней, после которого повторяются солнечные и лунные затмения. Разве это случайность? Конечно нет, потому что, как говорит Сальери, «вот яд, последний дар моей Изоры, осьмнадцать лет ношу его с собою»,— это вводится органически в общее действие...»

**В цитированной статье, как и в последовавшей за ней статье «Контроверза вокруг смерти Моцарта» (в нескольких номерах майнцского журнала «Эрцтеблатт Рейнланд-Пфальц»), проводится мысль об «исторической достоверности» легендарного сюжета, свободно обработанного Пушкиным в трагедии. Но у Пушкина, как известно, Моцарта отравляют не масоны, а Сальери, который, что тоже известно, не был масоном, причем отравляет он не на «тайной вечере» в ложе, куда он не имел доступа и где 18 ноября не был (алиби!), а в трактире...**

**Иначе как кощунством нельзя назвать использование поэтического творения Пушкина в целях борьбы против так называемых масонов, включение полного перевода текста трагедии в «документацию» рядом с выдержками из пропагандистских изданий Матильды Людендорф, Даумера и Альвардта, лжетолкование пьесы, не имеющей ничего общего с детективными изысканиями медиков ни по своему сюжету, ни по своим глубоко трагедийным характерам, ни по своей этической и эстетической проблематике.**

**...Музыка, поэзия, легенды, история, медицина, токсикология, числовая мистика, масонская символика... И над всей этой причудливой мозаикой — зловещая тень «Танненбергбунда».**

**Б. ШТЕЙНПРЕСС**

НИКОЛАЙ Т. ФЕДОРЕНКО

# ЭСТЕТИКА ЯПОНСКОЙ КЕРАМИКИ

Не редкость беспокойное лето стоит в Японии. Наполненные испепеляющим жаром долгие дни лишь на короткие часы уступают ночной прохладе. На раскаленную землю обрушился водяной шквал, взбунтовавшаяся морская стихия — тайфун. И кажется, что японский архипелаг навсегда погружается в зловещие океанские глубины драконова царства.

Всю минувшую ночь не прекращалось буйство разразившегося смерча. Лишь к рассвету немного стихло. И теперь, когда наступил ранний утренний час, над городом все еще продолжает висеть густой туман. Вокруг — непроницаемое марево. Морская громада напоминает о себе непрестанным рокотом волн — все новые накаты их властно рвутся к каменистым берегам и, ударившись о серую скалистую твердь, с яростным шипением отступают во мрак.

Но свет поднимающегося солнца отодвигает завесу тьмы. Лучи его все увереннее одолевают свинцовую мглу. Над истерзанным городом вновь воцаряется торжествующее сияние. Все начинает согреваться благостным теплом. Под моим окном не смолкает журчание горного ручья, продолжается его бег как вчера, как много лун назад. А впереди узкой полосой пролегает равнина, залитая золотистым светом раннего утра. За соломенно-желтыми рисовыми полями вздымается Фудзияма. Вершина ее усеченного конуса покрыта сединой снега. Необычный покой царит на этой легендарной горе. Она торжественно возвышается, сливаясь с небесным сводом, озаряемым солнцем. У подножия Фудзиямы видна сочная зелень леса. Террасами спускаются по ее склону сады.

Ветер лениво катит волны к берегу. Доносится сырой запах моря. Выглажены прибоями берега. Земля и вода — всегда живая тема. Каким художником, рукой какого чародея собраны здесь приметы прекрасного и создана бескрайняя, зыбкая от нагретого тропического воздуха панорама?

Позади дома — миражные силуэты Токио, этого все поглощающего, все перемалывающего чудища.

Между домом и этим фантастическим гигантом простирается пестрая мозаика полей. Среди них разбросаны низкие, будто приплюснутые к земле деревенские строения. Землепашцы живут здесь по-крестьянски скромно, скудно, расчетливо. Каждый клочок почвы используется рачительно, обрабатывается необыкновенно скрупулезно. Но поля их, миниатюрные парцеллы, не отличаются щедростью урожая. На скудной этой земле, по словам местных жителей, и «бобов — как обезьяна наплакала».

Все словно напоминает о времени, когда созревают плоды, о еле уловимой грусти подкрадывающейся осени...

Мы покидаем гостеприимный дом профессора Мацуда, моего спутника и гида, чтобы до наступления парной духоты добраться в студию прославленного японского керамиста Хадзима Аракава.

— Жизнь человека,— замечает Мацуда,— подобна утренней росе. Она столь же прелестна, сколь и скоротечна. Упускаемое время — как уходящая вода под мостом. «Жизнь людская — что пена морская».

Мы торопливо движемся по самому краю побережья. Это путешествие оторвало меня от душной и трескучей токийской жизни. Море неотразимо влечет своей феерической игрой света и теней. Воздух пьянит запахом мокрых камней и песка. Все более восхищает живописная гамма живой панорамы. Я испытываю неодолимое желание остановиться и полюбоваться необыкновенным зрелищем. Но безоговорочная целенаправленность Мацуда, стремящегося быстрее преодолеть путь, решительно подавляет мою эстетическую эмоциональность, повелевая усвоить его аллегорическую реплику об ут-

ренней росе как намек не мешкать и ускорить шаги. Поистине, «когда скачешь на тигре, его не остановишь».

— Познание истины,— с той же коварной любезностью продолжает торопить меня спутник,— делает человека свободным. Придерживаясь осознанной истины, мы освобождаемся от всякого рода зла в виде отвлекающих нас идей, посторонних увлечений.

Я не в состоянии воспринять эту концепцию Мацуда с философским смирением. Известно, что «и сладким пирогом можно по губам ударить». Коварность профессорской иронии окончательно выводит меня из состояния созерцательности и в знак протеста рождает судорожное стремление опередить своего гида: «Загнанная мышь сама кошку кусает».

## В доме сокровищ

Вскоре мы приближаемся к нашей цели. Мы входим в небольшой старый поселок с тесными улочками, с черепичными шатровыми крышами домиков. Мацуда, остановившись на мгновение, указывает на дом с многоярусной седлообразной крышей, покрытой небольшими квадратами серо-бурой черепицы. Дом выделяется своей декоративностью, необычной архитектурой. Необработанный камень фундамента контрастирует с большими удлиненной формы застекленными просветами на фасаде. Восхищают пропорции и вкус. Найден свой прием, свое решение — не банальное, свежее, оригинальное. Фасад дома обращен к традиционному саду: ручей, скалы, глыбы камней, слегка изогнутый мост, водопад, пруд асимметричных очертаний. Взаимосвязь японского жилища и воды — явление органичное. Это опоэтизировано в народных поговорках: «У кого терраса подле воды, тот раньше других луну увидит»; японцы также говорят, что созерцание рождает ощущение: «Поэт — над ветром и луной хозяин».

Переступаем порог, входим в просторную, ничем не заставленную приемную. Никаких признаков мебели и домашней утвари. В этой простоте, таящей в себе ощущение простора, заключено своеобразие жилища.

Внутреннее пространство — основное в архитектуре японского дома. Здесь доминирует своеобразная гамма цветов: стен, пола, потолка. Простота форм и линий. Четкость в выявлении назначения каждого предмета.

Внимание невольно привлекает токонома — ниша в стене — зрительный и художественный центр помещения. Оформление ниши характеризует хозяина дома. Это — выражение его интересов, эстетических взглядов. Здесь всегда должны быть соблюдены основополагающие принципы. Картина в комнате может быть повешена только одна. Две керамические вещи одновременно выставлять не принято. Это относится и к изделиям из лака, яшмы, слоновой кости. Появление двух однородных или близких по природе вещей недопустимо именно потому, что это привело бы к сопоставлению и толкам среди гостей, посетивших дом. Всякая выставленная вещь в доме должна быть уникальной, неповторимой, лучшей из имеющихся. Здесь искони действует закономерность художественного принципа: «не две», «единственная», «нет равной», «без пары».

На зеркально отшлифованной стене из широких досок японской сакуры, сохранившей свой первородный розоватый отлив, выделяется удлиненный каллиграфический свиток. Густая черная тушь иероглифических знаков, выполненных скорописью, «травянистой» вязью, кажется плотно вытканным бархатом. Мацуда помогает мне расшифровать их смысл: «Кто изучает прошлое — знает настоящее. Кто уйдет — не погонюсь, кто придет — не отвернусь».

Каллиграфическое искусство, поясняет мой спутник, органично связывает живопись и поэзию. Здесь необходима большая сила воображения, концентрация эмоций и мыслей художника. В линиях и общей композиции особенно важны максимальный лаконизм рисунка, поэтическая выразительность штриха. Реализация творческого замысла и образных возможностей каллиграфа в значительной мере зависит от философского или поэтического содержания иероглифической надписи. И как бы для подтверждения своего взгляда Мацуда приглашает меня оценить какэмоно — картину, висящую на противоположной стене, справа от токономы. Мы останавливаемся на некотором расстоянии, избрав нужную позицию для обозрения.

Извивающийся в стремительном движении дракон будто вырывается из полотна, скованного тонкой рамкой. Образ мифического монстра возник под кистью живописца нашего времени, но традиция изображения грозного животного из удивительного мира мифологии и фантастики уходит в глубокую старину.

— В японском искусстве,— поясняет Мацуда,— образ дракона занимает весьма существенное место. Это традиционная тема в художественном творчестве живописцев, ваятелей, резчиков, граверов, керамистов. Чтобы утолить жажду, нужен источник. Искусство должно служить светлым ключевым источником, который способен утолить эстетическую жажду человека, его внутреннюю потребность в прекрасном. Японские искусствоведы склонны рассматривать образ дракона как живой организм, единый и цельный, само существование которого вызывает истинно эстетическую радость.

Продолжая всматриваться в висящий перед нами свиток — какэмоно, мы видим, что в образе этого загадочного существа поэт выразил современное ему представление о драконе как о создании, по всей видимости, близком человеку. Свыше тридцати веков назад первобытными орудиями древний художник впервые изваял и высек на камне это поразительное существо, облик которого не исчез в нескончаемом потоке

времени. Жив и теперь образ дракона, вопреки бездне времени и стихиям, как изумительный памятник далекой эпохи. В этом как бы обнаруживается преемственность художественного развития. Секрет этого, видимо, не только в красоте форм и линий, выражающих динамическую силу и пластичность дракона, не во внешней завершенности, а в самом духе творения, в выражении художником сущности образа. Именно это и отличает искусство от неискусства.

С привычной легкостью Мацуда опускается на колени у ажурной перегородки и едва заметным прикосновением руки раздвигает ее, чтобы проследовать в соседнюю комнату. Приняв позу почтительности, он приглашает меня войти в кабинет Аракава. Нет, это не тесная мансарда с антресолями, не келья отшельника. И здесь, как и в приемной, неизменный простор, то же ощущение пространства и атмосферы.

## Аракава-сэнсэй

Среди вереницы людей, с которыми я встречался в Японии, Хадзима Аракава оказался для меня наиболее памятным собеседником. И главное здесь — не в личной симпатии или антипатии, но в необыкновенной творческой одаренности художника, в эстетической его эрудиции. Всякий раз, когда мне вспоминаются его слова о том, что признаком новаторства является душевное настроение, эмоциональность художника, движимого определенной идеей, передо мной возникает он сам, Аракава,— живое олицетворение этих взглядов и убеждений. И будто вновь слышится его спокойный, негромкий голос: «Глубокие реки текут неторопливо». Истинно художественное произведение, творение искусства, говорил он, в основе представляет собой отражение или выражение реальности. Оно вместе с тем является опытом восприятия художником действительности, результатом его одухотворенной внутренней жизни. Многообразие естественных красок, линий, пластических форм, объективно существующих в окружающей человека природе, привлекает к себе внимание людей и часто становится сферой применения их духовных сил, активного процесса творческого восприятия и опосредствования. Материал в руках художника, движимого определенной идеей или замыслом, должен приобрести конкретно-чувственные очертания, определенным образом выразить сущность, воспроизвести ее смысл.

Запомнились руки художника. Необыкновенные руки. Тонкая и развитая кисть. Ровные, сильные пальцы, точно у музыканта; эти руки добиваются нужной пластической гаммы в керамике. По словам японских искусствоведов, у Аракава поистине самая искусная рука и самый лучший в Японии глаз. И его рассказ о своей творческой практике не оставлял сомнения в том, что именно через видение и осязание обнаруживается авторская индивидуальность, стиль, манера керамиста.

Но самое существенное Аракава усматривает в том, что творчество художника, его воздействие на материал органично взаимосвязано с его мышлением, с определенным эстетическим отношением к реальности, которая выступает первоосновой его замысла и воображения, первопричиной его исканий. Именно в творческом процессе художника проявляются в тесной взаимосвязи как субъективное видение явлений и предметов реального мира, так и объективное действие процесса познания, функции отражения действительности. Искусство в мыслях художника, казалось, органически сливается в одно целое с наукой.

И теперь, когда я пишу эти строки, передо мной вновь возникает волшебство поразительных рук Аракава: кусок простой глины, которую плотно охватывают его длинные пальцы, превращается в прекрасную, тонко выполненную вазу. Смелость замысла, полет фантазии удивительного мастера художественной керамики зримо воплощаются в материале, живут в плавных, пластичных линиях.

— Аракава,— замечает Мацуда,— несомненно принадлежит к числу тех, кто отмечен музами,— он наделен восприимчивостью ко всему прекрасному. Его глубоко волнует искусство, воплощенное в красках, камне, керамике, фарфоре. У него от природы прекрасный глаз. Но правильно видеть он научился лишь благодаря неустанному каждодневному труду. Всю жизнь он учится. Совершенствование мастерства стало для него внутренней потребностью. И ему удалось достигнуть поразительных эффектов.

Мы садимся, по обычаю, на упругий, эластичный циновочный пол из желтой рисовой соломки, плотно сплетенной в ковровую ткань. Мгновенно появляется смуглая японка в кимоно — служанка с чайным подносом, учтиво кланяется и, присев на колени, заваривает свежий зеленый чай. Вскоре приходит и хозяин, который на изысканном языке гостеприимства приносит извинения за допущенную бестактность: он не встретил нас у калитки своего дома, как того требует обычай.

Хадзима Аракава — один из крупнейших современных мастеров японской керамики. Живой классик, представитель талантливой династии гончарного искусства, профессор Академии художеств в Токио. На нем европейский костюм из легкой ткани, спортивная сорочка в клетку, тщательно отутюженные брюки, поношенные, но безукоризненно начищенные черные полуботинки. «Кто всегда надевает свое лучшее платье, у того нет праздничного» — ему, видно, не чуждо понимание этой мудрости. Гладко выбритый подбородок. Короткие седоватые волосы. Приветливое худощавое лицо, о котором говорят, что «загорелое лицо солнца не боится». Стройная сухопарая фигура. По внешнему виду и легкости движений Аракава — не более пятидесяти лет, хотя ему недавно исполнилось шестьдесят. Это — гласит японская мудрость — возраст душевной зрелости, когда «человек слышит лишь истину». Но не внешность и присущая ему изысканность выражений — сущность Ара-

кава. Он говорит языком пластики, создавая из глины новые формы.

— Аракава,— заметил Мацуда в нашей беседе накануне встречи с керамистом,— вероятно, не родился художником, но стал им и свою одаренность отдал искусству керамики.

Всю жизнь с самого детства японцам сопутствует искусство. И у многих любовь к нему обнаруживается очень рано, они сохраняют ее в течение жизни, ощущают как часть своего существования. Когда чувство прекрасного прививается с детства, становится потребностью, то кем бы впоследствии человек ни стал, у него навсегда останется эта любовь, она проявится и в его труде и в творчестве.

## Традиции эстетики

Перед тем как перейти в рабочую студию, Аракава предлагает нам ознакомиться с образцами старой и современной японской художественной керамики. Керамические изделия занимают стеллаж во всю длину стены и в несколько ярусов. Рассказ Аракава будто озвучивает безмолвный язык глины. Он раскрывает природу эстетического в японской керамике, неповторимую прелесть изделий далекой старины как результат видения и мировосприятия художника. И невольно приходит мысль о том, что повседневность обыденна лишь с первого взгляда. А если ее увидит художник — все вокруг преобразится, осветится вдруг невиданными красками.

Среди различных видов древнего искусства в странах Востока художественной керамике принадлежит одно из первых мест. В керамических изделиях — предметах каждодневного обихода, произведениях декоративного искусства — непосредственно обнаруживается стремление человека к прекрасному. Оно как бы возникает прямо из его рук. Именно эта своеобразная природа керамики привлекает нас, дает ощущение интимности, непосредственного контакта. Из всех видов народного искусства японская керамика является, пожалуй, наиболее национальным. Порой кажется, что для японца нет большего эстетического удовлетворения, чем любование керамической чашей или чайником, их формой, цветом, орнаментом. Примечательно, что керамика нередко рассматривается японцами как «искусство интимное», которое всегда было нерасторжимо связано с жизнью людей, их трудом, их мироощущением. Предметы керамики отличаются не только полезностью и практичностью, но и высоким художественным уровнем. Окружающие человека вещи должны вызывать потребность видеть и ощущать их, испытывать радость, находить в них эстетическое удовольствие.

— Всмотритесь в композицию этой вазы,— говорит Аракава, взяв со стеллажа старинное глиняное изделие. Ваза заметно выделяется среди других изысканностью формы, уравновешенностью композиции, гармонической простотой.

Продолжая бережно держать вазу в руках, Аракава приближает ее к свету, проникающему через матовую бумагу окна. И ваза как бы преображается. Отчетливее выявляются ее фактура, контур, цвет. Примечательная особенность древней керамики состоит в том, что цвет ее органически участвует в создании формы. Примером этому положению может служить поразительная по совершенству формы и линий древнекитайская керамика Яншао (XXXV—XVII вв. до н. э.), керамика Вавилона и Триполи. Согласно легендам, мифические правители древности Юй и Хоу предпочитали всем другим черный цвет. В старинном трактате «Хань Фэй-цзы» говорится, что во времена легендарных царей Шуня и Юйя вся деревянная посуда для пищи и жертвенные сосуды были выкрашены в черный цвет и отполированы. Изготовление керамики было известно еще задолго до Шуня, но так как он прославился именно своими керамическими изделиями, то в них, вероятно, было что-то новое. В главе «Шиго» из «Хань Фэй-цзы» рассказывается, что Юй делал жертвенные сосуды, которые с наружной стороны были черного цвета, а с внутренней — красного. Среди находок Чэнцзыяй, относящихся к культуре Инь-Шанской династии (XII в. до н. э.), встречаются как раз сосуды такого типа — иссиня-черные с внешней стороны и красные изнутри. Они получили название полированной черно-красной керамики. Удивительно изящны глиняные сосуды периода Инь-Шан, в них отделана каждая деталь.

— Близкой по композиции и пластическому выполнению к первой вазе,— продолжает Аракава, переходя к другому изделию,— является эта ваза, создание которой относится к четырнадцатому столетию. Особенность ее — в некотором усложнении формы в виде нескольких стилизованных листьев. Если же внимательно всмотреться в эти произведения мастеров одной эпохи и школы, нельзя не обнаружить их стилевого своеобразия, неповторимых черт индивидуальности создавших их художников.

Заботливо, с нежностью Аракава берет в руки все новые вазы, чаши, статуэтки, ласково осматривает их и продолжает свой неторопливый рассказ. Керамические фигурки необыкновенно выразительны, выполнены с тонким вкусом. Некоторые из них сознательно архаизированы художником. Другие трактованы условно, как бы подчеркивают символичность жертвоприношения.

— В этой композиции,— говорит Аракава, показывая новую керамическую фигурку,— выражено сочетание силы и духовной гармонии.

Передвигаясь от стеллажа к стеллажу, Аракава как бы совершает исторический экскурс в прошлое, переходя от одного столетия к другому и методично знакомя нас с родословной обыкновенной глины. И пе-

ред нами возникают взлеты и закаты, нескончаемое чередование «весны и осени» в судьбах керамического промысла. На смену одной династии гончаров приходит другая, со своими школами и жанрами, талантами и дарованиями. И кажется, что мы все неудержимее вовлекаемся в созданный рассказчиком мир таинств и волшебств, порожденный глиной и людским гением.

Все новые керамические изделия — вазы, чаши, блюда, пиалы — показывает Аракава, спокойный, сосредоточенный, неторопливый. Порой его лицо освещает легкая улыбка. И я восхищаюсь великолепными произведениями древних мастеров, как-то по-иному вижу окружающий нас мир, в новых для меня формах, линиях, красках. За всем этим возникают люди, время, чередование стилей и вкусов, своеобразная стенограмма эстетических взглядов и веяний. И видишь уже не просто предмет, не остатки древней цивилизации, но череду творцов, проникновенных мастеров керамики, художников. И где-то в глубине сознания возникает необыкновенная радость, чувство восторга перед человеком, движимым вдохновением и поисками новых свершений.

## Поэзия глины

— Золотым веком керамики,— говорит Аракава,— несомненно, явилась Сунская эпоха, длившаяся несколько веков (X—XIII). Именно этот период ознаменовался созданием наиболее совершенных произведений художественной керамики в Китае. То был наивысший взлет гончарного искусства. Ни ранее, ни позднее Сунской эпохи умение человека обрабатывать глину и создавать из нее произведения неповторимой пластической гармонии не достигало таких вершин.

О сунской керамике мне приходилось много слышать, читать, любоваться ее образцами на выставках и в музеях. И каждый раз, восхищаясь творениями сунцев, хотелось понять причину неотразимого впечатления, которое они производят. Мастерство сунских гончаров остается до сих пор непостижимой загадкой. В их искусстве таится какая-то неразгаданная впечатляющая сила, хотя все кажется предельно ясным, удивительно простым по замыслу и воплощению. Источник этой силы как бы скрыт, и остается непонятным, откуда исходит это очарование. Первое впечатление таково, что сунской керамике легко подражать, легко ее повторить. Все формы и линии не содержат ничего непривычного. Известна, кажется, и природа материала, и технология обжига. Все просто — и тем не менее все загадочно. На протяжении восьми столетий еще ни одному художнику ни разу не удалось точно воспроизвести хотя бы одно произведение сунских гончаров. И невольно возникает вопрос: может ли человечество, которое прошло большой путь общественного и эстетического развития, отказаться от попыток овладеть вершинами художественных достижений, осмыслить их во взаимосвязи с открытыми новыми истинами, новыми общественными и эстетическими идеалами?

Подойдя к стеклянному шкафу, Аракава достает из кармана ключ, открывает дверцу и крайне осторожно берет с полки небольшую конусообразную пиалу, заключенную в деревянную коробку со стеклянной стенкой.

— Вот один из шедевров сунской керамики,— полушепотом говорит Аракава, точно опасаясь, что громкая речь может разрушить глиняную святыню. И мне подумалось, что эту чашу, точно былинку, занесло на японские острова в те давние времена, когда сунская керамика распространялась по континенту и прилегающим островам. Сколько же было привезено в Японию изделий сунских гончаров, если свыше ста тысяч черепков светлого серовато-зеленого цвета было выловлено тогда у берегов древней японской столицы Камакуры?

— Теперь на нашей планете сохранилось совсем немного творений сунских гончаров. Навсегда оказалась утраченной и тайна их обращения с глиной. Все последующие поколения керамистов лишь подражали сунцам, но никогда не было суждено им не только возвыситься до вершины сунского мастерства, но даже сколько-нибудь заметно к нему приблизиться. Видение предмета своеобразно у каждого художника, неповторимо индивидуально. И хотя каждая эпоха открывает в произведении искусства новые стороны, новые грани, мы не в состоянии разрешить до конца загадок сунских мастеров. Мы должны признать, что сунцы обладали особым даром проникновения в сущность материала, его природу, композиционные и колористические возможности, эстетические достоинства. И произведения их остаются на протяжении веков непревзойденными.

Слова керамиста Аракава мне кажутся созвучными тому, о чем писал однажды прославленный физик Жолио-Кюри: «Каждый человек оставляет на земле неизгладимый след, будь то дерево перил или каменная ступенька лестницы. Я люблю дерево, блестящее от прикосновения множества рук, камень с выемками от шагов, люблю мой старый оловянный подсвечник. В них — вечность».

В ходе повествования о сунской керамике все внимание Аракава остается прикованным к чудом сохранившейся пиале, этой живой частице истории, которая теперь покоится на ладони его левой руки и слегка поддерживается пальцами правой. Вглядываясь в удивительно несложный бег линий чаши, ее спокойный серый цвет с буроватым отливом, художник видит в них своеобразный оттиск таланта, пластическое воплощение высокого вкуса. И мне начинает казаться, будто от шершавой фактуры этого произведения, через пористую его структуру исходит какая-то одухотворенность, словно раскрывается душа простой глины. И за бесхитростной летописью канавочных линий, возникших под пальцами мастера при вращении гончарного круга, нельзя не

видеть художественной выразительности и поэтичности, захватывающих наше воображение, пробуждающих чувство прекрасного. По словам А. М. Горького, хотя ему, быть может, не довелось видеть творений сунских гончаров, «под красотой понимается такое сочетание различных материалов — а также звуков, красок, слов,— которое придает созданному — сработанному — человеком-мастером форму, действующую на чувство и разум как сила, возбуждающая в людях удивление, гордость и радость перед их способностью к творчеству». Лишь истинно художественные произведения волнуют людей, будят в них лучшие чувства.

— Мы знаем,— говорит Аракава, не отрывая своего любовного взгляда от старинной чаши,— фантастическую притягательную силу сунской керамики. Мы видим, что в простоте сунских изделий, которая, вероятно, была в ту пору важнейшим эстетическим принципом, как бы затаена память о бесхитростных и полных мудрости твореньях рук человеческих, свидетельство неповторимой зоркости глаза художника. Исследован и состав глины, применявшейся сунскими гончарами. Воссозданы печи, в которых обжигались тогда изделия. Уточнены все подробности, характеризующие пять гончарных печей, прославивших керамику Сунской эпохи: Гуаньяо, Гэяо, Жуяо, Диняо и Цзюньяо. Изучены их температурные режимы. Можно сказать, что известны все составные компоненты. Причина, конечно, не в извечности технических приемов. Неверно, разумеется, понимать проблему художественного мастерства лишь как совершенное владение техническими средствами живописи, графики, скульптуры или керамики. Увы, недостает чего-то существенного. Иногда,— продолжает Аракава,— созданные мною вещи в сунской традиции трудно было с первого взгляда отличить от оригинальных произведений сунских мастеров. Казалось, все здесь есть— и ничего нет. Не хватает только какого-то пустяка, художественной детали или оттенка. Но именно в этом и заключается весь секрет, вся великая тайна искусства. И эта деталь решает все. Именно это и обнаруживается при взыскательном рассмотрении. Ведь известно, что «у зрителя восемь глаз». Мы, разумеется, не позволяем себе впадать в фетишизацию, возвеличивание иррационального начала в художественном творчестве. Образцы сунской керамики дороги нам не просто как памятники старины. Отвергая иррационалистическую концепцию искусства, попытки придать художественному творчеству характер магии и шаманства, мы стремимся распознать первозданность образной структуры сунской керамики. Неповторимая самобытность сунских умельцев, которая привлекает и пленяет нас в их творениях, думается, заключена в поэтичности восприятия ими явлений жизни, в непосредственности, с которой они стремятся воплотить ее, в своеобразии светового и колористического решения. Сунская керамика — вещественное свидетельство древнейшей способности человеческого разума создавать недосягаемые образцы искусства. Сунцы обладали необычайным даром ритмического построения, создания композиции в пространственном измерении и восприятии. И современные художники иногда в этом пытаются обнаружить своего рода интуитивистскую концепцию.

## Философия поиска

— Предпринято активное приближение к непостижимому, но поиск пути к проникновению в тайны сунской керамики,— с отстраненной грустью произносит Мацуда,— по всей видимости, будет еще продолжен. Поиск и напряжение всех физических и душевных сил. Говорят, что когда человек счастлив, он порой предается благодушию, воля к действию ослабевает. Зато несчастье, беда, творческие неудачи вызывают к жизни активность, настойчивый и упрямый поиск, какими бы поначалу, казалось, бесплодными они ни были. И, без сомнения, дерзания увенчаются успехом так же, как блестяще разгадан Аракава-сэнсэем секрет минского фарфора.

— Благодарю за комплимент,— замечает Аракава,— но японская народная мудрость гласит, что «с тем, кто тебя хвалит, будь осторожен». Ведь где похвала, там и хула.

— Говорят, однако,— добавляет Мацуда,— что «если чист исток, чист и поток». Открытие Аракава-сэнсэя восхищает, оно поистине «совершено для величия земли». Давно уже постигнута истина, что творчество, по законам прекрасного, есть выявление в предмете его естественных свойств. В работах минских мастеров наглядно обнаруживается их необыкновенный талант, их способность выявить свойство материала, подчеркнуть художественную выразительность фарфора. Но с закатом Минской династии (XIV—XVII вв.) в упадок пришло и искусство художественного фарфора. Утраченными оказались важные традиции, оригинальный стиль, создавшие целую эпоху в искусстве. Понадобились многолетние усилия, неустанные творческие искания, быть может, не одного поколения людей, чтобы проникнуть в тайны минского фарфора. Именно Аракава-сэнсэй явился первым японцем, которому удалось раскрыть этот секрет, воссоздать эстетический и эмоциональный строй минского художественного фарфора, отыскать невиданные оттенки красок, своеобразие его колористической композиции. И сейчас, всматриваясь в произведения, созданные Аракава-сэнсэем в минской традиции, мы как бы соприкасаемся с творчеством минских мастеров.

— Но теперь я особенно убедился,— восклицает Аракава,— что профессор Мацуда «два сердца в груди носит» или, по

крайней мере, у него «лицо человека, а сердце тигра». Мои усилия — скорее простая удача, хотя мне и пришлось биться, как мухе о ламповое стекло. Мацуда-сэнсэй допускает явное преувеличение субъективного фактора в художественном творчестве, в успехе поиска индивида. «Обезьяна и с короной на голове — обезьяна».

— Японские искусствоведы, очевидно, безнадежны,— возражает Мацуда.— Если бы я не говорил, то вас, конечно, преследовала бы другая народная поговорка: «С тем, кто молчит, держи ухо востро!» Самоочевидно, что «у удавов привычка глотать — от рождения».

— Похоже на то, что вы «указываете на оленя, а говорите, что это лошадь»,— произносит Аракава.

— Теперь я чувствую, что «растерялся, как обезьяна, упавшая с дерева»,— парирует Мацуда.— Все же я отнюдь не собираюсь «змее ноги пририсовать». Сама природа позаботилась об этом, создав ее достаточно совершенной и без конечностей. И говорю я лишь оттого, что знаю простую истину: «От соли капуста белеет».

— Мне хотелось,— говорит Аракава-сэнсэй,— лишь попытаться одолеть преграды, возникшие после утраты традиций минских мастеров. Подлинно художественные произведения, на мой взгляд, менее всего можно уподобить застывшей фотографии — саму жизнь в ее осязаемых, зрительно пластических формах воссоздает истинный художник. Это относится к керамике и фарфору. И у меня не было сомнений, что для минцев сама реальность, многообразная действительность служила основой образного выражения. Не стану здесь таить, что годы работы над минским фарфором — лучшие в моих исканиях. Ради этого можно было не спать ночей, терзаться, мучительно и радостно отыскивая смысл формы, движения линий, световой и цветовой ритм художественного фарфора.

— Да,— продолжает его мысль Мацуда,— это было время активных и дерзких экспериментов. Мы знаем, что Аракава-сэнсэй вновь и вновь возвращался к себе в мастерскую, и внутренняя горечь его обращалась в ярость, в жажду, в жгучую потребность заставить комок глины подчиниться его стремлению, пробудить в нем импульс, наполнить этот кусок непокорной земли дыханием, горением жизни. Но кто не знал заблуждений и неудач, тот не узнал и истины. Это были великие порывы, святые мгновения художника, которого неудержимо влекло к станку, к гончарному кругу, чтобы выразить рожденную мысль образными средствами фарфора и керамики. Нет, надежды и счастье творчества были принесены художнику не на крыльях журавлей, как об этом повествуется в легендах. В непрекращающейся внутренней борьбе, в неуспокоенности, вечном поиске — смысл и счастье творческого волнения человека.

Неторопясь, с какой-то застенчивостью Аракава подходит к угловому стеллажу, на котором расположены его произведения, исполненные в минской традиции. Другой стеллаж — другой мир. Здесь царство декоративного фарфора. Когда любуешься красотой изделий непосредственно, иной раз забываешь об их родословной, вековых традициях, им предшествовавших. Но именно «через далекое познается близкое, как через тьму постигается свет», гласит японская народная мудрость. Восхищение вызывает благородство и простота пропорций, пластичность форм, самобытность росписи. И во всем здесь обнаруживается своеобразие художественного строя, стилистическая оригинальность, которые в значительной мере определяются индивидуальностью мастера, специфичностью его мироощущения.

— Вещи, окружающие человека,— говорит Аракава, бережно снимая с полки огромное круглое блюдо.— должны доставлять людям радость. В этом усматривали минские мастера смысл ремесла керамиста. Ощущение прекрасного не должно утрачиваться, теряться за каждодневной суетой. Это изделие выполнено мною несколько лет тому назад в духе классических образцов минского фарфора. Основным материалом служила светло-желтая плотная глина, обработанная в соответствии с предложенной мною технологией. Минские мастера применяли два диапазона температур, при которых расплавленная глазурь наносилась на поверхность керамики. Низкие температуры (800° или 900°) использовались для получения зеленых оттенков глазури из окиси меди и коричневой глазури — из перекиси железа. При высоких температурах (1200° или 1300°) достигалось глазирование керамики светлыми серовато-зелеными тонами. В этих целях использовалась смесь золы и полевого шпата. Получить столь высокие температуры в гончарной печи было чрезвычайно трудно, но ханьским керамистам впервые удалось этого добиться около двух тысяч лет тому назад. Для того времени это было совершенно необычайным достижением. Наши современники это достижение ханьских гончаров иногда ставят в ряд открытий, как изобретение компаса, подвижного шрифта и пороха. Блюдо подвергалось тройному обжигу при различных температурах — от 1300° до 700°. Здесь применена техника использования трех глазурей. Роспись по белой глазури исполнена в черных и зеленых тонах. Медно-красный цвет эмали наложен под глазурью при вторичном обжиге. Это придает изделию острую выразительность и своеобразный декоративный эффект. Крайне необходимо было найти нужное соотношение между фоном и символическим изображением растений. Цель состояла в том, чтобы придать изделию своеобразную экспрессию, добиться колористического ансамбля. Сложность решения таилась в том, что излишняя детализация рисунка могла неизбежно привести к нарушению ритма, помешать полноте художественного восприятия. Изображение случайных, нетипичных вещей привело бы к пестрой хаотичности.

Характеризуя свое изделие, Аракава ни на мгновение не сводит глаз с рельефного рисунка на эмалевом фоне фарфора. И после небольшой паузы вновь водружает блюдо на треножную подставку, сделанную из резного черного дерева. Затем, помедлив в некотором раздумье, снимает с полки почти цилиндрическую вазу изумрудного тона, украшенную крупными золотыми листьями виноградной лозы. Как и блюдо, которое только что было показано, ваза свидетельствует о напряженном поиске художника. Заботясь о создании интересной и выразительной композиции, добиваясь неповторимой формы, цвета, Аракава стремится приблизиться ко всему тому, что сотворено гением природы.

— Творческий успех,— продолжает Аракава, поднося вазу к свету, струящемуся из окна через восковой пергамент,— определяется способностью художника к глубокому изучению окружающей нас жизни, образному ее выражению. Каждый раз, приступая к созданию произведения, он как бы вновь определяет для себя сущность, форму, цвет того, что должно увенчать стадию ожидания, созревания новых образов. Именно эта ясность должна прийти на смену смутным ощущениям, которые возникают порой, когда действительность представляется еще в очертаниях неопределенных и ускользающих.

Найдя наиболее верное освещение для вазы, Аракава возобновляет свой рассказ. И перед нами раскрывается поразительная игра светотеней, сочетание красок, их ритмичное чередование. Речь Аракава звучит негромко, сдержанно, выразительно. Она подобна его фарфоровым созданиям, поражающим лаконичностью изобразительных средств, безыскусностью.

— Желание человека запечатлеть, закрепить образы внешнего мира,—говорит Аракава,— свидетельствует о неутолимом интересе людей ко всему окружающему, к видимому миру вещей и явлений. И цель художника — неустанное извлечение ценностей из самой действительности, утверждение прекрасного в жизни, в каждодневной деятельности людей. Разумеется, художественное произведение не равнозначно действительности и не может рассматриваться в качестве точного слепка или копии. Произведение искусства, в частности художественная керамика и фарфор, скорее представляет собой некую реальность, которая воссоздается на основании действительности посредством творческого вдохновения и воображения художника. Вследствие этого подлинное произведение искусства неотделимо от индивидуальности художника, своеобразия его творческой манеры, почерка, стиля. Характер исполнения ваз минскими мастерами имеет своеобразные и неожиданно интересные стилистические особенности. Здесь господствует атмосфера высокого вкуса, изысканной простоты. И примечательно, что глубинные родники этого мастерства минцев— в неиссякаемом и щедром народном творчестве.

Внимательно оглядев вазу со всех сторон, Аракава ставит ее на темно-вишневый полированный столик с сильно изогнутыми резными ножками. Бирюзовый отлив фона вазы, золотой рельеф виноградных листьев прекрасно контрастируют с зеркальной поверхностью стола. Ваза смотрится объемно, скульптурно.

— Минские мастера,— замечает Аракава,— были особенно искусны в понимании красок, света, четкости линий, их движения. Для изготовления этой вазы мною была применена плотная серая глина, которую в старину доставляли из Китая и Кореи. После первого обжига при температуре свыше 1000° была получена белая фарфоровая основа, которая подверглась обработке глазурью. Покрытие корпуса изумрудной эмалью производилось при температуре ниже 1000°. Наконец, изделие подверглось третьему обжигу при температуре 700° — для закрепления золотой росписи в виде крупных виноградных листьев. Работа над вазой требовала длительного экспериментирования. Приходилось многократно отказываться от уже достигнутого, от общеустановленных норм и истин. Требовалась необыкновенная технологическая осмотрительность: «На красивой одежде каждое пятнышко заметно». Наиболее трудно было создать нужную игру красок и оттенков, достичь четкости линий, выявить объем. Здесь должны были найти свое пластическое выражение первородные качества материала, обнаружиться эстетическая его природа, разумеется, в творческой взаимосвязи с авторским замыслом.

Слушая Аракава, спокойное звучание его голоса, без каких-либо эмоциональных эффектов, я не в состоянии был оторвать очарованных глаз от этих красок и их сочетаний, которые будто переливаются своеобразными волнами. Рождалось ощущение личного присутствия при творческих исканиях художника, будто сам видишь, как из глины четко проступают формы, возникают мягкие пластичные очертания вазы, ее архитектурный строй. Нельзя не проникнуться участием к исканиям Аракава. Он стремится к углубленному пониманию природы, а также вкусов, интересов, характеров людей. Созданные им произведения поражают простотой и глубоким проникновением в природу вещи и материала. Цвет, оттенки, световой ритм образуют не только форму, линии, пространство. Они как бы пластически выявляют содержание, внутреннюю сущность вещи или предмета.

## Тайны образности

Дорога из кабинета в студию керамиста проходит через домашний сад. Глыбы камней и скальные плиты, окруженные

морским песком и цветной галькой, образуют карликовое подражание архипелагу. Причудливо изогнутые ветви низкорослой вишни — сакуры, поэтического символа японской панорамы,— напоминают скоропись сплетение иероглифических знаков. Именно с необыкновенными очертаниями ветки сакуры, ее весенним цветением нерасторжимо связаны и поэтическая символика, и романтическая образность, и мудрость фольклорного творчества. «Сломишь вишню — на ней цветов не будет». Легкий изгиб миниатюрного моста из серых каменных плит, переброшенного через пруд, создает иллюзию японской монохромной гравюры. Каждая деталь здесь традиционно декоративна и одновременно естественно проста.

Студия художника расположена в глубине сада, на восточной стороне, обращенной к морскому побережью. Это одна из мастерских, где продолжают жить традиции старинного и неувядаемого искусства керамики и фарфора. Здесь мастерство передается из рода в род, от отца к сыну, непрестанно совершенствуется, рождая новые формы, рисунки, цветовые сочетания. Здесь трудятся потомственные керамисты. Мне и ранее приходилось бывать на керамических предприятиях, которыми особенно славится центральная Япония. В таких городах, как Нагоя, Сечо, Мино и Екка-Ити, вырабатывается около 80 процентов керамических изделий Японии. Именно здесь, в этом прославленном районе с центром в Нагое, где находятся неисчерпаемые залежи прекрасной глины, производство получило бурное развитие. Здесь же возникли многочисленные школы художественной керамики. Широкой славой пользуются места кустарного промысла, разбросанные по всей островной территории Японии. На острове Кюсю — это Онда, Коисибара, Наесирогава и Рюмонидзи; в центральной Японии — Усиното и Фусина; близ древней японской столицы Киото — Татикуй; в Канто (восточная Япония) — Масико.

У самого входа в студию Аракава в невысоком простенке, сложенном из крупнозернистого красно-бурого кирпича, с нарочитой небрежностью скрепленного цементом, помещен иероглифический свиток. Сильным, уверенным движением кисти каллиграф начертал: «Искусство — дерево, дающее плоды».

Просторное помещение студии с высоким потолком, по которому во весь пролет проходят массивные, почти не обработанные бревна мореного или подкуренного бука, больше напоминает исследовательскую лабораторию. Все стены здесь от пола до потолка заставлены стеллажами с плотными рядами книг и альбомов. Среди изданий, старых и новых, выделяется монолитный строй увесистых фолиантов энциклопедии мирового искусства в сорока томах, словарь искусствоведческой терминологии в четырех томах, коллекции книг по истории керамики, фарфора, живописи, древнего театра, иероглифики, каллиграфии. Нижние стеллажи заполнены преимущественно коллекциями рисунков. эскизов, снимков керамических и фарфоровых изделий. Здесь же с академической скрупулезностью расположены многочисленные папки с разного рода справочными материалами и чертежами. Во всем этом обнаруживается простая истина: здесь много и долго задумываются над тем, как рождаются пластика, образы, керамика.

Значительная часть студии, как и кабинета Аракава, занята множеством образцов керамических и фарфоровых изделий, расположенных в хронологическом порядке, по их принадлежности к различным периодам истории керамики.

— Художник, если он движим творческим горением,— как бы поясняет Мацуда, глядя на коллекцию образцов,— должен быть постоянно занят поиском нового видения вещей, новых форм, новых образов, но искать их не в отрыве от материальной и духовной жизни японцев. Не может он также не считаться с опытом художественного прошлого, спецификой национальных традиций, в которых так или иначе отразились вечные законы общечеловеческого развития. Нынешнее не только уходит своими незримыми корнями в прошлое, но и возникает на опыте минувшего. Законы жизни и законы художественного творчества находятся в постоянной взаимосвязи. То, что актуально и справедливо для жизни, актуально и оправданно для искусства. Новаторы не могут игнорировать накопленный опыт художественного выражения действительности, не могут обманывать себя иллюзией, что с них начинается история искусства. Нельзя забывать творческих исканий и экспериментов в прошлом, не учитывать того, сколько новомодных веяний уже бесплодно отшумело на берегах реки художественного выражения окружающего нас мира.

На краю стеллажа стоит небольшое изделие ханива — символическая фигурка, которая в древности захоронялась вместе с умершим человеком. Выполненная из крупнозернистой глины, ханива отличается напряженностью форм и выразительностью. А рядом — гигантское декоративное блюдо с какой-то фантастической росписью. Они привлекают внимание цветовыми и композиционными контрастами.

— У каждого из этих мастеров керамики,— замечает Мацуда,— свои художественные убеждения, своя эстетика. И мы любим в их искусстве именно то, что неповторимо в их индивидуальном видении, то единственное и живое, что выделяет каждого из них, отличает друг от друга.

— Чем, по-вашему, объясняется столь явная диспропорция частей тела, которую мы видим в некоторых ханива? — спрашиваю я Мацуда.

— Художники и скульпторы изменяли пропорции головы, торса, ног и рук не потому, что не видели действительных пропорций, и, разумеется, не потому, что не умели рисовать или лепить. Они руководствовались иными понятиями как о про-

порциях, так и о перспективе. Они работали иначе, чем в Европе, по-своему. Мастера японской керамики в своем творчестве используют образы народного фольклора. Именно отсюда приходит новизна и свежесть, сюжетная и стилевая оригинальность. Одновременно наблюдается известное влияние также и официального искусства на фольклорное творчество.

— Но почему в некоторых ханива часто укорачивались или видоизменялись именно ноги и руки, а, например, не голова или другие части тела?

— Причина здесь, видимо, таилась в том, что для художественного мышления древних художников характерно стремление к созданию вещей подчеркнуто условных, символичных. Разумеется, многие мастера создавали вещи такими, какими они их видели в жизни. Но некоторые художники хотели выразить мир и человека по-другому — таким, каким они его себе представляли.

Мысли Мацуда мне показались созвучными тому, о чем говорил в свое время Ван Гог. Отметив, что творческий поиск его всегда обращен к природе, прославленный голландец подчеркивал: «Иногда я преувеличиваю, изменяю все данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя требующей раскрытия».

— Обнаруженные при археологических раскопках ханива,— продолжает профессор,— представляют собой произведения той эпохи, когда в стране господствовала традиция захоронения в дольменах, то есть до проникновения буддизма в Японию в VI веке. Наибольшим развитием ханива ознаменовался период времени между IV и VI веками. И хотя ханива более примитивны по сравнению с ранними буддийскими скульптурами, все же именно в них нашли свое непосредственное воплощение все элементы прекрасного, которые столь характерны для японского искусства. Это, несомненно, делает ханива бесценным источником наших знаний о японской эстетике.

Примечательно,— говорит Мацуда,— что обычай захоронения фигурок из глины характерен не только для древних японцев. Он наблюдался также в истории других народов, в частности в Китае. Среди китайских керамических изделий известны знаменитые «Танские три цвета». Это произведения мастеров Танской династии (VII—X вв.), работавших в столичных городах той эпохи — Чанане и Лояне — и создавших различные образцы из великолепной глазурованной трехцветной керамики в виде зверей, птиц, домашней утвари, орудий труда, которые предназначались для захоронения вместе с умершими.

— В дальнейшем, однако, развитие керамики претерпело изменения, жизнь все более утверждала реалистические представления?

— Если бы бонзы оставались такими, какими они бывают вначале, буддам не было бы числа! Весьма существенно, однако, то, что японскому искусству свойственны некоторые особенности, происхождение которых восходит к далекой старине. В частности, аритмия, диссонанс — основа художественной структуры, характерная особенность японской эстетики в прикладном искусстве.

— Древним мастерам, как видно, не были чужды поиски оригинальных сюжетов и тем?

— Собранные здесь образцы указывают на то, что мастера не боялись сюжета. Напротив, они стремились к воплощению большого смысла, глубокого содержания даже в самых малых формах, в миниатюрах. При этом они добивались выражения самой тонкой мысли, самых сложных чувств наиболее экономными средствами пластического искусства. Они были противниками застоя. Лучшие мастера прошлого не были догматиками. Этим и объясняется движение в творчестве, развитие искусства.

У самого оконного проема в мастерской расположен гончарный круг — рокуро, поражающий своей безукоризненной чистотой. Глядя на рокуро, я задумываюсь над тем, что его рождение, явившееся плодом гения человека, восходит к столь далекой древности. Он возник еще на заре цивилизации и с тех пор на протяжении тысячелетий служит неизменным орудием труда и творчества. Историческая летопись свидетельствует, что большая часть черной керамики Яншаоской культуры (XXXV—XVII вв. до н. э.) изготовлена при помощи гончарного круга. Среди керамических изделий той эпохи чаще всего встречаются сосуды, миски, тарелки, чашки, кувшины, а также жертвенные сосуды (дин), треножники для варки пищи (доу), большие горшки с двумя отделениями (янь), глиняные горшки (цзэн), треножники (ли) и другие изделия. Еще более поражают обилие и разнообразие, техническое совершенство изготовленных на гончарном круге керамических изделий Луншаньской культуры. Весьма характерно, что, исходя из особенностей найденных памятников, главным образом керамических изделий, в археологической науке установлены названия нескольких культур — Яншао, Луншань, Сяотунь. Такое деление оказалось необходимым потому, что это были культуры трех разных народностей. Они были этапами развития одной культуры, и их специфические особенности отражают различие периодов, к которым они относятся. Так керамические изделия помогли определить, что Яншао, Луншань и Сяотунь представляют собой единую культуру древнего Китая — культуру Хуася, последовательно передававшуюся из поколения в поколение. Общеизвестно, что изобретение письменности является важнейшим признаком того, что общество вышло из эпохи варварства и вступило в эпоху ци-

вилизации. И хотя нельзя еще определенно утверждать, что письменность, открытая в местечке Чэнцзыяй, относится ко времени династии Ся (XXIII—XVII вв. до н. э.), учеными высказывается предположение о наличии в эпоху Ся примитивной письменности. Весьма примечательно и то, что рисунки на древнейших изделиях «рисуночной керамики», относящейся к периоду XVII—XIII веков до н. э., указывают на то, что уже в тот период могла существовать своеобразная кисть, хотя считается, что кисть изобретена во время Ханьской династии (III в. до н. э.—III в. н. э.).

Керамика, творение рук человеческих, в сущности, столь же древнего происхождения, как и само человечество. Во всяком случае, образцы гончарных изделий, обнаруженные при археологических раскопках, относятся к более раннему периоду, чем зафиксированная история. Керамический промысел в силу своей простоты и практической потребности, видимо, получил развитие одновременно с охотой и рыболовством. Сталкиваясь каждодневно с вязкой и пластичной глиной, видя ее изменения под воздействием влаги и солнца, люди стали использовать этот доступный материал для того, чтобы придать ему нужные формы и сохранить их, высушив изделия на раскаленных под лучами солнца камнях или грунте. Впоследствии пришла практика обжига глиняных сосудов на огне и в печах, а также техника их глазурования. Пути развития керамического производства у различных народов, в том числе японцев, очевидно, сходны или одинаковы.

— А знаете ли вы,— заговорил неожиданно Мацуда,— что глиняные изделия, обнаруженные на японской земле при археологических раскопках, восходят к эпохе неолита, то есть относятся к LXXX—LXX векам до н. э.? Это конические сосуды из пористой крупнозернистой глины, обожженные при низких температурах. К XXX—XX векам до н. э. в гончарной технике обозначился существенный сдвиг. Теперь, в отличие от украшений в виде травяного шнурка, что было важным признаком керамики эпохи неолита, на поверхности изделий появились довольно сложные и разнообразные рисунки. Техника керамики стремительно развивалась, и к концу IV века, когда Япония была объединена под эгидой династии Ямада, японские гончары стали создавать ханива размером в человеческий рост. Ханива изображали мужчин и женщин, взрослых и детей в различных позах и видах. Кроме людей ханива представляли также собак, оленей, вепрей, обезьян, лошадей, коров и других животных. Помимо художественной ценности этих памятников ханива служат интереснейшим материалом для изучения обычаев и традиций древних японцев. Весьма показательно, что к IV столетию в облике ханива, изображающих людей благородного сословия и простолюдинов, обнаружились резкие различия. Представители привилегированных слоев стали изображаться в шелковых накидках с длинными рукавами, мужчины в брюках, женщины — в юбках. Их отличительной особенностью были также агатовые украшения, нефритовые и алмазные ожерелья, золотые и серебряные серьги и браслеты. Воины были одеты в железные и кожаные доспехи. Одежда простолюдинов была бедной, их накидки имели короткие рукава. Ханива были обнаружены при раскопках могил знатных и благородных лиц. Появление ханива свидетельствует о том, что около IV столетия в Японии стали отказываться от прежнего обычая захоронять слуг вместе с их хозяевами.

Я продолжаю оглядывать мастерскую и вижу, что вокруг — никаких признаков глины или обломков керамики. А за окном виднеются лишь деревья, и будто у деревьев керамист ищет ответы на многосложные вопросы своего творчества, смысла и тайн духовного мира. И кажется, что его вдохновляют эти старые деревья, кряжистые, извитые, почерневшие от бурь и времени. Здесь, за гончарным кругом, проводит Аракава долгие часы, напрягая разум в процессе творчества, воспламеняясь огнем вдохновения, воплощая в глину сюжеты и формы, навеянные воображением. Быть может, именно здесь художник, для которого керамика стала смыслом жизни, формирует свои представления о том, какова взаимосвязь субъективного и объективного в образном отражении действительности.

И я испытываю все большее желание выяснить, как, по мнению керамиста, соотносятся прекрасное в искусстве и реальность, разделяет ли он суждение о том, что эстетическое отношение человека к действительности возникало и развивалось прежде всего на основе объективно существующих эстетических качеств действительности, природных начал эстетического, представляющих собой прообраз прекрасного в искусстве. Не менее существенно узнать также, согласен ли Аракава с тем, что в процессе духовного развития человека, в ходе его общественной практики, как продолжение природной основы эстетического, возникла преображенная эстетическая реальность, формировавшая новое отношение людей к законам и признакам прекрасного. Следует иметь в виду эстетические качества явлений и эстетическое отношение человека к явлениям прекрасного.

Сняв пиджак и закатав рукава сорочки, Аракава извлекает из ящика кусок свежей глины, кладет его на гончарный круг, садится на вращающийся стул и легким прикосновением ноги приводит круг в движение. И мне показалось, что существует какая-то таинственная связь между гончарным кругом и художником. Бесформенная глыба, обретя динамизм, мгновенно преображалась, приобретала неожиданные очертания, то вдруг удлиняясь, то сокращаясь. С восхищением смотрю я на уверенное и мастерское обращение Аракава с куском глины, неодухотворенной для

меня и столь послушной в руках художника. И вспомнились строки Баратынского: «Глубокий взор вперив на камень, художник Нимфу в нем прозрел, и пробежал по жилам пламень, и к ней он сердцем полетел. Но, бесконечно вожделенный, уже он властвует собой: неторопливый, постепенный резец с богини сокровенной кору снимает за корой».

И по мере того как руки Аракава воплощают на волчкообразном диске его пластический замысел, я все более задумываюсь над происходящим. Освобождение ли это духа, образующего форму из инертного вещества, как это утверждалось античным мировоззрением, признававшим одухотворенность всех вещей? Или японский керамист, следуя гению Микеланджело, который верил в бессмертные формы, обреченные на заключение в земной тюрьме, добивается высвобождения духа не для примирительного существования вместе с материей, а для расторжения, для разлуки с ней? Но вещь возникает на моих глазах из бесформенной массы, обретает осмысленный облик, который привлекает, трогает, волнует своими пластическими очертаниями, эстетической значимостью. Разве в этом обнаруживаются признаки разлуки, а не свидетельство рождения нового создания, с которым мы теперь встречаемся и испытываем чувство восторга? Разве кусок мертвой глины не приобрел одухотворенные формы благодаря творческому воздействию художника, который вдохнул в этот комок земли свое стремление, свою жизнеутверждающую мудрость духа, оптимистический гуманизм?

И я невольно спрашиваю себя, каким образом возникает у человека потребность художественного высказывания или материального воплощения прекрасного, как он переходит от эстетического созерцания или восприятия действительности к освоению, а затем и к выражению этого прекрасного в осязаемых пластических формах и красках?

— При создании керамических вещей,— сказал мне позже Аракава,— весьма существенное значение имеет настроение художника, его собственный вкус, «ощущение рук». Иногда мне будто удается обнаружить жизнь предмета моих исканий. Часто это случается почти непроизвольно, как бы неожиданно, но всегда в результате поиска — энергичного, неустанного, порой мучительного. Сперва это ощущаешь буквально в кончиках пальцев, как легкое прикосновение к коже: нечто едва уловимое, едва осязаемое, точно пульсирующее движение — то возникающее, то вдруг исчезающее, замирающее. В эти мгновения я испытываю лишь одно стремление — всеми средствами моих чувств сблизиться с рождающимся созданием. И мне кажется, что тепло и кровь, интенсивно приливающие к моим рукам, стремительно передаются пористому существу, возникающему из куска глины.

— Похоже, что это не просто гончарная техника, а мастерство, творчество, искусство,— замечаю я.

— Процесс рождения керамического изделия, на мой взгляд, неотторжим от личного ощущения художника, его чувства материала, формы. Понятие о технике и искусстве у разных людей различно.

— Но означает ли это, что они аутентичны, что между ними нет никаких граней?

— Резкую грань не всегда легко установить. Иногда это напоминает размытые границы. Мне думается, что нередко переход от техники к мастерству и искусству подобен волнообразным разливам. Из сотен, может быть тысяч, чаш и блюд, которые мною создаются на этом гончарном круге, лишь одна или две приобретают качества, которые характеризуются как художественные. Но порой почти невозможно отличить эту единственную чашу или блюдо от сотен других. Вряд ли правильно безоговорочно заявлять о непогрешимости оценок или абсолютных мерах определения художественности изделия. Всякие критерии и характеристики относительны. И я не всегда разделяю то, что моими критиками признается наиболее художественно ценным в моих собственных работах.

— Какова же, по-вашему, роль личного ощущения художника и не допускается ли вами преувеличение субъективного фактора в творчестве?

— Значение личного ощущения художника в керамическом творчестве едва ли можно переоценить. Без него вообще трудно представить себе индивидуальное творчество, хотя субъективное ощущение художника сложно выразимо и еще сложнее объяснимо.

— Не умаляется ли в таком случае значение объективного фактора, самой реальности как предмета художественного отражения?

— При всей значимости субъективного ощущения художника доминирующим моментом, несомненно, остается определенная идея автора, созревающая в его сознании. Существом, сердцевиной художественного произведения неизменно выступает существующая реальность, сама истина жизни. Повелевает сознание художника, его видение, его мироощущение. Искусство невозможно без ясной идеи, без содержания. Творчество требует не иррационализма, а логики. Без ясности мысли нет ясности творчества. Это не противоречие. Это поиск. Активный, неустанный, страстный. А поиска без ошибок и промахов не бывает.

— Каков же, по-вашему, первоисточник или импульс, рождающий мысль, идею художника?

— Изначальная основа прекрасного, по крайней мере в области художественной керамики, на мой взгляд, заключена в самой действительности, в окружающей нас природе с ее первородным обаянием, бесконечными гранями естественной красоты, со

---

НИКОЛАЙ Т. ФЕДОРЕНКО
ЭСТЕТИКА ЯПОНСКОЙ КЕРАМИКИ

всей гаммой цветов, динамичностью линий, многообразием явлений. Именно здесь источник прекрасного, эстетического.

Стремительно, почти неуловимо на взгляд, вращается гончарный круг. Аракава действует быстро и четко, у него точный глаз. С восторгом наблюдаем мы, как под его руками возникает нечто новое, постепенно приобретая все более явные очертания, и мы уже видим, как будущая форма точно начинает дышать, обретая пластический образ.

— Но поддается ли осознанию творческий процесс, улавливает ли сам автор, как его произведение превращается в творение искусства? — продолжаю я задавать вопросы Аракава.

— Увы, далеко не всегда. Лишь очень редко я чувствую, что мною овладевает это счастливое состояние. Тогда я будто осязаю нервными окончаниями пальцев, как возникает нечто необычное, новое.

Я смотрю на Аракава, который как бы слился с гончарным кругом и создаваемым произведением, и мне начинает казаться, что и его сердце, и его поистине талантливые руки источают вдохновение и само искусство, облагораживающее людей, их жизнь и труд.

Как во всяком искусстве, проблема традиции и новаторства в японской художественной керамике всегда привлекала внимание исследователей и практиков. Коллекция образцов керамики, созданной в различные эпохи, многообразные литературные источники, собранные в студии, свидетельствуют о творческих интересах Аракава, его пытливом отношении к мастерству своих предшественников, к опыту прошлого. И я стремлюсь выяснить у керамиста его взгляды, услышать его суждения об этом.

— Коллекции образцов и литературные источники можно сберечь и передать последующим поколениям. Но мастерство должно иметь живую связь, преемственность. Невозможно лишь имитировать и подражать. Копирует предмет, добивается уподобления ему лишь бездарность. Подлинный художник при изображении предмета стремится к состоянию равноценности, истинной равновеликости. И в художественной керамике особую значимость приобретает форма. Многообразные формы, на мой взгляд, представляют собой не что иное, как сущности различных предметов. Форма всегда имеет свою особенность. Она вечно живая, изменяющаяся категория. Японцы по-своему видят проявление формы предмета. У нас свой взгляд на характеристику формы вещей. Мы всегда стремимся найти наиболее типическое соответствие формы предмета его назначению. На этом строится и эстетика японского прикладного искусства. Характерным в этой связи является, в частности, разнообразие посуды — ее форм, цвета,— которой сервируется японский стол. Здесь свои закономерности, свои взгляды и вкусы, вырабатывавшиеся столетиями. В Японии, где рис — главнейший продукт питания, рисовая чашка — своего рода центр столовой посуды. В обеденный набор входят всего лишь несколько предметов — рисовая чашка, пиала для супа, миниатюрные тарелочки и чашечки. Знаменательно, что вся столовая посуда — керамическая, за исключением лаковой пиалы для супа и палочек, которые изготовляются из бамбука, слоновой кости, серебра. Стеклянная посуда никогда не подается во время японского традиционного обеда. Керамическая посуда соответствует (по особым законам) разнообразным блюдам японской кухни и представляет собой особый мир со своим цветом, сочетаниями, комбинациями.

Весьма существенное значение придают японцы соответствию керамической посуды каждому блюду, эстетическому взаимоотношению между столовой посудой и спецификой приготовляемой пищи. Во время застольной трапезы у японцев принято проявлять интерес к происхождению посуды: откуда она, новая или древняя, какой мастерской или каким автором изготовлена. Подобный интерес к керамике наиболее характерен для участников традиционной чайной церемонии «тяно ю», где посуда играет весьма существенную роль. Вся обстановка проникнута атмосферой покоя и уверенности. Керамические чаши, которые подаются при чайной церемонии, отличаются простотой, кажущейся грубоватостью и вместе с тем какой-то необычностью. Почти всегда они несхожи между собой, различны по композиции, стилю, цветовой гамме. И в то же время родственны по своей скульптурной природе, едины в своей эстетической сущности. Их отличает лаконичность формы, естественность фактуры материала, художественная завершенность. Чайная церемония, на наш взгляд, несомненно в чрезвычайной степени влияет на развитие японской художественной керамики, на протяжении многих столетий она служила источником вдохновения и стимулом взыскательного вкуса керамистов. В истории Японии были периоды, когда художественная керамика оценивалась выше произведений живописи и графики. В известной мере это положение сохраняется и в наше время, хотя традиционное керамическое искусство все более уступает место современной коммерческой керамике. Классические образцы керамических чайных пиал, выполненных прославленными мастерами древности, а также выдающимися современными художниками, оцениваются в тысячи и десятки тысяч долларов. Каждая такая чаша носит имя своего автора в виде печатки керамиста или иероглифических обозначений его фамилии, а также имеет дату и место изготовления.

— Но не приводит ли увлечение формой к отходу от сущности предмета, от правды к абстракционизму? — обращаюсь я к Аракава:

— И луну закрывают тучи, и цветы осыпаются от ветра,— спокойно отвечает мне керамист.— Содержанием истинного творчества служит сама жизнь, наш каждодневный опыт. Жизнь, если понимать ее углубленно, обогащает воображение. Но из-

вестно, что корова воду пьет — молоко дает; пьет воду змея — выделяет яд. Прекрасное окружает нас постоянно, мы находим его всюду: в быту, в общении с людьми, в обществе, в труде. И здесь нужно, подобно пчеле, собирать мед с разных цветов. Разумеется, видение каждого художника индивидуально, но при всем своеобразии восприятия нами окружающего мира недопустим отход от самой реальности, забвение существующей вне нас правды. Эстетическая природа искусства включает в себя его социальное значение, его активное воздействие на общественное сознание человека. И существующий вокруг нас мир хочется видеть таким, как его мыслишь. Едва ли верно считать творческую деятельность художника только искусством изображения. Искусство, скорее, должно быть отображением действительного, реально воспринимаемого нами живого мира. Я не разделяю принципов абстрактного искусства. Абстракция часто, в том числе у наиболее ярких мастеров, неизбежно порождает схему, шаблон, а нередко случайность, произвол, хаос. Это приводит к распаду образности, субъективизму, бегству от реальной жизни, к антисоциальности искусства.

— Но абстракционизм трактуется его поборниками как «искусство подсознательного характера», как «проявление глубинной бессознательности художника»,— продолжаю я допытываться, зная, что неосторожность — злейший враг. Как принято говорить в Японии, «не покупай рис у одного и того же торговца более двух раз!».

— Все это сны, о которых судить надо, когда они сбываются, как о соколе — после охоты. Без особого труда можно заметить, что при всей изощренности формы в произведениях абстракционистов обнаруживается чисто внешняя декоративность, пустота, бессодержательность. И мы решительно отвергаем всякие попытки отрицать роль мысли, отрицать идеи в искусстве, в художественном творчестве. Разумеется, палитра красок сохраняет все свое богатство. Без этого немыслимо творчество. Художник не может утратить вкус к цвету, так же как композитор — к звукам. Ирреальный мир абстракционизма, навеянный подсознательностью,— это извращенный мир, мир без неба, без земли, без живого воплощения. Утверждается не жизнь, нерасторжимой частью которой мы являемся, а ее катастрофический распад. В этом противоестественный, антигуманный характер абстракционизма.

— Абстракционизм, однако, характерен не только для зарубежного искусства, но, кажется, и для японских художников?!

— Абстракционистские веяния занесены на японские острова явно чужим ветром. И почва в Японии не оказалась благоприятной для сколько-нибудь существенного произрастания эстетики абстракционистских и сюрреалистических зерен. У нас говорят, что «на январь пыль садится, да он не грязнится». Принципы абстракционизма не сообразуются с эстетическими взглядами японцев, которые на протяжении веков создавали свой высокий художественный вкус. Законы художественной культуры носят исторический характер, они формируются в самом процессе творчества. Это так же ясно, как и то, что у реки — исток, у дерева — корень. Абстракционистские композиции лишены смысла, не выражают ничего познанного или познаваемого, в конечном итоге они не выражают и непознаваемого, вообще ничего не выражают. Это как бы «бонзы на три дня».

— Чем же объяснить возникновение абстракционизма, который приобрел популярность в Европе и Америке?

— В известной степени причина, на мой взгляд, в отсутствии высоких художественных идеалов в европейском и американском обществе, в неспособности найти что-либо положительное, жизнестойкое, оптимистическое. Поэтому думается, что позиция абстракционизма приводит к утверждению теории искусства для избранных, для «артистических душ», для элиты, но не для всех, не для общества. Естественно, что работы абстракционистов остаются загадкой для неискушенного человека, считающего их таинством, мистерией. Едва ли, однако, они понятны и самим абстракционистам. Для них это тоже магия.

За окном студии сгущаются сумерки жаркого лета. Гончарный круг, безостановочно и незримо для меня вращающийся во время нашей затянувшейся беседы с Аракава, замедляет свой бег, движение угасает. И мне показалось, что именно в это мгновение окончилось волшебство рук керамиста, будто завершилось освобождение духа, который способствовал в магическом вращении круга образованию формы из инертного, бездыханного комка глины.

И вот мы стоим у печи, где обжигаются керамические изделия и где предстоит теперь испытание огнем творению Аракава, созданному на наших глазах. И я вижу, как в этом горниле бушует неукрощенный хаос красок, происходит яростная игра огненных волн.

На письменном столе перед моими глазами стоит пиала из грубой керамики. Часто, оставляя рукопись, я подолгу всматриваюсь в ее простые и вместе с тем поразительно утонченные контуры, легкие изгибы, любуюсь необыкновенным изяществом, какой-то пористой прозрачностью, делающей запекшуюся, словно из крупных зерен глину, почти воздушной, невесомой.

И, быть может, эти страницы не увидели бы света, если бы не вдохновенное творение японских мастеров, которое не покидает моей рабочей комнаты со времени нашей встречи с Аракава-сэнсэем. И, видно, оттого я всякий раз, глядя на чашу, ощущаю ясность и чистоту красок, прозрачную кристальность воздуха, тихую солнечность пространства.

# Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

## ГРЭХЕМ ГРИН О СЕБЕ

Вышедшая недавно автобиография известного английского писателя Грэхема Грина «Такая жизнь» оказалась, естественно, в центре внимания литературной критики. Считая эту книгу весьма интересной, большинство рецензентов выразили разочарование тем, что в этой книге Грин почему-то всячески старается подчеркнуть заурядность своей жизни и придирчивее самых рьяных критиков разбирает недостатки своих произведений. Он заранее предупреждает читателей, что по самому характеру своей профессии писатель ведет довольно однообразную жизнь и она может быть «именно такой, потому что за 66 прожитых лет я провел с вымышленными персонажами почти столько же времени, сколько с людьми из плоти и крови».

Писательский успех, пишет Грин, всегда временный, он — лишь «отсрочка поражения». На просьбу корреспондента американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» подвести итог прожитым годам писатель ответил: «Я бы сказал, что кое-чего достиг, но гораздо больше потерял. Я написал две-три хорошие книги: «Власть и слава», «Путешествия с моей тетушкой», может быть, прибавил бы к ним «Тихого американца»— по-моему, это неплохая книга. Но человек терпит поражение в других, гораздо более серьезных для него жизненных вопросах: я имею в виду взаимоотношения с людьми...» Желание проанализировать причины жизненных и творческих неудач, ощущение, что «поражение — разновидность смерти», и побудили Грина, по его словам, написать автобиографию.

Писатель неслучайно ограничил свою автобиографию годами детства и юности. Подчеркивая значение детства в процессе формирования его личности, Грин подробно рассказывает о своей семье, о ее влиянии на него и о прочитанных в детстве книгах, которые сыграли важную роль в его жизни, особенно книги Броунинга и Стивенсона, оказавшие на него гораздо более глубокое воздействие, чем религиозное воспитание, окружавшие его люди и события тех лет.

Самым светлым периодом своей жизни Грин считает годы юности, когда он сотрудничал в «Таймс»,— там ему нравилась и сама работа и люди. Писатель рассказывает о недолгом успехе своего первого романа, о последовавшем за ним трехлетнем периоде неудач и о завоевании писательской популярности романом «Поезд идет в Стамбул». Этим Грин заканчивает автобиографию. По мнению критики, лучшие страницы книги посвящены литературе. Как пишет «Таймс», мемуары Грина ценны не воспоминаниями о юношеских годах, а показом становления Грина как писателя, его собственным суждением о себе как о писателе. Ибо, как говорит Грин в заключении: «Представление писателя о самом себе, реалистическое и трезвое — это тот заряд энергии, которого ему должно хватить на всю жизнь». «Если бы мне предложили выбрать эпиграф ко всем моим книгам,— говорит Грин,— я бы взял строки Броунинга», и он цитирует строфу поэта о том, что людей всегда интересует та зыбкая черта, которая отделяет добро от зла.

Своеобразным продолжением автобиографии оказались статьи Грина, предваряющие каждый том вышедшего одновременно полного собрания его сочинений, в которое вошли 18 романов, рассказы, пьесы, эссе. Критики единодушно считают, что эти статьи вместе с автобиографией позволяют наметить границы «Гринленда» и объясняют,

откуда возникли его герои — «мыслители, моралисты, искатели истины». Грин пишет, что он последовательно отказывался в жизни от всех увлечений, сохраняя стоическую верность своему делу,— «так порой держатся за неудачный брак, боясь одиночества».

Грин несмотря на «кусочек льда в сердце» продолжает писать и путешествовать. О предстоящей поездке в Нью-Йорк он сказал: «Во времена Кеннеди у меня была постоянная виза, теперь я жду специального разрешения. Чтобы получить его, я должен указать рейс прибытия и день отъезда. После «Тихого американца» меня упрекали в резком антиамериканизме. Сегодня, когда в Америке столько людей борется против войны во Вьетнаме, можно считать, что я на добрую половину проамериканец».

## АЛЖИР

### ФИЛЬМ ОБ АЛЖИРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В горах Алжира в течение нескольких недель шли съемки нового фильма «Патруль», посвященного вооруженной борьбе алжирского народа против французских колонизаторов.

Это первый полнометражный фильм молодого кинорежиссера Амара Ласкри. Тема фильма близка ему, потому что он сам с пятнадцати лет сражался в партизанском отряде.

«Я взялся за этот фильм,— сказал молодой постановщик в интервью газете «Аль-Муджахид», — так как считаю, что между прошлым и будущим нашей Революции существует тесная связь. В фильме показана не только вооруженная борьба, в нем нашли свое отражение социальные и культурные проблемы алжирского народа».

Говоря о задачах алжирского кино, Амар Ласкри отметил, что лишь революционное киноискусство может реально способствовать развитию алжирского общества. Он подчеркнул важность фильмов воспитательного характера, например, киноэпопей о войне за освобождение.

Все актеры, снимавшиеся в фильме «Патруль»,— алжирцы. Одну из основных ролей исполняет известный актер Хаджад, которого кинозрители многих стран мира запомнили по роли Али в фильме «Битва за Алжир».

## АРГЕНТИНА

### «ВЕК И ЧЕЛОВЕК ВЕКА»

Так называется сборник воспоминаний о Ленине, который был издан в Буэнос-Айресе. В нем помещены воспоминания Луначарского, Коллонтай, Горького и других современников Ленина.

В рецензии на сборник аргентинский прогрессивный журнал «Куадерное де культура» пишет: «XX век — это век Ленина. С его именем тесно связана первая победившая пролетарская революция, событие такой исторической важности, что перед ним бледнеют достижения современной науки и техники. Эта революция положила конец делению общества на антагонистические классы на огромной территории земного шара и поставила первую веху на пути к коммунистическому обществу... Там, в старой Руси, с революции, направляемой Лениным, началась настоящая история человечества. Предыстория, о которой говорил Энгельс, осталась позади».

Ленин как выдающийся теоретик марксизма, как основатель и вождь партии нового типа, гениальный стратег и тактик социалистической революции известен всему человечеству. Но он менее известен зарубежному, в частности аргентинскому, читателю как человек большой скромности, простоты, со своими привычками, вкусами. Вот почему выход в свет этого сборника очень важен, ибо воспоминания тех людей, которые его лично знали, дополняют и воссоздают образ основателя Советского государства.

### ПЬЕСА О МАКСИМЕ ГОРЬКОМ

Карлос Руис Додэ, аргентинский писатель, автор романа «Народ», написал пьесу о Максиме Горьком. Пьеса — это по существу биография Горького в трех частях, объединенных между собой текстом комментатора. Каждая часть повествует о главных вехах в жизни писателя, о его сложном и трудном становлении.

## АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

### ЭКРАНИЗАЦИЯ ТРИЛОГИИ НАГИБА МАХФУЗА

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», на экраны Египта вышел фильм «Каср аш-Шаук», созданный по одноименному роману Нагиба Махфуза режиссером Хасаном аль-Имамом. Роман «Каср аш-Шаук» представляет собой третью, заключительную часть трилогии известного египетского писателя, первые две части которой, «Бейн аль-Касрейн» и «Суккярия», уже экранизированы. В свое время критика высоко оценила трилогию Нагиба Махфуза, сравнивая ее с «Сагой о Форсайтах» Голсуорси и романами Драйзера. За эту трилогию, пользующуюся большой популярностью, писателю была присуждена Государственная премия. Повествуя об истории трех поколений мелкобуржуазной семьи, автор нарисовал широкую картину социальной и политической жизни Египта между двумя мировыми войнами.

### КНИГА О ТВОРЧЕСТВЕ ЮСУФА АШ-ШАРУНИ

По сообщениям каирской прессы, в связи с присуждением известному египетскому писателю Юсуфу аш-Шаруни Государственной премии по новеллистике в Каире вышел сборник под названием «Страх и храбрость», который включает статьи о трех последних

книгах новелл этого писателя: «Пятеро влюбленных», «Письмо женщине» и «Суголока». Авторы статей — известные египетские писатели и критики: Яхья Хакки, д-р Раймон Франсис, Гяляль аль-Ошри и другие. Юсуф аш-Шаруни принадлежит к послевоенному поколению египетских писателей. Его первый рассказ был опубликован в 1947 г.

## БОЛГАРИЯ

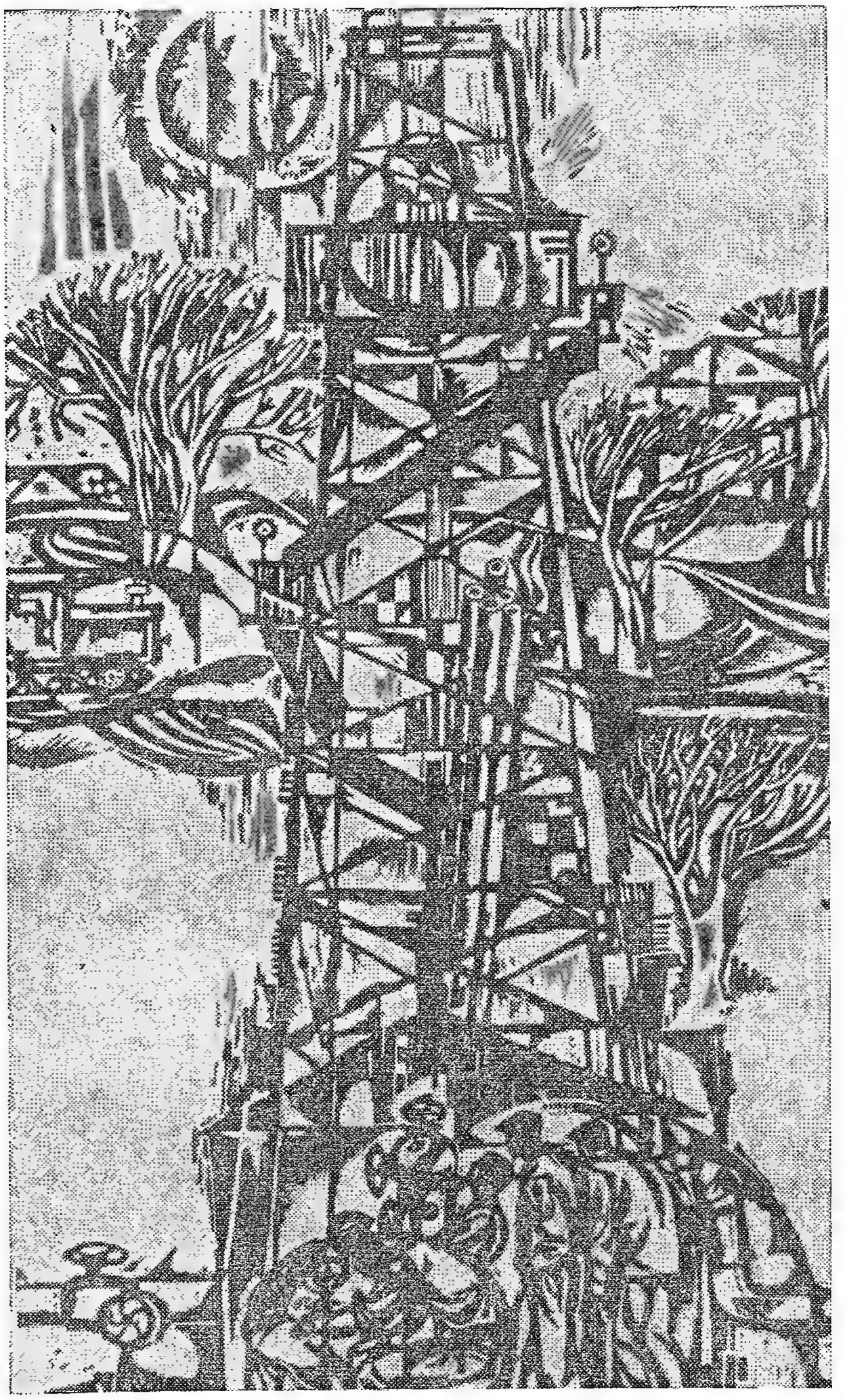
### ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ О ЛИТЕРАТУРЕ, ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ

Событием в культурной жизни Болгарии стал выход сборника «Георгий Димитров о литературе, искусстве и культуре», выпущенный Издательством Болгарской коммунистической партии.

«Настоящее издание,— пишет журнал «Пламк»,— содержит все работы Георгия Димитрова, которые касаются культурного и художественного развития нашего народа. Кроме известных материалов в нем опубликованы и тридцать пять не печатавшихся до сих пор отдельных статей, докладов, речей и высказываний Димитрова».

Среди этих документов, как отмечает болгарская пресса, особый интерес представляют выступление Димитрова на секретариате Коминтерна в 1935 г. по вопросу о политике коммунистических партий в отношении интеллигенции и полный текст его выступления на встрече с советскими писателями, озаглавленного «Антифашистская литература в борьбе против фашизма».

В сборнике в качестве приложения даны письма Г. Димитрову таких известных европейских деятелей культуры, как Ромен Роллан, Анри Барбюс, Вилли Бредель, Мартин Андерсен-Нексе, а также воспоминания и высказывания видных представителей болгарской культуры — Елина-Пелина, Георгия Караславова, Адрианы Будевской, Крыстю Сарафова, Илии Бешкова и других.



«Новая земля» — рисунок Юли Минчева.
*(Журнал «Пламк»)*

### ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА

Постановлением Совета Министров НРБ пять произведений болгарских писателей, вышедших за последние два года, были удостоены высшей награды Болгарии в области литературы — Димитровской премии.

Среди них — исполненный гражданского пафоса сборник стихов Владимира Голева «Мировоззрение», сборник рассказов Йордана Радичкова, посвященный теме антифашистской борьбы, «Пороховой букварь», книга профессора Владимира Топенчарова о великом славянском просветителе, создателе славянской азбуки Константине-Кирилле.

Димитровской премией отмечены и две книги, написанные в жанре очерка и эссе. Это книга Серафима Северняка «Между розой и львом» — о сегодняшнем дне страны и о том, какой ценой была завоевана свобода, и

книга Лиляны Стефановой «Вулканы Мексики курятся», написанная по впечатлениям от поездки писательницы в Мексику.

Кроме того, ряду произведений 1970 года были присуждены премии Союза болгарских писателей.

## ВЕНГРИЯ

### НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ АНТОЛОГИЯ

Вот уже два года венгерская газета «Непсава» — центральный орган венгерских профсоюзов — издает субботнее приложение «Художественное слово», в подзаголовке к которому значится: «Культура, социология, литература, искусство». Этот лаконичный подзаголовок хорошо раскрывает цели и задачи «Приложения»: знакомить своих читателей, а они в основном рабочие, с общественной и культурной жизнью страны, воспитывать в них подлинно социалистическое сознание, эстетический вкус. В «Приложении» печатаются статьи, очерки, рассказы, стихи, рецензии на фильмы, книги, художественные иллюстрации. В конце «Приложения» дается «миниэнциклопедия», в которой разъясняются самые различные понятия из области истории, права, литературы, изобразительного искусства, архитектуры и т. п.

Об объеме и значимости материалов, опубликованных в «Приложении», и свидетельствует новая антология «Художественное слово» (издательство «Танчич»), в которую вошли лучшие произведения, напечатанные в «Приложении» за время его существования.

В антологии — несколько разделов, открывает ее раздел художественной прозы, в нем представлены имена таких известных венгерских писателей, как Тибор Дери, Йожеф Дарваш, Пал Сабо, Эрне Урбан; выступают на страницах раздела талантливые писатели среднего поколения — Булчу Берта, Лайош Галамбош, Иштван Чурка, а также совсем молодые, но уже завоевавшие известность.

Стихотворения сорока семи поэтов, опубликованные в разделе «Мечты буден», отражают настроения и чаяния простых людей сегодняшней Венгрии.

«Свидетели захватывающей эпохи» — так называется раздел, в который включены очерки, статьи, путевые заметки писателей, рассказывающих о своей стране: об изменении облика ее городов и сел, об ее людях и становлении их характеров в условиях социалистических преобразований, о политике, проводимой Венгерской коммунистической рабочей партией в области культуры, о литературе и искусстве. Имена писателей, участвующих в этом разделе, такие как Йожеф Дарваш, Золтан Фабиан, Эндре Иллеш, Иштван Шимон, свидетельствуют о том, что сами авторы являются активными участниками общественной жизни.

Своеобразным университетом культуры можно назвать раздел «Современное искусство — современное общество». В нем собраны статьи, в которых освещается ряд проблем, характерных для сегодняшней Венгрии: «Искусство и рабочий класс», «Современное искусство и современное общество», «Труд, рабочий класс, рабочая культура». Написаны эти статьи историками, учеными, литературоведами.

Антология иллюстрирована рисунками известных венгерских художников — Йожефа Салатнаи, Ласло Барта, Анны Хонти и др.

Венгерская газета «Мадьяр Немзет» положительно встретила выход антологии «Художественное слово».

## ГДР

### НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ЗА 1971 ГОД

Состоялось присуждение Национальных премий за 1971 год. Премия I класса в области литературы и искусства присуждена писательнице Анне Зегерс «за выдающийся вклад в социалистическую национальную литературу и проведение принципов гуманизма в культуре» и Александру Абушу—«за деятельность в области идеологии и искусства». Премия присуждена также творческому коллективу студии ДЕФА, создавшему фильм «Красная капелла».

Премию II класса получили писатель Гюнтер Гёрлих за литературное творчество в целом и за книгу «На шаг ближе к облакам», актер Манфред Круг за деятельность в кино и телевидении, писатель и режиссер Гюнтер Рюккер — за литературное творчество, в частности, за радиопьесы.

Премии присуждены также работникам издательства «Ауфбау», поэту Гельмуту Прейслеру и ряду других работников культуры.

### НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ

Фильм в четырех частях «Заговорщики», недавно показанный телевидением Германской Демократической Республики, пресса ГДР называет «телевизионным романом». Автор этого «романа» — Гельмут Заковский — хорошо известен немецкому читателю и зрителю. Он — автор прозаических произведений, пьес, телевизионного фильма «Дорогами странствий» (см. «ИЛ» № 3, 1966 и № 1, 1969).

С героями фильма зрители впервые встречаются летом 1944 года, в каторжной тюрьме Бранденбурга, и расстаются в начале 1946 года, когда эти же люди активно участвуют в восстановлении послевоенной Германии.

Среди них — коммунист, участник гражданской войны в Испании Бобби Тиль, жена которого была казнена, а дочь пропала без вести. Вместе с прокурором Куртом Линдовом, который во времена фашизма был осужден на пожизненное заключение, и бывшим депутатом рейхстага Отто Биркманом Бобби

На снимке: Фред Дельмаре и Манфред Круг в главных ролях телевизионного фильма «Заговорщики».

*(Еженедельник «Зонntаг»)*

Тиль строит новую жизнь в разрушенном Дрездене.

«Я хотел рассказать о людях, о которых еще очень мало известно,— сказал Гельмут Заковский в одном из своих интервью.— Когда пишут о фашизме, в основном говорят об узниках концлагерей и подпольщиках. А ведь узники каторжных тюрем находились в особенно тяжелых условиях, и их борьба была наиболее трудной. Такие люди, как мои герои, сыграли и продолжают играть большую роль в нашей истории. Я старался не злоупотреблять картинами ужасов. Я считаю, что историю надо рассказывать так, чтобы люди переживали вместе с героями, думали вместе с ними, чувствовали вместе с ними. Я понял, что, когда перемежаются трагические и комические сцены, зритель воспринимает то, что он смотрит, гораздо лучше. Я всегда боюсь излишнего пафоса, и тогда меня спасает юмор».

Пресса ГДР широко откликнулась на этот фильм, отметив удачную работу актерского коллектива и режиссера Мартина Эккермана, который уже не в первый раз сотрудничает с Гельмутом Заковским.

«Это — часть истории недавнего времени, истории, которую наша молодежь знает только по книгам,— пишет рецензент еженедельника «Зонntаг».— Писателю удалось создать панораму жизни и судеб многих людей».

Рецензент газеты «Берлинер цайтунг», отмечая связь исторического материала, на котором построены «Заговорщики», с современностью и ее политическими проблемами называет фильм «рассказом о силе и красоте людей, о защите человеческого достоинства».

## ФРГ

### РОМАН ОБ ОБМАНУТОМ ПОКОЛЕНИИ

После долгого молчания вновь раздался голос известного западногерманского писателя, лидера «Группы-47» Ганса Вернера Рихтера. Недавно он выпустил сборник рассказов, а затем в гамбургском издательстве «Гофман унд Кампе» вышел его роман «Роза белая, роза красная».

Карл, молодой человек с явно автобиографическими чертами самого Рихтера, ищет возможности самоутвердиться, найти себя, свое место в жизни. Это мрачное для Германии время — конец 20-х годов нашего столетия, мир, на который уже надвигалась коричневая чума, мир, в котором царили безработица и хаос.

Карл уезжает из своего родного города в Берлин, становится там уличным певцом, знакомится с людьми, участвует в дискуссиях и демонстрациях. Карл яснее других видит, что нужно решительно бороться с фашизмом, что всякая половинчатость приведет к победе фашистов.

Карлу с его сложной и запутанной жизнью Рихтер непрестанно противопоставляет его дядю Аугуста — преуспевающего, самодовольного человека. Мысль о дяде все время преследует Карла. Когда в конце книги толпа факельным шествием приветствует нового рейхсканцлера Гитлера, Карлу всюду чудится лицо дяди. «Я видел его в тысячах разных лиц, в тысячах разных людей в униформе,— думает Карл.— Возможно, его и не было при этом, но он все равно там незримо присутствовал». Поражение Карла и его товарищей, поражение коммунистов и демократов — это победа дяди Аугуста и ему подобных.

«Роман Рихтера — роман об обманутом поколении, поколении молодежи двадцатых годов, чьи надежды и чья вера были разрушены натиском «нового времени»,— пишет рецензент еженедельника «Ди цайт».— Безусловно, эта честная, убедительная книга относится к числу самых значительных произведений писателя».

## ГРЕЦИЯ

### «ОСТАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ»

Французская газета «Монд» опубликовала на своих страницах беседу с Георгосом Сеферисом, записанную для «Монд» корреспонденткой газеты Анн Филип незадолго до смерти поэта, который скончался в Греции осенью прошлого года на 71-м году жизни.

«Быть поэтом нелегко. Искусство поэзии исчезает, как искусство кустарного ремесла. К тому же греческому поэту, впрочем, как и каждому греку, нужно

найти в себе силы оторваться от прошлого. Что касается меня, то мои стихи всегда говорят о настоящем, даже когда обращены, казалось бы, в глубокую древность».

Анн Филип спросила Сефериса, была ли свойственна начальному периоду его творчества та простота, которая поразила ее в последних стихах поэта.

«Нет, она пришла потом, простота приходит не сразу, она, как и мудрость, достается после долгой борьбы, чаще всего к ней лишь приближаются. Но путь к простоте для поэта всегда важен.

Из греческих писателей,— продолжает Сеферис,— мне наиболее близки два автора XIX века: Дионисиос Соломос (писатель «европейской традиции») и Янис Макриянис, участник борьбы против турок за независимость Греции. Главное для писателя, на мой взгляд, как и вообще для человека,— остаться самим собой и не превратиться в марионетку. Творчество писателя и поэта неразрывно связано с его человеческой личностью. Сейчас много говорят об «ангажированной поэзии». Эсхил не сочинял специально «ангажированных стихов», но было вполне естественно, что он написал «Персы», где говорится о войне и о врагах Греции».

Не менее естественно и то, по мнению Анн Филип, что, верный своей формуле «остаться самим собой и не превратиться в марионетку», Сеферис в 1969 году сделал заявление, отрывок из которого воспроизводится в этом же номере газеты «Монд»:

«...нам навязали режим, находящийся в глубоком противоречии с идеалами, за которые наш народ боролся во время последней мировой войны. Мы пребываем в состоянии насильственного усыпления, когда духовные ценности, которые нам удалось сохранить ценой борьбы и страданий, рискуют кануть в зловонную глубину стоячих вод. Трагический опыт человечества показал, что подобные режимы неминуемо ожидает бесславный конец, но пока аномалия длится, зло наступает, и я ясно вижу, к чему может привести произвол, царящий в нашей стране. Эта аномалия должна прекратиться. Таково требование нации».

На закате жизни свои надежды на духовное и политическое возрождение родины Сеферис связывал с молодежью. В 1971 году молодые греческие писатели выпустили сборник «Восемнадцать текстов», который открывается поэмой Сефериса. «Когда у меня попросили стихи к сборнику, я ответил, что молодые должны идти вперед и не оглядываться на стариков, однако я был счастлив, увидев, что моя поэма открывает книгу... Внимание молодых к тому, что является делом всей моей жизни, глубоко трогает меня. Молодежь продолжит наш путь. Она вступила на него позже меня, и она увидит то, что мне, может быть, уже не доведется увидеть, она увидит будущее страны, о котором я постоянно думаю. На молодых я возлагаю все свои надежды...»

## ИНДИЯ

### КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕНДЖАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

8 августа 1971 года в Амритсаре состоялась VI конференция Центрального союза пенджабских писателей — наиболее значительной и активной из всех писательских организаций Пенджаба. Следует сразу же отметить, что VI конференция знаменует собой начало возрождения организации, которая примерно с 1963 года практически не могла функционировать из-за сектантской позиции, занятой рядом членов ее руководства.

Как сообщает печать, основной смысл дискуссии на конференции сводился к тому, что, несмотря на различия в социальных и политических позициях, прозаики и поэты должны иметь общую платформу, при наличии которой конфликты между старым и новым руководством, теми или иными литературными направлениями могли бы быть преодолены.

В центре программы конференции стояла тема «Новая пенджабская поэзия», по которой были зачитаны три доклада, занявшие большую часть первого заседания.

В состав рабочего президиума конференции были избраны представители старшего поколения пенджабских писателей — лауреат премии Литературной академии и премии Неру поэт Мохан Сингх, крупнейший прозаик, издатель и редактор журнала «Прит Лари» Гурбахш Сингх, драматург и прозаик Рошан Лал Ахуджа, прозаик и историк литературы Сант Сингх Хамдард, прозаик Кевал Суд.

На заседании, посвященном организационным вопросам, было избрано новое руководство Центрального союза пенджабских писателей во главе с Садху Сингхом Хамдардом. Был принят также ряд резолюций по литературным и политическим проблемам, в том числе резолюция о солидарности с борцами за независимость Бангла деш. Выступая в заключение конференции, новый генеральный секретарь подчеркнул необходимость созыва более широкой конференции пенджабских писателей, с тем чтобы расширить и укрепить рамки Союза, сплотить писателей на широкой демократической платформе.

Конференция завершилась большой художественной программой, в которую входило чтение произведений классической пенджабской поэзии, соревнование поэтов, участвовавших в конференции, и две одноактные пьесы — «Да здравствует Бангла деш» известного пенджабского драматурга Харчарана Сингха и переводная «Луна взошла». Выступили также выдающиеся пенджабские певцы и артисты «Амритсарского театрального искусства».

Почетными делегатами

конференции были старейшие пенджабские прозаики Гурбахш Сингх и Суджан Сингх.

### ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ

Журнал «Арси» сообщает о присуждении премии издательства «Бхаратия гьянпитх» писателю и литературоведу телугу доктору Вишванатху Сатьянараяну за его шеститомную поэтическую эпопею «Рамаянакальпаврикша» («Волшебное дерево Рамаяны»).

«Бхаратия гьянпитх» представляет собой издательскую и исследовательскую организацию, финансируемую одним из крупнейших монополистических объединений, концерном «Саху Джайна». Семь лет тому назад «Бхаратия гьянпитх» учредила ежегодную премию за лучшее литературное произведение на одном из национальных языков в сто тысяч рупий, тогда как официальная государственная премия, присуждаемая Литературной академией, составляет всего пять тысяч рупий. Премия «Бхаратия гьянпитх» присуждается специальным комитетом. До настоящего времени было присуждено пять премий — поэту-малаялам Шанкару Курупу, бенгальскому прозаику Тарашанкару Бандхьопадхьяя, писателю-каннара К. В. Путаппа, гуджаратскому поэту Ума Шанкар Джаши, поэту-хинди Сумитранандану Панту, поэту-урду Рагхупати Сахай Фираку.

Лауреат премии «Бхаратия гьянпитх» доктор Сатьянараяна — один из крупнейших представителей современной литературы телугу. Им опубликовано 60 романов и повестей, 12 сборников стихов, пять сборников литературоведческих и критических статей, четыре пьесы. В 1962 году доктору Сатьянараяну была присуждена премия Литературной академии. Он награжден орденом Республики Индии «Падма бхушана».

«Ни перо, ни карандаш, ни кисть, ни камера не в силах рассказать о всех тех нечеловеческих страданиях, физических и моральных, которые обрушились на долю беженцев из Восточного Пакистана»,— пишет индийский еженедельник «Блиц». Известный австралийский художник Рой Далгарно, для которого Индия стала второй родиной, посетил по заданию редакции некоторые лагеря для беженцев. Вернувшись из поездки, он опубликовал ряд волнующих зарисовок, где пытается передать трагедию миллионов этих людей.
Воспроизводимые здесь рисунки автор назвал «Отчаяние» и «Страх».

*(Еженедельник «Блиц»)*

Недавно индийские зрители познакомились с новой режиссерской работой известного писателя Р. С. Беди — «Стук в дверь», в основу которого легла собственная пьеса писателя.
На снимке: актеры Рехана Султан и Санджив Кумар в фильме «Стук в дверь».

*(Журнал «Линк»)*

## ИРАК

### ИРАКСКАЯ НОВЕЛЛА СЕГОДНЯ

Редакция журнала «Аль-Китаб», издаваемого в Багдаде Ассоциацией иракских писателей, выпустила специальный номер, посвященный современной иракской новелле. Помимо новелл здесь помещены проблемные статьи о развитии иракской литературы. Целый раздел журнала посвящен памяти умершего год тому назад известного египетского писателя — новеллиста и романиста Мухаммеда Абд эль-Халима Абдаллаха.

### АЛЬ-БАЯТИ НА ЯЗЫКАХ МИРА

Неизменным успехом у читателей и зрителей пользуются произведения иракского поэта Абд аль-Ваххаба аль-Баяти. Его пьеса

«Суд в Нишапуре» была впервые опубликована в Бейруте в 1963 г. В течение двух последующих лет она была поставлена на сцене в Багдаде и Хартуме. В центре пьесы — образ знаменитого иранского мыслителя и поэта Омара Хайяма. Как сообщает журнал «Аль-Адиб», югославский востоковед Р. Бозович перевел эту пьесу на сербскохорватский язык.

По сообщению того же журнала, марокканские поэты Абд эль-Азиз аль-Манссури и Абд аль-Латыф аль-Ляаби завершили перевод избранных стихотворений Абд аль-Ваххаба аль-Баяти на французский язык. Эти стихотворения войдут в сборник, который будет напечатан в Париже в серии «Современные арабские поэты». Для сборника поэтами-переводчиками подготовлена большая статья о жизни и творчестве аль-Баяти.

Журнал сообщает также, что летом этого года в Бухаресте вышли «Избранные стихотворения Абд аль-Ваххаба аль-Баяти» на румынском языке. Перевод выполнен румынским востоковедом Николае Добрешаном. (Несколько ранее в Югославии вышли избранные стихотворения аль-Баяти на сербскохорватском.)

Перевод поэмы аль-Баяти «Плач по июльскому солнцу» на английский язык был опубликован недавно лондонским журналом «Энкаунтер».

большой успех у участников фестиваля. Режиссер Роберто Росселлини и его сын показали снятый ими фильм — интервью с Сальвадором Альенде, взятое у него после избрания президентом Республики Чили. Новые кинофильмы привезли на фестиваль «Унита» венгерские гости, состоялись выступления певцов, музыкантов, танцоров Будапештского ансамбля. Помимо выставок, посвященных борьбе против войны во Вьетнаме, движению Сопротивления в Испании, Португалии, Греции и других странах, на фестивале были организованы художественные выставки. В знак уважения и симпатии к Итальянской коммунистической партии, отмечающей свое пятидесятилетие, и к ее органу — газете «Унита» большая группа известных итальянских художников и скульпторов передала свои работы для экспозиции на фестивале. Кроме того, специально для фестиваля была подготовлена выставка «100 художников за социализм». В память об этой необычно широкой и представительной выставке издан каталог, подготовленный редакцией коммунистического журнала «Календарио дель пополо» («Народный календарь»). Еще одним важным художественным событием является выпуск альбома литографий под названием «Красное знамя». Авторы их — 15 молодых художников.

### БАНДИТ-ПИСАТЕЛЬ

Довольно необычная судебная тяжба происходит в Италии по вопросу об авторских правах и гонораре... знаменитого бандита Лючано Лютрига. Этот гангстер несколько лет назад поразил воображение даже видавших виды миланцев своим хладнокровием, цинизмом и жестокостью. Он грабил банки, действуя всегда в одиночку, и был повинен в смерти нескольких человек. В тюрьме Лютриг написал две книги, которые выпустило издательство Лонганези — «Незаконная защита» и «Убийца не бастует». Личность бандита в свое время заинтересовала и кинорежиссера Карло Лидзани, поставившего о нем фильм «Встань утром и убей», в котором он пытался дать социальный и пси-

---

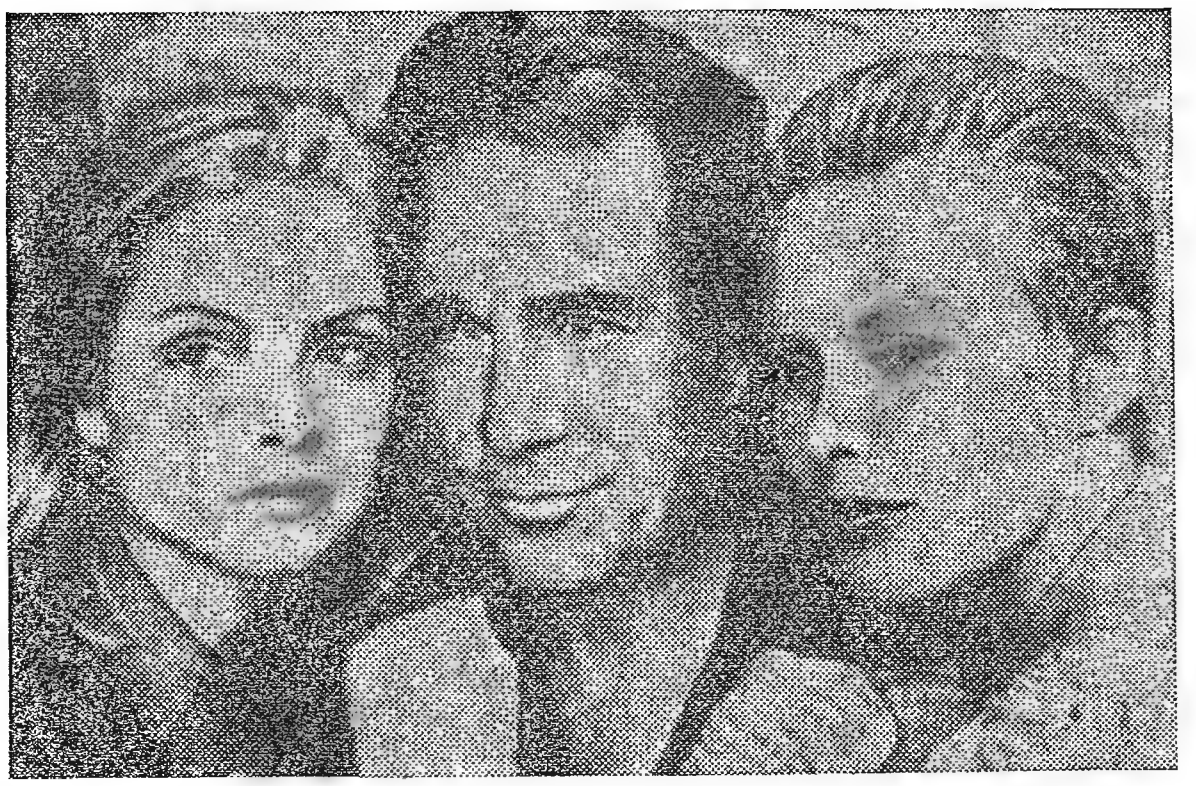
Писатель Альберто Бевилаккуа, недавно дебютировавший в качестве кинорежиссера, экранизировав свой роман «Халифша», готовит второй фильм «Такая любовь», главную роль в котором сыграет популярный в Италии актер Уго Тоньяцци. На фото: Уго Тоньяцци с исполнительницами двух главных женских ролей — шведской актрисой Евой Аулин и американской актрисой Джин Себерг.

*(Газета «Унита»)*

## ИТАЛИЯ

### ФЕСТИВАЛЬ В ТУРИНЕ

Всеитальянский фестиваль газеты «Унита» в Турине, в котором участвовали делегации из многих стран мира, представители коммунистической печати, многочисленные гости, явился большим событием в культурной жизни страны. В этом фестивале, в частности, приняли участие десятки видных представителей итальянского искусства. Известный кинорежиссер Уго Грегоретти поставил массовый спектакль, имевший



хологический анализ преступлений, жизни и характера Лютрига. Ныне бандиту-писателю на основании авторского права причитается немалая сумма за продажу его книг — 75 миллионов лир. Однако на эту сумму миланский суд наложил секвестр — она должна быть передана одному французскому полицейскому в качестве компенсации за увечье: он остался на всю жизнь паралитиком после ранений, полученных в перестрелке с Лютригом близ Парижа.

## КУБА

### ТВОРЧЕСКОМУ СОЮЗУ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В Гаване состоялось торжественное собрание, посвященное десятилетию со дня создания Союза писателей и деятелей искусств Кубы. Со вступительным словом к присутствующим обратился президент Союза выдающийся поэт, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Николас Гильен. Он напомнил о тех трудностях, которые до революции в жестоких условиях тирании приходилось преодолевать писателям и деятелям культуры для того, чтобы донести свои произведения до народа. Гильен сказал, что только благодаря победе революции культура стала достоянием всего кубинского народа; в частности, он подчеркнул важность решений Национального конгресса просвещения и культуры, которые отобразили культурную политику кубинской революции.

## ЛИВАН

### СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «АТ-ТАРИК»

Специальные тематические номера, выпускаемые редакцией прогрессивного ливанского журнала «Ат-Тарик», получают, как правило, большой общественный резонанс в Ливане и во всем арабском мире. Последний специальный номер «Ат-Тарика» был посвящен двум памятным датам: семидесятипятилетию со дня рождения выдающегося ливанского писателя и общественного деятеля Омара Фахури и столетию Парижской коммуны.

Омар Фахури был основоположником прогрессивного реалистического направления в ливанской и вообще в арабской литературе. Его роль в арабской литературе критики сравнивают с ролью Горького в русской. О. Фахури в годы второй мировой войны был в первых рядах антифашистской борьбы в Сирии и Ливане, являясь одним из руководителей «Аитифашистской лиги». В 1941 году он был избран председателем «Общества друзей Советского Союза» в Ливане.

В специальном номере журнала «Ат-Тарик» помещена большая подборка материалов, связанных с изучением творческого наследия О. Фахури. Это — летопись его жизни и творчества, воспоминания людей, знавших писателя, не публиковавшиеся ранее отрывки из его дневника, а также статьи о Фахури видных ливанских критиков и рецензии на посвященные ему книги. Журнал публикует перечень оригинальных и переводных работ Омара Фахури (писатель переводил Ромена Роллана, Анатоля Франса и Вольтера).

В отделе номера, посвященного столетию Парижской коммуны, публикуется ряд статей ливанских и иностранных авторов. Там же помещен перевод «Интернационала» на арабский язык (переводчик Никола Тавиль) и статья В. И. Ленина об авторе пролетарского гимна Эжене Потье, написанная в 1913 году.

## ПОЛЬША

### 25-ЛЕТИЕ ПОЛЬСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось 25 лет Государственному польскому издательству (ПИВ).

В начале своей деятельности оно занималось выпуском ведомственных постановлений, служебных брошюр и т. п. Это были трудные послевоенные годы, когда страна подымалась из развалин, чтобы начинать жизнь заново. И именно в эти годы, как никогда, ощущалась огромная потребность в своем языке, в своей литературе.

И вот тогда вновь организованное издательство выпустило полное собрание сочинений Стефана Жеромского. Оно разошлось моментально. Так началась жизнь уже литературного издательства.

Потом было издано 60 томов Генрика Сенкевича. Это стало поистине издательским подвигом, так как ощущалась острая нехватка бумаги, не было достаточной полиграфической базы.

В дни 25-летия издательства это Собрание сочинений было представлено на юбилейной выставке в Национальном музее. По качеству бумаги, по своему оформлению оно ни в коей мере не могло соперничать с нынешними изданиями ПИВа, но оно дорого каждому, потому что именно оно в трудные послевоенные годы помогало полякам обрести силу для национального самоутверждения.

Сейчас ПИВ — одно из ведущих издательств по выпуску польской и мировой художественной литературы.

Помимо классиков оно издает множество специальных серий, пользующихся широкой популярностью. Здесь и поэтическая серия — «Библиотечка поэта» и «Малая серия поэтических переводов», публицистическая — «Библиотека современной мысли» и «Полемика» и серия о жизни замечательных людей — «Вечно живые» и др.

«Книжки из этих серий,— отмечает Казимеж Козьневский в юбилейной статье в еженедельнике «Политика»,— есть в библиотечке каждого современного интеллигента, и они заставляют его думать».

За двадцать пять лет своего существования издательство очень многое сделало для развития национальной культуры и для знакомства польского читателя с литературой всего мира.

### СОДРУЖЕСТВО ЛИТЕРАТУРЫ И КИНО

Советским читателям хорошо известно имя польского писателя Юлиана Кавальца. Его повести «К земле приписанный», «Танцующий ястреб» были опубликованы в журнале «Иностранная литература».

Сейчас по его повести «Вызов» молодой польский режиссер Войцех Соляж сделал фильм под тем же названием.

Фильм рассказывает об истории крестьянской семьи и ее молодого поколения. Один из сыновей Войцеха Завады — честолюбивый, активный Станислав — учится в городе. Став инженером, он получает назначение на высокую должность на большом заводе и собирается уехать из деревни со всей семьей. Остается его брат Стефек — скульптор-самоучка. По мнению крестьян, Стефек — бездельник, все свое время отдающий пустой прихоти — созданию странных, непонятных односельчанам фигур и композиций. Он — посмешище всей деревни, он в тягость родным, все они, кроме матери, видят в нем только обузу и несчастье семьи. И прозвище у него Никчемный.

В фильме, как и в книге, сталкиваются два начала: утилитарное и творческое.

«Этот автор,— говорит о Юлиане Кавальце Соляж,— поражает редким знанием человеческой психологии, стремлением заглянуть во все ее тайники. Разумеется, фильм не дает возможности проникнуть в психологию героев так глубоко, как книга».

Далее Соляж говорит о том, что мастерство писателя, его умение видеть и анализировать явления очень помогли ему в работе над созданием фильма.

## РУМЫНИЯ

### «ГОД ПУБЛИЦИСТИКИ»

Статья известного поэта Никиты Стэнеску «Эпическая поэма Раду Косашу», напечатанная в газете «Ромыния литерарэ», содержит одно очень интересное наблюдение. Если мы могли охарактеризовать прошедшие годы румынской литературы как годы прозы или годы поэзии, отмечает Стэнеску, то 1971 год по праву можно считать годом публицистики, публицистики зрелой, отфильтрованной в сознании писателя, публицистики, которая, отнюдь не пренебрегая собственной спецификой, стала подлинным искусством. В качестве примера Стэнеску приводит только что появившиеся на книжных прилавках книги известных писателей Румынии, выступивших на этот раз в жанре публицистики и журналистики. Речь идет, пишет Стэнеску, о «глубоко оригинальной» книге Раду Косашу «Август на льдине», о книге Марина Преды «Невозможность возвращения» — этого «из ряда вон выходящего, потрясающего явления», о книге «Под знаком вопроса» поэта Адриана Пэунеску и, наконец, о «Судьбе слов» Константина Цою — книге серьезной и глубокой.

Сборнику Марина Преды все газеты посвящают статьи: о нем спешат высказаться и литературные критики, и коллеги писатели, и деятели из смежных областей искусства. Одна из статей, посвященных книге, названа «Литературный и человеческий документ».

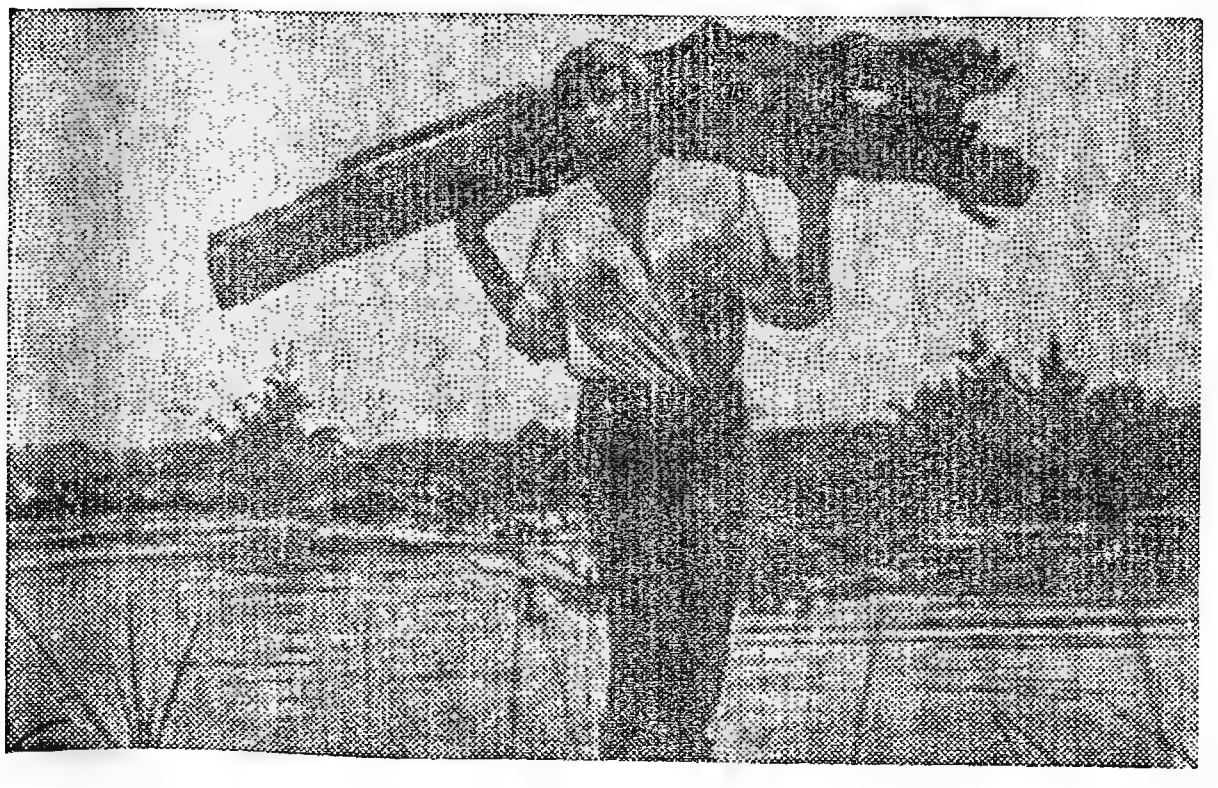
Литературовед А. Пиру подчеркивает, что сборник статей Марина Преды не следует причислять к жанру так называемой «чистой литературы», скорее, его можно отнести к книгам проблемного характера. Марин Преда делится с читателями своими размышлениями о литературе вообще и о собственном творчестве в частности и раздумьями о призвании и профессии писателя. Преду волнует проблема взаимоотношения писателя и истории, проблемы зависимости между реальностью и вымыслом в искусстве.

О книге Раду Косашу «Август на льдине» Никита Стэнеску пишет, что она была раскуплена в течение получаса, хотя это не детектив, не подборка скандальных историй или дешевых сенсаций. Книга эта — похвальное слово тонкому искусству журналистики, написанная с блеском остроумия и с подлинным лиризмом одновременно. Исполь-

---

Ольгерд Лукашевич, актер молодого поколения, в роли Стефана, деревенского скульптора-самоучки, в фильме Войцеха Соляжа «Вызов».

*(Журнал «Польское обозрение»)*



зуя цитаты, вырезки из прессы, Косашу умеет прокомментировать их таким образом, что неприметный факт вдруг обретает неожиданный смысл, наполняется глубоким человеческим содержанием. Со страниц книги встает фигура автора — умного собеседника.

Известный поэт Адриан Пэунеску в своей книге «Под знаком вопроса» собрал интервью, которые он в течение нескольких лет регулярно публиковал на страницах «Ромыния литерарэ». Его собеседниками выступали, помимо писателей, политические деятели, режиссеры и актеры, художники, ученые, спортсмены, музыканты, рабочие, крестьяне, военные и даже дети. Таким образом, для будущих поколений в книге запечатлен «образ нашей эпохи»,—пишет критик «Ромыния литерарэ».

И, наконец, книга писателя Константина Цою «Судьба слов». Как отмечает Мирча Йоргулеску — записывает ли Цою свои замечания по поводу различных событий, разговаривает ли с молодыми поэтами, ведет ли репортаж или дневник путешествий, он умеет разглядеть скрытый смысл явлений, поделиться с читателем своими раздумьями, своим очень личным отношением к происходящему.

«Журналистику, — пишет рецензент,— Цою превращает в высокую литературу».

Мирча Йоргулеску заканчивает свою рецензию словами, что в известном прозаике Константине Цою книга «Судьба слов» «открыла читателю эссеиста и поэта».

Итак, четыре книги, четыре несхожих друг с другом авторских почерка. Но объединены они стремлением их авторов поделиться с читателем самыми главными и сокровенными мыслями о жизни и высоком назначении писательской профессии.

---

«Загадка Отилии» — роман видного румынского писателя-академика Джордже Кэлинеску — послужил основой для фильма «Феликс и Отилия». Сценарий Иоана Григореску. Фильм снимает режиссер Юлиан Миху. Любопытен тот факт, что роль Феликса исполняет не профессиональный актер, а молодой талантливый театральный художник Раду Борузеску, знакомый советскому зрителю как оформитель спектакля «Госпожа Кирица», с которым гастролировал в Москве и Ленинграде Национальный театр им. Караджале.

Раду Борузеску и молодая актриса Жульета Шони в главных ролях.

*(Еженедельник «Контемпоранул»)*

Сцена из спектакля «Основы тренировки Пабло Хаммеля» в нью-йоркском театре на улице Лафайет.

*(Газета «Нью-Йорк таймс»)*

---

## США

### «ОСНОВЫ ТРЕНИРОВКИ ПАБЛО ХАММЕЛЯ»

Американская газета «Нью-Йорк таймс» высоко оценивает пьесу молодого драматурга Дэвида Рейба «Основы тренировки Пабло Хаммеля». Ее герой проходит путь от лагеря новобранцев до бессмысленной смерти во Вьетнаме. «Нельзя согласиться с теми критиками,— пишет газета,— которые считают, что пьеса Рейба посвящена войне,— ее тема не сама война, а порождаемая ею трагедия. При всей достоверности обрисовки военной жизни с ее внешней бравурностью в центре внимания автора постоянно находится его трагический герой».

Пабло Хаммель вызывает скорее жалость и раздражение, чем отвращение и страх. С самого детства Хаммель был пасынком жизни, он рос жалким воришкой и патологическим вруном, живущим своими фантазиями. Пьеса раскрывает процесс возмужания Хаммеля, пишет рецензент,— человека, изуродованного той средой, в которой он сформировался.

Попав во Вьетнам, Хаммель старается во всем походить на своих товарищей по отряду и стремится задушить в себе именно те человеческие качества, которые могли бы в действительности способствовать его возмужанию. Он перенимает ложные признаки

мужественности, превращающие его постепенно в такое же чудовище, как и его «герои». Именно его наивное стремление походить на этих «настоящих мужчин» с их жестокостью и цинизмом и порождает трагизм и пафос пьесы Дэвида Рейба. Попав на выучку к профессиональным убийцам, молодой герой пьесы убивает в себе подлинно человеческие чувства. Подражая своим «кумирам», он во время драки в армейском баре старается не просто сбить своего противника с ног, но заставить его ползать перед собой. Разъяренный парень убегает, возвращается с ручной гранатой и убивает Хаммеля.

«Кончина молодого героя пьесы,— пишет газета,— это обвинительный акт американской общественной системе. Подражание ее идеалам дало ему вместо счастья слепую ярость и смерть».

## ФРАНЦИЯ

### ПИКАССО В АВИНЬОНЕ

Книга-альбом с репродукциями всех ста шестидесяти шести картин Пикассо, которые были выставлены в мае 1970 г. в Авиньоне, вышла в издательстве Секль д'Ар. Текст книги написан известным испанским поэтом Рафаэлем Альберти.

Рафаэль Альберти, которого объединяет с Пикассо любовь к Испании и к свободе,— один из тех писателей, кому особенно близко творчество Пикассо, пишет критик «Юманите» Жан Роллен. «Оба они воплощают мужество и надежду непокоренного народа».

Рассказ Рафаэля Альберти о событии, смутившем покой Дворца пап в Авиньоне, где разместилась выставка Пикассо, напоминает блеском своего остроумия стиль мэтра Франсуа Рабле, отмечает Жан Роллен.

Самой запоминающейся серии полотен Рафаэль Альберти дает название «Поцелуй». Он посвящает ей несколько страниц, подчеркивая, что изображение любви у Пикассо — «это зелень весны, знак верности жизни». Затем он переходит к пояснению серии картин, изображающих курильщиков трубок,— любимой темы Пикассо последних лет. В тексте Рафаэля Альберти персонажи картин Пикассо составляют великолепное карнавальное шествие. Во главе этой веселой праздничной колонны, из ста мужчин, тридцати женщин, нескольких детей, двух карликов, двух арлекинов, одного пьерро, букетов цветов, фруктов, художник вступает во Дворец пап.

Картина Пабло Пикассо «Чтение».

*(Газета «Юманите»)*

# Авторы этого номера

**АННА ЗЕГЕРС — ANNA SEGHERS** (род. в 1900 г.).

Выдающаяся немецкая писательница (ГДР), лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Национальной премии ГДР. На русском и на языках народов СССР неоднократно издавались ее романы «Восстание рыбаков», «Спутники», «Путь через февраль», «Освобождение», «Седьмой крест», «Мертвые остаются молодыми», «Решение» («Иностранная литература», №№ 1—4, 1960), «Транзит» и др.

Новая повесть А. Зегерс «Через океан» вышла в ГДР в 1971 г. под названием «Переезд» («Überfahrt»).

**КАРЛОС ФУЭНТЕС — CARLOS FUENTES** (род. в 1929 г.).

Видный мексиканский писатель, юрист по образованию. Литературную деятельность начинал как журналист. Первый сборник рассказов К. Фуэнтеса «Дни в маске» («Los días enmascarados») вышел в 1954 г. Большой интерес читателей и критики вызвал роман «Область наипрозрачного воздуха» («La región más transparente», 1958). Широкую известность принес писателю роман «Смерть Артемио Круса».

Перу К. Фуэнтеса принадлежат также повесть «Аура» («Aura», 1962), романы «Священная зона» («Zona sagrada», 1967), «Смена кожи» («Cambio de piel», 1968), книга о последних днях вождя аграрной революции в Мексике, убитого реакционерами,— «Эмилиано Сапата» («Emiliano Zapata», 1969), киносценарии, литературоведческие работы и другие произведения.

Пьесой «Все кошки серы» («Todos los gatos son pardos», 1970) в этом номере представлен Карлос Фуэнтес — драматург.

**АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — ALEJO CARPENTIER** (род. в 1904 г.).

Известный кубинский писатель, автор многих романов, в том числе переведенных на русский язык: «Потерянные следы», «Век просвещения» и повести «Царство земное».

В последний свой приезд в Москву Алехо Карпентьер встретился во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы со своими советскими читателями. Запись его выступления мы печатаем с сокращениями в этом номере.

**СИРИЛ НОРТКОТ ПАРКИНСОН — CYRIL NORTHCOTE PARKINSON** (род. в 1909 г.).

Известный английский писатель, сатирик-публицист. Своим знаменитым памфлетом «Закон Паркинсона, или Пути прогресса», в котором он высмеял косность обветшалых государственных институтов Англии, изъяны ее бюрократической системы, положил начало новому жанру — социологической сатире на буржуазное общество. Памфлет переведен на множество языков и завоевал широчайшую международную популярность.

Опубликованные в «Иностранной литературе» (№ 6, 1959) отрывки из этой книги были с большим интересом встречены советским читателем.

С. Норткот Паркинсон по профессии историк, автор ряда работ по истории и социологии, читал лекции по этим предметам в университетах многих стран.

Мы публикуем главы из его книг «Зятья и прочие» («Inlaws and Outlaws», 1962), «Закон миссис Паркинсон» («Mrs. Parkinson's Law», 1968) и «Закон отсрочки» («The Law of Delay», 1970).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 13581. Сдано в производство 5/XI-71 г. Подписано к печати 15/XII-71 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. листов 27.89. Зак. 3445.
Журнал выходит один раз в месяц

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394